

THE O B B I V I
M I I P

10



1963

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIX

№ 10

Октябрь, 1963 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Г. ТРОЕПОЛЬСКИЙ — В камышах. Из тетрадей охотника	Стр. 3
МАРГАРИТА АЛИГЕР — Два стихотворения	61
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ — Книга скитаний. Повесть	63
ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ — Краски Закавказья. Путевые заметки. Окончание	119
КАЙСЫН КУЛИЕВ — Из новой книги стихов. С балкарского. Перевел Н. Гребнев	150
И. ШМЕЛЕВ — Русская песня, рассказ	153
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
И. ОСИПОВ — Спасателя	155
ПУБЛИЦИСТИКА	
А. БОВИН — Истина против догмы	174
ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ	
О словаре языка Ленина. О рассказе А. Солженицына «Для пользы дела». Мое мнение	191
ПИСЬМА ЛАРИСЫ РЕЙСНЕР. Публикация А. Наумовой	203
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Л. АРУТЮНОВ — Саят-Нова. К 250-летию со дня рождения	228
В. СУРВИЛЛО — В единое слово	237
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	252
А. Абрамов. Деловито, честно, всерьез.— М. Рошин. Преодолевая банальное.— Б. Яранцев. Уроки «карманной школы».— М. Бойко. Новая книга о Достоевском.— М. Злобина. Герои Стейнбека.	
(См. на обороте)	

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	267
И. Ермашев. Мечтатели нашей эпохи.— Ю. Рубинский. Судьбы французской демократии.— В. Азерников. Эмоции и факты.— Ю. Яхонтов. Неопровержимые цифры.	
КОРОТКО О КНИГАХ	277
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	283
ОТ РЕДАКЦИИ — «Новый мир» в 1964 году	285

Г. ТРОЕПОЛЬСКИЙ

★

В КАМЫШАХ

Из тетрадей охотника

Перламутровое облако

Главный праздник охотников — открытие летне-осеннего сезона. Этот день обычно назначается на первое или второе воскресенье августа. Самые завятые верующие никогда так не ждут пасху, как охотники свой праздник. Любители легавых все чаще и чаще натаскивают собак, шатаясь без ружья по лугам и низинам и нащупывая дупелей или бекасов; с той же целью утятники ползают со своими спаниелями по болотам, возвращаясь к концу выходного грязные, пропитанные благодатным трудовым потом. Любители пострелять уток на перелете стоят зорями на взгорье истуканами (иногда с биноклем в руках), изучая утиные воздушные дороги на кормежку и обратно. «Лодочники», эти не раз совершат труднейшие путешествия в заросли камышей, изрежут челноками несколько километров нетробоного резака, и все только для того, чтобы определить точно, где выводки, где утренняя садка, куда иной раз собирается несколько десятков кряквы.

Жены охотников либо начинают вздыхать, либо пилить мужей (смотря по характеру), предчувствуя расставание с ними на все выходные, до конца сезона. Жены знают: сказавши однажды: «Ни пуха, ни пера», они будут повторять это каждую субботу вечером. В воскресный же вечер будут встречать мужей. А они — эти самые, с позволения сказать, мужья, — поевши, падают в постель и засыпают, как под наркозом. Режь такого — умрет, не проснется. Но умрет улыбаясь.

Однако не все таковы охотники. Они тоже разные. Многие, азартно готовясь к открытию, поохотятся разок-другой, придут с пустой сумкой и потом — ружье на гвоздь. Это уже не охотники, а так себе — неудачники или лентяи, распугивающие дичь в первые дни и оставляющие сотни подранков.

Но все равно, какого бы характера ни был охотник, он выезжает на открытие. В этот день можно встретить с ружьем и колхозника, и рабочего, и учителя, и агронома, и инженера, и председателя райисполкома, и секретаря райкома, и даже секретаря обкома, и юношу, впервые взявшего в руки ружье, и почтенного пенсионера с таким же дряхлым легашом, как и хозяин; впрочем, попадают и пенсионеры, что хоть в бочку запрягай.

Вот там-то эти чудаки становятся (почти все!) хоть чуть-чуть, но не такими, какими они бывают всегда. Респектабельный на улице пенсио-

Публикуемые главы являются окончанием цикла очерков «В камышах». Начало было напечатано в четвертой книге «Нового мира» за этот год.

нер отдерет вам в камышах частушку, а вечером с увлечением расскажет о гражданской войне, о своих походах и боях в те годы. Колхозник выложит всю подноготную своего колхоза председателю облисполкома, да еще и добавит: «Куда же вы-то смотрите?»

Одним словом — все становятся не совсем такими, какими мы привыкли их видеть.

Для настоящих охотников день открытия — это вздох полной грудью, долгожданное наслаждение лесом и лугами, камышами и птичьими песнями, водой и землей, небом и тишиной — всем тем, без чего не может быть никакого счастья, не может быть свежей мысли и радостного труда.

Именно поэтому в один из августовских дней я снова оказался в Далеком. Приехал туда накануне открытия — не хватило терпения. Захар Макарыч Пушкарь прилип снова к комбайну, Алеша Русый «не вырвался от директора» раньше срока, поэтому мы договорились: они оба будут в Далеком тоже накануне открытия, но только вечером, в субботу.

Весь день мне предстояло провести одному.

Далекое в августе совсем не то, что весной в половодье. От русла Тихой Ольхи и до острова затон сплошь покрыт лилиями-кувшинками и пятнами резака. Снежно-белые, с кремовым оттенком лилии на зеленом фоне их же широких и сочных листьев, отгороженные от горизонта зелеными камышами, кажутся какими-то сказочными. Здесь все так не похоже на ту природу, что вблизи селений и городов. Нежно-беленькие кувшиночки, зеленый-зеленый, чуть трепещущий от ветерка ковер ряски и голубые окна воды. Белое, зеленое, голубое — других цветов нет. Разве лишь по краям, у самых камышей, выпрыгнет полоска цветущей розовато-голубой речной мяты, пахучей и нежной, с темно-зелеными пушистенькими листьями. И все это залито ослепительным солнцем, все слегка поблескивает.

Я остановился среди такой неописуемой красоты. В который-то раз в жизни! И снова был удивлен и поражен, как и ежегодно.

Вот передо мной, на расстоянии полутора метров, вода заиграла золотыми причудливыми узорами. Я долго люблюсь искусным плетением: кружево все время движется и изменяется, то сужаясь плотнее, то рассыпаясь вдребезги, то снова возникая будто ниоткуда. Это маленькие жучки-вертячки. Их тут, пожалуй, будет больше сотни — редкое собрание. Они кружатся на воде, вертятся каждый в отдельности, а солнце тклет живые золотые кружевца из их следов. Кажется, что здесь неизменно хитроумный танец, но на самом деле это обычная работа безобидных, стального цвета жучков: они гуртом охотятся, вылавливая микроскопически малую добычу.

Можно подумать, что они настолько увлечены своим занятием на воде, что не замечают ничего вокруг. Не тут-то было! Попробуйте взмахнуть рукой или веслом — золотые брызги взметнутся в разные стороны. И — нет жучков, пропали узоры. Мало кто знает, что у вертячки удивительные глаза. Они разделены поперечной стенкой: нижняя часть видит на воде и под водой, а верхняя — с поразительным вниманием следит за всем, что над водой; одна половина глаза охотится, другая стережет от врага сверху. Ведь это же чудо природы! А некоторые люди не замечают, проходят мимо.

Шагах в десяти от меня, по широким листьям кувшинок, у края камышей, прокатился серенький комочек и вдруг замер в центре листа... Снова прокатился и снова замер... Потом — назад той же дорогой, и так же быстро, и так же с остановками. Пушистый комочек меньше куриного яйца. То он скроется, то снова выкатится из камышей, но от них далеко не отбегает. Кто это?

А я знаю — кто. И вовсе это никакой не комочек, а цыпленок болотной курочки. Ему несколько дней от роду, а он уже сам умеет находить пищу и ночлег. Забавная птичка. В гнезде водяной курочки никто никогда не видел птенцов — даже Захар Макарыч Пушкарь не видел, хотя и пытался не раз. Оказывается, эти детишки, как только вылупятся и чуть обсохнут, убегают из гнезда и уже больше туда не возвращаются. Еще не оперившись, покрытые наполовину пушком, они бросают мать насовсем и разбегаются.

И вот он строчит себе и строчит по листьям, питается всякими дарами земли и воды. Но... неожиданно, где-то поблизости, лысуха тревожно крикнула об опасности; крачка, маленькая чаечка, надрывно вскрикнула, предупреждая о приближении коршуна. В камышах зашуршало. И затихло. Цыпленок укатился туда в одно мгновение. А коршун проплыл над затоном бесшумно и грозно: всех неспособных он, конечно, уничтожит, а те, что понимают язык птиц-сторожей, начхали на него. Цыпленок — тоже: когда миновала опасность, он выкатился снова, но бегал опять-таки только рядом с камышами. Этот не пропадет — ушлый цыпчóк, дотошный. Меня он не замечал совсем: челнок был в камышах от кормы до носа, а сидел я неподвижно.

Стая нежно-расписных щурок, появившись неожиданно и невесть откуда, запорхала над водой с веселым щурканьем. Проворные и говорливые, они что-то старательно высматривали, то совсем низко опускаясь, то взмывая вверх.

Зимородок нырнул камешком с куста в воду, не раскрывая крылья, и... «утонул». Но он вытащил рыбку и, как ни в чем не бывало, полетел, ничуть не замочив перышки.

Иной раз мне хочется сидеть, отдыхая, наслаждаясь и восхищаясь миром, прислушиваясь, всматриваясь. Здесь ничего не стараешься запомнить, но ничего и никогда не забываешь.

День прошел незаметно.

Только после того, как ржаво проскрипел вдали коростель, я понял, что вечерет. Мысленно поблагодарил эту пешую птицу за предупреждение и направился на остров, на ночевку. А коростель ритмично скоблил и скоблил, будто ногтем по гребенке, будто звал меня: «Пора варить... Пора варить»... Тоже интересная птица: летает неохотно, большую часть жизни проводит «в бегах», — даже во время перелета на юг коростель значительную часть пути отшлепывает пешком... Ладно, живи так — бегай, как положено по чину, и скрипи свою зорю. Каждому свое.

У берега острова, в том месте, где обычно причаливают редкие здесь охотники, уже стоял чей-то челнок. Был он выкрашен не под зеленый цвет камыша, а в ярко-голубой; бортики обведены белилом, а на борту, ближе к носу, красовалась белая же надпись: «Только вперед!» Странное явление: в этакой глуши появился размалеванный челн, от которого вся дичь будет шараться за километр. Не надо быть следопытом, чтобы догадаться, что прибывший на разукрашенном судне не имеет никакого охотничьего опыта. Он, видимо, слишком еще молод, чтобы знать, что такое маскировка. Не было в лодке и суховилки, без которой в осеннюю охоту здесь не пробраться на плес по густому резаку и зарослям камыша, а лежало одно лишь короткое весельцо-игрушка, для легких прогулок.

Но где же сам охотник?

Расположившись на лужайке под дубком, я решил сварить кашу-сливаху (авось охотник и сам объявится).

Вскоре костер уже пылал под котелком.

За спиной зашуршало. Оглянувшись, я увидел, как человек тащил огромную вязанку сучьев и хвороста. Лица его пока не было видно —

он согнулся под тяжестью ноши. Когда же поравнялся со мной, то сбросил вязанку наземь, вытер потный лоб рукавом и подошел ко мне.

— Это был... Переметов!

Хотя я не был с ним коротко знаком, но знал точно, что он никогда не охотился. Больше того, он когда-то высмеивал охотников и рыболовов, называя их бездельниками.

— Никак ты? — спросил он.

— Здравствуйте, товарищ Переметов! Не знал, что охотой занимаетесь.

— Думаю заняться... Надо заняться. Вот видишь, лодку новую заказал.

Он присел у огонька. Лицо его — цвета розового дровоточца, в меру упитанное и почти безбровое; сняв фуражку, он обнажил легкую лысину ото лба. Передо мной сидел бывший руководитель района (даже трех районов поочередно). Лет ему не больше сорока пяти.

— Стареешь, — сказал он мне.

— А вы ничуть, — ответил я, не солгав ни капельки.

Он слегка ухмыльнулся и спросил:

— Чего так рано приехал? Открытие-то завтра.

— В отпуске... Хотелось денек отдохнуть на воле.

— Отдохнуть — это неплохо. Неплохо... Да-а, неплохо. Вот так... — Говорил он снисходительно и, пожалуй, покровительственно, как за письменным столом служебного кабинета. — Вот так... Неплохо отдохнуть. Отдохни. А я пойду работать.

— Чего ж тут работать?

— Эге, братец! Да ты в охоте, видно, не силен... А я вот по привычке: с народом, с народом советуясь... Порасспросил, узнал.

— И что же узнали?

— А то: завтра понаедут тут... всякие, захватят самые хорошие места, а ты будешь болтаться. Из-за того и приехал за день раньше... Работать надо, работать. Вот так... Работать.

— Палки-то зачем нарубили? — спросил я уже с живым интересом.

— Палки? — Он опять ухмыльнулся. — Шалаш буду над лодкой горючить.

— Здесь же кругом камыши! Не надо никаких шалашей. Вы же себя демаскируете. Ветки ваши и палки далеко будет видно. Надо так: въехать в камыши, завязать их над челноком аккуратненько и все. — Мне казалось, что говорю убедительно.

Но Переметов подарил свою розовую и ласковую улыбку и возразил, вставая:

— Ой, и хитрец ты, я вижу! Ты бы, значит, убил бы, а я — с пустой сумкой. Ишь ты!

Я сообразил наконец, что советовать Переметову бесполезно (он по привычке сам все знает), и перевел разговор в другую плоскость. Очень уж собеседник мой показался мне занятым здесь, среди природы.

— Вы садитесь-ка, — говорю, — да отдохните. А я расскажу, что сегодня видел. Интересно!

— А ну-ка, ну-ка? Послушаем. — И он снова сел.

Я рассказал ему про жучков-вертячек.

Он констатировал коротко:

— Ничего особенного. Обыкновенная тварь.

Рассказал ему про цыпленка.

Он отрезал:

— Мало их, цыплят разных. Всякие бывают цыплята.

Наконец, уже без волнения, без всяких там красок, сказал ему:

— Дергач, коростель, пешком топает на юг.

— Птица так не может,— заключил он. Потом подумал и дополнил: — А если, допустим, и ходит на юг, то почему бы ей и не ходить, если от природы дана такая установка... Только вряд ли.

Он ничему здесь не удивлялся, ничему не верил. А встав с земли, заявил:

— Дите ты малое, в полном смысле... Поеду шалаш делать.

— Где думаете стать с шалашом-то?

— На реке. На реке... Думаю, на реке.

— Надо в глушь забиваться, на плеса. На русле вряд ли что получится. Утка любит крепи, дебри. Вот когда морозы ударят, тогда другое дело... тогда — на русло.

— В глушь пусть другие забираются. «Утка любит!» Почем ты знаешь, что утка любит?.. Карась тоже любит, чтобы его жарили в сметане.— Он рассмеялся над своей остротой и, легко подняв вязанку, пошел к челноку, довольный, уверенный, розовощекий.

Снова я остался один. Но уже не хотелось прислушиваться к тишине леса, уже не радовал огонек костра и запах свежей каши.

Понятно, я был немало обрадован, когда у берега кто-то весело крикнул:

— Эй, у костра! Пусти ночевать под небом.

— В нашей хате — каждый гость! — ответил я бодро и сам направился к берегу.— Кого бог принес?

— Я неверующий. И богу от меня мало проку, чтобы носить.

— Бог, он — не дурак, знает кого носить. Никак Валерий Гаврилович?

— Он самый. Фомушкин по фамилии. Бывалый охотник и небывалый стрелок: из двенадцати уток выбиваю тринадцатую — остальные летят своей дорогой.

На охотнике был поношенный ватник-телогрейка, выдавший виды картузик, коричневые брюки, заправленные в охотничьи, с ботфортами сапоги. Крепкого сложения, среднего роста, он легко выволок челнок наполовину из воды, подтащил свое охотхозяйство к огоньку и подал мне руку:

— Гора с горой... Год прошел, как я в районе, а не приходилось нам с вами, вот так-то.

— Зато о вас мне кое-кто рассказывал,— загадочно сказал я.

— Например? — насторожился Фомушкин.

С притворным вздохом я ответил:

— Например, Василий Кузьмич Кнутиков.

Фомушкин схватился за голову:

— Неужели про петуха выложил?!

— Совершенно точно.

— Понимаете, какая история вышла? А? Не могу до сих пор смотреть ему в глаза. Хотите верьте, хотите нет — стыдно.

— Ну вы-то при чем же? — попробовал я утешить.

— Жрал же и я петуха породистого. Как это так при чем? Скверно получилось. Но я замолю грех: я ему таких цыпляток подброшу с инкубатора! Он поймет.

— Конечно же, поймет,— согласился я.

Валерий Гаврилович уселся у огонька, закурил папиросу. Роговые очки не придавали ему никакой степенности — его широкобровое лицо с чуть-чуть выдающимися скулами было все равно открытым. Лет ему можно дать не более тридцати — тридцати пяти.

Без всяких там экивоков он принял мое приглашение и стал уплетать со мной кашу-сливуху, как дома. Ложки у него не было, поэтому он тут же выстрогал ножом лопаточку и орудовал ею.

Я спросил:

— А где сейчас работает Переметов?

— Нигде. Ждет место... Что это он вас заинтересовал?

— Он здесь. Поехал городить шалаш. Разговаривал с ним.

— Странно,— произнес неопределенно мой собеседник.— Что это он возгорел страстью к охоте? — Фомушкин вздохнул: — Беда мне с ним!

— Что-нибудь случилось?

— Ничего, конечно, не произошло, но в неделю два раза он посещает меня в райисполкоме и дает указания, советует, как надо работать. Бывает так, что...

Он не договорил, потому что от берега послышался сначала говор, а потом чуть хриловатый голос Алеши Русого:

— Охотников принимаете?

— Ворота настесь — заезжайте прямо во двор! — ответил Фомушкин.

И мы направились с ним туда.

Приехали два моих друга, каждый на своем челноке: тракторист Алеша Русский и все тот же Захар Макарыч Пушкарь — комбайнер-пенсионер.

Не успели мы подойти вместе с приехавшими к своему табору обратно, как с острова подошел Петр Михайлович Чумак.

— Эй, вы, сонные тетери, открывайте брату двери! — крикнул он еще шагов за двадцать.

Захар Макарыч прямо-таки сорвался с места и побежал к нему на встречу, а Фомушкин сказал, обращаясь ко мне:

— Ученый прибыл.

— Шутите? — спросил я.

— Вполне серьезно. Не шучу. Я же с ним в одном районе лет пять работал вместе: он — председателем колхоза, я — тоже. — И шепнул на ухо: — Думаю рекомендовать его своим заместителем. Чш-ш-ш! — Он обратился теперь к подошедшему Чумаку: — А кого, позвольте-ка спросить, за сонных тетерь принимаешь?

— К слову пришлось,— ответил тот в самом добрейшем расположении. — А впрочем, может, ты и есть сонная тетеря. Чего забываешь друзей? Как стал председателем райисполкома, так уж и... Подумаешь! Чин! Небось как с дипломной работой — висел у меня на шее, а тут — ни гугу.

— Каюсь. Признаю! — воскликнул Фомушкин, потрясая руку Чумака.

А тот крикнул:

— Огня! Будем поджаривать председателя райисполкома!

— Огня! — заревел Захар Макарыч и первым ринулся в лес за сухими сучьями.

Мы тоже — за ним. Уже в сумерках, всей компанией набрали ворох топлива. Вновь запылал костер. Теперь вокруг уже ничего не было видно: мир стал маленьким и уютным и уместился весь на этом пятачке, освещенном пламенем.

— Сказать вам всем новость? — спросил Алеша, подкладывая сучья в огонь.

— Всегда рады хорошей новости, — ответил Фомушкин, подвешивая чайник на козелки.

— Мы с Захаром Макарычем видели на русле чудо преестественное.

— А ну-ка? — встrepенулся Петр Михайлович Чумак. — Чего видели, кого видели?

— Пе-ре-ме-това!

— Шуршит хворостом, возится, как нечистый дух, — уточнил Захар Макарыч.

— Новость твоя, Алеша, уже с бородой. Знаем, — сказал Фомушкин и почему-то бросил взгляд на Чумака.

И тут я заметил, как Петр Михайлович, сидя на коленях у костра, сначала чуть помрачнел, а потом встряхнул головой, взмахнул единственной рукой, неожиданно рассмеялся, казалось, без всякой причины и произнес возвышенно:

— Отгремевшая гроза района!

Трещал костер, выхватывая из темноты то целое дерево, то куст, а то и всю поляну сразу. И тогда дерево дрожало, куст, казалось, шевелился, а поляна играла бликами. Но так — лишь на несколько секунд, при игре огня. Кругом же была темнота. Только звезды осыпали нас сверху и с боков. Очень яркий Юпитер висел прямо над елe различным силуэтом леса, будто выглядывая и прислушиваясь к нам.

Потом мы пили чай. Захар Макарыч рассказывал, какой хороший хлеб в этом году («на полкруга — полный бункер!») и как его, Пушкаря, по-доброму встретили в колхозе. В заключение он подытожил:

— Этим летом я убежал маленько от старости.

— Тебе, Макарыч, осталось и жить-то каких-нибудь восемьдесят лет, — подсчитал Алеша и тут же начал было выкладывать Валерию Гавриловичу о своем совхозе: — Я вот вам сейчас — всю подноготную...

Но кто-то, идя от берега, кашлянул два раза, будто поперхнувшись.

— Кто? — спросил Алеша.

— А ты кто? — послышался ответный голос.

— Переметов идет! — тихо воскликнул Петр Михайлович.

— Пропал вечер, — вздохнул Валерий Гаврилович. А к Алеше обратился тихонько: — Потом расскажешь. Сейчас о делах — ни мур-мур.

— Соображаю, — согласился Алеша.

— Все тут? — спросил Переметов вместо приветствия.

— Вас не хватает, Яков Гордеевич, — ответил Захар Макарыч. — Остальное все в порядке.

— Раз, два, три... Пятеро, — сосчитал нас Переметов, как овец в отаре. — По десять штук — пятьдесят уток... Где же им наплодиться, уткам-то!

— По десять нельзя, — возразил Алеша. — Разрешается только по четыре на нос. Три дня поохотитесь — пожалуйста, можно и двенадцать.

— Кто это тебе сказал? — спросил Переметов, явно наметивший себе десять жертв на завтра.

— В газете написано.

— В газете... Мало ли что в газете... Возможно, и в газете, — неожиданно передумал Переметов. — Если в газете, то — установка... Вот так... По четыре?.. Ну, по четыре так по четыре, — примирился он.

Переметов все еще стоял у костра, пока Валерий Гаврилович не пригласил его:

— Садитесь, Яков Гордеевич, — чайку выпейте. Помогает — поднимает настроение.

Тот сел. Петр Михайлович подал ему свою алюминиевую кружку и сахар:

— Помогает чай здорово — голова лучше работает.

— Это точно, — согласился Переметов. — По себе знаю. Точно — помогает. — И пил чай, шумно отхлебывая.

В первые минуты все мы почему-то прислушивались, как он пьет чай — с аппетитом, со вздохами, с большим удовольствием. Но он, еще не докончив чаепитие, стал поучать и наставлять:

— Ты думаешь, Фомушкин, руководить районом — раз плюнуть? Нет, брат, не так. Не так совсем... Надо с народом держать связь. С народом. Вот так...

— Держим связь,— попытался отбрыкнуться Валерий Гаврилович, но это только подлило масла в огонь.

— Ты — связь! Нету связи. Оторвался от народа. — Он, казалось, сердито отхлебнул последний глоток и, не глядя, возвратил кружку Чумаку.

— А это еще надо доказать, — бросился в защиту Алеша. — Нужны факты. Дайте фактики.

— Факты? — переспросил Переметов и окинул всех нас взглядом. — Я бы тебе тысячу фактов привел... да не место тут об этом балясы точить. Все идет к худшему и к худшему. С такими темпами отрыва от народа не скоро придем к коммунизму, а обратно пятиться будем.

— А может быть, вам это только кажется? — как-то вяло, нехотя спросил Валерий Гаврилович.

— Что мне кажется?

— Ну, что все хуже в районе, чем при вас.

— Нет, брат ты мой! Это тебе кажется все хорошо. Вот так...

— Мне не кажется. Есть и хорошо, есть и плохо. По-разному.

— Ничего я не вижу хорошего в районе. Ни шиша. Вот так... И вам, дорогие товарищи, придется потом расплачиваться за свою совесть. Придется выпить горькую чашу. Я — не пророк, но так оно и будет.

— А мы ее уже выпили до дна, горькую чашу, — рубанул неожиданно и на полном серьезе Захар Макарыч.

Никто из нас не понял намека. Переметов спросил в недоумении:

— Как так — выпили до дна?

— А так: перед тем, как ехать сюда, мы с Алешей целую пол-литру раздавили, как головастика. Крэк! И — нету.

Мы рассмеялись. Однако Алеша даже и не улыбнулся. Он, казалось, приготовился слушать ответ Переметова на шутку. Но тот, покачивая головой, повторял с сожалением:

— И это — руководители! Руководители называются! Как же вы с народом будете разговаривать? Руководители... Дошли до ручки... Тоже мне, руководители... — Он напирал на это слово, поглядывая на Чумака и Фомушкина с участием, как на больных. — «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь», — сказал писатель Гоголь. И правильно сказал...

Захар Макарыч в данном случае представлял «народ», который тоже смеялся и любил смеяться. Меня же, конечно, Переметов не причислял ни к тому, ни к другому слою общества, поэтому я хохотал от чистого сердца.

Когда же стали располагаться, чтобы вздремнуть перед зорькой часок-другой, Переметов заметил, что место мы выбрали не то, и что костер развели не там, и что варить чай мы не умеем, что варить его надо с умом, а «не раз плюнуть».

Алеша нарочито вежливо остановил его поучения:

— Вы ложитесь-ка, Яков Гордеевич. Ложитесь. Мы народ тугой — за один вечер не перевоспитаешь. Ложитесь — отдохните. Чего зря слова тратить. Если бы так с месячишко, то польза была бы. А за один вечер — не получится, говорю.

— Пожалуй, верно, — согласился Переметов, улыбнувшись наконец. И уже весело, ласково, будто поглаживая при этом по спине лошадь, убеждал Алешу: — Вот ты — рабочий человек: с тобой я — по душам. Возьмем лет десяток назад. Совсе-ем другой вид был у руководителей районом: что осанка, что голос, что внушение умел дать! А сейчас? Вот они, смотри на них. Посмеиваются себе, как Аркадий Райкин. — И он ткнул пальцем в Фомушкина и Чумака. — Приди ты в райисполком сейчас: сидит за столом не председатель, а вроде бы школьный учитель — ни формы, ни стати, ни авторитета для посетителя...

— Конечнo, — согласился Алеша вполне серьезно и степенно (он так умел). — Вид должен быть. Вот при вас-то, бывало... Э, да что та-ам!

— То-то вот и оно. Понимать надо.

— Надо, — опять же поддержал Алеша. — Когда бабка моя готовилась сказку сказывать, то начинала так: «Кто ума не занимает, тот и сказку понимает».

— Правильно бабка говорила. Умная бабка, — подтвердил Переметов и стал укладываться, покряхтывая и ворочаясь: — Тоже мне, охотники... не могли потолще настелить.

Алеша прямо-таки встрепенулся:

— Да если бы я знал, что вы тут, то тогда...

Взаимопонимание Алеши и Переметова было буквально трогательно. Только Переметов-то не знал, что в Алеше бес сидит глубоко.

Петр Михайлович из-под плаща, которым он накрылся с головой, спросил полусонным голосом:

— А чего это вас прорвало на охоту, товарищ Переметов? Думалось, звать вас на охоту — все равно что курицу звать в воду.

— Посмотрим завтра, кто из нас охотник, — лениво, уже полусонно, ответил Переметов.

— Я не к тому, — докучал из-под плаща Петр Михайлович. — Откуда неожиданно страсть?

— А может, она и была у меня, страсть... да положение не позволяло... «Предрика, а с ружьем шляется». Так может сказать народ? Может. А к народу надо прислушиваться... И кроме того: где ты сейчас купишь утку? Нигде в районе не купишь. С мясом засели... С такими руководителями, как вы, утятини не покушаешь..

Он что-то говорил и еще после, но слова проскакивали мимо моих ушей. Было уже неинтересно. Лишь одно я вынес: Переметов был глубоко убежден, что без его личного руководства Камышевецкий район гибнет безвозвратно и уже никогда не сможет подняться вновь.

* * *

Перед самой зарей чуть-чуть покrapал нежный дождичек и обросил все вокруг. Легкий туман повис над камышами. С утра дождь — это не дождь, а туман с утра — к ведру. Приметы верные — будет хороший день.

Перед рассветом мы расползлись по камышам на своих челноках, а Переметов заболтал весельцем к реке, в свое сооружение.

Мы с Валерием Гавриловичем решили стать «в голове» вдвоем. На таком озере можно и четвером.

Зашалашились мы довольно быстро, легко и просто. Нужен был только небольшой моток шпагата и — больше ничего.

Валерий Гаврилович устроился метрах в ста пятидесяти от меня, лицом к заре, так же, как и я.

Туман над озером курился теплым парком. Листья камышей, хотя я и отряхнул их вёслом, то и дело беззвучно бросали капли в челнок и на траву, но на мой плащ — хлестко. Больше ни звука. Небо пока еще закрыто сплошными серыми облаками, пока еще все вокруг было в мутноватой серой пелене, свежей по-утреннему, сырой, но приятной, бодрящей. Пелена была живой: она двигалась над водой, то мутнея, то просветляясь. Августовское предутро повисло над Далеким, задумчивое, напоминающее о том, что осень не за горами.

Но сколько прелести в самом утре в это время года!

Вот постепенно появляются красноватые просветы в облаках — это солнце подходит к горизонту. Оно близко, совсем близко. Облака становятся все жиже и жиже, редуют, отступают перед солнцем. И вдруг, как-

то совсем неожиданно, образовалось в облаках окно, а мощные лучи прорвались в него и ударили по небу веером. Вокруг этого окна, по краям, — золото. Горы золота над землей. Из золотого окна — прямые дорожки лучей. Утро наступало торжественное, величественное и, наверно, опять и опять неповторимое в своей могучей красоте.

Сотни раз я встречал зóрю, но не помню, чтобы одна была похожа на другую. Настолько щедра наша земля на подарки человеку, что вы можете получать их так часто, как захотите сами. Мне, например, в такие зори слышится какая-то, кажется, знакомая-знакомая симфония. Кажется мне, что слышу утро, слышу и эту невероятную тишину, врывающуюся в самое сердце. Всегда в такие минуты чуть-чуть внутри дрожь.

И вот солнце уже растолкало облака, рассыпало их по куполу, как **добрый** пастух отару овец. Вскоре облака стали прозрачными и рассеялись поодиночке по всему небу, а между ними все больше и больше расширяются голубые-голубые просветы. Нет-нет да и пересечет луч в одном из таких просветов все небо, розоватый с синим отливом. И растает, уйдет никуда. Но вдруг я увидел необыкновенное и незабываемое, увидел впервые в жизни.

Три облака сошлись незаметно и образовали причудливое, с извилистыми золотыми краями, огромное окно. Казалось, края его, изменяясь с каждой секундой, дрожат от лучей еще не взшедшего солнца. Оно изо **всей силы бросилось** в этот просвет и вскользь осветило одно из далеких расплывчатых облаков, которое было почти на противоположной стороне купола, самое высокое, где-то в верхнем слое. И то облако заиграло перламутровыми переливами. Из множества уже белых облаков это было единственное во всем небе с тончайшими и нежнейшими оттенками, без каких-либо резких переходов и границ цветов. Оно играло над землей мягко-радужными цветами, в каждом из которых было чуть-чуть голубого. Это было чудное явление природы и редчайшее в наших местах. Перламутровое облако!

Не многим удается видеть такое.

— Смотрите! Смотрите! — крикнул Валерий Гаврилович.

Две стайки уток, испугавшись, сорвались со середины озера. Голова Валерия Гавриловича торчала над пригнутыми им камышами (он, видимо, стоял на скамейке челнока), а рукой показывал мне на перламутровое облако:

— Смотрите! Скорей смотрите!

— Вижу! — ответил я ему. И повторил еще раз, вложив весь свой восторг: — Ви-ижу-у!

Оно, это чудесное видение, исчезло так же неожиданно, как и появилось. Но зато осталась в сердце отметинка на всю жизнь: я видел перламутровое облако и был в те минуты счастлив; а неподалеку от меня стоял в челноке мой новый знакомый, — знаю, мой новый друг, — тоже счастливый в тот миг и восторженный.

...Мы просто прозевали зóрю: стреляли уже часов в шесть, когда с кормежки шли последние утки. И всего-то мы взяли по парочке. Если к тому же добавить, что в моей парочке был один чирок, то, можно сказать, возвращались мы «с пустым полем».

— Ну и пусть, — сказал Валерий Гаврилович, когда, проталкиваясь суховилками в резаке, мы направились к острову. — Зато какое утро! Какое облако! А!

Мне нечего было ответить, потому что мы уже понимали друг друга.

А на берегу Алеша задумчиво сказал:

— Говорят, чудес нет на свете. Да в таком чуде фанатик может вообразить что угодно: и икону какую-нибудь, и даже самого бога Саваофа.

— Может. Факт, может, — согласился Захар Макарыч. — А все так просто. И все было душевно в том облаке.

После того как мы сошлись под дубком, Валерий Гаврилович спросил у всех сразу:

— Что-то Петра Михайловича до сих пор нет? Не застреля ли? С одной рукой ведь... А резак вон какой густой...

— Не застрянет, — уверенно ответил Захар Макарыч. — Он тут каждую камышинку знает. С детства знает.

Прошло еще с полчаса, как наконец появился Петр Михайлович. Он, не выходя из челнока, позвал нас взмахом руки. Мы подошли.

— Переметова надо спасать. Один пробовал — не получается: все-таки две руки — это руки, а одна рука — это просто рука.

— Что случилось? — спросили мы в один голос.

— Захряс в резаке и сидит чучелом.

А получилось все очень просто: Переметов, видимо, услышав выстрелы и не обнаружив никакой дичи над своим сооружением, решил срочно переехать в другое место. Никаких угодий он здесь не знал и не представлял, что такое резак для челнока. Со своим веслом-мешалочкой он протиснулся на сотню метров, пытаясь пройти в дебри Далекого, но из этого ничего не вышло. А назад — никак.

Мы подъехали всей компанией и остановились у края резака. Переметов сидел на дне челнока ссутулившись; фуражка сползла козырьком набок, пот струился по лицу, рубаха прилипла к телу; весь он выглядел измятым, раскисшим, в полной безнадежности.

Алеша перешел в челнок Захара Макарыча. Они вдвоем, в две суховилки, пробилась к незадачливому охотнику, взяли его на буксир и с трудом выволокли на протоку. Он молчал, вытирая рукавом пот со лба. Когда же наконец оказался на чистой воде, то шумно вздохнул.

— Что, тяжело? — участливо спросил Захар Макарыч.

— Пропади она пропадом, ваша охота... — ответил Переметов угрюмо.

Петр Михайлович обратился к нему же, но не без иронии:

— Ты, Яков Гордеевич, облако видел?

— Какое такое облако? — уже в полном изнеможении пробурчал Переметов.

Ухайдакал резак «отгремевшую грозу района».

Алеша сказал ему с таким нескрываемым сожалением:

— Поезжайте-ка вы, Яков Гордеевич, домой. Дружеский совет вам от всего сердца. Ей-правда, поезжайте.

Переметов поехал домой один, не оставшись на вечернюю зорю. Поехал угрюмый.

На борту его челнока красовались белые броские буквы: «Только вперед!»

А поехал он назад. В растерянности и удручении он сел в челноке задом наперед и булькал своей мешалочкой. Потом-то, в пути, он, конечно, заметит, что сидит не так. Да толку-то!

Хуторок над речкой

В один из субботних дней августа вздумалось мне поехать вверх по Тихой Ольхе. Когда-то там были отличные места для охоты на бекасов и дупелей. Правда, берега реки и там заросли камышами, но зато в пойме есть чистые луга с мелкими болотцами и кочкарником, заросшим мелкой осокой, хвощом и мочажинником. Конечно же, в таком случае была со мной в челноке и моя Лада.

Хотя первые порывы радости и восторгов у нее уже прошли, но она, сидя в середине лодки, все еще изредка вздрагивала от волнения.

На моторе в это время года можно проехать вверх довольно далеко от Камышевца, километров за двадцать. Но дальше, перед бекасиными местами, речка заросла настолько, что пробраться по ней можно лишь на весле.

Итак, мы с Ладой были почти у цели и не спеша ехали к пойменным лугам, что в двадцати пяти километрах от Камышевца.

Небо было пасмурным. Облака закрыли солнце совсем, и казалось, нет им ни конца, ни края. В безмолвной тишине безветрия камыши стояли спокойно. Огромнейшие здесь листья кувшинок были тоже недвижны. Река в этих местах течет тихо, лениво, а в августовском беззвучии кажется в каком-то полусне позднего лета. Разве нет-нет да прощобечет камышевка, из тех редких экземпляров, что поют даже и позднее конца августа. Но ближе к вечеру на лужайке, недалеко от берега, все еще свистит погоньш, одиноко и прощально. Свист его, отрывистый и звонкий, очень похож на свист погонщика волов или пастуха коровьего стада. Недостает только того, чтобы погоньш еще крикнул что-то по-человечески, как настоящий заправский пастух. Но я мысленно дополняю это сам. Погоньш: фийт! фийт! А я: «Куда пошла, зараза!»

Еще при первом его свистке Лада встала передними лапами на лавочку, замерла. Потом оглянулась на меня: «Слышишь, свистит? Может быть, сходим за ним?» Я покачал отрицательно головой. Она, чуть послушав еще, снова села на средину челнока.

Так мы и едем — тихо, в полусонном окружении.

Даже лягушка и та проквакала ленивым смешком, без обычного упоения: «Ква-ке-ке — не все ли равно, лето кончается... Ква-ке-ке».

Потом, к концу нашего пути, где-то далеко-далеко монотонно и еле слышно заурчал комбайн — значит, уже убирают и просо. Эти звуки настолько ровны и непрерывны, что тишина от этого ничуть не нарушалась и даже наоборот: казалось, сама тишина журчит. Так бывает неслышен в предосеннем лесу резвый ручеек в могучей тишине — он становится ее частью. Поэтому же и я слышал только всплески своего весла. Остальное было тишиной.

К берегу мы пристали против маленького хуторка с обидным названием Вонючка. Он на противоположной от нас стороне реки прилепился на взгорье кое-как, будто наспех, на несколько дней, без улицы и в полном беспорядке. Вокруг изб — ни деревца, ни кустика. Нет и надворных построек — одни избы, тоже сложенные кое-как, впопыхах, из самана и соломы, серые, небеленые. Так и кажется, что люди здесь живут несколько недель, не больше одного лета, а потом они вот-вот уедут.

В каждом селе, где бы я ни побывал в последние годы, много новых домов, колхозники строятся. И это примета времени. Но хутора и крохотные деревеньки кончают жить, расплзаются, тянутся в село, в город. Таков и этот хуторок. Знаю, было здесь сорок дворов, а теперь осталось... Сколько?.. Считаю: тринадцать. На местах бывших изб видны курганчики, заросшие бурьяном.

Облака были серыми, недвижимыми, казалось, они придавили заброшенный, доживающий последние годы хуторок, но он все еще пытается топорщиться верхушками соломенных крыш. Многих из его жителей я знал когда-то близко, еще с тех времен, когда здесь ели лебеду в голодный год. А кто теперь там остался? Этого не знаю, потому что не бывал там более пятнадцати лет, то есть с тех пор, когда Вонючка входила в мой агроучасток, а колхозик назывался «Светлый путь».

Старые, знакомые места!

— Лада! — окликнул я тихонько.

Она преданно смотрела мне в лицо.

— Ты собака хорошая, Лада... Ты молодчина... Начнем? — спросил я, погладив ей голову.

Лада прыгнула на берег и сразу же пошла челноком: влево-вправо-вперед, влево-вправо-вперед. На поворотах она каждый раз бросала на меня взгляд. Вначале горячилась, спешила, нервничала, но вскоре, чуть пропотев, пошла ровно и спокойно.

Вот она резко остановилась, будто наткнувшись на что-то, чуть прыгнулась и, еле переступая, пошла на потяжку — бесшумно переставляя лапы: шаг ее становился все реже и реже, все осторожнее и осторожнее, и наконец она замерла на месте, приподняв переднюю лапу, замерла, как изваяние. Стойка!.. Та самая стойка, любоваться которой без страстного биения сердца не может ни один настоящий охотник.

Где-то близко от Лады, там, куда она направила взор, затаилась дичь. И я тоже дрожу, переступаю тоже осторожно, держа ружье на изготовку и не спуская глаз с Лады. Она недвижима.

Еще два шага... Стою позади Лады и тихо приказываю:

— Пиль!

Пружиной она прыгнула вперед и в ту же секунду легла, приподняв голову. Бекаса будто выбросило. Он мелькнул над травой в полроста человека. Секунда — и я накрыл его стволами. Выстрел! Промач! Дублет!.. Серый комочек клюнулся в траву.

Лада встала, смотрит на меня с укором: «Что же это ты, Тихон Иванович, промазал первым-то? Ай-яй-яй!»

— Это ничего, Лада, ничего. Я тоже волнуюсь... Поддай!

Лада несет бекаса по всем правилам — за крылышко — и отдает мне «из рук в руки». И тогда мы с ней коротко объясняем в любви.

...Небо в тот августовский вечер все гуще и гуще затягивалось свинцово-сизыми облаками. Мы с Ладой взяли еще одного бекаса, Дважды я промазал, как школьник, за что получил от Лады выговор: она с обидой отвернулась и лишь изредка поглядывала вполоборота в мою сторону. На собачьем языке это значило: «Уму непостижимо! Или ты мой труд ни за что не считаешь? Я работала. А ты пуделяешь в воздух. А ну тебя, мазила, к лешему!» Я перед ней извиняюсь, объясняю, что очень высоко ценю ее работу. Но кто же живет без ошибок! В конце концов мы находим общий язык и продолжаем охоту. Лада умеет прощать.

Однако больше мы уже ничего не взяли — начал накрапывать дождишко, теплый, тихий, мелкий, как из сита. Лада захлюсталась до ушей и наконец совсем стала, поглядев на меня внимательно: ничего не чуя дескать, мокро.

Сбоку от нас оказалось пойменное озеро Почка, поросшее там и сям кугой, окруженное узкой полоской невысокого здесь камыша и действительно похожее по форме на почку. Эка, куда мы забрели! Я решил осмотреть озеро и направился вокруг него сначала к ольшанику, рассыпанному на противоположном берегу. Там, думалось мне, можно влезть на сук дерева и окинуть взором весь этот небольшой водоем — может быть, есть утки.

Но не успел пройти и сотни шагов, как совсем близко послышалась песня. Певца не видно — наверно, он сидел за камышами. Пел он как-то разухабисто, с выкриками и надрывом, по-блатному:

Темная но-очь... И-эх! Только пули свистят... Мама!

Потом молчание. Но вдруг с таким озлоблением и удалью пошло «переложение» известной лирической песни:

Ты меня ждешь,
А сама с капитаном живешь
И у детской кроватки...
Сульфидин принимаешь.

— Мама! — дико выкрикнул он, завершив этим куплет.

Певец замолчал.

Через сотню шагов я увидел: на старом, полуистлевшем пеньке сидел человек, подперев руками подбородок, и смотрел в одну точку. На коленях у него лежало ружье. Заслышав мои шаги, он встал, пристально смотря в мою сторону. Даже и в те секунды, когда я подошел и поздоровался, он бесцеремонно продолжал смотреть мне в лицо, однако же ответил на мое приветствие с явной иронией к себе:

— Привет из Вонючки!

На нем была изодранная телогрейка с торчащей в двух местах ватой, множество раз латанные засаленные брюки и совсем новые резиновые сапоги; совершенно новенький картуз сидел козырьком набок и чуть набекрень, обнажая густые русые кудри. По одежде сверху и снизу охотник был новый, а в середине старый. От угла глаза и ниже — большой шрам, наискось через всю щеку. Больше тридцати — тридцати пяти лет ему дать было нельзя.

Умные, остро простреливающие глаза, глубокие, но небольшие, шарили по мне: охотник будто изучал меня со всех сторон.

Как мне показалось, на лице у него блеснула чуть заметная улыбка, а шрам вздрогнул. Он спросил:

— А ты, случаем, не Тихон ли Иванов?

— Он самый. А вот тебя не могу признать. Ты чей же будешь?

— Данилу Шмеля помнишь? Данилу Сергеевича?

— Как же! Рыбак известный.

Данилу я знал хорошо, даже несколько раз ночевал у него когда-то, вместе рыбачили. Помнил и то, что для Данилы главным средством существования была речка. Сразу же всплыло в памяти, что у него был сын, парень лет шестнадцати—семнадцати, шустрый и деловой — на все руки мастер. Были еще две дочери. Все дети Данилы хорошо работали в колхозе.

— Так вот я и есть его сын. Митькой звали, — подтвердил охотник.

Я не мог поверить своим глазам. Митька заметил мое недоумение и спросил:

— Что, не тот Митька? — И ответил, чуть прищурился со стороны шрама: — Федот, да не тот.

Лицо его от этого резко изменилось: на нем стало два лица, две половины, причем одна из них мне смутно знакома, другая — чужая, неизвестная, жестокая.

— Неужели ты... Митька?

— Я Митька Шмель. Он и есть... Самогоночки выпить не хотите, Тихон Иванов? — И он вынул из-за пазухи бутылку. — Граммов двести еще есть. За встречу... Думал леснику поднести, если наскочит... Да черт с ним! Его, видать, и в лесу нету. Или ушел.

Мой отказ он понял по-своему:

— Думаете, воняет? Ничуть. Чистый спирт. Аромат! «Белой акации запаха нежного мне не забыть ни-когда», — пропел он вполголоса с цыганским надрывом, ничуть не уродуя мотива. — Оч-чень приятно! Это я про самогонку. Из ссылки привез рецепт. Аромат!

— Из какой ссылки? — изумился я еще больше.

Вместо ответа он сказал:

— Дождик... Лучше не может быть для сева... Вы, должно быть, в деревню пойдете ночевать? Приглашаю. Батя будет рад.

— Живой, значит?

— Живой. Да только дальше избы — ни шагу. Ноги... Ревматизм скрючил. От воды это у него. Вот и сидит теперь... Рад будет.— Говорил он все это уже задумчиво, присев снова на пень и поглаживая Ладу.— Новый человек в хуторе — для нас редкость.

Хотя я мог бы заночевать где угодно, натянув над челноком палатку, но мне самому захотелось побывать в хуторе. Я поблагодарил за приглашение.

— Ну, так и пошли.— Он вытер стволы ватой, выдернутой тут же из телогрейки, взял лежащий сбоку чехол и положил в него ружье.

Мы пошли к лодке. Идти предстояло километра два по лугу и кочкарнику. Я волей-неволей часто смотрел под ноги, чтобы не споткнуться, а Митька Шмель шел хотя и не торопясь, но глядел прямо, будто каждая кочка была ему знакома: ноги привычны к этим местам.

Дождь перестал. Но в воздухе повисла и осталась на ночь мутная сырость: туман не туман, пар не пар; казалось, облака осели на землю, зацепились за нее, навалились всей тяжестью. В такую муть не ощущаешь неба, а есть только земля под ногами. В этой предвечерней мёркоти, когда мы вышли на тропинку, спина моего спутника потеряла точные очертания, чуть расплылась, а поэтому он казался шире, выше и мощнее, чем был на самом деле.

— Дмитрий Данилыч,— спросил я,— тебе нельзя, что ли, рассказывать? Или не хочется?

— О чем? — спросил он, не оборачиваясь.

— За что сидел-то?

— Почему нельзя? Можно. Только все это тошно... Восемь килограммов пшеницы взял на току и нес домой... Милиционер засек... Цап-царап! Акт... Суд... По закону «от седьмого августа» дали восемь лет... Где твоя лодка? — резко прервал он рассказ.

— Налево.

Мы пошли берегом над камышами.

— А потом что? — допытывался я через несколько минут.

— Потом? Так все и пошло... Для других несчастное число — тринадцать, а для меня сразу два — семь и восемь килограммов, «от седьмого августа», восемь лет в каменном карьере... Угнали восемнадцати лет, а пришел двадцати шести... Все науки превзошел — полный курс восьмилетки... Хочешь, покажу? — Не дожидаясь согласия, он остановился и резко повернулся ко мне.— Вот у тебя на плече ружье. Вот ты его снял и держишь в руках. Так. Правильно. Я беру тебя за плечи и поворачиваю кругом: р-раз!.. Где твой портсигар?

Я ощупал карман, а Митька выхватил уже из своего кармана... мой портсигар.

— Вот и все! — закончил он эту молниеносную операцию.

— Как же так возможно? — воскликнул я.

— Наука и техника,— ответил он. И добавил не без гордости:— И искусство. Ты снимаешь ружье — руки заняты: считай — две точки. Я беру за плечи: считай — еще две точки. Для головы человека четыре точки хватит, через глаза достаточно. Поэтому и нельзя заметить, как мои пальцы скользнули в карман... Я ведь только опустил пальцы, а вытащил портсигар ты сам, когда поворачивался... Не смотри на меня так: сразу все равно научиться нельзя. Тут — школа! — Он рассмеялся, как мне показалось, грустно.

Именно в этом смехе мне отчетливо представился облик знакомого когда-то разбитого хуторского парнишки, кудрявого Митяя.

— Тогда тебя Митяем звали, а не Митькой,— сказал я.

— Точно,— ответил он, уже повернувшись спиной и продолжая путь.— А в ссылке был Сидор. Сидором звали. Сидор — мешок. Или все равно — колхозник.

Мы подошли к челноку, где уже сидела Лада и приветствовала нас хвостом.

— Старая, должно быть, собачка? — спросил Митяй.

— Старая.

— И работает?

— Помаленьку, но верно. Жалею ее.

— Собаку надо жалеть. Как же! Собака — животная ласковая, не то что человек.

— Не все же,— возразил я.

— Конечно, не все, но...

Как и каждый раз, когда надо было высказать что-то важное, он замолк. Но меня не могла не интересовать его такая жестокая философия, непривычная для деревенского жителя. Поэтому, когда мы отъехали от берега, я возразил еще раз:

— Есть восточное изречение: «Кто равнодушен к страданиям людей, тот недостоин звания человека».

Митяй, не медля и ничуть не задумываясь, отпарировал:

— На земле много людей ходят без этого звания.— Он усмехнулся и добавил презрительно: — Звание! Выдумают же...— И выругался по-блатному.

Теперь со мной рядом был уже не Митяй, а Митька Шмель, Сидор, тот самый, что в тюрьме «превзошел все науки» и принес оттуда песни, подобные той, что я уже невольно слышал. Его философического настроения как не бывало: он повернулся ко мне боком, той стороной лица, где шрам, и костерил небо, землю, дождь и людей. Озлоблен он был до конца.

И тогда я решился.

— Ты перестанешь выплевывать пацостные слова?! — заорал я.— За кого ты меня считаешь?!

Митяй посмотрел на меня снисходительно, шрам дважды дернулся и замер. Лицо его, казалось, застыло. Он ничего не ответил. Но когда челнок подходил к берегу, сказал угрюмо:

— Держи правее — на камень наскочишь.— Выпрыгнув на берег, подтащил челнок за причальную цепь, выволок его наполовину из воды и сказал, не меняя тона:— Теперь ты на нашей земле.

— Ругаться будешь?

— Не буду.

Вскинув рюкзак на плечо, я взял и корзинку, ожидая, что Митяй возьмет палатку, чтобы помочь. Но он проговорил:

— Оставляй все тут. Накрой палаткой.

— Как так? На ночь оставлять?

— Никто не тронет. Одно ружье возьми.

— А вдруг?

— Сказал: никто не тронет — значит, не тронет. Я сказал! — подчеркнуто произнес он последние слова.

Мы тронулись в гору, к хутору. По тому, как он сказал: «Теперь ты на нашей земле» и «Никто не тронет», я понял: с этой минуты Митяй считает меня своим гостем. И правда, он заговорил на ходу первым:

— Вот ты, Тихон Иваныч, обругал меня... «За кого ты меня считаешь», сказал... Верно: как зло спадет — не ругаюсь, найдет тоска — ругаюсь. Тут ничего не поделаешь... А считаю тебя за человека. Отчего так? Помню, как нам было тяжело тут в голодовку. И тебе тяжело было.

А ты куда не уходил — жил с нами... За твои слова другому бы морду расквасил... А вот шуганул ты меня — стало... не того. Человеком считаю.

— А себя не считаешь? Ругаешься, как сатана.

— Не считаю. Нет! И никто не считает.

— Ты сам себя убедил в этом — и только.

— Говорю тебе, никто не считает. Ссылный! Как же!

— Брось ты глупости говорить, Митяй. К чему?

— Не глупости. Нет, Тихон Иванович, это не глупости. Ты вот послушай. В ссылке я шофером работать научился.

— Там что: школа такая была?

— Не было школы. Окликнули: «Кто шофером может?» Кричу: «Я могу!» А сам ни бельмеса. «Иди в гараж». Пришел: «Выручайте, братва, засыпался». Из Одессы там был один, «вор по закону», Скопа по кличке, говорит: «Топай ко мне, Сидорок, сменным» ...Дня четыре — с ним, а потом помаленьку привык — и пошел... Через месяц нас погнали сдавать на права — сдал: сам стал возить камень из карьера. Ну, конечно, пока-то — за колючкой. В последний год и на волю возил, к железной дороге... Да. Перебил ты меня... Пришел я из ссылки этой, предъявил права в колхозе. Сперва — никак, а потом дали молоковоз: «Вози молоко». Понимаю: дескать, тут ему «налево» не схватить — цистерна. Ладно, черт с вами, думаю, докажу... Два месяца работал. Глядь: в цистерне с молоком оказалась рыбка, пескарик махонький. На молокозаводе засекли... Суд да дело — в молоке вода речная. Ах, туды-т твою... Не буду ругаться, не буду. Рыбу из коров надоили, гады! Опять сижую. Опять суд. Дали год — отсидел... Теперь, кроме вил и лопаты, ничего не доверяют — уже не человек... Да дай же ты мне хоть разок ругнуться!.. Вот чуть и отлегло... А как все случилось, не знаю. Цистерна оставалась всегда на ночь в Степном, рядом с фермой — сбоку речка, ручей такой. Кто зацепил рыбешку тогда? Убей — не знаю. Финку в ладонь — не знаю! А там ведь как? «Судим?» — «Судим». — «Сколько?» — «Восемь». — «Ну, на тебе еще год!» За что? Да за то, что ты уж сидел. Ты не человек. Вот видишь: «без звания» хожу по земле. Только и утешения — ружье да лодка.

— Постой-ка! А где же твоя лодка? Не мог же ты на тот берег попасть пешком?

— Там и осталась. Пригонят ее вечером.

— Кто?

— Да наши двое. Ольху берут на топку... Меня попросили: «Посиди, мол, с ружьем на отшибе, чтобы случаем лесник не нарвался». Ну вот, сидел на том берегу...

— А он знаком тебе, лесник-то?

— Бойся меня. Как же! Митька Шмель! Ссылный! Это я для него и песенку рыдал: услышит — обойдет за версту... И в правлении боялся. Рассказывал мне конюх, будто говорил завхоз председателю: «Он, Шмель, в яблоко пулей попадает». А я никогда не стрелял в яблоко... И пули никакой нет у меня... Ну ладно — пусть...

Больше он не промолвил ни единого слова до тех пор, пока вошли в его избу. По хутору мы шли молча.

Я осматривался вокруг. Здесь, на горе, туман меньше — видно все шагов за двадцать—тридцать.

Грустная картина!

Вот стоит изба, а рядом два-три холмика, поросших лебедой (остатки бывших изб); потом еще изба, и опять холмики, как большие могилы. Некоторые курганчики совсем еще свежие, без травы, с разрушенным и еще не обветренным саманом. Ни одного живого существа, кроме кур, мы не встретили,

— Как мертвый, ваш хутор,— сказал я Митяю.

Он объяснил:

— Кто на кукурузе, кто на ферме... Тут, в полкилометре, телячья ферма.

— В какой же вы бригаде?

— В четвертой. Теперь четыре хутора и село Степное — все в одной бригаде. Большая бригада — до начальства далеко.

Еще раз я окинул взором хутор, насколько позволял туман. Избы стояли на возвышенности, круто спускающейся к реке. В одну сторону — степь, в другую — мутные в тот час луга и Тихая Оляха. Ольшаника не было видно совсем. Усадьбы засажены только картошкой и кукурузой — пополам, по своеобразному «двоеполюю». Никаких овощей нигде нет и в помине.

Мы подошли к избе Митяя. Она ничем не отличалась от прочих. Разве только развешенная на кольях сеть свидетельствовала, что хозяин — рыбак.

Открыв дверь, Митяй бросил в избу:

— Папашка! Встречай гостя.

На кровати лежал старик. Он встал, спустив босые ноги. Данила Сергеевич был совершенно сед.

— Послал бог гостей, и хозяин будет сытей... Ты кто же будешь? Откуда?

— А угадай-ка, Данила Сергеевич! — крикнул я на всю избу.

— Ты не кричи — я хорошо слышу. Я востроух еще. И вижу — дай бог каждому. Ноги вот, правда, не того.— Он, говоря это, всматривался в меня, не узнавая.

— Тихона Иваныча, агронома, помнишь? — спросил Митяй.

— Аль и взаправду ты? Тихон Иваныч?.. Ей-богу, ты! Постарел здорово. Постарел. Тебе сколько годков-то?

— Шестой десяток добираю.

— Это ничего. Это еще ничего. Это ты еще молодой. Ничего. А я вот восьмой доживаю. Хе-хе! Все еще ничего себе, крепкая я, кре-епкая. Ничего. Ты садись-ка, садись, Тихон Иваныч. Садись. Гостем будешь. Митяй! Соображай угощение.

— Не надо никакого угощения, Данила Сергеевич.

— Э, не-ет! Дома ешь — как хочешь, а в гостях — как велят. От этой половицы за всю жизнь не убежишь.

Митяй вышел из избы.

— Давно я тебя, Тихон Иванович, не видал. Давно. Постарел ты, а так ничего, прочный,— продолжал старик, видимо обрадованный и тем, что ему есть с кем поговорить.

— Как живется, Данила Сергеевич? — спросил я, давая ему волю наговориться.

— Живется? Как тебе сказать? Живется ничего себе. Вот без бабы нам плохо с Митяем. А так — ничего. Это еще ничего. Хлеб есть. Рыбы он наловит. Картошка своя. Топки он тоже вдоволь готовит. Это еще ничего. Только без бабы нам плохо.

— Жениться ему надо,— говорю.

— Не хочет.

— Почему же?

— «Девка за меня не пойдет никакая — ссыльный». Так он говорит... Дело его... А вдовушка тут... Не мое дело. Только без бабы плохо. Хутор весь разъехался, все уезжают. Кто — в город, кто — в Степное. Что мы без бабы будем делать?

— А как там сейчас, в Степном? Хорошо?

— Там-то? Там хорошо. Там электричество, клуб, говорят, двухэтажный, кино там всякое... Только нам-то с Митяем это все мало требуется. Молодежи, знамо, другое дело. У нас тут молодежи-то нету никакой. И в Степном мало. Уехали. Все уехали. Ходит, ходит в десятилетку, ходит, ходит, а потом — глядь! — нет его: уехал. Все уезжают. Дорогу ищут. Все ищут. А так — жизнь ничего. Это еще ничего. Хлеб есть, картошка своя.

— На трудовни, значит, дали хорошо?

— Хорошо дали. По килу хлеба и по пятнадцать копеек на трудовой день. Это еще ничего. А то — помнишь? — плохо было. Триста граммчиков — это плохо было: чуть боле полфунта — пустяк. А теперь хорошо. Это еще ничего себе. И вольнее стало. Далеко вольнее. Колхоз наш хороший.

— То есть как вольнее?

— Судить не стали. Никого не судють. А то Митяй-то через то и пропал: брали с поля все, а ему одному из всего хутора отвечать пришлось. Все брали... Теперь можно жить. Это еще ничего.

— Теперь не воруют хлеб?

— Хлеб не воруют. Нет, не воруют. Теперь, бывает, кукурузу берут.

— Это плохо, Данила Сергеевич.

— Иначе-то как же? Оно ведь иной раз как получается-то: кило — это мужику на день. Заработал и съел. Баба, знамо дело, не съест, а мужик съест кило. В три присеста — как раз. Это еще ничего — кило. Да. Притом же — ребятишки... свинка небось тоже есть — всех кормить-поить надо... А кукуруза-то, она — что: и каша, и пышки, и блины, и суп. На все годится. И вкусно. Почему ее раньше не сеяли — диву даюсь. С ней — жить можно. Это еще ничего. И взять ее сподручно. Ведь зерно, скажем, — надо посуду какую ни на есть, а кукурузу — хорошо. Десяток початков в день — почитай, два кило. А то и так: корове на рога пару стеблин привяжут вечерком, вдоль спины — от мух вроде — да концы свяжут травкой. Приучили коров-то. Она идет, стало быть, домой. Конечно, домой! Их у нас восемь штук в хуторе, коров... А сейчас, скажем, какие-такие мухи? Никаких. Несет кукурузу домой, початков шесть-семь. Хе-хе! С кукурузой жить можно. Корова — она не дура: к хомуту легко приучается, а к этому делу — очень даже просто... Несет кукурузу домой. Вот она какая дела... Бабы — тоже. Мужики не берут: нельзя, не полагается. А бабы берут. С бабы какой спрос! Мужика-то, если поймают, може, и на суд на товарищеский: «Покайся, дескать». — «Каюсь — не бывать тому больше. Все!» Это мужика-то. А баба — что? Бабу — нельзя: это тебе не при царизме!.. Равноправие... Значит, берут кукурузу. Берут помаленьку.

— И по многу так-то?

— На что оно, лишнее-то? Лишнего не берут. Это хорошо. Теперь не судють. Зачем оно, лишнее-то? На продажу? Не полагается — довольно совестно... И самогонку на продажу — ни-ни! Для своего существования — пожалуйста, выгони, угости и соседа. А на продажу — не полагается. И кукурузу — тоже.

— И в Степном берут?

— Год я там не был. Сейчас — не знаю. Там не так сподручно, как у нас. Ну там вишь какое дело: козьми живут теперь.

— Как?

— Козьми... Козочками пуховыми... Держут по три-четыре штуки на двор и вяжут платки. Там давно так. За год по семь тыщ на платках добывают. У-у! В Степном бабы рукодельные. В колхозе — машины: чего ей, бабе, в колхозе работать? Она на платках всю семью содержит. У них это заведено. А у нас нет, не приучены, хлебом жили исстари.

— Не собираетесь переезжать в село? Скучно ведь здесь.

— Двора три еще собираются. Другие, кто не выдержал, уехали. А прочие не хотят подниматься.

— Почему же все-таки не хотят?

— Тут сподручнее: выпустил теленка — наелся, погнал мальчонка коров — наелись. По очереди пасут их у нас. Курица вышла — наелась. И посева рядом. Тут сподручней... И чего это Митяй запропал?.. Должно быть, за Нюрой пошел... Либо она в поле? — Он рассуждал уже сам с собой: — За водкой если? Своя есть. А-а! Это он, пожалуй, мясца взять хочет. Чапелькины овцу резали ноне — завтра на базар везут, а он, стало быть, Гриньку разыскивает. Принесе-ет... А ты сапоги-то сыми, Тихон Иваныч, пускай ноги отомлеют.

Вошел Митяй. А вслед за ним — молодая женщина, лет тридцати— тридцати двух, сильная, стройная, загорелая, черноволосая. Она поклонилась мне, поздоровалась. Митяй положил кусок мяса на край стола и сказал:

— Сделай, Нюра, получше.

Они, видимо, договорились обо всем еще по дороге сюда, потому что Нюра сразу же начала хлопотать. Я заметил, что она знает, где и что лежит, — ей не приходилось искать корзинку с яйцами, сковородку и другие необходимые предметы.

— А ведь я тебя, Нюра, что-то не припомню. Давно я тут не был.

— Я нездешняя. Из Лещева. Замуж сюда выходила. Десять лет тут живу.

Нетрудно было догадаться, что это и есть та самая вдовушка, о которой проболтался дед. Поэтому никаких вопросов я уже ей не задавал.

— Ну, папаша, небось душу отвел? — спросил Митяй и обратился ко мне: — Не заговорил он тебя?

— Отвел. Хе-хе! Отвел душу, — весело ответил отец.

— Не скучали мы с ним, — поддержал и я.

— Давай, Тихон Иваныч, радио послушаем. — Митяй полез в сундук, вынул оттуда чемоданчик, похожий на футляр из-под баяна, но пониже, поставил его на стол, открыл боковую крышку. В этом самодельном, искусно сделанном чемоданчике оказался радиоприемник и батареи в разных отделениях. Тут только я заметил, что через всю избу, под потолком, протянута антенна.

— Не держу его на столе, — сказал Митяй. — Летом — мухи. Да и батареи дольше служат. — Он воткнул штепсельки антенны и заземления. — Сейчас музыка должна быть — самое время. Последние известия мы прозевали. Ночью послушаем.

— Известия — это хорошо, — вмешался отец. — Мы всегда слушаем... Аденавер — о! — хитроумный гусак. Мало им попало взашей, так еще хочет. Хе-хе! Говорят, мы с ним ровесники... Туда же! Сидел бы на печи. Нет, туда же!

— Погоди, папаша. Постой.

Данила Сергеевич замолчал.

Хата заполнилась звуками. Струнный оркестр народных инструментов исполнял «Лучинушку». Скворчала сковородка на загнетке, но она ничуть не мешала музыке, — а как-то даже дополняла. Все мы слушали. Я заметил: Митяй бросил как бы нечаянный взгляд на Нюру, а она ответила ему тем же.

Данила Сергеевич пересел с кровати на лавку, причесал гребнем голове, застегнул пуговку рубахи и, чуть опустив белую голову, слушал. Митяй неотрывно смотрел на радиоприемник, будто видел там весь оркестр.

К сожалению, мы попали на последнюю вещь концерта. Диктор объявил: «Через минуту слушайте передачу для работников сельского хозяйства».

— Это не для нас,— сказал Митяй. — Долго, и скучно, и — не то.— Он выключил приемник.— Батареи беречь надо.

Затем он снова сложил футлярчик, снял его со стола, поставил на сундук.

Вскоре сковорода жареной баранины, сковородка яичницы и отдельно жареный картофель появились на столе. Митяй принес из погреба две небольшие копченые шуки и тоже положил на стол. Перед каждым из нас — деревянная ложка.

— Ну, я пойду,— сказала Нюра.

— Куда ты пойдешь? — возразил Данила Сергеевич.— Никуда не пойдешь. Довольно совестно от гостя уходить. Садись, садись. Нельзя так.

Митяй постучал по табуретке ладонью, молча приглашая Нюру. Она села.

Самогонку разливал сам Данила Сергеевич: всем поровну — по пол-стакана. Потом он взял свой стакан. Рука у него ничуть не дрожала.

— Ну, будемте здоровы! С божьей помощью! — начал он первым и вытянул все совсем не по-стариковски. Крякнул. Вытер усы.— Хороша, нечистая!

Тут только мне вспомнилось, что первую здесь пить полагается не сразу всем, а поочередно. Митяй, взявши стакан, сначала сказал, глядя на меня:

— Спасибо, что не погнушался.

Я понял его и не мог не выпить, хотя никакого желания не было.

Может быть, и не стоило бы упоминать, что люди пьют самогонку. Но ведь я просто охотник-любитель и пишу только для себя. Не могу же я врать самому себе!

Выпил и я. Самогонка была чистой, без запаха и довольно крепкой.

Нюра перед выпивкой сказала свое, как и полагается в таких случаях:

— Не осудите, если невкусно сготовила. Как умею.

Но все было вкусно.

— Еще? — спросил отец.

— Не буду,— ответил я.

— Просить можно, неволить нельзя,— поддержала Нюра.

— Ладно — так и так. Тогда тебе, Митяй,— еще порцию, а мы — в сторону.— Отец налил сыну и обратился ко мне: — Ему можно. Этого не спойшь: как в прорву. Хе-хе! С пол-литры не пьянеет. Силен!

— А ведь строго за нее сейчас,— показал я на бутылку.

— Конечно, строго,— подтвердил Митяй, усмехнувшись.— Но ведь ее без аппаратов готовят, в канистрах. В одном дворе сделают — в воскресенье попьем гуртом, в другом выгонят — попьем опять.

— И от ревматизму помогает,— добавил старик.

— Все привыкли,— как-то несмело вставила и Нюра.

— Вот так и живем, как видишь,— подмигнул мне Митяй.— Красота!

В его словах нетрудно было услышать иронию. Видимо, поэтому Нюра сказала:

— Человечи, прости господи! Уезжать надо отсюда. Говорю им, уезжать надо.

— Никуда я не поеду,— нахмурившись, перебил Митяй.— Некуда мне ехать — дороги нету, по какой мне ехать.

— Вот так всегда,— со вздохом произнесла Нюра и замолкла, явно

не желая, чтобы я был свидетелем какого-то спора между нею и Митяем.

— Да и мне некуда ехать,— вмешался Данила Сергеевич.— Тут родился, тут и помру. Тут сподручнее. Это еще ничего. Жить можно. Хлеб есть, картошка своя, рыба своя. Жить можно. И ты, Нюрка, не езжай. Куда ты с мальчонкой двинешься, с Колькой-то? Живи тут. Хочешь — переходи к нам и...— Дед осекся, потому что Митяй пристукнул легонько по столу, чтобы отец не переходил границы.

Было совершенно очевидно, что отец беспрекословно подчинился сыну.

— Я — што? Я — ништо,— оправдывался Данила Сергеевич.— Мое дело маленькое: куда волк — туда и хвост. Только если все уедут, то кто же на хверме тут останется, кто телят глядеть будет? Вот вопрос.

И дальше пошел у нас разговор о ферме, о колхозе, о добром урожае того года. Нюра рассказала, как трудно работать на отдаленной ферме и как трудно ходить мальчику в школу за девять километров.

— Мальчата есть, а лошади — ни одной. Зимой-то квартиру снимаем в Степном для ребятишек... А в пургу — тоска смертная.

Рассказывала она неторопливо и с грустью. Печальное ее лицо в те минуты было красивым. Митяй слушал ее и молчал. Весь вечер молчал. Только после того, как проводил Нюру в сени и она ушла домой, он, вернувшись, сказал, сжав челюсти:

— Не будь тебя, Тихон Иваныч, напился бы... Полный сидор накачал бы... Ну за что?! — тихо произнес он и сел на лавку, глядя в окно, в темь.

— Оно обойдется, Митяй. Помаленьку обойдется,— сочувственно, но просто сказал старик.— Все бывает. И все проходит.

Потом Митяй принес охапку сена, и мы с ним улеглись на полу рядом.

— Последние известия не будем слушать? — спросил отец.

— Нет,— ответил сын.— Пора спать.

Некоторое время мы лежали молча.

Митяй вздохнул. Я спросил тихо:

— Скажи по душам: воровал после «восьмилетки»?

— Нет. Устоял. Не свихнулся. В хутор потянуло, на родину... А ты говоришь «мертвый хутор»... Речка тут, луга, простор... Приснится, бывало: тоска... Спи, Тихон Иваныч. Хватит.

Луна через просветы в облаках прокралась в окошко избы и надолго уютно устроилась в ламповом стекле.

Данила Сергеевич спал посапывая.

— Погожий день будет,— сказал Митяй.

— Хорошо бы, если так... На охоту пойдешь?

— Нет. Завтра на работу: силосные ямы копать.

* * *

В окошко забарабанили. И сразу женский голос:

— Митяй! Митяй! Пожар! Пожар-а-р!!!

Мы выскочили на улицу. Нюра, указывая за избу, повторяла с дрожью в голосе:

— Пожар... Пожар... Ферма загорелась! Пожар!

Забежав за угол, мы увидели язык пламени. Данила Сергеевич тоже выполз и загоревал:

— Беда, Митяй. Беда, сынок. Горит хверма. А там одни бабы. Что они сделают?.. Ай-ай-ай! Пропадут телятишки.

Несколько минут Митяй смотрел туда не шевелясь. Потом сорвался с места и — в сени. Там он что-то колотил молотком, будто по куску

сухой глины. Потом выскочил с каким-то свертком из мешковины и скрылся в кукурузе. Слышно было, как он бежал к пожару. Нюра — за ним. А вслед за нею затрусил и я. Очень мешали высокие охотничьи сапоги — пришлось снять их и взять в руки. Теперь стало легче. Кто-то бежал из хутора за мною позади, кто-то обогнал и бежал уже спереди. Поднялся весь хутор.

Соломенная крыша деревянной, рубленой фермы горела сбоку, с короткой стороны. Женщины кричали, вопили. Их было здесь уже человек восемь-девять. Трое мужчин, в том числе и Митяй, выгоняли обезумевших телят. Их приходилось выталкивать силой, напирая на задних. Передних тащили волоком, чтобы за ними, шаг за шагом, следовали и остальные.

Митяй командовал:

— Бабы! Гоните телят подальше. Два человека — хватит. Давай лестницу! Бочку сюда! Раз-два, взяли! — И он сам впрягся первым в бочку.

Ее подкатили ближе к огню. Митяй подставил лестницу к ферме в том месте, где не было огня. Крыша, смоченная с вечера слегка дождем, горела недружно, но огонь лизал ее все дальше и дальше. Вот уже затрещали жерди решетника. Огонь прыгал по небу и играл на лицах растерянных людей, беспомощных, испуганных, бегающих туда-сюда без всякой пользы.

Митяй кошкой вскочил на крышу, подобрался близко к огню и что-то положил на крышу у самой застрехи. Ему было горячо. Он отскочил и крикнул:

— Воды! Мне воды!

Кто-то взобрался по лестнице, ему передали снизу ведро, а тот передал Митяю. Еще ведро пошло вверх: на лестнице стояли уже трое. Бочку перекатали к лестнице поближе. Митяй вылил два первых ведра на себя и снова подскочил к линии огня. Снова что-то положил у огня (теперь чуть выше), еще положил (еще выше). Так он со своим свертком обошел крышу снизу вверх. Казалось, он колдовал. Потом он бросил что-то в самое пламя, у края. Еще. Еще бросил. Белый дым прямо-таки волной отрезал огонь.

— Давай сюда, мужики! — кричал Митяй. — Ко мне-е! Бабы! Воды! Бабочки, воды! Даешь воды!

Те двое полезли на крышу. Вместо них на лестницу стали две женщины. Ведра пошли вверх. Митяй веером выливал их в белый дым, что возник на границе огня после его таинственных манипуляций. Я тоже подавал воду, стоя в цепи среди женщин.

Чудное дело происходило на глазах: огонь дальше не распространялся, а доедал солому в той части крыши, что горела. Белый дым то чуть стихал, то вновь взвивался медленным облаком.

Но вот все услышали:

— Вода кончила-ась!!! — дико кричали от бочки.

Митяй скатился вниз:

— Багор! Где багор?!

— На той стороне, — ответила женщина.

Но кто-то уже тащил багор.

— Мужики, за мной! Бабы, за мной! — приказал Митяй.

Багром зацепили стропила среди огня и стали раскачивать.

— Ай, бабочки, еще раз! — Мне показалось, Митяй кричал это весело. — Еще, бабы, один рра-аз! Ой, раз! Еще раз! Еще разик, еще раз!

Стропило рухнуло. Его стащили наземь и отволокли в сторону. Потом стащили еще несколько бревен. Мужчины вилами стали отковыривать крышу в двух метрах от сгоревшей части. Митяй просто рубил

топором плотную солому, а другие двое расковыривали и бросали вниз. Наверх взобралась Нюра, а за нею две женщины, тоже с вилами. Всем теперь было ясно: Митяй задумал отрезать путь огню. И пламя унималось. Потолок под сгоревшей частью крыши уже дымился, но огонь принялся за накатник и верхние бревна сруба. Митяй будто следил за этим — он снова крикнул:

— Бабочки, песку! Ведрами песку давай! Песку, бабочки!

Ферма стояла на песчаном пустыре, поэтому ведра с песком тотчас же поползли на крышу, а мужчины сыпали его на потолок. Горстка людей теперь самоотверженно билась с огнем — каждый знал, что ему делать, надо только не пропустить мимо ушей то, что крикнет Митяй.

Но вот с другой стороны вспыхнуло пламя: крышу вновь схватило, облизало, и огонь вгрызся в уже подсушенную им же старую, спрессованную временем солому. Митяй что-то хотел сделать: он рванулся с вилами к огню, но, будто оступившись, вскрикнул и пополз на четвереньках сначала вверх, к коньку, а потом вниз, к лестнице.

— Степан! Алеха! Песку на огонь! Скорей!

Сам он слез вниз и сел на землю, вытирая пот и тяжело дыша.

— Пожарка подъезжает, — сказал он. — С крыши видать.

Наконец из Степного прискакала «пожарка» — две бочки и насос.

Опасное пламя сбили тут же. Загорающийся потолок засыпали песком и полили водой.

...Рассвет пришел незаметно и прополз мимо: на него никто не обратил внимания.

Среди черных от копоти и мокрых женщин стоял, как я понял из разговора, председатель колхоза. А с ним рядом молоденький милиционер. Ни того, ни другого я не знал. Я подошел к ним и стал позади женщин там, где сидел Митяй (приезжие его не замечали). Он тоже, казалось, их не замечал. Мне очень хотелось сказать председателю, что Митяю надо вынести благодарность за спасение телят и фермы, поэтому я приблизился. Но милиционер отвел председателя шага на три от женщин. Я тоже шагнул туда же и услышал, как говорил милиционер:

— Придется, наверно, взять Митьку Шмеля... Пока... Потом разбежимся. Зарегистрированный он — на учете. Кроме некому.

— Шмель ни при чем, — сказал я категорически. — Ночевал я у него. Могу поручиться головой.

— Вы кто? — спросил милиционер.

Они оба не знали меня в лицо, оба были людьми новыми для здешних мест.

— Дело не в том, кто я есть. А дело в том, кто есть Шмель.

— Непонятно, — сказал милиционер. — Мы знаем, кто он есть.

И тогда подошел Митяй. Он ведь все слышал, все, кроме первых слов милиционера, сказанных тихо. Он все понял! Подходил он медленно. Стал перед милиционером. Лицо Митяя, почерневшее от дыма и копоти, теперь с черным шрамом, улыбалось угрожающе. Никогда в жизни я не мог бы поверить, что улыбка может быть именно угрожающей. Штанина у него была разорванной и обгоревшей по краям, рука кровоточила. В другой руке вилы, на которые он небрежно оперся. Митяй посмотрел-посмотрел, так и ушел, не сказавши ни единого слова, ушел с угрожающей улыбкой.

— Ручаетесь? — спросил у меня милиционер.

— Ручаюсь. Перегудов моя фамилия. Когда-то агрономом здесь работал. Запишите, если надо: Перегудов.

Но он, кажется, понял свою оплошность и скоропалительность. Да и сами женщины, покричав, пошумев и слегка поругавшись между собой, вскоре установили, что загорелось от трубы кормокухни. Вечером не

затушили огонь, а сторожиха вздумала печь кукурузные початки, да и задремала.

— Винюсь, бабы. Винюсь, товарищ председатель. Никто не виноватый, я виноватая. Я! — всхлипывала старушка сторожиха.

Что с нее спросить?

— Молодцы, хуторяне! — сказал председатель перед отъездом. — Вдесятером ферму отстояли. Молодцы! Уж что-что, а дружный народ.

— Куда там! — возразил милиционер. — Верблюда украдут — и то спрячут. Дружные!

— На что нам твои верблюды! — сверкнула глазами Нюра.

— Он пошутил, — попытался замять председатель. — Уж нельзя и пошутить. Пошутил он.

— Шутка шутке рознь, — отрезала Нюра. — Вы бы, товарищ председатель, лучше посмотрели бы, как у нас в телятнике. Грязи по колено. Осень подходит. Разве мы сами осилим — щебнем засыпать? Дали бы автомашину дня на три-четыре.

— Дам, — твердо сказал председатель. — И крышу будем теперь крыть шифером.

— И красного уголка нету. Вместо красного уголка — сарайчик для курей. Отдохнуть негде.

— Сделаем, — коротко согласился председатель. — Маленько мы тут у вас недоглядели. Признаюсь. Соглашаюсь.

Не знаю, как он выполнил обещания, но на меня он произвел тогда хорошее впечатление.

Митяя нигде не было. Куда он ушел, неизвестно. Я направился в хутор. Только по дороге вспомнил, что в избе осталась Лада. Верно, дед не выпустил ее, иначе она легко бы нашла меня.

В избе было двое: Данила Сергеевич стоял перед Митяем, опершись на рогац, а Митяй сидел на лавке и гладил голову Лады. Она рванулась ко мне, приласкалась и снова вернулась к Митяю, положив голову на его колено. Он был суров. На лице отразилась боль. Он даже чуть простонал, вытягивая ногу. Кажется, они что-то уже переговорили с отцом, потому что словоохотливый старик молчал. Я заметил через обгорелую штанину у Митяя ожог.

— А ну, снимай брюки, — распорядился тут же.

Он, сморщившись от боли, снял штанину. Большое пятно ожога охватило часть бедра и колено. Он и полз-то по крыше, чтобы сбить с себя огонь, ворочая ногой, пристукивая и оглядываясь — как бы не загорелось еще и от него.

Я было схватился бежать — наречь картошки, но неожиданно остановился, глядя на Митяя.

Он сморщил лицо, помотал головой и простонал:

— Ну за что?.. — Слезы текли по глубокому шраму.

В избу вскочила Нюра. Она увидела Митяя таким, каким он был в ту минуту — с обнаженной ногой, с черным лицом. Она бросилась к нему, обвила его руками, прижалась щекой и повторяла:

— Не надо, Митенька... Не надо... Так не надо... Никуда я от тебя не поеду... Не надо.

Я вышел. Я не мог.

...Потом мы с Нюрой копали картошку, мыли, терли на терке и прикладывали на ногу Митяя.

А отец сидел с ним рядом и говорил:

— Чего сокрушаться? Это еще ничего... Все, Митяй, бывает и все проходит. Потерпи маленько. Отлегнет. Это еще ничего... Серу всю, должно, пожег на пожаре?

— Всю, — ответил Митяй.

— Почитай, ведро целое,— говорил уже мне Данила Сергеевич.— На волков и лисиц готовил — выкуривать. Надолго бы хватило. Всю пожег. Это еще ничего... А телятишки целы остались. Это хорошо, Митяй. Где ты узнал, что серу — на пожар?

— В «восьмилетке»,— ответил Митяй.

Отец явно старался отвлечь сына от боли. И это ему, кажется, удавалось.

...Ушел я к челноку уже среди дня, после обеда.

Митяй пожал мне руку и посмотрел в глаза. И я его понял. Слов было не надо.

Данила Сергеевич вышел-таки проводить меня и стоял у избы, пока я не скрылся под горой. В ушах у меня звучало: «Это еще ничего... Так жить можно...»

У челнока сидел мальчик лет девяти.

— Ты зачем тут?— спросил я.

— Мамаля послала покараулить лодку. Тут чужие проезжали — она и послала.

— А ты чей же будешь?

— Коровин я. Николай Коровин. Анна Ивановна моя мать.

— По отцу-то как?

— Николай Матвев Коровин.

Не надо было догадываться: он очень похож на мать.

— Ну что ж, Николай Матвев, пока до свиданья!

Мы подали друг другу руки.

— Приезжайте еще на охоту!— крикнул Коля, когда я уже отчалил от берега.

— Обязательно,— ответил я.

Солнце светило вовсю. Последнее тепло всегда радует.

Но в тот день я уже не охотился.

Ехал тихо.

Казалось, стою на месте, а камыши, задумчивые и почти по-осеннему печальные, проплывают мимо.

Река молчала.

Все начинается с надежды

От Захара Макарыча Пушкаря я получил записку: «Пошла северная валом. Несколько миллионов утки пролетело за ночь. Большие тыщи».

Его склонность к гиперболом достаточно известна, но врать он не будет: значит, утка действительно шла. Сколько уж там, «миллионы» или «тыщи», но дичь появилась с севера.

Кстати сказать, недавно прочитал в районной газете коротенькую заметку: «...старый комбайнер, пенсионер, З. М. Пушкарь, хорошо поработал — убрал за сезон пятьсот гектаров и сдал комбайн в полной исправности». Заметка была сухая, как корка хлеба, зато вкусная. Мне известно, что означает пятьсот гектаров, а Захару Макарычу — тем более.

И захотелось вновь побывать в Далекое вместе с моим другом, послушать камыши.

Ведь уже скоро зима. О ней несколько раз напоминали заморозки и первый ранний зазимок с предвестником белого поля — порхающим пушистым снежком. В тот день земля покрылась сединой, как голова пожилого человека. Пришел тот снежок с неделю тому назад неожиданно, полежал несколько часов, предупредил людей, улыбнулся и ушел. Старики говорят: вернется через сорок дней и ляжет в зиму насовсем. Зато после зазимка наступили необыкновенно ясные и теплые дни, с утренни-

ми туманами, чистым небом среди дня и крупными глазастыми звездами ночью. Что-то похожее на второе бабье лето, обманчивое и всегда короткое в средней полосе России. Разве можно пропустить такие дни? Не двести лет живет человек!

И вот передо мной вновь любимая Тихая Ольха.

День выдался на славу: солнечный, тихо, а для середины ноября тепло не по-осеннему. У Захара Макарыча, видимо, опять засорился карбюратор: мотор заглох где-то позади меня. Не доезжая Далекого, я остановился подождать своего спутника.

В ушах зашумело от тишины.

Ни звука, ни шороха, ни дыхания.

Вверху большое желтое солнце. Внизу, подо мной, прозрачная вода и чисто-чистое дно. Там, в глубине, тихо и спокойно, даже как-то лениво, прошла стайка небольших окуней.

Берега реки стали совсем другими, ничуть не похожими на летние. Да что там летние! Месяц назад все здесь было не так.

Осень... И в ясный день в это время немножко грустно.

Осока, что куртинами вкраплена в окрайки камышей, переломилась пополам, опустив концы листьев в воду, желто-серая, старая, измятая. Осень сердито потопталась по ней, перепутала да так и бросила. И поникла осока в воду кончиками, будто не желая расставаться с родной матерью-рекой. Из воды вышла, в воду ушла. Осень...

Зато какой молодец чакан! Он стоит зеленый, сочный — и заморозки не взяли. Этого не скоро свалишь. Он лишь вместо светло-зеленого стал темно-темно-зеленым, чуть суровым. Его широкие листья-сабли будто приготовились к борьбе; пока что он гордый, пока выделяется на краю берега резкими пятчками. Ну что ж, держись, дружище!

У подножия камышей, прямо в воде, удивительно красивый, такой пахучий и осенью, темно-зеленый бордюр, но уже с темно-коричневыми пятнами. Это речная мята; ниже, к поверхности воды, зеленая, а чем выше вырос стебель, тем больше он прихвачен заморозком. В чистом, чуть-чуть стеклянном осеннем воздухе запах мяты напоминает лето. И становится от этого грустно. Что поделаешь — осень...

А камыши все так же могучи, даже и умирающие. Высоко вверх держат они свои серые, цвета заячьей спинки, метелки, бесшумно вздрагивающие и в безветрие. Верхние листья, захваченные врасплох сильным заморозком, так и держатся поперек, не обвисают, а нижние уже обмякли, подались вниз. Желтые огромные, но грустные камыши печально и задумчиво смотрят в воду с теневой стороны реки, молча и безропотно. Лишь изредка, при незаметном и неощутимом движении воздуха, затрепещут мелкой дрожью верхние сухие листья, зашевелятся метелки. И тогда слышится тончайший, еле уловимый ухом шепот. Камыши вспоминают о прошлом. Осень...

По лицу скользнула паутинка. Я перехватил ее и попытался подтянуть к себе паучка, что сидел на конце нити, но тот не пожелал иметь дело с человеком. Паучок зацепился за камышинку и быстро-быстро пополз вверх. Бегом, бегом, бегом.

Паучки летели. И было вокруг тихо.

Неожиданно: свирк-свирк! Еще раз: свирк-свирк! Около меня, рядом, оказались две камышовые синички — маленькие, живые, веселые, жизнерадостные. Они юрко лазали по камышам вверх-вниз, что-то там аппетитно клевали, а играли, как дети. Жили и играли. Честное слово, мне стало весело.

В самом-то деле, ведь осенняя грусть в такой погожий денек — это вовсе не горе, а теплое, любовное сожаление о прошедшем лете, пожалуй, даже жалость к растениям, может быть, чуть-чуть сожаление

о том, что и твоя юность уже не вернется. И вдруг синицы... Все идет как полагается: живут и играют. Жизнь идет. Рядом с вами, синички, и подожду Захара Макарыча.

Они и правда долго не улетали, не смущаясь моим присутствием. Камышовые синички очень доверчивы.

Наконец сначала издали, а потом все ближе и ближе стал слышен рокот мотора.

Подъезжая ко мне, Захар Макарыч махнул рукой вперед: дескать, не останавливаюсь, заводи мотор и давай за мной. А поравнявшись, ткнул пальцем в мотор и крикнул:

— Как проклятый! Не заведешь никак!

Я понял, что он боится застрячь еще и в этом месте.

Вскоре мы были около Далекого и уже вооружились веслами, чтобы идти затоном к острову.

Захар Макарыч отфыркнулся губами:

— Паутина в рот лезет... И время для них вроде бы прошло, а они еще маленько полетели... Поздныши.

— Как это так — поздныши?

— Они ведь, паучки, выводятся из яиц сразу скопом. Самки-то несут яйца дружно, и молодежь вылупляется дружно. Пригреет солнышко — и полезли. Нынче, значит, позднышки созрели.

— Ну? А потом? — спросил я, опустив весло.

— Вылупятся, значит, и вскорости ползут на какую ни на есть верхотурию. Там он, паучок, начнет отпускать паутинку и... полетел себе, полете-ел.

— А ты-то сам видел? Своими глазами?

— А как же? Я с ними понянчился, с паучишками. Сперва никак не мог уяснить, за каким лешим они летят, чего они потеряли. А оказывается дело, им переселяться надо сразу после рождения: иначе пожрут друг дружку при таком-то скопище.

— Видал, как и выводятся?

— Видал. Миллионы миллионов!

Дальше, конечно, следовали неизбежные преувеличения, относящиеся только к чистым эмоциям моего друга. Всякие «миллионы», «миллиарды» и даже «тыщи» произносились им просто, как восклицания: «Ай, боже ты мой!», «Ай, как много!» На эту черту его характера я давно уже перестал обращать внимание.

Впрочем, было однажды и такое: заблудились мы с ним в лесу в неизменно темную ночь и попали в заповедник, где среди других зверей жил хромой лось-убийца. Этот лось не мог выносить одного вида человека. Наверно, он когда-то был изувечен браконьером. А «убийцей» прозвали того лося потому, что он действительно убил женщину прямо на лесной дороге. Лишь после пяти заседаний совета заповедника решили застрелить непокорного мстителя. Но когда мы заблудились, свирепый лось был еще жив, и нам предстояло пройти — в эту самую темнотищу! — где-то недалеко от его места обитания.

— Ну и попали мы с тобой, Макарыч! — сказал я тогда. — Пули у нас с тобой нет, а от картечи он еще страшнее станет... А ночь — черт голову сломит.

— Что ночь?! Что ночь? Темная ночь нипочем — для совы да для смелой головы! — произнес он гордо, бодро и даже кашлянул громко, будто хотел сказать: «А ну, выходи, лось, выходи!»

Зато уже на опушке, когда опасность миновала, он вздохнул и заключил:

— Семь потов от страху скатилось. Ух! — Немного погода добавил совсем другое: — Лось — пустяк.

В общем, Захар Макарыч глядел на мир то в увеличительное стекло, то в уменьшительное, смотря по обстоятельствам и настроению. Так и в этот теплый ноябрьский день я пока не видел «миллионов северной утки». А в затоне мы не обнаружили ни одной.

— Ничего! Она, утка, вся на пlesaх и на озерах,— не падая духом, опередил мои сомнения Захар Макарыч.

— Конечно же, на пlesaх,— поддержал и я без особой уверенности.

— А раз так, то давай-ка мы, Тихон Иваныч, ехать прямо на озеро, в Голову. Пока скрадки сготовим, пока туда-сюда, она и — ночь. Заночуем в челноках...

— Натянем палатки, скипятим чаю вечерком,— развивал я его идею.

А он продолжал:

— Утром настроеляем утишек, какую-нибудь там сотенку-другую, и — домой.

Мы прошли мимо острова прямо на Голову бодрые, окрыленные надеждой, воодушевленные и жизнерадостные, как синицы. Главное — верить в удачу. С этого начинается настоящий охотник.

Однако же. Осторожно выглянув из протоки в Голову, мы увидели... чистую, казалось, мертвую остекленело-синева-свинцовую воду. Уток не было.

— Тогда тут кто-то есть,— сказал убедительно Захар Макарыч и сразу гаркнул: — Гоп-го!

— Гоп! — откликнулся чей-то голос. Человек встал в лодке на лавочке и крикнул нам: — Заезжайте в гости!

— Эге,— сказал Захар Макарыч,— тут Ванятка.

К моему удивлению, это был действительно Иван Васильевич Кнутиков, сын Василия Кузьмича, доцент сельскохозяйственного института, биолог, а в недалеком прошлом Ванятка Кнут, по-уличному. Лет пятнадцать назад уехал Ванятка в институт, а в тридцать пять лет он уже доцент. Не заметил я, как проскочили эти полтора десятка лет, жил скороходом и не обращал внимания — пять лет прошло или десять. А давно ли это было! В тысяча девятьсот тридцать третьем голодном году шести- или семилетний Ванятка набивал живот тыквой и вполне серьезно, по-взрослому, повторял каламбур отца: «Захочешь есть — тыква есть. А хлеб — потом, когда суп с котом». К лебедным пышкам-лепешкам прикладывалась у них особая говорушка:

Здравствуй, пышка-лебеда!

С молоком ты — не беда,

Лебедушка-пышка,

Зелена коврижка.

В семье Кнутиковых унынию не было места даже в самые трудные годы бесплатной работы. Спасала своя усадьба, да корова, да руки всех членов небольшой семьи, взрослых и маленьких, да веселый характер папашки.

Ивана я не видел... Сколько же лет?.. Лет, наверно, десять, что ли, не припомнишь.

Он вытолкал челнок из скрадка, оказавшись весь на виду, положил вновь весло и сел на лавочку, поджидая нас. Мы подъехали.

Протягивая руку, он заговорил первым:

— Хоть живые души за три дня увидел. Здравствуйте! Покурим ради встречи? — И угостил нас папиросами.

На нем был обыкновенный колхозный ватник не первой свежести (кажется, с плеч Василия Кузьмича); не очень поношенный треух. Лицом похожий на молодого отца, он и фигурой напоминал отдаленно его же:

сухой, широкоплечий, высокий. Никакого ученого вида в нем здесь не было ничуть. Только очки в толстой роговой оправе не ложились в тон одежде. А в общем, он улыбался и был явно доволен встречей с нами.

— У-у! Какой моторчик у вас, Захар Макарыч! Сразу видно — специалист... Хорошо тянет?

— Отлично тянет! Всю душу вытянул. Четыре часа тянул,— с досадой ответил Захар Макарыч и сплюнул в сторону.

— Ай, как здорово! И чего это я папашку не уговорил — ехать со мной. Совсем было сдался, а потом на попятную: «Главный вопрос — птицеферма». — Он рассмеялся. — А рад бы он был. Ей-ей! Я и всего-то десять дней как в отпуске, а уже дважды от него слышал: «Вот Захар Макарыч — да! Это работник, это комбайнер... Вот Тихон Иваныч — да! Это агроном по всем статьям». Если бы я знал, что вы тут, на веревке его притащил бы. Маху дал!

— Ну, а насчет утишек какие тут мотки? — осторожно спросил Захар Макарыч, хотя и не скрывая своего разочарования (мотор не тянет, дичи нет, а день на исходе).

— За три дня... четыре штуки.

— Куда же она делась, нес ее возьми? — спросил у самого себя Захар Макарыч, глядя через корму в воду, будто ища там утку. — Шла ведь валом.

— Должно быть, мимо прошла, — попробовал я утешить его. — Время позднее, ноябрь. Надо полагать, прошла вся.

— А бывало и так, — твердо заявил Иван Васильевич. — Сегодня нет, а завтра тьма-тьмушая. — Ему явно хотелось подбодрить чуть-чуть скисшего Захара Макарыча.

— Бывало, бывало, — встрепенувшись, подхватил тот. — Сколько раз так было: нету и нету, а на завтра миллион.

Надежда на удачу у всех закрепилась несмотря ни на что. Надо было готовиться.

Мы с Захаром Макарычем поползли каждый к своему скрадку. Пришлось подбавить камыша для маскировки, нарезав его подальше от места охоты. Потом желтые и тонкие снопики поставить над челноком дополнительно к той привязке, что сделана еще раньше, когда листья были зелены и густы. Теперь получился почти незаметный, в тон окружающему, желтый шалашик на всю длину челнока.

Пока туда-сюда, а солнце покатилося на покой. Слышу: Пушкарь мой запустил уже кряковую. Я тоже расставил в живописном беспорядке свои двенадцать чучел, а ближе к челноку пустил крякуху. В другом конце озера доцент покрякивал манком (видимо, он приехал без чучел и без утки).

Потом мимо меня неожиданно, торопливо упираясь веслом, проплыл Захар Макарыч, заломив трех на затылок.

— Куда? — спрашиваю.

— Ванятке утку подсажу. Я пока с одной буду.

Там, около Ванятки, произошел у них короткий спор: один кричал: «Не надо», а второй: «Нет, надо».

Через несколько минут Пушкарь проскочил обратно в свой скрадок. Теперь подсадные кричали в трех концах озера. Все было в порядке. Но... дикие утки не летели.

Завечерело. Медленные сумерки незаметно надвигались над озером. Крякухи замолчали. Тот берег камыша и лес на острове постепенно таяли, будто удаляясь все дальше и дальше, и наконец слились с небом и водой. Потом там все стало уже темным, без очертаний, без теней и бликов. Взошла звезда. День кончился. Хороший субботний день.

Ночевали мы втроем. В густой камыш воткнули нос к носу челноки,

закрепили их веслами и натянули палатки. И вот уже сидим на передних лавочках лицом друг к другу.

Горит подвешенный на камышах фонарик. Зашумел примус с чайником. Вокруг темно, а у нас уютно.

Никому, видимо, не хотелось перебивать шум примуса. Так лучше: все слушали его ровный, бодрый и настойчивый голос. Здесь, в нашем маленьком мире, все стало по-другому, не так, как днем. Свисающая метелка камыша кажется большой и очень важной. Другие метелки там, высоко, в самом небе, и их еле-еле видно. Все близкие к нам предметы приобрели необычные очертания: нос челнока кажется намного больше и представляется площадкой крыльца; камыш — толще, хоть избу руби из него; листья — шире и длиннее; а силуэты моих друзей в отсветах огня чуть-чуть дрожат.

Закипел чайник. Примус замолк. Тогда ворвалась тишина, в которой голос Захара Макарыча послышался как из репродуктора, установленного против сельсовета, — во всю мощь:

— Пожалуйте к столу!

Стол — это нос его лодки, куда он положил еще с борта на борт переносную скамеечку. А мы — с двух сторон: слева — я, справа — Иван Васильевич.

Наелись.

За чаем, как и водится, потянуло всех на разговор. Охотники же!

— А правда, что ты написал книгу про грибы? — начал Захар Макарыч.

— Правда.

— Во-от... Значит, написал книгу! — Эти слова он произнес с оттенком гордости, так, будто был соавтором. — Про грибы?

— Про грибы.

— Надо же! А чего ж про них писать так много? Про насекомых — другое дело. А гриб что ж: гриб он и гриб. Насекомых-то миллионы миллионов...

— Про грибы — очень важно, Захар Макарыч. Очень.

— Не может того быть, — не сдавался тот. — А ну, расскажи хоть малость.

Иван Васильевич прочел нам целую лекцию о микоризах — микроскопических грибах, сожителях растений, о том, что у большинства зерновых культур тоже открыты недавно свои микоризы. Мы узнали, что Иван Васильевич работает в институте над сложным вопросом: он изучает способы культуры этого замечательного гриба.

Закончил он так:

— Если мы научимся культивировать микоризу, то могут полететь вверх тормашками всякие системы земледелия. Мы еще не знаем той системы, какая должна быть... — При этом он так взволнованно говорил, что, казалось, речь шла о единственно важной мировой проблеме. В нем отпечатался весь характер отца. («Птицеферма — главный вопрос на земле») — Надо только найти способы культуры микоризы... Надо только найти... — Иван Васильевич перешел на тихий, спокойный тон. Последние слова он произнес, уставившись в одну точку, на метелку камыша, будто забыл о нашем присутствии: — Надо найти.

— Найдешь, пожалуй... Так я думаю, Иван Васильевич, — пробудил его Захар Макарыч.

— А? — встрепенулся ученый. — Полагаете, найду?.. Это очень трудно. Очень.

— Конечно, трудно. Еще бы... Вот тебе и на! Думалось: гриб он и гриб. А оно... Ну и ну! — Захар Макарыч явно не находил слов для выражения удивления. Может быть, поэтому и сказал: — Давайте-ка на

боковую. Утром разберемся, чего к чему присоединяется... Мозговой ты, Иван Васильевич. Право, мозговой.

— А мне кажется, Захар Макарыч, что если бы у вас сложилась жизнь иначе, то вы были бы ученый настоящий, а не такой, как... мы.

— Нет. Я на это не способен. Так... просто... мне всякая живность интересна, а чтобы в науку — нет. Не способен. Да и горяч я для этого. С юности горяч. Все равно не годился бы.

Я знаю, что он был бы способен, но промолчал. Возражал ему Иван Васильевич:

— В том-то и дело, что интересно. В том-то и дело, что горячка есть.

— Эх-хе-хе! Чего же теперь... после драки кулаками махать. Прошла она, жизнь-то. И прошла, скажу вам, совсем не так уж плохо, если бы... Э! Не надо. — Он отмахнулся от какого-то воспоминания, как от мухи. — Полжизни на комбайне, шесть лет на войне. Скажешь, плохо? Со стороны не очень, а по мне — дай бог каждому так-то.

Тогда вмешался и я:

— Вот вы говорите «был бы» про Захара Макарыча. Каждый мог бы «быть», но... надо было и хлеб делать, и воевать. Ваше поколение, Иван Васильевич, удачливее...

— Не возражаю. Не нам ныть. Да и совсем не обязательно всем быть профессорами. Пожалуй, тут важно другое: важно, чтобы человек, где бы он ни был, светился своим собственным светом, а не отражением другого источника. Для этого горячка нужна.

— Пока не понимаю, о чем ты! — воскликнул Захар Макарыч. — Ну-ка, ты по-простому-то.

— Дайте договорить, — спокойно возразил Иван Васильевич. — Бывает так: человек уберет комбайном за свою жизнь десятки тысяч гектаров, выдаст горы хлеба несмотря ни на что, ни на какие там «культы». Или потоком отправляет яйца, молоко... Целую жизнь! Такие люди светятся своим светом, горячим светом, они греют! Вместе они — солнце. А кое-кто часто светит их же светом, но только отраженным от себя. Да, да! Отраженным. Больше того, кое-кому кажется, что этот отраженный свет и есть их собственный, что они якобы освещают само горячее тело. Не-ет. Не может луна светить солнцу. Все наоборот.

— Ясно теперь: светит, а не греет. Все понятно, — удовлетворенно подытожил Захар Макарыч: — Орел к свету, а сыч во тьму. Та-ак. Ну, а у вас-то там, в науке, все светит аль как?

— Тоже разное. Иной светит, иной... коптит. В науке, Захар Макарыч, «свет» распределен не всегда правильно. Слава человека подобна его тени: чаще она бывает длиннее роста. И в литературе. И в искусстве может так быть. Я уж не говорю о так называемых административных кадрах! Там бывает и так: тень дли-инная-предлинная и остается надолго. Даже если самого-то такого человека почти нет, а он «живет» этой длинной тенью.

— По поводу «административной тени» мне не очень ясно. Например? — спросил я.

— Далеко не будем ходить, — так же спокойно ответил Иван Васильевич (волновался и горел он только тогда, когда говорил о грибах). — Почему, скажем. Переметов месяц тому назад снова стал руководить районом? В Камышевце «засыпался» — сняли; походил-походил, погрустил самую малость и — вновь назначили. Теперь уже в другой район. Да еще хотели первым... Председателем работает.

— Этого не может быть! — воскликнул я в недоумении.

— Говорю — значит знаю. Уже работает в соседнем Корневецком районе. Что это значит? А то, что тень-то его осталась где-то и по ней кто-то судит о росте. Куда уж лучше вам пример.

— Да-а,— протянул Захар Макарыч.— Вот тебе и тень на плетень. Будет опять Яков Гордеич речи читать... Ох, и любит он эту работу! Ажно взмокнет весь, бедняга. Но, думаю, сорвется он опять — не то времечко. А речи будет выдавать. О! Умеет.

— Не в этом дело... В Корневцах добрая половина колхозов сравнительно хороших. Переметов пока будет светиться их светом и воображать, что светит сам. И так до тех пор, пока не развалит дело и пока не пришлют нового «выправлять положение». А тень Переметова может и остаться — ему на пенсию не скоро. Достаточно вам этого примера? Или будем спорить?

— Долго спорили старик со старухой: как печку на зиму разделить, да толку-то от того,— заключил Захар Макарыч.— Вот так-то и два охотника поспорили: кто искупается в ледяной воде в ноябре месяце и кто после этого не простудится. Один говорит: «Я не простужусь, я закаленный», а другой говорит: «Я не простужусь, я тоже закаленный». Побились об заклад. Бултыхнулись разом в речку: мало-мало поплавали даже, для форсу, и — назад. Вылезли. Один говорит: «Я тебе докажу — ты свалишься пластом, а я нет», а другой говорит: «Я тебе докажу — будет тебе воспаление легких с осложнением на нервной почве». И что вы думаете?.. Оба простудились! Свалились, к едрене бабке... Я это к чему? Да к тому же: не надо спорить, если и так ясно. Спорили мыши — кому коту казнить. Так и нам о Переметове. Ну его к лешему. Будем надеяться, что он последняя ошибка... А у тебя, Иван Васильевич, здоровенно получается: и «тень на плетень», и солнце — все здорово. Все правильно... Спать будем? — неожиданно спросил он и глянул на часы.— Без двадцати двенадцать накачалось.— Затем полез в палатку, а оттуда добавил: — Ну что ж, будем думать.

Я тоже снял фонарик с камышей и лег в палатку, вытянувшись во весь рост. Спать не хотелось. И фонарик тушить не хотелось.

Горит огонек...

Я долго лежал не шевелясь, прислушиваясь к дыханию охотников. Потом повторил про себя слова Захара Макарыча: «Ну что ж, будем думать». Но усталость взяла свое. Тело становилось все легче и легче. Ночь забрала и меня с собой, оборвав нить паутинки осеннего дня. Я не заметил, когда лопнула паутинка, но... только паучки все летели и летели... А малыш, Ванятка Кнут, гонялся за ними по селу, распугивая кур.

...Утро начал Захар Макарыч: постучал веслом о нос лодки и сказал:

— Подъе-ем... Вы гляньте-ка, что творится на белом свете.

Хотя уже начинало светать, но перед нами стояла сплошная пелена непробойного тумана. Захар Макарыч уже вытолкал челн на чистую воду и оттуда, невидимый, торопил:

— Поворачивайтесь-ка вы там, тени! Гляньте, что бог нам накуралесил.

Мы выбрались из камышей, стоя в челноках.

— Где ты, Макарыч? — окликнул я.

— Вот он, рядом. Смотри в оба. Видишь?

— Не вижу ни бельмеса.

— Подожди, чиркну спичкой.

Вспыхнул огонек спички, и я увидел... голову Захара Макарыча. Она стояла на тумане — одна голова. Густая-прегустая пелена закрыла озеро вровень с нашими плечами, а Иван Васильевич высунулся по грудь. В мутном рассвете еле заметные головы были сказочными.

— Смотрите сюда! — позвал доцент и тотчас же крикнул: — Ку-ку! — Голова его провалилась вниз.— А вот и дядька Черномор! — Он вылез снова.

Об охоте в такой туманище — и думать нечего. Все понимали это и решили обождать полного рассвета еще с полчаса — может, рассосется. Мы прижались вновь к камышам все рядышком.

Через несколько минут одежда, весла, борта челноков стали влажными. Мы натянули плащи и съежились на лавочках в терпеливом ожидании.

— Не везет, — сказал Захар Макарыч.

— Не везет, — повторил Иван Васильевич.

— Обманули паучки. Они ведь всегда обещают ведреную погоду, — попытался я свалить вину на насекомых, чтобы хоть чуть утешить друзей.

Утром спросонья, да еще в глубоком тумане, разговор шел лениво. Захар Макарыч позевывал во весь рот, потягиваясь и передергивая плечами от свежести и сырости.

— Похолодало здорово, — сказал он. — А паучкам как верить? Позднышки, последняя партия. Не будь такого тепла — зазимовали бы они на месте...

Мы, оба его собеседника, отмолчались — не хотелось открывать рта: если не везет, то уж и нечего разговорами утешаться. Но Захар Макарыч вновь сердито забубнил:

— А туману вот теперь верь: раз низом стоит, то жди ненастья... Ишь ты! Даже руки зябнут... Ох, уж эти мне паучата... Последыши... Замокрыши, нечистый вас возьми... Туда же!.. Пропала заря ни за понюх табаку.

Но время шло. Становилось все виднее и виднее. Теперь, если встать в челноке, открывалась удивительная картина: камыш, наполовину задернутый пеленой, казалось, рос из тумана — низкий, густой; лес на острове тоже был не на земле, а прямо на тумане, черный-черный и вдвое ниже обычного. Захар Макарыч ворочал головой из стороны в сторону, мы с Иваном Васильевичем тоже: три головы поплыли над туманом в разные стороны, каждая в свой скрадок. Сядь в челнок — ничего не видать. Встань — перед тобой чудо земли. Чудо из чудес! Осенняя сказка.

Я плыву. И пробую сочинить эту сказку: «Жил-был на земле Захар Макарыч по прозвищу Пушкарь. Жил он тихо, но от него шел свет к добрым людям. Поехал однажды Пушкарь на охоту за жар-птицей и попал в такой-то густой туманище. Ни неба, ни земли не видать. Глядь-поглядь — в тумане голова плывет...» Чья голова?.. Может быть, Митьки Шмеля?.. Нет, чего не могу, того не могу: сказка у меня не получается — пусть напишет кто-то другой. Да и скрадок мой вот он — приехала голова, проплыла над туманом.

Вдруг крик Захара Макарыча:

— Иде-ет! Слуша-ай!

И в тот же миг просвистела крыльями стая уток. Шли они на юг... Минут через десять—пятнадцать — еще стая. Потом еще. Пошла северная! Но на озеро пока не садится ни одна: туман.

Ветерок зашумел в камышах и затих. Через некоторое время камыши вновь заволновались, зашептали, забеспокоились, стряхивая туман. И озеро очистилось, стало обычным, но уже зябко вздрагивающим от набегающего ветра то там, то тут.

И вот рябь покрыла всю водную гладь. С севера полезли серые, поволчьи косматые облака. Затем выползло и медно-желтое большущее солнце. Все предвещало резкое изменение погоды.

Маленькая стайка белопузых чернетьей упала метрах в пятнадцати от меня... Две остались после выстрела.

Доцент ударил дублетом. Захар Макарыч после громового удара крикнул: «Есть!» И пошла потеха!

Ветер уже ходил мелкой волной, чучела трепались и играли, как натуральные утки; камыши оживели — зароптали, зашумели. А часа через два небо заволокло космами.

Часам к десяти утра лёт прекратился, и мы съехались на то же место, где ночевали. Как бы там ни было, а все трое прибыли с трофеями, не смотря «на срыв работы по причине тумана», как выразился Захар Макарыч. Всего оказалось у нас четырнадцать уток.

— Для такого утра — прилично за глаза! — восторгался Захар Макарыч после подсчета. — Пошла утка. Пошла родная!

— Пришла моя любимая! Пришла неоцененная! — в тон ему продекламировал доцент.

Завтрак был веселым.

Но не успели мы допить чай, как уже в яростном порыве ветра бросились на нас капли секущего дождя — холодного, звучного и настойчивого. От него вода покрылась стеклянными свечечками. Миллионы их: что ни удар капли, то свечечка, вскочит — и нет ее. До того обманчиво, что, кажется, свечки живые и выпрыгивают из воды сами собой.

Наскоро натянув палатки, мы забились в них и немедленно уснули: слишком убаюкивающим был непокорный шум камышей, барабанная дробь дождя о палатку, покачивание челнока, такой теплый уют палатки и мягкий воротник шубейки под щекой. Только настоящий охотник поверит, что в такую погоду в камышах можно проспать сутки без отдыха. Право же, я дрыхнул до трех часов дня, пока Иван Васильевич кликнул:

— Тени охотников! Зима подбирается.

Мы с Захаром Макарычем высунули головы из палаток.

Дождь шел со снегом! Ветер неистово рвал камыши и шлепал водой о челноки. А на озере... качались на волне три стаи уток. На наших глазах опустилась еще одна! В такой чичер утку прижало к земле, она садится на отдых смело.

Не стовариваясь, мы напялили плащи, спустили палатки и выбрались из камышей. Волна подхватила меня и Захара Макарыча — нам по ветру плыть, — а Иван Васильевич довольно искусно пошел вдоль камышей против ветра, на свое место. Утки немедленно снялись, но Захар Макарыч успел-таки «схватить» одну на подъеме. Я, признаюсь, промазал — очень качало челнок.

При такой погоде, когда и днем сумерки, вечер наступил сразу. Но и в полутьме утка шла и шла, хотя стрелять уже было нельзя.

Зато в кромешной тьме против ветра мы с Захаром Макарычем попотели. Он то и дело окликал:

— Плывешь?

— Плыву!

Через некоторое время кричал ему я:

— Живой?

— Живой! — откликался он весело.

К Ивану Васильевичу мы подъехали «все в мыле». Но что это за трудности, если имеем за две зари двадцать три штуки уток на троих. Мы попали на последний вал пролета. Вполне удовлетворительно, если принять во внимание, как мы скисли утром.

— Вот что значит верить в удачу! Все начинается с надежды! — встретил нас Иван Васильевич, высунувшись из палатки.

Он уже успел натянуть ее, как барабан, устроился по-хозяйски и в непогодь: с обеих сторон он закрепил челн суховилкой и веслом, воткнув их и связав сверху. Он положительно все умел делать: пахать, косить, молотить, работать на тракторе, учить студентов, писать книжки о грибах и охотиться.

— Надежда горы воротит,— поддержал Захар Макарыч, совсем забыв, как он ныл в тумане и проклинал паучков.— Не будь надежды — не было бы охотников на земле.

Устраивая челнок на ночь, надо было торопиться: дождь нахлестал в лодку — надо отчерпать, вновь положить на дно уже сырой камыш и быстро натянуть палатку.

Но вот все сделано. И только тогда мы поняли, что «спокойной ночи» никто из нас уже не скажет. Рукава мокрые, плащи мокрые и стоят колом; снизу, у дна, холодно от сырости. В таком случае остается один выход: вниз, под себя, меховую шубейку, сверху, на себя, ватник, а дверь палатки — на все пуговки. Плащ уже ни к чему — он лежит колом сбоку, в ногах.

Из своего логова Захар Макарыч спросил, как из-под земли:

— Запечатались?

— Под сургуч,— ответил Иван Васильевич.— Что будем делать?

— Лежать будем,— откликнулся и я под шум ветра и дождя.

— А до каких пор?

— До утра, если дождь не перестанет.

— А потом? Останемся или — домой?

— Утро вечера мудренее,— ответил Захар Макарыч.— Что-то мне кажется, на мороз тянет.

— А дождь идет? — возразил я.

— Ну и что ж, что дождь? В снег перейдет да как рубанет на всю катушку — кости захрестят. Было же такое? Было.

Голоса их слышались будто издали.

Не прошло и получаса, как Иван Васильевич снова пробубнил:

— Ужинать-то будем? Я бы не против. Очень даже не против.

— Будем,— ответил Макарыч.— Маленько подождем: может, дождик перестанет.

— Успеем еще,— сказал я.— Ночь-то будет дли-инная-предлинная — больше шестнадцати часов.

Все вышло пока по-нашему: дробь дождя становилась все тише и тише, а наконец и совсем перестало барабанить.

Мы «распечатались». Холод ворвался в палатку. Дрожко.

Захар Макарыч уже шумел у себя примусом, тоже приоткрыв застегки — у него теперь жарко.

Закусили малость, но чай пили с напором, до второго пота, пока опустел чайник.

И снова «под сургуч».

Ночь была долгая. В такую ночь отчетливо чувствуешь дыхание зимы. Она где-то рядом и может появиться неожиданно, в любой час, как снег на голову. Точная пословица: более неожиданного, чем первый снег, ничего не может быть в природе. Очень даже просто: встанем утром, а кругом белым-бело.

Но ветер помаленьку утихал.

Притеплившись и съезжившись калачиком, я высчитал дни после первого зазимка и пришел к тому же выводу: зима у ворот.

Зима, зима... Постепенно мысли перешли в прошлое.

Осень сейчас в природе. Осень и в моей жизни. Весну свою я помню хорошо — трудная весна. Лето помню. Но... Ладно, не надо никаких «но». Все ведь прошло... А осень — вот она... Всю мою жизнь можно назвать просто: жизнь в поле...

...То были совсем не грустные мысли. Наоборот, в ту глубокую и черную осеннюю ночь радовался тому, что понял: я такой же, как Захар Макарыч, Василий Кузьмич, Петр Михайлович и многие колхозники.

Пусть хуже их, но с ними на всю жизнь, а моя тень мало заметна для других и вполне соответствует росту.

Услышав, что доцент повернулся в лодке, я спросил:

— Не спится?

— Нет.

— Холодно?

— Нет, согрелся... О чем думаете, Тихон Иванович?

— О прошлом. А ты, Вань, о чем думаешь?

— О будущем.

— И что же там, светлая голова?

— Хорошо!.. А что у вас в прошлом получается?

— И очень и не очень. Все есть.

Захар Макарыч, доселе молчавший и, видимо, прислушивавшийся к разговору, внес свою лепту в разрешение этого вопроса:

— Культ-то умер. Да вот... как бы это сказать... культята есть.— Иван Васильевич рассмеялся, я — тоже. Но Захар Макарыч продолжал с напускной обидой: — Чего смеетесь? Не бривка мучает попа, а мучает попа чека. Думаете, культа нету, то и переметовых нету? Ведь это его зацепило боком, он и свалился спервоначалу. А другого, может, не зацепило. Куда его денешь?.. А вы: «Ха-ха!» Тоже мне, комики... Куда ты его денешь? Должность-то ему надо давать? Надо. Он же без должности захиреет. Он же ничего не умеет делать. А вы: «Ха-ха!»

— Да мы, может быть, с вами согласны, Захар Макарыч, — сказал сквозь смех Иван Васильевич.

— Если так, то это еще ничего, — пробурчал Макарыч. — А то: «Ха-ха!» А чего «ха-ха» — не сразу поймешь. Лет бы двадцать назад дал бы я тебе сгоряча подзатыльник — только зубки бы шелкнули... А теперь тебя не ущипнешь, Ванятка.

Так за эти двое суток он называл его то Ваняткой, то Иваном Васильевичем, то снова Ваняткой. И все получалось просто.

...А ночь все тянулась и тянулась. Длинная осенняя ночь. И чего только в это время не передумаешь, чего не вспомнишь, о чем только не переговорают охотники, когда ночь не движется, а, кажется, висит черным пологом без конца и без края.

Но как бы там ни было, а в палатках мы надышали тепла, пригрелись и замолкли в ожидании далекого утра.

...С шумом пронеслись над камышами «белопузники»... Снова — они же. Еще раз. Одна и та же стайка кружила в облете над озером, каждый раз прошумев над палатками. Я высунулся наружу.

Захар Макарыч уже стоял на передней лавочке. Видимо, боясь разбудить доцента, он полушепотом сказал мне:

— Попали мы, Тихон Иваныч, башкой в развилку.

Не сразу я сообразил, в чем дело.

— Видишь, утка не может сесть?

— Вижу.

— Пощупай за бортом.

За бортом был лед — челноки вмерзли в камышах. Палатка покрылась коркой, и на ней белела изморозь. Под лучом фонаря мы увидели: лед блестел и на озере. Все сковало!

До утра оставалось еще часа два.

— Пожалуй, надо нам, Захар Макарыч, выбираться, пока лед не стал толще.

— Пусть поспит, — прошипел он, указав на челнок Ивана Васильевича. — Ночь-то почти не спали...

Так отец, собираясь в поле, жалел и меня — не будил пока. Он сам укладывал на телегу соху, борону, корм, подмазывал колеса дегтем, на-

сыпал семена. И только после этого, когда совсем уже рассветет, расталкивал: «Вставай. Пора ехать. Ишь, дрыхнет, как сурок... Вставай, вставай». Помню, как спросонья садишься, бывало, на телегу и некоторое время еще клюешь носом, пока не проснешься совсем уже в пути и не поймешь, что ласка отца в его напускной строгости.

— Пусть поспит, — согласился я и перешагнул в челнок Захара Макарыча.

Там уселись мы бок к боку, засунули руки в рукава шубеек, опустили лопухи трех и зашептались:

— Деловой, — говорю, — доцент, а?

— У-у! Этот даст им там... Этот знает почем фунт лиха, — дыша мне в лицо, соглашался Захар Макарыч.

— Кому же это он даст?

— Коптильщикам.

— Неплохое слово.

— Факт, неплохое... А он не обманет. Кнутиковская закваска... Ишь, как похрапывает.

.....

— Камыш-то застыл, — говорю.

— Остекленел, бедняга.

.....

Каждый из нас знал, что мы обходим главное: как выбраться из льда. Но каждый думал об этом. Это очень трудно. Вот попали!

С рассветом, когда заря вспыхнула и заиграла на льду, мы разбудили доцента. Он вынырнул из палатки заспанный, но бодрый.

— Ой ты! — воскликнул он, глядя на озеро. — Красотища какая! Сказка!

Все было волшебным. Казалось, все вокруг покрыто светлым лаком, отполировано до зеркального блеска и оставлено на долгое хранение, до самой весны. Жизнь замерла, все недвижимо.

Осень кончилась.

— Сказка... Будет нам нынче сказка, — заворчал Захар Макарыч, осторожно свертывая палатку, чтобы не поломать мерзлый брезент. — Рыхлей складывайте, — посоветовал он и нам.

После короткого совещания мы наметили «план ледового похода». До русла надо было пробиваться километра два.

Капитаном единогласно назначен товарищ Пушкарь.

Обколоть челноки оказалось не так-то уж трудно: железные рогатки суховилки для этого вполне подходящи. Пробить перед челноком метр-другой уже труднее. Вытолкнуться из камышей еще труднее. Потом челнок упрется носом в лед — ни с места.

Немало хлопот доставило каждому из нас, чтобы стать друг за другом в одну линию. Труднее всего капитану. Он с размаху разбивал лед, стоя в носу, потом переходил на корму и проталкивался на метр вперед. В двадцати метрах от места ночевки от Захара Макарыча уже валил пар.

Потом к нему из челнока в челнок перешел Иван Васильевич, привязав свой к моему. Теперь разбивал лед Иван Васильевич и перешагивал к корме, а Захар Макарыч проталкивал челн с приподнятым носом (ведь на корме двое). С размаху киль врубался в лед, обламывал его под собой и замирал. Затем все повторялось снова.

Прошло более часа, а мы отъехали какую-то сотню метров. Капитан перестал наезжать килем на необитый лед (лодка будет изодрана в клочья и угроблена окончательно). Поэтому продвигались мы еще медленнее. Мне досталось тащить на буксире челнок Ивана Васильевича с полной нагрузкой, но все-таки это было гораздо легче, чем бить лед.

Между тем небо вновь затянуло низкими, теперь плотными и спокойными облаками. Замелькали снежинки. Надежды на оттепель не было ничуть.

Не сговариваясь, остановились на отдых. Сели, покурили молча. Потом Захар Макарыч совершенно серьезно, видимо прекратив игру в ледовый поход, сказал:

— Вот что, мужики: надо беречь силы. Если заметелит, то нам тут хана.

Каждый из нас знал, как лет пятнадцать тому назад старик охотник вмерз с челноком в озере, выбился из сил и окоченел. Но никто ни разу не заговорил об этом. Положение наше было опасным.

А мороз нажимал все сильнее.

Мы решили меняться на колке льда через каждые полчаса и при этом отдыхать десять минут. Но прежде всего — обсохнуть от пота, для чего, пока не останавливаясь, продвигаться медленнее, спокойнее. Так и сделали.

Только к часу дня наша унылая эскадра с обессиленной командой стала против затончика, в конце которого была охотничья пристань. До нее было метров двести, а до русла Тихой Ольхи около километра. С ходу добраться до реки и думать нечего. Мы решили выйти на остров, чтобы отдохнуть, поест.

Моя очередь пробивать лед. Ребро весла уже обтрепалось и стало мохнатым, руки в мокрых перчатках коченели. Как бы я ни старался спокойно работать, спина опять потная. Чем ближе к берегу, тем лед становился толще. Но это не страшно. Ведь обратно, от берега до середины затона, мы будем ехать уже по пробитому следу, хотя кормой и вперед. Это не страшно. Надо отдохнуть. Обязательно отдохнуть. Силы иссякали с каждой минутой.

За десять метров до пристани сломалось мое весло. Жаль. Отличное было весло — кленовое, пятиметровое, прочное. И как это меня угораздило!

— Ты что же, идол, плашмя ударил! — крикнул на меня с остервенением Захар Макарыч. — Теперь с окомелком будешь шлепать! Клади его в лодку. Бери мое. Если ломаешь — шкуру спущу!

Он отдал мне свое тяжелое весло, а легкое весло Ивана Васильевича взял себе.

Я продолжал долбить и долбить. За «шкуру» свою, конечно, не боялся — просто Захар Макарыч тоже выбился из сил и, как говорится, сорвался.

Наконец-то последний окраек льда сбит, и лодка ткнулась в берег. Самое главное в тот день сделано: мы на земле и теперь все пойдет проще.

— Чего это вы так напустились на Тихона Ивановича? — спросил Иван Васильевич. — Суховилки-то есть у каждого да два весла. Еще можно ломать — теперь уж все равно выберемся.

— Ну... так... сгоряча, — не очень-то энергично оправдывался Захар Макарыч.

Здесь мы были, конечно, не равны. Захар Макарыч здесь важнее. И мы это понимали. Даже гораздо важнее.

Захватив с собой пищу и чайник с водой, мы ушли в землянку. Там кто-то из охотников оставил дрова, поэтому через десяток минут уже пылала печка с полуоткрытым челом, а мы разделись.

Блаженный отдых! Описать это не в моих силах. Никогда не забыть такого часа. Мы ни о чем не разговаривали — мы наслаждались. Тянуло в дрему. Иван Васильевич, откинувшись на спину и подложив ладони под затылок, проговорил лениво:

— Эх, поспать бы...

— Все! — возразил Захар Макарыч. — Обсохли, пузо твердое — поехали.

Обратно до нашей главной магистрали протолкнуться не так уж трудно: развязали два челнока, последний стал передним. Так мы и стали вновь на курс.

Очередь была Захара Макарыча. Он размеренно, редко и точно орудовал уже не веслом, а тыкал в лед увесистой дубиной, срубленной в лесу. Дело пошло успешнее. Я проталкивал теперь челн. Иван Васильевич тащился позади с двумя челноками.

Во время передышки Иван Васильевич, явно обладавший более тонким слухом, чем мы, насторожился:

— Слышите?.. Кто-то бьет лед...

Мы пока не слышали, но затаили дыхание. Наконец и до нас донеслись удары. Человек пробивался от русла к острову. Было непонятно: кому вздумалось лезть сюда в такое время? По приближению звуков мы заметили, что охотник продвигался гораздо быстрее нас.

— Там, ближе к руслу, лед тоньше, — заметил Захар Макарыч.

— Но кто это может быть? — спросил Иван Васильевич.

— Леший его знает, — ответил Захар Макарыч. — Сядемся — узнаем. — Вдруг он вскрикнул: — О! Гляньте! Вот он, ползет!

По льду быстро бежал красный паучок, тот самый, какого можно встретить и на снегу среди зимы. Удивительное насекомое!

— Как называется? — спросил Захар Макарыч у доцента таким требовательным тоном, будто тот обязан знать все на свете.

— Не знаю, — лаконично ответил Иван Васильевич, ничуть не смущаясь. — Снежные паучки почти совсем не изучены.

— Вот задача, скажи на милость: бежит, и не знаешь, кто бежит. Вон еще, смотрите! Ух ты! Строчит, каналья, — и мороз нипочем. Все это занятно. — Захар Макарыч задумался. Потом добавил: — И почему только человек так мало живет? Все бы можно было узнать. А оно, видишь, как получается... Почему бы и мне, скажем, не быть профессором? А ведь мог бы!.. Нет, если бог, допустим, и делал человека, то без соображения.

Так и выдал себя Макарыч: он, видимо, всю долгую ночь думал об этом и решил: «Мог бы».

Уже в конце четвертого часа дня, почти в сумерках, выйдя на повороте из-за камышей, мы узрели к всеобщему удивлению... Петьку Плакуна! Он тараном лез в глубь затона. Обнаружив нас, остановился и стоял в лодке, поджидая. Протолкал он, пожалуй, третью часть нашего пути от острова до русла. Конечно, для нас это большое облегчение, но зачем все-таки он сюда-то направляется?

— Ты чего в ад за яблоками прешь, горшешный художник? — спросил у него Захар Макарыч.

Плакун не ответил, а спросил у нас:

— Алешку Русого не видали?

— Нет, — ответили ему в три голоса.

— А зачем он тебе? — спросил я, вспомнив, как Алеша отхлестал его уткой по лицу.

— Понимаешь, какое дело: думал, он вмерз в Голове.

— Ну и что же? — допытывался Захар Макарыч.

— Вот я... и поехал к нему. Думаю, пропадет... Мне-то от русла пролезть — ничего: назад-то по пробитому... А ему, думаю, одному-то... Где же он есть?

— Когда он поехал? — спросил я с беспокойством.

— Вечером слышал его мотор.

— Тогда он на русле,— уверенно сказал Захар Макарыч.— Выше затона обязательно.

Как бы в подтверждение его слов раздался далекий дублет.

— Он! — воскликнул Петька.— Как подморозило, он и сообразил: утка пойдет на русло. Он!

До Тихой Ольхи, по следу Петьки, мы добрались еще завидно.

— Слава богу! Бог, он не дурак: знает, кому помогать.

После такого заключения Захар Макарыч приложил ствол к губам и продудел условный сигнал. Через несколько минут мы услышали ответный гудок.

— Он и есть,— радостно сказал Захар Макарыч, глядя на нас.— Переку-ур! Ледовый поход закрыт. Объявляю благодарность всему составу... кислой команды.

Я бросил взгляд на Ивана Васильевича: он был «кислым» в полном смысле, даже почернел от усталости, пота и двухдневной непогоды. Таков, видимо, был и я (Захар Макарыч слов на ветер не бросает).

Не более как через двадцать минут мы услышали мотор, а вскоре подкатил, рассекая воду, и сам Алеша Русый, размахивая шапкой в знак приветствия.

— Здорово, несчастные! — крикнул он.

— Здорово, хитрец! — ответил я.— Обманул погоду?

— Ага. Вижу, вечером на мороз тянет — значит, дичь в камыши не пойдет.

— А какие дела? — спросил Иван Васильевич, хитровато улыбаясь.

— Девять штук... Постой, постой! Да ведь это Ванятка! Сукин ты сын! Как ты сюда?! Вот не ждал! — Он подъехал к Ивану Васильевичу борт к борту и протянул руку: — Дай пожму. Помнишь, как к девочкам топали вместе?

— Угу! Помню.

Встретились друзья юности — тракторист и доцент сельскохозяйственного института. Только ханжа заскулит от того, что Алеша выхватил поллитровку из корзины и воскликнул:

— За встречу, Ваня!

И всем поднес по сто граммов точно. Впрочем, он-то уж знал, как полезно нам, измученным и обессиленным, чуть взбодрить себя.

— За встречу, Алеша! — сказал Иван Васильевич, опрокинув охотничий стаканчик-раскладушку.— В воскресенье жду в гости.

Поднося порцию Петьке, Алеша спросил:

— А ты как сюда? Ты ж в эти места не ездешь — всегда один, бывало.

— Я-то?

— Ты-то.

— А чего мне?.. Спасибо. Будем! — Он опорожнил стопку и блаженно улыбался.

Я увидел Петьку не совсем похожим на того, какого знал несколько лет подряд.

— Знаешь, Ванятка, как я его отучал от браконьерства? — спросил Алеша, ткнув пальцем в Петьку.

— Как? — заинтересовался доцент.

— Знаем, да не скажем,— уклонился-таки от ответа Алеша и подмигнул мне и Захару Макарычу. Однако добавил: — Мудрость — не в наказании за зло, а в предупреждении зла. Кто это сказал?.. Не знаете?.. Эх вы, ученые люди! А я вот... тоже не знаю, кто сказал. Объявить, что ли, Петро, нашу с тобой историю?

— Ну, ты уж,— обиделся Петька.— Ну, было... Ну, было...

— Ладно. Молчу.— И Алеша закрыл рот ладонью.

...Уже в темноте пять моторчиков рубили воду, ревели друг за другом, разрывая на клочья тишину глухого и такого дорогого мне уголка Земли.

У Камышевца челноки забелели от снега — их хорошо стало видно и ночью. Каждый из нас вез на плечах белый-белый снег.

Прощай осень! Прощай мое Далекое! До будущей весны!

Ветер

Снег, снег и снег.

Горизонта нет никакого. Затуманенный налетом инея на бурьянах, он растаял в легкой дымке утреннего морозца. Поле в такие дни бескрайнее, однотонное, сизовато-белое и кажется безжизненным. Только это, конечно, кажется: жизнь все равно идет, а поле и зимой привлекательно и интересно своей неповторимостью, как и каждый день жизни человека. Все равно завтра поле будет другим и никогда не повторится. Жизнь идет. Ее не остановить ни снегами, ни морозами, ни ураганами.

Вот пожалуйста! Метрах в двадцати обозначились ярко-красные пятна и тотчас же растаяли: то снялась стайка снегирей. Перед Иваном Васильевичем Кнутиковым с жестким шумом вырвались из снега, как из ничего, куропатки. Он вскинул сгоряча ружье, но не выстрелил (запрещено!). Валерий Гаврилович Фомушкин наткнулся на пустую лежку зайца, остановился, чтобы обратить на себя наше внимание, указал пальцем под ноги. Понятно: «лежка есть». Захар Макарыч кашлянул и протянул вперед руку: гляньте, дескать, лисица улепетывает.

Жизнь в поле идет и зимой. Днем ее можно маленько расшевелить, если вот так, фронтом, идти по мягкой пороше, бесшумно и осторожно. Но по-настоящему поле оживает ночью. Видите, сколько наплясал заяц на жировке около кустиков — до самого утра топал на своих костылях косою.

А эти ровные строчки, как по струнке, написала огненно-рыжая днем и черная ночью лисица; она и утром, когда все вокруг уже светло, и вечером, еще завидно, мышкует с увлечением, то подпрыгивая свечкой, то припадая и распушив хвост трубой. Ночью она и ворует, хитрючка, досаждает Василию Кузьмичу на птицеферме. Ведь залезла же через форточку на птичник! «Юристка», — обругал ее тогда Василий Кузьмич заочно и обиделся на сына за то, что тот за весь отпуск не убил ни одной лисы. В последние годы отец прямо-таки ненавидел их. Доцент обещал убить. Четыре ночи он сидел на засидке около фермы и убил-таки. Теперь шкурка «юристки» висит в хате на стене.

Нас пятеро: Фомушкин, все так же председательствующий в райисполкоме, его зам — Чумак Петр Михайлович, доцент Кнутиков Иван Васильевич, все тот же Пушкарь Захар Макарыч и я.

Ночных следов все-таки мало: «не весь заяц» вставал на кормежку в снегопад. Но наша задача состояла главным образом в том, чтобы ухлопать все воскресенье в свое удовольствие.

Морозец легкий. Снег рыхлый. Хорошо.

От жировки я взял след. Остальные четверо, увидев такое, приостановились: наблюдают за мной, приготовились (а может, наскочит!). Захар Макарыч припал на колено в западинке, откуда торчит только его шапка. По большому и свежему снегу сегодня заяц не должен бы уйти далеко. И правда, после первой же сметки на кипенно-белом поле я заметил чуть-чуть темноватое пятнышко. Лежка!

И все равно заяц вырвался как ниоткуда — большой, рыжеватого

серый. В идеально чистой, в такой «пустой» белизне, в полном безмолвии он кажется огромным. Хорош!

Положил я его отлично.

Что ж: моя удача! Все подошли ко мне.

— С полем! — поздравил Фомушкин.

— Завидую и ревную! — патетически простонал Петр Михайлович Чумак, вскинув единственную руку вверх.

— Один заяц — не заяц, — убежденно сказал Захар Макарыч. — Нам надо еще четыре: пять зайцев — это уже зайцы.

Но все-таки желание Пушкаря не сбылось — мы ничего больше не взяли: то выскочит далеко, то позади кого-то. В общем, топали долго, добросовестно и настойчиво, но безрезультатно.

Здорового зимнего воздуха мы наглоотались так, что к концу дня еле-еле волочили ноги, а все мысли сосредоточили на одном: дойти до Камышевца. Только бы дойти. Захар Макарыч уступил и изрек:

— И один заяц — заяц. Ладно, не каждый день удача. Только вот боюсь я, что потеряю тут в поле «советскую власть на селе».

Это он о Фомушкине. Тот шел позади, не скрывая невероятной усталости. Зато Макарыч пока тянул за собой всех: топал и топал редко, размеренно, так же, как начал и утром, — в один тон. Но в начале дня он был позади, теперь же впереди. Вот что значит ритм в ходьбе. Так он вытянул нас на главный тракт, на грейдер, — налево в Камышевец, направо в областной город, и заявил, выйдя на середину дороги:

— Направо пойдешь — крендель найдешь, налево пойдешь — пустая пекарня. Тут и сказке конец и повесили корец.

— Это ты про меня? — устало спросил Валерий Гаврилович.

— Нет, про райпекарню.

— А тебе думается: вот взял Фомушкин да испек, сколько захотел. Так, что ли? — нехотя отбивался председатель.

Они теперь шли рядом с Захаром Макарычем. Мы же втроем позади их, все рядом. По дороге идти стало далеко лучше, легче. Петр Михайлович толкнул меня в бок легонько, кивнул на передних (дескать, что получится у них из такого разговора).

— Ох, и шпилька! — воскликнул председатель, перекинув ружье на другое плечо. — Вас бы с Василием Кузьмичом вдвоем натравить на кого-нибудь — глаза на лоб вылезут.

— Ой, как здорово! — наконец-то подал голос и доцент. Он «отсочал» на гладкой дороге, к нему вернулся дар речи, а валенки уже не волочились, как у меня, грешного.

Захар Макарыч будто нарочно, будто пользуясь усталостью «советской власти на селе», докучал:

— Конечно, здорово! Вы пошлите нас с Кузьмичом на какой-нибудь областной пленум или к министру, допустим. Там мы...

Неожиданно Валерий Гаврилович стал как вкопанный. Мы тоже остановились. Он ударил себя по лбу и выпалил:

— Петр Михайлович! Я остолоп, — обратился он к Чумаку. — Ни единого пожилого колхозника не послали на областное совещание передовиков.

— А вы возьмите с собой Захара Макарыча и папашу, — предложил доцент. — Заслуживают ведь.

— Тоже, думаю, заслуживают. А сделать уже ничего нельзя. Список в райкоме утвердили — конец. Завтра с автобусом едут. А мы с Петром Михайловичем послезавтра утречком.

— А нельзя больше десяти мест для района отвоевать? — спросил Петр Михайлович.

— Поздно, черт возьми. Жаль. Прохлопали ушами,— сокрушался на ходу Фомушкин.

— Ну, мы с Кузьмичом в следующий раз поедем,— утешал его Захар Макарыч.— Чего волноваться! Тогда мы речи приготовим, отпечатаем на машинке — все честь по чести. А сейчас все равно не успеем. Шутка ли! «Давали, даем и будем давать! И да здравствует вопче!» Такого сразу не сообразишь сказать — надо долго думать.

— Да ты, Макарыч, или меня уложить хочешь тут вот, на дороге? — огрызнулся Фомушкин.— И без того сил нету — весь вышел.

— С шуткой легче топать,— мирно проговорил Захар Макарыч.

Он явно пожалел Фомушкина и не хотел его обижать; он уважал этого молодого по сравнению с ним председателя, простого в обращении, совсем не похожего на своих предшественников, дотошного в сельском хозяйстве, да еще и охотника.

Чем ближе к Камышевцу, тем все труднее и труднее идти. Знаю: последние метры будут еще более тяжкими. Но идти надо. Зимняя охота, особенно тропление зайца,— штука тяжелая.

Теперь впереди шли молодые — доцент, пред и зам, а мы, старики, плелись в хвосте, совсем не удручаясь таким положением на данный день. Они что-то там мурлыкали себе под нос, не разбирая, а мы же просто только дышали и заботились об одном: поднять чуть-чуть ногу вперед. А становилась она уже сама собой, как чугунная. Захар Макарыч тоже сдал, бедняга.

Все же я разобрал-таки отрывок их разговора: отпуск у доцента кончается и он едет послезавтра с ними в область, в свой институт.

Мне тоже ведь надо ехать!

— Валерий Гаврилович! — окликнул я Фомушкина.— Пойдите-ка. Дайте догоню.— А поравнявшись, спросил: — Меня возьмете в «козла»? Документ там один на пенсию надо оформить.

— Неужели на пенсию? — удивился Валерий Гаврилович.— Неужели шестьдесят? Никак нельзя поверить.

— Да... шестьдесят.

Когда я произнес это слово, то почувствовал, что устал до полусмерти. Как же так? Уже шестьдесят. Мне было грустно, несмотря на то, что за спиной висел заяц.

Но Захар Макарыч нарочито громко гаркнул:

— В нашем полку прибыло, товарищ председатель райисполкома!

Грусти моей как не бывало: я очень желал бы служить в том самом полку, где Захар Макарыч. «Мы еще повоюем»,— думалось тогда. И главное — заяц за спиной!

— Возьмем, конечно,— сказал Петр Михайлович Фомушкину.— Ты, я, Иван Васильевич, Тихон Иванович — четверо. Сам Шмель — пятый. Как раз на козла.

— Шмель! — воскликнул я.— Митяй Шмель?

— Да,— ответил Фомушкин.— Вот он подсунил.— И указал на Чумака.— Наш-то шофер ушел в ваш «полк», а этого взяли.

— Давно? — спросил я.

— С неделю назад. Временно пока. С начальником милиции советовались. «Попробуйте», говорит. Вот... пробуем.

— Ну и как он?

— Не верит. Работает. Молчит.

— Да он ни во что не верит... ни в кого,— вмешался в разговор Петр Михайлович.— А вас, Тихон Иванович, уважает. Знаю. Встречался с ним на охоте... Был в хуторе...

Да, я еще тогда, после пожара, понял, что Митяй мне теперь верит, он может верить. Мне не хотелось углублять этот разговор. Остальной

путь, уже мимо безжизненных камышей под самым селом, мы прошли молча в сумерках. Каждый о чем-то думал сам по себе. Я тоже думал: «Зачем же советовались с начальником?» А в голове звучали слова Митяя: «За что? За что?»

Поднялся ветерок. Потянула легкая поземка. Камыши сухо зашелестели.

Мы расстались со словами «до послезавтра».

...В ночь ветер усилился. Дома, лежа на кровати, я слушал его довольно сердитую, скучную, однообразную и, казалось, бесконечную песню.

В трубе позвякивала вьюшка.

Ветер и ветер. Бесконечный ветер шарит по моему окну. Я прислушиваюсь к его нудному однообразию. Может быть, потому и мысли так отрывочны... Надо постараться не думать... Мне кажется, что уже не думаю... Но вновь я ткнулся, как слепой котенок в горячий чугунок: «Он ни во что и ни в кого уже не верит...» Мне стало больно.

Я не мог отбросить мысли куда-нибудь в дальний уголок.

Встал. Записал в тетрадку весь день зимней охоты — с утра и до этой минуты.

А ветер уже настойчиво царапался в стекло.

Будет метель. Она уже начинается.

Декабрь снежный да холодный — год хлебородный.

Дуй, ветер! Больше снега — больше хлеба.

* * *

К утру нанесло сугробы.

Два снегоочистителя прошли на тракт, разваливая снег на обе стороны. Теперь от проезжающих машин виден только кузов.

К концу дня трактор поехал выручать автобус с передовиками сельского хозяйства, застрявший где-то на пути в область.

Но Валерий Гаврилович, когда я зашел к нему в кабинет, подтвердил:

— Едем обязательно. Собирайтесь к семи утра точно.

— Не застрянем?

— Не думаю. Ветер притих. Снегоочистители прошли дважды. А потом ведь — козел! Это тоже понимать надо.

В общем, он был в самом лучшем настроении. У него, впрочем, всегда хорошее настроение.

— Как ноги? После вчерашнего? — спросил он.

— Ноют. Но ведь я-то хоть зайчишку ухлопал.

— Я тоже убил: «Зайца и лису и ноги на весу».

Потом он говорил мне, что думает сменить ружье.

— Плохой бой? — недоумевал я.

— Хорошо бьет: с полки упало — семь горшков разбило. Приклад не по мне: бью по жене, а промахиваюсь. Если без шуток: низит оно у меня. С собой завтра прихвачу, сдам в комиссионный, а себе возьму штучную «ижевку». Хорошие ружья — никаких зарубежных не надо.

...А утром следующего дня мы уже ехали в область.

Пока выбирались из камышей, было тихо и дорога была чистой.

Петр Михайлович сказал Митяю:

— А ты, Димитрий Данилыч, сомневался. Видишь, дорога-то!

— Я что? Я хоть к черту на рога поеду, — спокойно ответил Митяя. — Только вот шофера говорят, под Боськином нанесло, а снегопахи отвалили две стены. Получился туннель выше грузовика. И узко — не разъехаться.

Мы выбрались в чистое поле. Здесь ветерок оказался порядочный. Тянула змейками поземка и курилась дымком над сугробами-стенками

с обеих сторон дороги. То и дело начали попадаться переносы. Митяй в таких случаях сдавал автомобиль назад и с разгона пробивал сугробчик. Получалось у него ловко.

Километр за километром ехать становилось труднее. Поземка зализывала след козла тотчас же, заклеивала, как пластырем, затираала, заметала и разравнивала.

Снег течет и течет. И дымит. Течет и дымит.

Митяя вижу в спину: он будто прирос к баранке, волосы у него мокрые, шапка на затылке. Давно уже едем, часа полтора-два, а от него мы не слышали ничего, кроме того, что он сказал о «туннеле».

Встретился грузовик — нос к носу. Шофера вышли друг другу навстречу. Поздоровались за руку.

— Далеко? — спросил Шмель.

— В Корневцы, — ответил встречный.

Они стояли по колено в поземке, как люди без ног.

— Как там дальше? — спросил опять Шмель.

— Табак. На козлике-то проскочишь, но... с парком. А ты куда?

— В область.

— Начальников везешь?

— Начальников.

— Ну, вези, — будто разрешил встречный. — Из Камышевца?

— Оттуда. Ты чего там везешь?

— Отходы. Свиньям.

— Это за сто пятьдесят километров?! — громко ужаснулся Шмель.

— И-и не говори!.. За морем телушка — полушка, на рупь перевозу. Зерно вывезли, а за отходами... А ну их!.. Как будем разъезжаться? Кому дальше назад славать?

— Должно быть, мне, — оглянувшись, сказал Шмель.

— Давай. Крути козлу хвост.

— Ну, ты! — шутейно отозвался Митяй. — Ты лучше своей корове хвост подмажь — мухи докучать не будут.

Так шофера, встретившись, за одну-две минуты узнают: куда, зачем, откуда, что и кого, да еще успеют обменяться шутками.

Митяй начинал жить по-человечески.

Он сдал козла назад, выбрал обочину с наименьшим отвалом снега и с разгону воткнулся в него передком. Встречный тихо, борт в борт прополз мимо нас. В десяти метрах позади он остановился. Наш автомобиль забуксовал — назад никак. Встречный подцепил его тросом и вытащил на дорогу. Было понятно, что оба шофера поездили свое в снегах.

— Ну, бывай! — сказал встречный.

— Добрый путь! — ответил Митяй.

Посмотрев назад, я увидел, как поземка принялась облизывать грузовик, и он, сразу посеревший, будто уплывал от нас, задернутый мутной живой пленкой.

Снег течет и течет. И дымит.

— Как это получается? — спросил Иван Васильевич у всех сразу. — Отвезти зерно, а за отходами — зимой, в такой холод, в такую дорогу? Ведь это же страшно дорого!

— Вот и получается, — заговорил Петр Михайлович. — В Корневском районе выполнили полтора плана закупок, а скот «на бобах» остался. Падеж... Вот и возят. Весь автотранспорт гоняют. Люди мерзнут. Центнер отходов выходит им влвое дороже центнера отборной пшеницы.

— Безобразие! — воскликнул доцент. — Чего же вы молчите? Вы власть? — набросился он на Фомушкина и Чумака.

— А откуда вы знаете, что молчим? — отпарировал Фомушкин.

Доцент осекся (может, они и правда не молчат — почем знать), но все-таки задал вопрос:

— В самом деле, я серьезно: говорили вы лично где-нибудь об этом? Скажем, в областных верхах?

— Я тоже серьезно: говорили. Писали,— ответил за Фомушкина Чумаков.— Мы-то выкладку дали в область точную. Потом ругались, спорили. А что сделаешь!.. В Корневцах заготовили кормов мало. Наш район им теперь пятьсот тонн сена взаймы дал — тоже зимой возят, мучают людей, рвут тракторы и автомобили.

— Дикость! — заключил Иван Васильевич.— Так почему же в Корневцах молчали раньше?

— Вот послали теперь в район «выправлять положение»... Переметова направили... для пробы: вытянет — так, не вытянет — спета его песенка.

Митяй оглянулся на Чумака, внимательно посмотрел, но не произнес ни слова.

— Почему они молчали? — переспросил Фомушкин.— Скажу почему. Очень уж мне это самое в душу запало — все помню... Когда я был еще комсомольцем, один товарищ мне однажды сказал в своем кабинете так: «Ты, Фомушкин, много лишнего говоришь. Горяч, молод. Человек чаще страдает оттого, что «лишки» высказывает, но он никогда не жалеет и не страдает оттого, что молчит. Запомни на всю жизнь, чтобы тебе шею не сломали. Подумай». Вот они и молчали.

— К слову сказать, Валерий, с твоим характером тебе в свое время шею скрутили бы как пить дать,— сказал будто между прочим Петр Михайлович.

Теперь Митяй оглядел Фомушкина и снова брос в сиденье, приклеился к беспокойной баранке руля. Автомобиль бросало из стороны в сторону: ехать становилось все труднее и труднее.

И вот по обе стороны пошли стены снега — они были выше козла. Здесь поземка юрилась вверху, над стенами, и ровным слоем садилась вниз. Автомобиль пошел лучше, спокойнее. Митяй вытер рукавом пот, поправил шапку и откинулся на спинку сиденья: он отдыхал, пользуясь ровной дорогой.

Но неожиданно перед нами вырос автомобиль, груженный мешками.

— В чем дело? — крикнул Митяй, приоткрыв дверцу.

Ему никто не ответил. Тогда он вышел и направился туда. Мы тоже вылезли поразмяться и пошли за ним.

Из-под грузовика торчали валенки: справа — одна пара, серая; слева — другая, черная. Валенки были живыми: то царапались, упиравшись пятками, то чуть уползали под машину.

— Кукуем? — спросил Митяй, присев на корточки и заглядывая под кузов.

— Кукуем, лопни оно надвое,— ответил озлобленный голос.

— Что стряслось, братва?

— Кардан рассыпался, лап его разлап! Снимаем.

Другой голос спросил:

— Тебе встречался наш, с мешками?

— Встречался один.

— Далеко?

— За Лопыревкой.

— Значит, выбрался наш Аким.

— Чего же он бросил-то вас? — спросил Митяй.

— Сами послали. Может, доедет — пусть трактор гусеничный гонят навстречу. Он же головным шел в колонне — вот его и послали.

— В какой колонне?

— А ты глянь вперед хорошенько.

Мы все посмотрели туда. Метрах в двадцати пяти от этого грузовика в змейках поземки. стоял второй, за ним третий... Дальше, за поземкой, ничего не видно.

— Сколько вас тут? — уточнял Митяй.

— За мной еще девять. Заштопорил я их: ни объехать, ни выехать.

— А что ж мы — бросим тебя тут, середь поля? — пробурчал второй голос.— Чего зря плетешь... Потом громко, со злобой: — Да ударь ты ее молотком! Ударь ее! Чего качаешь, как дите на коленках?

Послышался удар молотка. Потом опять голос:

— Ну вот и снялась. Вылупилась!

— Рассыпалась крестовина! Что делать? — проговорил второй под кузовом, добавив крепкое прилагательное.

Первый утешал:

— Есть у меня крестовина старенькая. Только проваландаемся тут часа два, если не больше. Пойдем к Сове.

Они вылезли из-под кузова — широкоплечие, сильные, вымазанные нигролом. Один из них, молодой совсем, лет двадцати трех, не больше, с чубом навывлет, окинул всех нас одним взглядом и заключил:

— Райком с потолком.

— Ошибся,— сказал Фомушкин.— Сначала надо говорить «здравствуйте».

— Извиняюсь. Мое почтение! — сдался шофер.— Невоспитанный я. Исправлюсь и учту.

— Это уже другое дело,— одобрил Фомушкин шутку и подал ему руку.— Здравствуй!

Второй сам протянул ладонь, предварительно вытерев ее тряпкой, отчего она не стала чище.

— Значит, райком с потолком? — спросил Фомушкин.— Впервые слышу. Как это понять? Тоже шутка?

— Ясно, шутка. А что: не райком вы?

— Райнсполком.

— А не все равно! — возразил парень.— Тоже с потолком. Выше потолка и вы не прыгнете... Мне-то все едино. Работаю с энтузиазмом — и хватит. Вот машину с отходами промораживаю для борьбы с вредителями и полной очистки от амбарных насекомых.

Второй поправил, ухмыляясь:

— Но воспитывать нас, конечно, надо.

Оба они были явно хитрецы, себе на уме.

— Ну, что будем делать, соколы? — спросил у них Митяй.— Как нам-то через вас перепрыгнуть?

Ответил чубатый:

— Копай козлику хатку в стене — уютком делай. Загоняй его туда хворостинной, дай сенца и ложись спать. Как мы починим рыдван, так и проедем мимо хлевушка твоего, а ты побредешь дальше. Если заметет тебя, за хвост вытянем на дорогу. Только и делов.— В его тоне слышалось этакое пренебрежение шофера большой машины к легковой, к мелюзге, что всегда мешает на дорогах, путается под ногами.

— А нельзя сдать назад всем девяти? А мы бы тебя обкопали сбоку.

— Куда та-ам! Это же три километра всей колонне пятиться раком. Шутишь — по такому снегу!.. Пойдем к Сове — он скажет.— Но тотчас же поправился: — К Совкнну... Старший колонны.

Но они пошли вдвоем. Митяй в раздумье проговорил:

— Задача... Козу, капусту и волка переправить на другой берег. Кто придумает? — спросил он у всех разом.

Иван Васильевич немедленно вытянул блокнот и стал «думать» на бумаге. Петр Михайлович чертил на снегу и рассуждал вдвоем с Фомушкиным. Митяй что-то прикидывал в уме около автомобиля, глядя на стену снега. Он воткнул в нее лопату раз-другой и заворчал себе под нос:

— Ну и утоптала поземка... Как прессом... За двое суток утопкла, что твой каток.

Все пришли к заключению, что есть только два варианта: зарыться в хатку с боку дороги и ждать, когда встречные отремонтируют головную машину; либо обкопать ее и просить колонну объехать «штопор», продвинувшись вперед, а мы объедем по их следу.

Первый вариант отклонил Митяй:

— Сунуть автомобиль в снег и ждать, пока его заметет доверху? Не пойдет. Может, они до ночи будут ремонтировать.

Итак, требовалось обкопать грузовик, вырыть «з пол-утюжка» под козлика, стронуть колонну. Легко сказать! Это же надо вынуть несколько кубометров снега. Если одной лопатой, то на целый день.

— Так,— сказал Митяй.— Идите, Валерий Гаврилович, к этой... Сове. Пусть дает людей с лопатами. Иначе нам тут загорать до ночи.

Мы пошли втроем: Петр Михайлович, Валерий Гаврилович и я. Митяй немедленно принялся копать снег.

— По очереди будем рыть,— говорил позади нас доцент Митяю.

Большинство кабин на нашем пути было пусто. В двух сидели шофера и прогревали моторы, не давая застыть воде в радиаторах. Остальные подкапали себе затишек в снежной стенке, настелили соломы там и сидели на корточках, прислонившись спинами. В середине восседал, поджав под себя валенки, плотный широкий человек и держал в руках старую крестовину, задумавшись.

— Здравствуйте, механики! — приветствовал их Фомушкин.— Застряли?

— Здорово был,— нехотя ответил широкий и тут же, почти не обратив внимания на нас, сказал: — И эта не дойдет, Конек.

Конек — это, видимо, уже знакомый нам чубатый, потому что именно он возразил:

— Сколько пройдет, столько и пройдет — надо ставить.

— А потом? Опять опухать где-нибудь ночью? Видишь: ребята уж посинели. Ехать надо.

— Ну, Совкин... Не бросать же машину! — противился Конек.

— Совкин, Совкин... Что Совкин?

— А как же нам проехать, товарищ Совкин? — спросил Фомушкин.— Областное совещание у нас вечером начинается...

— Да погоди ты со своим совещанием! — огрызнулся тот.— Видишь — авария. А ты совещание... Небось ничего не изменится, если и не будет совещания.— Совкин теперь поднял на нас глаза. Они у него широкие, почти круглые, напоминающие, и правда, свиные. Но тут же перевел взгляд на своих шоферов: — Амба! Разгружать машину Конька. Другую — отбавить наполовину, а к ней — Конька на буксир. Всё.— И он встал.— Давай, братва. Серега! Мотор прогрей — чего пристыл?

Шофера поднялись, казалось, нехотя, вполголоса поругиваясь. С машины Конька они взяли на плечи по мешку молотых отходов и унесли каждый на свою. В поземке они ходили синими тенями, не торопясь, медленно и вразвалку. Ясно: стоять нам тут придется долго.

— Не потеть! Не потеть! — прикрикнул Сова.— Запотеешь — загибнешь.

Сова был неприступен: он не желал слушать ни Фомушкина, ни Чумака. Наконец Валерий Гаврилович не выдержал и, чуть-чуть повысив голос, твердо сказал:

— Я председатель Камышевецкого райисполкома. Будем разговаривать или нет?

— Да по мне хоть облизполком,— ответил спокойно и невозмутимо Сова.— Вам ехать — и езжайте.

— Дай четырех ребят с лопатами. Обкопаем вашу головную сбоку, а ты протронь колонну.

Сова ничего не ответил. Он наблюдал, как разгружают автомашину.

— Ну так как же? — наседал Фомушкин.

— Никак. Ребят не дам... Строню колонну вперед — и поедете своей дорогой. Вам тридцать километров до города осталось, а мне больше сотни.

Делать нечего: мы ушли к своему козлу. Нас встретил Митяй возгласом:

— Захрясли насовсем! Позади нас еще четыре грузовика.

Положение становилось критическим: две встречных колонны должны разъехаться в туннеле. Потом появился, как свалился с неба, в самом хвосте, тоже позади нас, еще козел (из него никто не вышел и не поинтересовался происходящим). Четверо же шоферов пришли к нам. А узнав, в чем дело, потопали к Сове. Там поднялся невообразимый шум и гвалт. Громче всех кричал Сова:

— А ну пошли к такой матери! Зарывайтесь в стенку — пропускай колонну!

— Да ты знаешь, сколько мы будем копать? Вместе давайте, чудокит, чертова бляха!

Потом все утихло. Те четверо наших попутчиков вернулись, разводя руками. Они тихерь наши союзники. Один из них сказал:

— Знает ведь, что волей-неволей нам копать, а не поймет: если каждый сам по себе, то мы тут и в ночь присохнем. Кричит: «Пропускай колонну!» Это ли тебе не дурак?

— Подождите, ребята, не кипятитесь. Может быть, он и не дурак. Видишь, разгружают машину? Управится с одним делом, а там уж... будем смотреть. Кажется, он совсем даже не дурак...

— А что ж: стоять будем? Ждать? — спросил у него Фомушкин, видимо стараясь понять Петра Михайловича.

Тот уточнил:

— Не стоит вмешиваться, Валерий, там, где люди лучше нас знают, что делать. Не может он из-за упрямства замерзнуть. Значит, у него есть какой-то план. С нами же просто не желает разговаривать... почему-то... Видать, твердый орешек... на него и камушек надо прочный.

Шофер-союзник внимательно слушал это, стоя рядом с нами.

Митяй спросил у него:

— Вы откуда, братва?

— Из Непаловки.

— Чего тащите?

— Мокрую кукурузу, на областной элеватор. Сушить негде — пропадает.

— Дак это ж от Корневцов сорок километров! — воскликнул наш доцент.

— Ну, а что? — недоумевал союзник.

— Как что? Как что? — загорячился Иван Васильевич.— Вы — кукурузу в область, а они — отходы из области. А живете рядом.

— Постой-ка,— остановил его тот же союзник (другие пошли к своим автомобилям).— Постой-ка! — Он подошел к Ивану Васильевичу, высо-

кий, сухолиций, в дубленом полушубке, ростом под стать доценту.— Ты то сам кто?

— Я?.. Я доцент.

— Какой ты несмышленый, доцент. По-научному — наивный. Сразу видно — городской.

— Нет. Я родился и вырос в деревне! Это — дико! — уже кричал Иван Васильевич.

— Мало что! Не хотела ворона сыр ронять, да каркать надо. Писателя Крылова читал? То-то вот и оно... По мне так: есть путевой лист — а остальное меня не касается. Скажут: свали кукурузу в яр — свалю, только документ дай, чтоб все законно.

— А совесть?! — почти выкрикнул Фомушкин так, что у меня пробежали по спине мурашки.

— Совесть, совесть... — растерялся шофер. И вдруг вспыхнул: — А это тебе совесть: борт о борт навстречу везем на копейку, а тратим тыщи? Это тебе совесть? Да? Ты вот, видно, начальник. Молодой ты начальник, по-научному — наивный. Чего молчишь?! — крикнул он. — Где твоя совесть? А я тоже человек, я тоже есть хочу. Машина — мой хлеб. Дай путевой лист — кукурузу в пруд свалю, а ты запишешь: рыбам на откорм. Совесть! Много вас, учить-то... Совесть!.. Думаешь, не тяжко? Туда же: совесть!

Возражений он выслушивать не пожелал: повернулся и ушел.

— Этого голыми ладошками не сцапаешь, — сказал Митяй Фомушкину, указывая в спину союзника, и крикнул: — Эй, ты! Елкина мать — воронья совесть! (Тот обернулся.) Ехать-то надо или не надо? Вернись-ка, устроим потолок.

Длинный пришагал-таки обратно:

— Ну?

— Вот тебе и ну. Что ж вы: пошли, побрехали вороны с какой-то совой и — в кабину? Как тебя зовут?

— Егор.

— «По-научному, ты наивный», Егор... Как по отцу?

— Ефремыч.

— Значит, Егор Ефремыч. Это хорошо, что ты Егор Ефремыч. Ехать надо?

— Надо.

— Что думаешь делать?

— Копать буду.

— Сколько дней?.. Ну копай один. Документ подпишу: копал. Машины-то они разгрузили?

— Кончают.

— Что ж вы сказали этой Сове?

— А что ему скажешь? И слушать не хочет.

— Ты бы ему сказал: вас десять гавриков, а нас четыре, козлы не в счет. Нам, мол, не к спеху — замерзайте или копайте сами на десять машин. Не сказал так?

— И ты учить? Что-то, я посмотрю, как ни легковая, так учителей полна, как бочка с огурцами.

— Да не учу я тебя, «по-научному, наивный». Ведь если их десять да вас четверо — четырнадцать сидорков! — возьметесь, то надо зарыть в стену-то только ваши четыре машины! Понял? Через час и поедем.

— Оно так. Слов нет. Приблизительно я и говорил ему почти то же самое. Но он уперся: «Пропускай колонну!» — и конец. Я таких знаю... Пойду копать.

— Ну иди... Иди, наивный Егор Ефремыч... Нет, стой! — Митяй изменил тон и заговорил так, что было понятно — возражений не тре-

буется: — Слушай, Егор Ефремыч. Выбирайте там место, где поменьше стенка. Туда сдайте свои машины. Понял? И начинайте помаленьку зарываться шириной в полмашины. Ну, понимаешь? Чтобы около каждого был проезд. Делай. От нашей колонны ты уполномоченный.

— А вы все?

— Мы? Придем помогать. Все придем. Только командуй. Будешь командовать — придем, не будешь — не придем.

Егор Ефремович затопал дальше, даже заспешил.

— С чем мы придем к нему? С одной лопатой пятеро? — спросил доцент из козла.

Они с Петром Михайловичем уже сидели в автомобиле, постукивая ногами (одеты были легче нас и, видно, успели продрогнуть).

Валерий Гаврилович спросил у Митяя:

— Дмитрий Данилыч! В самом деле, как же быть? Надо торопиться, а с этим Совкиным... Черт знает, что он за человек. Тут, в снегу, он царь и бог.

— Ладно... пойду и я, — загадочно проговорил Митяй. — Узнаем хоть, что он за птица.

Фомушкин не возражал. Мы втроем отправились, как мне показалось, на поклон.

Там уже пылал костер. Шофера облили автолом солону и сидели вокруг огня кружком, греясь и переговариваясь неторопливо. Совкин явно выжидал (пусть сами копают!). Он даже не обкапывал пока объезд, чтобы взять на буксир Конька. Пусть другие сделают, а он проедет с колонной. Так мне казалось. И я решил: подойду сейчас и скажу ему, что «ты, Совкин, самодур» и что «четырнадцать человек для четырех машин...»

Но я ничего не успел сказать, потому что Митяй еще в десятке метров от них запел надрывным блатным голосом песню, какую когда-то я уже слышал:

Ты меня ждешь...

Глаза шоферов вонзились в Митяя с интересом. Сова поворочал желваками, встал и спросил:

— Откуда ты... мальчик?

— От «Макара», папочка. От «Макара». За телятами ходил — экачами кормил.

— Урка, — заключил Совкин.

До сих пор Митяй ни на кого не взглянул — он смотрел мимо лиц или на огонь, но последнее слово как бы подбросило его: он вскинул рывком подбородок, глянул на Совкина, потом поднялся тихо, медленно, стал вплотную к нему, в упор, и улыбался той самой, знакомой мне, угрожающей улыбкой.

— Э, да тут и Сова! — мило сказал он.

— А ты, мальчик, откуда меня знаешь? — спросил со злобой Совкин.

Я и впрямь подумал, что они знакомы, но, оказалось, Митяй просто определил точно, кто из них Сова. А тот, видимо, так и решил, что знает.

— Сову-то! — воскликнул Митяй, все так же улыбаясь.

Второй раз он назвал его по кличке. Это взбесило противника, и он неожиданно рывком:

— Пошел отсюда, каторжник, к... матери!

Митяй все так же мило спросил:

— Ка-атор-ж-жни-ик?!

И вдруг... ударил его кулаком, снизу вверх, под челюсть! Это был страшный удар! Совкин упал навзничь, как мешок, потом вскочил и замычал, кривясь от боли:

— Ты что? Ты что? Шутки не понимаешь? Ответишь! Ответишь!

В первые секунды все опешили, никто даже не стронулся с места — так внезапно был удар. Только уже после того, как поднялся на ноги Совкин, мы с Фомушкиным рванулись к Митяю.

— Немедленно уходи! — крикнул ему вне себя Валерий Гаврилович.

— Митяй! Что ты делаешь? Что ты делаешь? — глупо спрашивал я.

А он повернулся к Фомушкину и сказал тихо и строго:

— Валерий Гаврилович, не мешайтесь в это дело. Вашей власти тут нету: видишь, метель начинается.

Первым вскочил Конек (кажется, в ту же секунду, как рванулся Фомушкин). За ним все остальные шофера. Они кричали наперебой:

— Нашего бить?!

— А ну, братва! Дадим им всем на добрую память!

— Бери лопаты!

— Бей их, так их мать!

— Уходи, уходи! — настаивал Фомушкин, пятясь назад вместе со мной.

Что скрывать: не очень хотелось, чтобы кто-то огрел лопатой по голове (а такая возможность была). Однако наше замешательство было минутным. Мы увидели, как Конек, выпустив на лоб зуб, подскочил к Митяю петухом:

— Дать тебе?! Дать, гроб тебе?!

Митяй не стронулся с места. Он вынул из кармана кусок сала, отрезал финкой ломтик и спросил у Конька:

— Шамать хочешь, младенец? — И улыбался, увидев, как Конек сдал, а остальные присмирели. Затем он решительно шагнул к Совкину, что стоял у борта машины, зажав челюсть обеими руками.

Совкин попятился назад:

— Ты что? Ты что? — мычал он сквозь ладони.

Их было десять человек. А Митяй ходил среди них, подняв теперь голову. Совкину он сказал просто и даже снисходительно:

— Да ты не пяться раком. Значит, драться не будем?

— Пошел ты к черту! — И все-таки пятился.

— Не будем так не будем. — Митяй вплотную подошел к Совкину.

Тот перестал отступать и спросил с озлоблением:

— Ну, за что ударил?

— Это другой разговор! — воскликнул Митяй. — Это можно обсудить чин по чину. Блямбу я тебе прописал с точным адреском — за «каторжника».

— А сам как называл? — вспыхнул Совкин, чуть даже подскочив на месте.

— Э-э! Не-ет! Тут две вещи разные — «Сова» и «каторжник», — возражал ему Митяй уже мирным тоном.

Шофера сгрудились вновь у огня, и, как это ни странно, некоторые уже посмеивались.

— Не хочу быть каторжником, — сказал Митяй. — Ты это понимаешь? Восемь лет — понимаешь?

— Хватит! — заорал Совкин. — Сам пять лет проглотил. А ты, как сука... скорей бить!

— Да я и ударил-то в четверть силы. От такой блямбочки, если по-настоящему, челюсть расходится по компасу и салазки пополам. Не во всю же я силу... Значит, и ты ээк?.. Вот оно как. Сказать по правде, я догадался. Выходит, ты шкурку снял всю — чистый. Теперь выслуживаешься. «Пусть хоть подохни другой, а я колонну в обиду не дам». Служить служи, да на лапках не ходи... На доску почета хочешь? Валяй на доску — не возражаю, сам не против, но только не грызи соседа...

Я, кореш, за тем ведь и шел: поговорить как человек с человеком. А ты: «Ка-аторжни-ик». Надулся барабаном: я — не я! Должен был я тебе резолюцию наложить или не должен? Как по-твоему?

— Да хватит тебе! Я сказал или не сказал?! — затопорщился Совкин.

— Ладно. Понял, — ответил Митяй и обратился уже к шоферам: — Вот что, мальчишки: лопатки в руки и — за мной. Нас тут четырнадцать. Та-ак... Четыре наших машины — вбок, отрыть объезд под буксир. Тут трех — хватит. Пятеро — к уполномоченному: спросите Егора Ефремыча. Козла своего мы почти спрятали. Так... Скоренько, скоренько! Шевелись, детский сад! За ручку и — парочками! Чья аварийная? А! Твоя, чубатый петух? Ты и будешь за главного тут. С тобой — буксирный. Кто? Ты? Вот вас и двое, а третьего выбирай сам. Остальные к уполномоченному. Так, Совкин?

— Пусть так.

— Марш-марш, браточки! Поддерживай порточки!

Мы пошли к своей машине.

Митяй еще некоторое время задержался после нас около Совкина. Мы не могли слышать, что там у них был за разговор. Через пять — десять минут прошли шофера с лопатами, а Митяя все не было. Но вскоре он бегом нагнал их и пошел вместе.

Меня начал пробирать холод, поэтому я сначала потоптался, а потом, чтобы согреться, заплясал тоже к уполномоченному союзнику. Тут работа кипела вовсю. Митяй же стоял около них и приговаривал:

— Надуйся, братва! Метель заюрила. А вам еще до Лопыревки сорок верст хромать. Там и заночуете. Борща налупитесь!

Метель, правда, уже повалила и сверху: завихрилась, заныла, зашлепала по лицу мокрыми горстями снега.

Вот тут-то, как заяц из лежки, буквально ниоткуда и появился Переметов. Оказывается, это его козел стоял позади нашей сборной колонны самым последним. Оказывается, Переметов тоже ехал на совещание передовиков сельского хозяйства.

— Сколько я буду стоять? — кричал он. — Копать! Быстро! Работать разучились!

Хотя дело подходило уже к концу без его участия, но он бегал, кричал, указывал, куда бросать снег и, в общем-то, мешался под руками и раздражал ребят.

— Ты чего не работашь? — спросил он у Митяя.

— Задница запотела сидеть в машине. Жду, когда остынет. Да и указаний сверху не было.

— Вам на каждую машину по няньке надо! Распустились! Куда снег бросаешь? Направо надо, а ты куда его? — Он теперь героически шел вдоль дороги, несмотря на метель, и кричал: — Сидел-сидел! Сидел-сидел! Терпенье лопнуло!

Я брел за ним, приплясывая и пристукивая руку об руку; в движении быстро разогрелся, а от уверенности в том, что скоро поедет, даже взбодрел малость после всего происшедшего.

Когда Переметов поравнялся с нашим автомобилем, он заметил-таки Фомушкина с лопатой в руках и буркнул:

— Эх, вы! — Остановился и пояснил: — За вас бы другие руководили, а вы бы... Э, да ну вас!.. Давай-давай! — крикнул он тем шоферам, что уже кончали отрывать объезд около автомашины Конька. — Давай-давай!

— На! — зло ответил Конек и воткнул лопату в снег ручкой вниз. — Ты что: других слов не знаешь, кроме «давай-давай»?

— С кем так разговариваешь? — вспыхнул Переметов.

— Как ты — так и я, в точности.

— Знаешь — я ваш предрика!

— Пока не видал. А слышать — слышал. Теперь и в лицо знаю. Мое почтение! Извиняюсь, если чем обидел. Спасибо за воспитание.— Конек вновь принялся бросать снег.

Переметов был убежден, что без него мы все здесь померзли бы, а колонны ни за что не разъехались бы. Обрато он пошел тихо, уверенно, как победитель. А вновь остановившись около Фомушкина, сказал:

— Видишь, как сразу пошло дело? Уметь надо.

— Яков Гордеевич! — окликнул его Петр Михайлович.— Вы бы со старшим колонны поговорили: не доберутся ведь ваши. Надо как-то помочь. Может, из города снегоочиститель направить?

— Дело! Где старший? Кто старший?

— Вон он, подошел к передней машине,— указал я.

Совкин действительно стоял у автомобиля Конька и махал рукой, направляя, чтобы зацепить буксир.

Переметов подошел к нему и строго спросил:

— Кто старший?

— Нету старшего,— ответил Совкин угрюмо.— Был, да нету.

— Как так нету? Почему беспорядок?!

— Чего кричишь? — казалось, спокойно спросил Совкин не глядя.— Чего ты взбеленился — завелся с пол-оборота? Ну, я старший... Правее руля! Еще. Еще чуть. Так. Крепи буксир.

— Фамилия? — все так же строго спросил Переметов.

— А что? — Совкин наконец глянул на Переметова.

— Фамилия, спрашиваю?

— Пошел ты... к...! — выдавил Совкин сквозь зубы.— Отвяжись. (Он, наверно, тоже не видел еще своего председателя.)

— А ты знаешь, кто я есть? — взъерщился Переметов.

Совкин не ответил.

— Ты знаешь, кто я есть?!

— Мне сейчас нету интереса знать, кто ты есть,— равнодушно произнес Совкин.

Переметов почти бегом заспешил к своему автомобилю и уже не остановился около Фомушкина.

— Гроза выдохлась,— многозначительно сказал Петр Михайлович.

Так закончился снежный аврал.

Сначала тихо проехал автомобиль с буксиром. За ним — второй... Третий...

Совкин стоял против нашего козла, провожая каждого своего шофера. Прошло девять автомашин. Он сказал Митяю:

— Подожди ехать — прогону свою.

— А чего ты в хвосте?

— Потеряй я последнего — пропал шофер. (Подбородок у него уже был заклеен бумажкой.)

— Постой! — Митяй вылез из кабины и шагнул к Совкину.— В суд подавать будешь? — мрачно спросил он.

— Надо бы... да мне там делать нечего,— так же мрачно ответил тот.

— Ну... отквитай... что ли... Зачисть.

Совкин взял за грудки Митяя, подтянул к себе и ударил с размаху в грудь. Митяй упал, но тотчас же встал и опять шагнул к Совкину. Фомушкин выскочил из автомобиля:

— Стой!!!

Но... Митяй протянул руку Совкину и сказал коротко:

— На!

Они пожали друг другу руки. Совкин пошел.

Через несколько минут прополз мимо нас и его автомобиль. Совкин уезжал в метель, подпирая всю колонну.

И вот мы едем, едем и едем.

Уже проскочили снежные стенки.

Беспокойно ревет мотор на сугробах.

Мы все молчим.

Вдруг метель, метель и метель. Снежинки рвутся, кажется, со всех сторон на наши фары, но, не долетая до них и будто испугавшись, стремительно брызгают веером мимо автомобиля, в стороны.

Снег, снег и снег.

Митяй изредка передергивает плечом — ему, видимо, больно. Вести машину трудно. То она воткнется в перенос, то забуксует. И тогда Митяй вновь сдает назад, включает передний мост и снова пробивает.

Метель щекочет наш брезентовый кузов, как ведьма. Я слышу, как она скребет когтями и визжит неистово.

Снег. Метель. Снег и метель. Больше ничего нет на всем белом свете. Ничего.

...Огни города возникли неожиданно: справа, слева и впереди. Мы уже в пригороде.

Первым заговорил Валерий Гаврилович:

— Дмитрий Данилыч! А почему и он в ответ не ударил? Все отступал и пятился.

Митяй объяснил не сразу:

— Духу в нем, значит, меньше.

— А зачем же ты допустил напоследок, что он ударил-таки?

— Дак ведь... я тоже... виноват. Он ведь... не такой уж плохой... не хуже прочих; пожалуй... А что духом слабей оказался, то люди разные бывают... Он раньше нас все обмозговал, да только боялся — совещание в снегу устроим. Так и отрубил мне там, с глазу на глаз: «Сто советов — сто минут, а корова сдохла».

— На междугороднюю! — скомандовал Валерий Гаврилович. А когда подъехали к телефонной станции, он сказал нам: — Вылезайте — погрейтесь минут десяток.

Мы ввалились на переговорную сразу пятеро, внеся за собой пар и холод. Валерий Гаврилович, не закрывая двери кабины, как был в тулупе, кричал в трубку:

— Дорожный участок?! Сил Степаныч! Один снегоочиститель надо — от Камышевца до Лопыревки. Во что бы то ни стало! Да нет же, нет: сейчас, немедленно. Колонна из Корневцов погибнет... И пусть проводят их прямо до твоего участка. Организуй ночлег, навари картошки. Понял? Ребята выбились из сил. Понял или не понял? Пропадут ведь. Ну вот. Это хорошо. Завтра позвоню утром. Не подведи меня, пожалуйста. Бывай!

Мы поехали в Дом колхозника, где для моих попутчиков были забронированы места. Мне же предстояло пойти на ночлег к Ивану Васильевичу.

Город жил обычной жизнью. Никто не знал, что там сейчас в поле, в снегах.

— Если еще раз повторится — не обижайся. Понял? — Это сказал Валерий Гаврилович Митяю. Сказал так строго, как я от него еще никогда не слышал.

— Ладно, — ответил тот. А после некоторого молчания спросил: — Мне-то куда?

— Отвезешь Ивана Васильевича и Тихона Ивановича. Машину — во двор, а сам — с нами. Стоп! Мы тут и сойдем. Вон он, Дом колхозника. Видишь?

Петр Михайлович все время молчал и думал. Теперь он вышел из автомобиля вместе с Валерием Гавриловичем и тоже молча пожал нам руки на прощанье.

Снег. Метель. У яркого света фонарей она кружилась на одном месте. В городе не разобрать — откуда дует ветер. А он дует, настойчивый и упорный, — там, в поле. В городе еще можно идти против ветра, в поле — очень трудно.

И зимой камыши шелестят

Приехал в Камышевец несколько дней тому назад. И вот сижу.

Луна влезла в искристое окно и расплылась там — большая, лупоглазая, холодная. И окошко мое стало каким-то задумчивым-задумчивым.

В этот серебряно-синий вечер я зажигаю лампу. И вечер провалился: как только засветила лампешка, сразу же наступила ночь.

Зачем прогонять луну из окна? Пусть оно искрится и переливается блестками. Тогда мне кажется совсем немного лет и я стою у новогодней елки.

Тушу лампу и жду последний, прощальный вздох такого короткого зимнего дня.

И он улетел, зацепив за мое окошко. Иначе отчего же оно вдруг заблестело в уголке и тут же померкло, стало серым. Конечно же, зацепил!

Ночь пришла по пятам за днем. Зимой он уходит медленно и нехотя. Даже трудно различить, когда у них наступает час передачи дежурства. Кажется, оба, день и ночь, некоторое время живут в Камышевце вместе, без спора. Оттого так долги здесь зимние вечера. Оттого же и огни зажигают у нас еще днем: пусть сами разбираются — кому и когда уходить и кому приходиться на пост в Камышевец — дню или ночи.

А я знаю, когда совсем уходит день: он тихо-тихо взмахнет нежным крылом над снегами, а иной раз пошуршит в камышах, чуть встряхиваясь.

Тогда зажигаю огонек и у себя. И вспоминаю. И слышу.

Чу! Шепчут...

Как музыка, шелестят в душе камыши и зимой. Лежит у меня к ним сердце.

То они тихие и покорные, по-детски нежные, как мизинчик ребенка, когда весной стрелочками только-только выходят из воды. То они могучие и спокойные, непробиваемой стеной охраняющие утиные топи, куда не каждый охотник отважится заглянуть даже и на челноке. То они буйные и непокорные в бурю, строптивные, бросающие вызов любому бурю, ливню, граду — чему угодно! И тогда они величественны в своем неповиновении: их можно только согнуть, но сломать — никогда.

То эти же самые камыши, пожелтевшие, с обвисшими, беспомощными листьями, высокие и тощие, раздетые первыми морозами почти догола, стоят над свинцово-синей водой и с сожалением смотрятся в зеркало крайков ледяной корочки у берега; с грустью провожают они свои же опадающие листья, что лодочками беспокойно вертятся на воде и уплывают, будто оглядываясь, уплывают безвозвратно... Тогда камыши шумят о прошлом...

Когда же холодное и тоже желтое солнце кое-как еще растопит иней, то редкие капельки падают в воду с умирающих, уже полусухих стеблей... Падают капля за каплей... То плачут камыши.

Зимой я всегда вспоминаю о них с грустью. И очень хочется, чтобы скорее пришла весна, и я вновь и вновь почувствовал новое в людях и в самом себе, чтобы вновь пожал руку дорогим друзьям-охотникам, моим неизменным спутникам жизни. Встретиться с ними в камышах... А кое с кем... молча разъехаться челноками в стороны.

Разные бывают люди — разные про них и песни. Разные люди и в Камышевце: много из них пронесешь в сердце через всю жизнь, как близкого и родного, а от много и на старости лет кровоточат раны.

Ах, камыши, камыши! Чего только не вспомнишь, слушая вас в Далеком.

Шумят камыши, шумят...

Вижу, как уходит морозный день.

И знаю: сколько бы раз ни повторялась зимняя ночь, а весна будет. И солнце!

Много света будет и от людей на земле. Верю.

Воронеж.



МАРГАРИТА АЛИГЕР

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

..*

Умный-умный, а дурак!
Что ты медлишь у порога?
Невдомек тебе никак:
мне ведь нужно так немного.
Только слово, только звук,
только два коротких слога.
Словно голубя из рук,—
только слово, так немного.
Только слово мне скажи.
Слово — много ли заботы?
Чтобы в нем ни звука лжи,
ни одной фальшивой ноты.

Не хочу твоих заслуг,
ни таланта, ни почета,
ничего-то, милый друг,
мне не нужно ничего-то,
что там женщинам другим
от тебя бывало нужно.
Только слово, только с ним
я не буду безоружна,
не согнет меня беда,
не возьмет меня усталость,
без оглядки, без стыда,
буду только им горда,
буду счастлива всегда...
Только слово, только малость.

Лишь об этом, так и знай,
я мечтаю как о чуде.
И пускай себе, пускай
надо мной смеются люди.
Умный-то меня на смех
никогда не поднимает.
Мне ведь нужно больше всех!
Умный это понимает.

* * *

Несчастной любви не бывает!
Ты только сумей полюбить!
Увидишь, как сила твоя прибывает,
узнаешь, как весело жить.
Ты станешь свободней и шире,
поймешь, как силен и богат,
и что-то внезапно изменится в мире,
он станет прекрасней стократ.
Войдешь ли ты в дом или выйдешь из дому,
не сдержишь сияния глаз...

Мне это хотелось сказать по-другому,
а вышло, как тысячу раз...

Ну что ж теперь делать?
Смушаться не надо.

И нечего правду таить.
Как божьему дару, я рада, я рада
тому, что умею любить.

И сколько б, друзья, ни свершалось событий,
и сколько б нам ни было лет,
любите, любите, любите —
таланта доступнее нет!



КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

★

КНИГА СКИТАНИЙ

*Воспоминанье слишком давит плечи,
Я о земном заплачу и в раю...*

Марина Цветаева.

Последняя встреча

Я очень долго добирался от Тифлиса до Киева. В Киев поезд пришел к вечеру. Был широкий разгар весны, цвели каштаны, на куполах Владимирского собора горел горячий блеск заката, нарядно шумел Крещатик. И тем беднее и опустошеннее показалась мне комнатка, где жили мама и сестра Галя.

Прошло больше двух лет с тех пор, как я уехал из Киева в Одессу, а потом в Тифлис. За это время мама и Галя постарели, но стали спокойнее.

При каждой возможности я посылал маме деньги, но все время мучился тем, что денег мало и доходят они с перерывами. Но мама не жаловалась. Я убедился, что характер у нее действительно был стоический.

— Костик,— сказала она после первых слез и первых беспорядочных расспросов,— мы с Галей нашли прекрасный способ жить без больших затрат и огорчений.

— Какой же это способ?

— Посмотри на комнату — и ты поймешь.

Я осмотрел комнату. Стены ее были серые, как в больнице, обстановка нищенская — две жидкие железные кровати, старый шкаф, кухонный стол, три расшатанных стула и висячее зеркало. Все это было покрыто серым налетом, будто от пыли. Но никакой пыли не было. Серый цвет вещам придавала старость и непрерывное вытирание их тряпками.

— Знаешь,— сказала Галя и болезненно улыбнулась в сторону окна, откуда падал солнечный свет.— Знаешь, мы даже сделали с мамой ремонт.

Я еще не успел спросить маму наедине, как у Гали с глазами, но понял, следя за ней, что она уже настоящая слепая, совсем слепая. Мама показала мне глазами на Галю, торопливо вытащила из рукава старой вязаной кофточки маленький платок и прижала к глазам.

— Мама,— спросила испуганно Галя.— Ты что? Плачешь?

От автора. Повесть «Книга скитаний» является шестой по счету книгой автобиографического цикла «Повесть о жизни». Она непосредственно связана с предыдущей, пятой, книгой этого же цикла — «Бросок на юг».

— От радости,— ответила мама срывающимся голосом.— Костик приехал, и мы опять все вместе. Мы с тобой опять не одни.

— Костик приехал,— медленно повторила Галя.— Приехал! Мой брат,— неуверенно добавила она, как будто представляла меня кому-то.— Да, мой брат!

Она помолчала.

— Костик, ты знаешь, мы долго спорили с мамой, в какой цвет красить стены. И покрасили в оранжевый. Правда, красиво?

— Очень красиво,— ответил я, глядя на стены, покрашенные дешевой серой краской.— Очень.

— Мама говорит, что даже в пасмурный день к нам в комнату как будто светит солнце. Правда?

— Правда,— ответил я.— Очень яркий и радостный цвет у этих стен. Где вы только нашли такую хорошую краску?

— Я уже ничего не вижу,— сказала Галя и опять улыбнулась не мне, а куда-то в сторону,— но я чувствую, как от стен просто тянет теплом.

Она медленно пошла ко мне, придерживаясь за грубый кухонный стол. Я поднялся ей навстречу. Она дотронулась до моих пальцев, провела кистью по моей руке к плечу и коснулась щеки.

— Ой, какой ты небритый! — сказала она и засмеялась.— Я наколота пальцы. Я уже не делаю цветов из материи. Не вижу. Теперь наша соседка-вязальщица дает мне сматывать гарусные нитки в большие клубки. Она мне платит по два рубля за каждый клубок.

— Когда Галя наматывает гарус,— сказала мама,— я ей читаю. Теперь ты понял, Костик, как мы живем?

— Да, я понял,— ответил я, стараясь не выдать свое волнение.— Я все понял.

— Мы,— сказала мама,— продали все лишнее, все ненужные вещи.

— На Житном базаре,— добавила Галя.— Зачем нам, например, самовар? Или старые бархатные альбомы с фамильными фотографиями. У нас их было четыре. Они лежали тут много лет на хранении у пани Козловской.

Пани Козловская была ветхая и тихая старушка — давнишняя приятельница мамы.

— Все карточки я оставила,— заметила, как бы оправдываясь, мама.

— Маме повезло. Она и не думала, что кто-нибудь купит теперь эти альбомы.

— И кто купил, представь себе,— вмешалась мама. Она оживилась и даже засмеялась.— Какой-то монах из Братского монастыря. Он взял все четыре альбома. Ему они были нужны. Вот догадайся, Костик, зачем?

Я догадаться, конечно, не мог.

— Бархатные переплеты очень тяжелые,— объяснила мама.— Из них получились хорошие, прямо роскошные покрышки для библии. Монах их распродал по сельским церквям, а мы избавились от всякого хлама. Так спокойнее жить. Я всю жизнь говорила, что вещи берут у нас все силы и мучают нас. Они заставляют нас работать на себя, как поденщиц. В общем,— сказала мама, как будто прекращая затянувшийся спор,— так легче жить. Мы свели свои потребности к самому малому.

Мама сказала это с легким оттенком гордости.

— А что со старухой? — спросил я Галю.— Той, что покупала у тебя цветы для Байкова кладбища?

— Умерла эта старуха. Я сделала на ее могилу венок из одних только ромашек.

— Замечательный венок,— вздохнула мама.— Последний. Я сейчас разогрею обед, а потом ты нам все расскажешь про себя. Хорошо? Посидите пока в комнате у Амалии. Или на балконе, на воздухе.

Я взял Галю под руку и повел ее через комнату Амалии на балкон. Амалии не было дома. Галя шла по полу, как будто переходила через мелкую реку, нащупывая ногой дно.

Мы сели с ней на балконе. Он выходил в сторону Ботанического сада. Изредка по Бибиковскому бульвару проползал, повизгивая, трамвай. На площади Владимирского собора между больших булыжников уже выросла высокая трава.

Приближался вечер. Предзакатный свет, отраженный множеством оконных стекол, наполнял улицу.

— Костик,—спросила Галя,—ты правда напечатал несколько своих рассказов?

— Откуда ты знаешь?

— К нам зашла как-то Гильда, сестра Эммы Шмуклера. Ты ее помнишь?

— Как же! Такая длинная, нескладная.

— Ну, сейчас она, говорят, красавица. Не узнаешь. Так вот она и рассказала об этом. Что же ты нам их не прислал?

— Я привез их с собой.

— Так слушай,—таинственно сказала Галя,—ты положи их на мамину постель, на подушку, а сам ничего ей не говори. Ты знаешь, теперь это ее единственная мечта — чтобы ты стал настоящим писателем. Недавно мама сказала про тебя, что если ты сделаешь хоть немного хорошего для людей, то этим искупишь — так она и сказала: «искупишь» — все ошибки отца. Скажи, пожалуйста,—то, что ты пишешь, может помочь людям, чтобы они меньше страдали? Как ты думаешь?

Хлопнула парадная дверь.

— Спрячься,—быстро сказала Галя.—Это Амалия. Вот она удивится!

Я спрятался за кадку с большим олеандром. Амалия вошла усталая. Она остановилась перед трюмо, подняла руки и поправила свои все еще красивые волосы.

— Я сижу у вас,—сказала Галя,—потому что мама жарит котлеты. И у нас чад.

Амалия усмехнулась и спросила:

— А где же он?

— Кто? — испуганно спросила Галя.

— Где он? — повторила Амалия.—Костик. В передней висит его плащ.

Тут она увидела меня, схватила за руку, вытащила на середину комнаты, обняла за шею и поцеловала несколько раз крепко и звонко, как целуют крестьянки.

Я сделал так, как мне посоветовала Галя,—положил вечером на мамину подушку три моих рассказа, вырезанные из газет, где они были напечатаны. Мама в это время возилась на кухне.

Я, конечно, струсил и тайком ушел в город. Бродя по улицам, я все время гадал — прочла ли мама рассказы или еще нет. Наконец я не выдержал и вернулся домой.

Дверь открыла мне мама. Она взяла в ладони мою голову и крепко поцеловала в лоб. Глаза у нее были заплаканы.

— Если бы ты знал,—сказала она,—какие вещи я сейчас прочитала! Спасибо тебе, Костик. От всех нас — и от отца, и от братьев, и от нашей несчастной Гали.

Мама не могла говорить. Она села на табурет в передней.

— Дай мне воды,—попросила она.

Я принес из кухни кружку воды и дал ей напиться.

— И это мой сын,— сказала она почти шепотом и погладила мои руки.— Мой Костик!

— Ну что ты, мама! — сказал я, пытаюсь ее успокоить.— Я останусь здесь с вами.

— Не надо! — твердо ответила мама.— Иди своей дорогой. Только смотри — не забывай нас.

Внезапно она сжалась в комок и зарыдала. Я обнял ее и прижал к себе.

— Если бы был жив отец,— сказала она, глотая слезы.— Если бы он был жив! Как бы он был счастлив. Он был чудный человек, Костик. Самый чудный человек на свете. Я ему все простила. И ты его прости. У тебя была тяжелая молодость. Теперь мне и умереть не страшно. Но обещаю тебе, что, если я умру, ты возьмешь к себе Галю.

Я обещал ей это, но все случилось совсем не так, как ожидала мама. Она не увидела даже моей первой книги. Жизнь распорядилась с ней и с Галей круто и несправедливо.

Однажды летом я уехал в Потю, в Колхиду, готовился писать новую книгу о субтропиках. В Потю я заболел каким-то «синим» сыпным тифом, долго лежал в больнице, долго боролся со смертью, а в это время мама умерла в Киеве от воспаления легких. Через неделю умерла Галя. Без мамы она не могла прожить даже нескольких дней. От чего она умерла, никто не знал, и выяснить это не удалось.

Амалия похоронила маму и Галю рядом на Байковом кладбище, в страшной тесноте сухих, заброшенных могил.

С трудом я нашел их могилы, заросшие желтой крапивой,— две могилы, слившиеся в один холм с покоробленной жестяной дощечкой и надписью на ней: «Мария Григорьевна и Галина Георгиевна Паустовские. Да покоятся с миром!»

Я не сразу разобрал эту надпись, смытую дождями. Из трещины в дощечке тянулся бледный, почти прозрачный стебелек какой-то травы. И странно и горько было думать, что это — все! Что этот стебелек — единственное украшение их тяжелой жизни, что он — как болезненная улыбка Гали, как маленькая слеза из слепых ее глаз, застрявшая на ресницах,— такая маленькая, что никто и никогда ее не увидит.

Я остался один. Все умерли. Мать, давшая мне жизнь — не напрасную и не случайную,— лежала здесь под глинистой киевской землей, в углу кладбища, рядом с полотном железной дороги. Сидя у могилы, я чувствовал, как содрогалась земля, когда проносились тяжелые поезда. Должно быть, и там, в могиле, мама тревожилась обо мне, как тревожилась в жизни. Она часто смотрела мне в глаза и спрашивала:

— Ты ничего от меня не скрываешь, Костик? Смотри не скрывай. Ты же знаешь, что я готова пойти на край света, чтобы тебе помочь.

Полевая тишина

Тогда, в августе 1923 года, я вернулся из Киева в Москву.

Денег у меня оставалось на месяц полуголодной жизни. Надо было искать работу в московских газетах. Но вместо этого я, измученный недавней закавказской жарой, мечтал о сырых рощах и прохладных реках Средней России, мечтал непременно съездить, хотя бы ненадолго, в какую-нибудь деревенскую глушь. Кроме того, я хотел, начиная новую полосу жизни, попрощаться — и теперь уже навсегда — со старой деревней. Я знал ее воочию, а не только по рассказам Чехова и Бунина.

Попрошаться мне помог случай. В Москве я на время поселился в Гранатном переулке у прежней своей хозяйки, в комнате жильца, уехавшего в командировку.

В квартире все еще жила моя соседка по семнадцатому году — веснушчатая курсистка Липочка. Она никак не могла окончить медицинский институт.

К Липочке, как и пять лет назад, приезжали из рязанской деревни земляки, привозили мед и яблоки, а увозили все, что бог дал раздобыть в Москве, — даже паклю и пачки старых газет на раскурку.

Отец Липочки был сельским священником под Рязанью. Это обстоятельство Липочка тщательно скрывала, но я случайно узнал об этом еще в семнадцатом году. При мне Липочка насмешливо называла отца «мой попик».

К нему по совету Липочки я и поехал пожить две-три недели.

Ока разделяет Рязанскую область на две обособленные части: северную — лесистую и болотистую и южную — полевую и овражную. Село Екимовка, где жил отец Липочки, лежало в южной части, среди бесконечных полей.

Я был огорчен, что еду в безлесные места. Но как только я вышел из теплушки на полустанке Стенькино за Рязанью, то тут же забыл о своем огорчении.

В лицо мне подуло теплым воздухом ржи. Полевая тишина, не задевая ни единым звуком, кроме отдаленного гудка уходящего поезда, подошла вплотную.

Я немного постоял под старыми вязами на платформе и услышал давно позабытый запах дегтя от тележных колес. К одному из вязов была привязана телега. Серый мерин дремал, подрагивая сухой кожей.

Телегу выслал за мной отец Липочки. Возница — мальчишка лет двенадцати по имени Влас, конопатый и хмурый, — всю дорогу старательно хлестал мерина по впалям бокам. На мои вопросы Влас отвечал только одно: «Откуль я знаю».

Мы долго ехали молча. Потом Влас собрался наконец с духом и сказал:

— Батюшка наш, отец Петр, вдовый. Старенький и глуховатый. А мерина этого ему ссудил председатель. Из комитета бедноты.

Вскоре над шелестящим морем ржи возникли белая колокольня и зеленый купол церкви. Крест на куполе покосился и был готов вот-вот свалиться. На нем сидели, толкаясь и склочничая, воробы.

Дом отца Петра стоял за селом, вблизи церкви. Он так зарос бузиной и одичалой сиренью, что виднелось только крылечко.

Отец Петр вышел в старом чесучовом подряснике. Низенький, с тощими косицами седых волос на затылке, он заглядывал мне в лицо водянистыми глазками и говорил, шепелявя:

— Спасибо, не побрезговали навестить старика. Житьишко у нас скудное. Но, как говорится, «буду есть мякину, а Екимовки не кину». Отдыхайте. Воздух у нас богатый.

И я поселился в доме, где весь день копошился глуховатый старик.

— Уж и не знаю, — говорил он тоном заговорщика, — почему не трогают меня, раба божьего. Или снисходят к престарелости моей? Или оттого, что приход этот — нищенский, бездоходный. Самый никудышный приход в Рязанской епархии. Только садом да картошкой я и живу. Яблони — все перестарки. Плод имеют махонький, червивый. И цена этим яблочкам — две копейки за меру. Липочка вот помогает, а то давно бы меня сволокли на погост.

В доме было сумрачно, прохладно. Дряхлая чистота поселилась здесь, видимо, давно. Некрашенные, выскобленные полы казались седыми.

Пахло лампадным маслом. За кюветы были заткнуты пучки сухого зверобоя. Книг не было, кроме Часослова и зачитанного романа Засодимского «Хроника села Смурина». Чернила в баночке заросли белой плесенью.

Главным обитателем дома, как и окрестных полей, была оцепенелая тишина. Изредка ее нарушало уверенное гудение шмеля. Он облетал комнаты, как владелец. Насердившись и наворчавшись, он с облегчением вылетал в распахнутое окно, в зной и лазурь уснувших полей.

Шмель улетал, и снова возвращалось безмолвие. Отец Петр тихонько прокашливался и запевал дрожащим тенорком: «Объяли мя муки смертные и потоки беззакония устрашили мя», но тотчас спохватывался и замолкал, боясь меня обеспокоить. И снова тишина. Иногда только ветер прошумит по саду и подымет на окошках ситцевые занавески.

Я отдыхал в этой скудной обители. Мысли подолгу задерживались на всем, что происходило вокруг. Я испытывал непрерывную радость от близости к земле, к России. Тогда я полностью почувствовал, что она действительно моя. Великие судьбы и потрясения ждали ее. Это было ясно всем, даже недалекому отцу Петру. Я же твердо знал, что прелесть ее полей, ее далей, ее небес всегда останется удивительной и неизменной.

Около дома раскинулся сад, разросшийся по своему усмотрению и потому особенно живописный. Огромные лопухи, похожие на слоновьи уши, росли рядом с крапивой в человеческий рост.

Днем сад вяло опускал листья. Август стоял жаркий. Я радовался самой малой тени от облаков, величаво пронесивших в вышине свои белоснежные громады. Но все же жара была мягкая, совсем не такая изнурительная и зловещая, как в Закавказье.

Зато каким роскошным, тенистым, зачарованным и полным дыхания бурьяна становился сад к вечеру! Какие свежие воздушные волны заполняли его к ночи и оставались в нем до утра!

Туманно светил в конце сада закат. Протяжно пел, замирая за речкой Павловкой, пастуший рожок.

Отец Петр зажигал в зальце кухонную лампочку, и день сменялся успокоительной ночью.

Пожалуй, лучше всего в Екимовке были вечера — певучие, как бы нарочно созданные, чтобы показать прелесть женских и детских голосов, скликавших телят и гусей.

Каждый вечер соседская девушка Луша пригоняла на двор к отцу Петру бычка с влажными каштановыми глазами. Луша шепотом здоровалась и, боясь расспросов, убегала. Но все же я каждый раз замечал ее вспыхнувшее тяжелым румянцем лицо. Замечал мгновенный, как зарница, любопытный взгляд из-под пыльных ресниц.

Когда Луша убегала, отец Петр говорил:

— Крестница моя. Возросла в этой пустыне, как Марья-царевна.

Однажды к отцу Петру, очевидно, узнав о моем появлении, приехал лукавый отец благочинный.

Он был оранжево-рыжий, носатый, говорил сиплым фальцетом, и ряса у него была разодрана на животе и заду.

Он тут же сообщил, что устроил лаз в заборе своего сада, дабы внезапно прокрадываться с тылу и ловить мальчишек — «яблокрадов». Но лаз оказался узковат, и, торопясь пролезать в него, отец благочинный изодрал одеяние.

Отец Петр при виде благочинного онемел. Он только непрерывно кивал, соглашаясь со всем, что бы ни говорил благочинный. А тот объяснял, что нужна большая политичность, чтобы оградить пастырей от всяческих бед и находиться в хорошем расположении с властями. Потом

отец Петр сходил куда-то неподалеку и принес бутылку мутного самогона.

Самогон вонял керосином и гнилым хреном. Но отец благочинный выпил под вареную картошку два граненых стакана этой мутной жидкости, тотчас захмелел и начал нести околесицу.

— После господ нашего Иисуса Христа и блаженных святителей церкви,— заговорил он, рыгая,— пуще всего уважаю большевиков. Люблю решительных мужчин. Поскольку сам прославлен на всю епархию отвагой. У меня разговор простой. Согрешит чего-нибудь вот такой попик гүгнивый, я его хватя за загривок и так единожды тряхану, что мозги у него разболтаются в крошку. Тогда тряхану вторично — и мозги станут на место! Других мер не применяю. Из сострадания.

Отец Петр поежился. Косицы его тряслись на затылке.

— Вот, скажем, сей глуховатый иерей отец Петр! Что с него взять? Соленый огурец да облезлую камилавку?

Отец Петр хихикнул.

— Я безгрешен,— сказал он с опаской.— Мне наемни восьмой десяток пошел.

— Грехов на тебе, понятно, нету по дряхлости тела и убогости разума.

— Напрасно вы так говорите,— заметил я благочинному.— Отец Петр — добрый человек. Зачем же его обижать.

— А он и не обижается.— Благочинный повернулся к отцу Петру.— Вот видите, кивает. Смирение пастырское предписывает ему сносить безропотно и глад и поношение. А вы, молодой человек, за пастырей заступались бы не здесь, в Екимовке, а там, в Москве, в Кремлевских палатах, где новые кесари пекутся о благе народа. Все хорошо у большевиков, все одобряю, кроме запрета держать лошадей и устривать конские ярмарки. Я на коней был первый мастак от Рязани до Липецка. Ни одной ярмарки без меня не обошлось. Как взойду на ярмарку, так всех цыган-барышников будто корова слизнула. Крепко я им холки накручивал! А вы говорите — большевики!

Отец благочинный внезапно замолк, опустил голову на грудь и страшно захрапел. Так прошло несколько минут.

— Срам! — сказал мне шепотом отец Петр.— Заметут его большевики! Ой, заметут!

— Не заметут! — неожиданно и совершенно спокойно ответил отец благочинный, открыл глаза и оглушительно чихнул.— Не радуйся, отче Петр! — Он чихнул второй раз.— Как бы тебя самого не замели из Екимовки.

Благочинный чихнул в третий раз, потом — в четвертый, и вскоре зальца начала дребезжать и позванивать от его богатырского чиха.

Наконец благочинный отчихался, вытащил из кармана обширный красный платок, обстоятельно вытер лицо и сказал ясным голосом:

— У меня хмель выходит чихом. В каком бы опьянении я ни находился, а на двадцатом чихе я уже тверезый. Как стеклышко! Такая особенность.

Он встал, попрощался и напоследок сказал отцу Петру:

— Сиди! Никто тебя не тронет. Ни светская власть, ни церковная. Христос, истинный бог наш, и пречистая его мать услышат твои вопли и завывания, отче Петр.

Благочинный уехал, а отец Петр взял большие ключи от церкви и поплелся служить молебен, очевидно, по случаю избавления от благочинного.

Я пошел вслед за ним посмотреть церковь. Я в ней еще не был. Она делилась на зимнюю и летнюю. Зимняя была внизу. В сильные морозы

ее протапливали. Летняя помещалась вверху, на втором этаже. Она была светлая, залитая сейчас солнцем. В его лучах розовела водянистая церковная роспись.

Отец Петр надел епитрахиль и начал служить. По глухоте своей он себя не слышал и потому то выкрикивал молитвы во весь голос, то бормотал их едва слышно, почти засыпая.

Я распахнул разошедшееся запыленное окно, сел на подоконник — и передо мной как бы промыли небо яркой водой. Облака тесно толпились от одного до другого края земли. Они плыли по выпуклому поднебесью, подергиваясь сизой тенью.

Отец Петр служил долго. Облака за это время начали громоздиться башнями, подножья их стали темнеть. Потом бледная вспышка огня озарила их до самой глубины. Над полями пролетел, наклонив к земле рожь, короткий ветер.

Но гроза не пришла. Должно быть, август уже потерял грозовую силу. Гроза уже не могла раскатываться по полям, неся столбы пыли, зловеще блистая, припечатывая дороги крупными, вескими каплями.

На паперти отца Петра ждал костистый крестьянин Никифор — отец Луши.

— За Лушу сватается жених самостоятельный, — сказал он, не глядя на отца Петра. — Благословите сыграть свадьбу, батюшка.

— А кто таков? — спросил отец Петр. Он устал, и руки у него, когда он снимал епитрахиль, сильно тряслись.

— Портной из Сторожилова.

— Молод?

— Да так... годов пятьдесят, не боле.

— Человек-то хороший?

— А шут его знает. Обыкновенный. Закладывает маленько. А вот лицом вроде не вышел. Рябой. Да не квас же Лукерье пить с его ряшки. Правда, вдовец. Двое ребят на шее.

— Полюбовно выходит?

— Да, господи! — вскричал Никифор. — Мне-то, сам понимаешь, жалко ее портить. Одно соображение — при заработке он. Государственный портной. Моя старуха прямо Лукерью зубами грызет: выходи да выходи. Она у меня знаешь какая, старуха. Зрак у нее завидный на все.

— Да уж знаю, — вяло согласился отец Петр. — Дело ваше, родительское.

Мы спустились с паперти. Отец Петр брел, опираясь на посошок. Снова вдали в темном облаке мигнул бледный свет.

— Как вы думаете, — спросил я отца Петра, — Луша любит его или нет?

— Какое там любит! — с сердцем ответил отец Петр. — Да все равно пора выходить. Дело крестьянское.

Отец Петр помолчал и заговорил, что скоро начнут убирать хлеб. Из Рязани, сказывают, придут новые советские косилки. Они весь клин до самого Стенькина уберут, сказывают, за один день. Какие только чудеса дает бог увидеть на свете!

В Екимовке работали почти одни женщины. Мужчины уходили на заработки в соседние города — Михайлов, Рязань, Пронск, Коломну, в самую Москву. Они приезжали в Екимовку только в пору горячих полевых работ. Кое-кто привозил семьям гостинцы. После побывки мужей женщины ходили в новых баретках, а ребята с утра до вечера дудели в свистульки и верещали китайскими трещотками.

Работа для женщин была непосильной. После революции наделы выросли, помещичьи и монастырские земли отошли к крестьянам, и упра-

виться со всей этой землей было трудно. Машин в то время почти не водилось. Хлеб и сено убирали вручную.

Всей сельской жизнью управлял комитет бедноты. Ему беспрекословно подчинялись. Но все же полагалось ругаться с председателем комитета, бывшим солдатом по прозвищу «Один Момент». Для него не существовало трудностей, и любое дело он решал быстро, приговаривая: «Это мы — мигом! Один момент!»

Прощание мое с деревней затянулось. Я медлил возвращаться в Москву, боясь неизвестности.

Но все же надо было в конце концов уезжать.

До Рязани ехала со мной Луша — мать послала ее в город купить марли на подвенечную фату.

До полустанка Стенькино мы шли с Лушей полями и всю дорогу молчали. Поверх линялого ситцевого сарафана Луша надела тесную черную жакетку, русые свои косы подвязала белой косынкой и шла, почти не подымая глаз от смущенья.

По небу однообразно тянулись синеватые холодные тучи. Луша задевала подолом подсохшие по осени травы. Только цикорий и дикая рябинка — желтая, как горчица, — еще не увядали и безмятежно и ярко дожидались ненастья.

Я старался запомнить все: каждый сжатый колос, блестящий слюдой на стерне, каждый короткий взгляд Луши — вопросительный и несмелый. Мне казалось, что она хочет спросить меня о чем-то, но не решается. И я, признаться, был рад, что она ни о чем меня не спрашивает.

О чем она могла спросить? Выходить ли ей замуж? Я бы начал ее отговаривать и наговорил бы, наверное, много такого, чего бы она не поняла. А если бы и поняла, то испугалась.

В этой простой девушке с шершавыми маленькими руками, в ее стремительной улыбке, в наклоне ее лица — покорном и нежном, — было столько неясного обещания любви для кого-то еще неизвестного, но совсем не для того, за кого ее выдавали, что идти с ней рядом было и грустно и радостно. Всю дорогу мне почему-то хотелось заботиться о Луше, прикрывать ее от резкого ветра, дувшего в спину. Чем дальше мы шли, тем она все чаще поправляла под косынкой светлый локон.

В теплушке мы сели на дощатые нары. Знакомые поля как бы нехотя поползли мимо, вагоны погромыхивали на стыках. Мальчишка в новом картузе пронзительно свистел на губной гармонике.

Я занозил ладонь о неструганую доску нар. Луша испугалась. Она осторожно вытащила занозу и совершенно по-детски зализала ранку языком.

Расстались мы в Рязани на товарной станции. Все пути были засыпаны шелухой от подсолнухов. Ходили, матерясь, маслянистые кочегары. В липах у переезда орали галки.

Я пожал ее маленькую твердую руку, и Луша ушла, не оглянувшись. Но уходя, она все время, как и в полях, нервно поправляла косынку на растрепавшихся косах.

Я хотел окликнуть ее, но не окликнул. Потом я долго ждал поезда на Москву и курил дешевые пересохшие папиросы.

Много лет спустя я еще раз увидел Лушу — ее лицо и всю ее, похожую на стройную ветку. Это было страшно далеко от Рязани, в Северной Италии, в цветущей долине Аосты, замкнутой снеговыми вершинами Альп.

Луша стояла на высоком каменном постаменте у перекрестка дорог, чуть склонившись и глядя с улыбкой на цветы, что положил кто-то к ее ногам.

Неизвестный скульптор, вырезавший эту мадонну из дерева, чуть прокрасил алой краской ее щеки. У мадонны был тот же застенчивый румянец, какой я часто видел у Луши.

Ветер с гор дул ей в глаза, колыхал платье. У нее не было на руках младенца. Она была еще непорочна. И эта прелесть непорочности делала итальянскую мадонну подругой крестьянской девушки Луши из села Екимовка Рязанской области.

«Четвертая полоса»

После возвращения из Екимовки я долго бродил по разным московским редакциям в поисках работы.

Однажды я встретил в редакции «Гудка» Виктора Шкловского. Он остановился передо мной и сердито сказал:

— Если хотите писать, то привяжите себя ремнями к письменному столу. Старших надо слушаться!

— У меня нет письменного стола.

— Тогда к кухонному! — крикнул он и исчез в соседней комнате.

Слова о ремнях Шкловский сказал просто так, наугад. Мы с ним не были еще знакомы.

В комнате, где исчез Шкловский, сидели за длинными редакционными столами самые веселые и едкие люди в тогдашней Москве — сотрудники «Гудка» Ильф, Олеша, Михаил Булгаков и Гехт. Склонившись над столами и посмеиваясь, они что-то быстро писали на узких полосках газетной бумаги.

Редакционная эта комната называлась странно: «Четвертая полоса». В простенке висела ядовитая стенная газета «Вопли и сопли».

В этой комнате готовили последнюю, четвертую, полосу (страницу) газеты «Гудок». На этой полосе печатались письма читателей, но в таком виде, что ни один читатель, конечно, не узнал бы своего письма.

Сотрудники «Четвертой полосы» делали из каждого письма короткий и талантливый рассказ — то насмешливый, то невероятно смешной, то гневный, а в редких случаях даже трогательный. Неподготовленных людей ошеломляли самые заголовки этих рассказов: «Шайкой по черепу», «И осел ушами шевелит», «Станция Мерв — портит нерв».

Сам редактор «Гудка» без особой нужды не заходил в эту комнату. Только очень находчивый человек мог безнаказанно появляться в этом гнезде иронии и выдерживать перекрестный огонь из-за столов.

В то время никто еще не подозревал, что в этой комнате собралась «могучая когорта» (так они себя шутливо называли) молодых писателей, которые вскоре завоеют широкую известность.

В эту комнату иногда заходил «на огонек» Бабель. За ним учтиво входил Василий Регинин. В то время он редактировал новый журнал «Тридцать дней». Стоя на пороге и как бы боясь войти, Регинин начинал быстро рассказывать последние анекдоты. Часто шквалом врвался Шкловский и с жестоким напором прославлял Стерна и Велемира Хлебникова.

Далеко не каждого принимали в этой комнате приветливо. Халтурщиков встречали зловещим молчанием, а бахвалов и крикунов — ледяным сарказмом.

Мирились только с одним старым, хрипучим и живописным халтурщиком-репортером по прозвищу «Капитан Чугунная Нога». У него действительно была искусственная железная ступня. Однажды он наступил на ногу кроткому писателю Ефиму Зозуле, и тот около месяца пролежал

в больнице. Поэтому когда Капитан входил, все тотчас поджимали ноги под стулья.

Я попал в эту страшноватую комнату вскоре после приезда из Рязани. Меня встретили спокойно, должно быть потому, что я дружил с Бабелем. Для сотрудников «Четвертой полосы» он был бесспорным авторитетом.

— Творятся неслыханные дела! — говорили они. — Из Одессы прибыл выдающийся писатель Пересыпи и беззаветный красный конник Исаак Ги де Бабель-Мопассан!

Под этой насмешкой скрывалась любовь к Бабелю и даже гордость им. Считалось, что он один знал на ощупь вес каждого слова.

Когда Бабель входил, он долго и тщательно протирает очки, осыпаясь градом острот, потом невозмутимо спрашивал:

— Ну что? Поговорим за веселое? Или как?

И начинался неистощимый разговор, который сотрудники «Гудка» прозвали «Декамероном». Это было похоже на волшебную нитку в сказке (может быть, такой сказки нет и такой нитки тоже нет, но это не имеет значения). Нитку эту надо было отыскать в огромной куче других разноцветных свалывшихся ниток, потянуть за нее — и она начинала вытягивать за собой то красные, то серебряные, то синие и желтые нитки, а потом и запутавшиеся в нитках сосновые шишки, позеленевшие патроны, ленты, орехи и всяческие как будто ненужные, но интересные вещи.

Такая невидимая и несуществующая золотая нитка как бы лежала в ящике стола у кого-нибудь из сотрудников — у Ильфа или Олеси. Лежала до тех пор, пока в комнате не появлялся интересный собеседник. Тогда ее вытаскивали из ящика, и она как бы тянула за собой неистощимую вереницу рассказов.

Досадно, что в то время никто не догадался записывать их, хотя бы коротко. То был шипучий фольклор тех лет.

Я знал мастеров устного рассказа — Олешу, Довженко, Бабеля, Булгакова, Ильфа, польского писателя Ярослава Ивашкевича, Федина, Фраермана, Казакевича, Ардова. Все они были щедрыми, даже расточительными людьми. Их не огорчало то обстоятельство, что блеск и остроумие их импровизаций исчезает почти бесследно. Они были слишком богаты, чтобы жалеть об этом.

К суткам надо было прибавить еще несколько часов, чтобы мы могли записать эти неожиданные устные рассказы. Записать, конечно, сверх того, что мы пишем «от себя».

Самый плодовитый писатель (не считая Бальзака) не может работать свежо и в полную силу больше четырех-пяти часов в сутки. Несправедливо, конечно, что писателю не дана возможность продлевать свою жизнь до того времени, когда он напишет все, что задумал. Обыкновенно писатели успевают написать небольшую часть того, что могли бы.

Извините, я, как всегда, отвлекся.

Я уже говорил, что после приезда из Рязани начал заходить в «Четвертую полосу» «Гудка». Там мне давали кое-какую работу.

Там я неожиданно встретил Евгения Иванова, нашего одесского Женьку Иванова, бывшего редактора «Моряка». Он носил все ту же мятую, как у адмирала Нахимова, морскую фуражку. Он расцеловался со мной, рассказал, что редактирует в Москве новую морскую и речную газету, называется она «На вахте» и редакция ее помещается этажом выше.

Тут же Женька предложил мне работать в этой газете секретарем. Я согласился, хотя и заметил Иванову, что название газеты мне не нра-

вится. Что это за названия — «На вахте», «На стреме», «На цинке», «На подхвате»!

Иванов не обиделся. Он принял мои слова как обычное зубоскальство.

«Гудок» и «На вахте» помещались во Дворце труда на набережной Москвы-реки около Устьинского моста.

До революции во Дворце труда был Воспитательный дом — всероссийский приют для сирот и брошенных детей, основанный известным просветителем Бецким еще при Екатерине Второй.

Московские салопницы без всякой задней мысли называли Воспитательный дом — «Вошпитательным». Таково было московское простонародное произношение.

Это был громадный, океанский дом с сотнями комнат, бесчисленными переходами, поворотами и коридорами, сквозными чугунными лестницами, закоулками, подвалами, наводившими страх, парадными залами и даже домовою церковью, превращенной в склад бумаги, и собственной парикмахерской.

Чтобы обойти все это здание по коридорам, нужно было потратить почти час. Население Дворца труда пользовалось коридорами как пешеходными дорожками, для прогулок.

Во Дворце труда мирно жили десятки всяких профессиональных газет и журналов, сейчас уже совершенно забытых.

Некоторые проворные молодые поэты обегали за день все этажи и редакции. Не выходя из Дворца труда, они торопливо писали стихи и поэмы, прославлявшие людей всяких профессий — работниц иглы, работников прилавка, пожарных, деревообделочников и служащих копир-учета. Тут же они получали в редакциях гонорары и пропивали их в столовой на первом этаже. Там продавали пиво.

В столовой под старинными сводами всегда плавал слоистый табачный дым. Мы курили тогда дешевые папиросы «Червонец» — тонкие, как гвозди. Они были набиты по-разному: или так туго, что нужно было всасывать в себя воздух со страшной силой, почти до головокружения, чтобы добыть самую ничтожную порцию дыма, или, наоборот, так слабо, что при первой же затяжке папироса складывалась с противным шелканьем, как перочинный ножик. При этом пересохший табак высыпался в пиво или в тарелки с мутным супом.

На столиках в столовой стояли гортензии — шары водянисто-розовых цветов на голых длинных ножках. Эти цветы напоминали сухопарых немков с пышными бесцветными волосами. Вазоны с гортензиями были обернуты сиреневой папиросной бумагой и утыканы окурками.

Мы любили эту столовую. По нескольку раз в день мы собирались в ней, пили рыжий остывший кофе и много шумели.

По утрам в столовой было пусто, пахло только что вымытыми полами и паром. Окурки из вазонов были убраны. Шипело старое отопление. За окнами над Замоскворечьем наискось летел снег.

Как-то я сидел таким утром в столовой и дописывал рассказ «Этикетки для колониальных товаров». Неожиданно вошел Бабель. Я быстро прикрыл исписанные листки газетой, но Бабель подсел к моему столику, спокойно отодвинул газету и сказал:

— А ну, давайте! Я же любопытен до безобразия.

Он взял рукопись, близоруко поднес ее к глазам и прочел вслух первую фразу: «Вам, между прочим, не кажется, что этот закат освещает отдаленные горы, как лампа?»

Когда он читал, у меня от смущения похолодела голова.

— Это Батум? — спросил Бабель. — Да, конечно, милый Батум. Раз-

давленные мандарины на булыжнике и хриплое пение водосточных труб... Это у вас есть? Или будет?

Этого у меня в рассказе не было, но я от смущения сказал, что будет.

Бабель собрал в уголках глаз множество мелких морщинок и весело посмотрел на меня.

— Будет? — переспросил он. — Напрасно.

Я растерялся.

— Напрасно! — повторил он. — По-моему, в таком деле не стоит доверять чужому глазу. У вас свой хороший глаз. Я ему верю и потому не позаимствую у вас ни запятой. Зачем вам рассказы с чужим привкусом? Мы слишком любим привкусы, особенно западные. У вас привкус Конрада, у меня — Мопассана. Но мы ведь не Конрады и не Мопассаны. Да, кстати, в первой фразе у вас три лишних слова.

— Какие? — спросил я. — Покажите.

Бабель вынул карандаш и твердо вычеркнул слова: «между прочим», «этот» (закат) и «отдаленные» (горы). После этого он снова прочел исправленную первую фразу: «Вам не кажется, что закат освещает горы, как лампа?»

— Так лучше?

— Лучше.

— Разные бывают лампы, — вскользь заметил Бабель. — А Батума нам не хватает. Помните тесный буфет в пассажирском пароходном агентстве? Когда запаздывал пароход из Одессы, мы приходили туда, сидели и ждали часами. Было пусто. На пристани лежали штабелями сосновые доски. Скипидарные. По воде шлепал дождь, а мы пили потрясающий черный кофе. Щеки горели от морского зимнего воздуха. И на душе было грустно. Потому что красивые женщины остались на севере.

За нашей спиной прозвенела расшатанная стеклянная дверь. Бабель оглянулся и испуганно сказал:

— Спрячьте рассказ! Надвигается «могучая когорта».

Я успел спрятать рукопись. Вошли Гехт, Ильф, Олеша, Славин и Регинин.

Мы сдвинули столики, и начался разговор о том, что «Огонек» решил выпустить сборник рассказов молодых одесских писателей. В сборник включили Гехта, Славина, Ильфа, Багрицкого, Колычева, Гребнева и меня, хотя я не был одесситом и прожил в Одессе всего полтора года. Но все почему-то считали меня одесситом, очевидно за мое пристрастие к одесским рассказам.

Бабель согласился написать для нашего сборника предисловие.

Я знал еще по Одессе всех, кто сидел сейчас рядом за столиком, но здесь они казались другими. Шум Черного моря отдалился на сотни километров, загар побледнел от зимних туманов. Кто знает, если бы все они не были пропитаны с детства морем, солнцем, причудливым бытом и южным весельем, то, может быть, из них не вышли бы писатели.

Особенно интересовал меня Ильф — спокойный, немногословный, со слегка угловатым, но привлекательным лицом. Большие губы делали его похожим на негра. Он был так же высок и тонок, как негры из Мали — самого изящного черного племени в Африке.

Но больше всего поражала меня чистота его глаз, их блеск и пристальность. Блеск усиливался от толстых небольших стекол пенсне без оправы. Стекла были очень яркие, как будто сделанные из хрусталя.

Ильф был застенчив, прям, меток и порою насмешлив. Он ненавидел пренебрежительных людей и защищал от них людей робких и уступчивых — тех, кого легко обидеть. Как-то при мне в большом обществе он

холодно и презрительно срезал нескольких крупных актеров, которые подчеркнуто замечали только его, Ильфа, но не замечали остальных — простых и невидных людей. Они просто пренебрегали ими. Это было после головокружительного успеха «Двенадцати стульев». Ильф назвал поведение этих актеров подлостью.

У него был микроскопический глаз на пошлость. Поэтому он замечал и отрицал очень многое, чего другие не замечали или не хотели замечать. Он не любил слов: «Что же тут такого?!» Это был щит, за которым прятались люди с уклончивой совестью.

Перед ним нельзя было лгать, ерничать, легко осуждать людей и, кроме того, нельзя было быть невоспитанным и невежливым. При Ильфе невежи сразу приходили в себя. Простое благородство его взглядов и поступков требовало от людей того же.

Ильф был человеком неожиданным. Иной раз его высказывания казались слишком резкими, но почти всегда они были верными.

Однажды он вызвал сильное замешательство среди изошренных знаменитостей литературы, сказав, что Виктор Гюго по своей манере писать напоминает испорченную уборную. Бывают такие уборные, которые долго молчат, а потом вдруг сами по себе со страшным ревом спускают воду. Потом помолчат и опять спустят воду все с тем же ревом.

Вот точно так же, сказал Ильф, и Гюго с его неожиданными и грешными отступлениями от прямого повествования. Идет оно неторопливо, читатель ничего не подозревает — и вдруг, как снег на голову, обрушивается длинейшее отступление о коммюнах, бурях в океане или истории парижских клоак. О чем угодно.

Отступления эти с громом проносятся мимо ошеломленного читателя. Потом все стихает, и снова плавным потоком льется повествование.

Я спорил с Ильфом. Мне нравилась манера Гюго.

Я думал тогда — и думаю это и сейчас, — что повествование должно быть совершенно свободным, дерзким, что единственный закон для него — это воля автора. Писатель может менять ритм, характер и окраску повествования как ему будет угодно.

Об этом и о многом другом мы говорили в сумрачной столовой.

Пришла мохнатая и будто заспанная зима. В два часа уже зажигали электричество. Снег за окнами становился синим. Уличные фонари желтели, и горензии на столиках оживали и покрывались в свете лампочек слабым румянцем.

Регинин утверждал, что цветы, как и люди, стали теперь неврастениками. Всем известно, что неврастеники мутно и расслабленно проводят день, а к вечеру веселеют и расцветают.

Однажды в столовую вошел со значительным и таинственным видом Семен Гехт.

Я познакомился с ним в редакции «На вахте». Он приносил туда очерки о маленьких черноморских портах. Не об Одессах, Херсонах и Николаевах, а о таких приморских городках, как, скажем, Аккерман, Очаков, Алешки, Голая Пристань или Скадовск. Там пароходы подваливали к ветхим дощатым пристаням — скрипучим, шатким и облепленным рыбьей чешуей.

Очерки были лаконичные, сочные и живописные, как черноморские гамливые базары. Написаны они были просто, но, как говорил Евгений Иванов, «с непонятным секретом».

Секрет этот заключался в том, что очерки эти резко действовали на все пять человеческих чувств.

Они пахли морем, акацией, бахчами и нагретым инкерманским камнем.

Вы о с я з а л и на своем лице дыхание разнообразных морских ветров, а на руках — тяжесть смолистых канатов. В них между волокон пеньки поблескивали маленькие кристаллы соли.

Вы ч у в с т в о в а л и вкус зеленоватой едкой брынзы и маленьких дынь канталуп.

Вы в и д е л и все со стереоскопической выпуклостью, даже далекие, совершенно прозрачные облака над Кинбурнской косой.

И вы с л ы ш а л и острый и певучий береговой говор ничему не удивляющихся, но любопытных южан — особенно певучий во время ссор и перебранок.

Чем это достигалось, я не знаю. Очерки почти забыты, но такое впечатление от них осталось у меня до сих пор. Жаль, что Гехт не продолжил этот удивительный путеводитель по маленьким портам.

Есть люди, без которых невозможно представить себе настоящую литературную жизнь. Есть люди, которые, независимо от того, много или мало они написали, являются писателями по самой своей сути, по составу крови, по огромной заинтересованности окружающим, по общительности, по образности мысли. У таких людей жизнь связана с писательской работой непрерывно и навсегда. Таким человеком и писателем был Гехт.

На этот раз загадочный вид Гехта насторожил всех. Но, будто поговору, никто его ни о чем не спрашивал. То был верный способ заставить его говорить.

Гехт крепился недолго. Подмигнув нам, он достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги.

— Вот! — сказал он. — Получайте предисловие Бабеля к нашему сборнику!

— Оно короче воробьиного носа! — заметил кто-то. — Просто отписка!

Гехт возмутился:

— Важно не сколько, а как. Зулусы!

Он развернул листок и прочел предисловие. Мы слушали и смеялись, обрадованные легким и пленительным юмором этого, очевидно, самого короткого предисловия в мире.

Потом дело со сборником сорвалось. Он не вышел, а предисловие затерялось. Только недавно его нашел среди своих бумаг один из тех, о ком писал Бабель.

Вот это предисловие:

«В Одессе каждый юноша — пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском судне. Пароходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца жаждой прекрасных и новых земель. Вот семь одесситов. У них нет ни денег, ни виз. Дать бы им паспорт и три английских фунта, и они укатили бы в недостижимые страны, названия которых звонки и меланхоличны, как речь негра, ступившего на чужой берег.

Вот семь молодых одесситов. Они читают колониальные романы по вечерам, а днем они служат в самом скучном из губстатбюро. И потому, что у них нет ни виз, ни английских фунтов — поэтому Гехт пишет об уездном Можайске, как о стране, открытой им и не изведанной никем другим, а Славин повествует о Балте, как Расин о Карфагене. Душевным и чистым голосом подпеваает им Паустовский, попавший на Пересыпь, к мельнице Вайнштейна, и необыкновенно трогательно притворяющийся, что он в тропиках. Впрочем, и притворяться нечего. Наша Пересыпь, я думаю, лучше тропиков.

Третий одессит — Ильф. По Ильфу — люди замысловатые актеры, подряд гениальные.

Потом Багрицкий, плотояднейший из фламандцев. Он пахнет, как скумбрия, только что изжаренная моей матерью на подсолнечном масле.

Он пахнет, как уха из бычков, которую на прибрежном ароматическом песке варят малофонтанские рыбаки в двенадцатом часу июльского неудержимого дня. Багрицкий полон пурпурной влаги, как арбуз, который когда-то в юности мы разбивали с ним о тумбы в Практической гавани у пароходов, поставленных на близкую Александрийскую линию.

Колычев и Гребнев моложе других в этой книге. У них есть о чем порассказать, и мы от них не спасемся. Они возьмут свое и расскажут о диковинных вещах.

Тут все дело в том, что в Одессе каждый юноша — пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском судне. И одна у нас беда — в Одессе мы женимся с необыкновенным упорством».

Ночные поезда

Все мы жили тогда как попало и потому неважно.

Олеше и Ильфу дали узкую, как пенал, комнату при типографии «Гудка». Гехт жил где-то в Марьиной роще среди холодных сапожников. Булгаков поселился на Садово-Триумфальной в темной и огромной, как скетинг-ринг, коммунальной квартире.

Соседи Булгакова привезли из деревни петуха. Он смущал Булгакова тем, что пел ночью без времени. Жизнь в городе сбивала петуха с толку.

Мне пришлось убраться с Гранатного переуллка, так как вернулся из командировки жилец, в комнате которого я поселился.

Сотрудник «На вахте» капитан Зузенко нашел мне пристанище в Пушкине, под Москвой, рядом с домом, где он жил сам. Пристанище оказалось пустой, как сарай, и ледяной дачей.

В моей комнате стояла кое-какая пыльная мебель и лежала на продавленной тахте потертая шкура белого медведя. Пыль на мебели просто окаменела. Ее нельзя было стереть ничем, разве только счистить напильником. В пазах между бревен пищали мыши.

О Зузенко я уже писал довольно много. Да и нельзя было не писать об этом строптивом и добром человеке с лицом, изуродованным боксом. Мы сдружились, очевидно, по резкой противоположности характеров. Зузенко не знал сомнений, я же был полон ими сверх меры. Зузенко был грубоват и насмешлив, а я, к своему огорчению, был вежлив даже с трамвайными ворами и не любил насмешек.

Сначала мне нравилось жить за городом. Тогда от Мытищ до Пушкина еще тянулся нетронутый лес. Каждый день приходилось ездить в Москву, в редакцию, и возвращаться в полночь последним поездом.

В Москве перед отходом поезда кондуктор проходил по вагонам и сгонял всех пассажиров в один вагон — для их же собственной безопасности. Тогда в пригородных поездах сильно грабили (в то время говорили «раздевали»).

Пассажиры нервничали, помалкивали. Да и разговаривать было трудно. Маленькие вагоны шли с таким грохотом, что можно было только перекрикиваться.

Пассажиры были большей частью одни и те же и знали друг друга в лицо. Поэтому на всех новичков они посматривали подозрительно и садились от них подальше.

Самым опасным считался перегон от Лосиноостровской до платформы Тайнинка. «Бандитский вертеп», — говорили о Тайнинке опытные пассажиры. На попутчиков, сходящих ночью в безлюдной Тайнинке, смотрели с сожалением и гадали, дойдут ли они до дому или нет.

После Тайнинки пассажиры успокаивались и дремали до самого Пушкина.

Мы с Зузенко всегда ездили вместе. В этом было для меня два преимущества: одно — на пути из Москвы в Пушкино, а другое — на пути из Пушкина в Москву.

Преимущество на пути из Москвы в Пушкино состояло в том, что с Зузенко я чувствовал себя в безопасности. Человек огромной физической силы и бесстрашия, он каким-то шестым чувством узнавал любую «шпану» и немедленно переходил в наступление. Заметив в вагоне «подозрительного по шпане» человека, он долго и тяжело смотрел на него, потом вставал, шел к нему зловеще и медленно и говорил:

— На первой же остановке выматывайся с поезда! Без визга!

При этих словах Зузенко засовывал руку в карман шинели.

Удивительнее всего было то, что Зузенко ни разу не ошибся, — «подозрительные по шпане» выкатывались, даже не матерясь.

Но один раз Зузенко опешил. Было это уже за Тайнинкой. Все мирно дремали. Против нас на скамье спал, поджав ноги, мальчишка лет четырнадцати. Он очень вертелся и иногда даже подпрыгивал во сне.

Зузенко высказал предположение, что мальчишку мучают глисты. Поезд рвануло на стрелке, мальчишку подбросило, он проснулся и неожиданно начал стрелять. При этом он кричал: «Дяденька, спасите!» Стреляя он, как опытный бандит, из кармана своего ватника. Пассажиры проснулись и ринулись на площадку. Зузенко схватил мальчишку за шиворот, но тотчас отпустил.

— Что это, распротак его так! — крикнул он. — Как он стреляет! Руки у него наружу!

В это время из кармана мальчишки раздался сам по себе еще один — последний — оглушительный выстрел. Мальчишка взвыл. Карман у него тлел. Из него шел удушливый дым.

— Ватник снимите! — отчаянно кричал мальчишка. — А то сгорю, дяденька!

Зузенко стащил с мальчишки ватник.

— Что у тебя в кармане, шкет несчастный?

Конопатый, заплаканный шкет признался, что у него в кармане лежали насыпью пробки для пугача. Очевидно, пробки согрелись, долго ерзали и терлись от качки и рывков поезда и на одном, самом сильном рывке, наконец взорвались.

Ватник потушили. Мальчишку пассажиры, как водится, изругали. Зузенко хохотал, раскачиваясь, как араб на молитве. Потом он неожиданно сказал:

— Вот случай для Джекобса.

Джекобс был английский юмористический писатель, любитель такого рода бессмысленных историй.

Второе зузенковское преимущество было связано с утренними поездками в Москву. Во время этих поездок я выслушал множество увлекательных историй из его жизни.

Как только Зузенко входил в вагон в Пушкине, он тотчас начинал рассказывать мне эти истории. Любопытные пассажиры подсаживались поближе.

Вскоре слух об этих рассказах прошел по всему Пушкину. В вагон, куда садился Зузенко, набивалось столько народу, что негде было прилечь. Чтобы лучше слышать, пассажиры тесно сбивались вокруг капитана и наваливались мне на спину. Я долго потом не мог отдышаться.

Приходил кондуктор и начинал речь о неправильной нагрузке поезда. Все вагоны пустые, а в этот не втиснешься. Да он и не рассчитан на такую уйму пассажиров. Беспорядок! Наверняка загорятся буксы. Каж-

дый раз Зузенко и пассажиры вступали с кондуктором в беспорядочный технический спор и доказывали ему, что вагон «не просядет и буксы никак не сгорят».

Зузенко приносил в редакцию «На вахте» свои воспоминания о плаваниях. Воспоминания эти он печатал на старой машинке с латинским шрифтом. В тех местах, где латинские буквы не совпадали с русскими, Зузенко вписывал русские буквы от руки. Это была каторжная работа.

Мне нравился у Зузенко насмешливый взгляд, взвешивающий собеседника, тяжелая и осторожная поступь, будто по палубе в шторм, грубоватый юмор и склонность к сложным и наивным предприятиям ради сомнительного заработка.

В то время в России было много безработных морских капитанов по той причине, что совсем не было морских кораблей. Поэтому Зузенко числился в резерве советского торгового флота. Он дожидался, когда наконец появится подходящее, по его словам, «корыто», на котором он будет плавать если не капитаном, то хотя бы третьим помощником. За пребывание в резерве Зузенко получал ничтожную ставку и потому постоянно изыскивал способы перехватить денег.

Был нэп. Нэпманов и так называемых «частников» Зузенко ненавидел люто и необратимо.

То было племя барышников и комбинаторов. Те из них, кто был выше рангом и побогаче, пытались придать себе вид промышленников, крупных торговцев и дельцов. Но дальше этого внешнего вида дело обычно не шло, и все знали, что это — «липа».

В общем, мы относились к нэпу скептически. Все знали, что нэп — явление временное, что с первых же дней своего рождения он дышит на ладан и, совершив свое дело, будет выброшен на свалку истории. Так оно и случилось.

Но нэпманы всех раздражали. Они дико торопились обогащаться. Они задыхались от спешки и шалели от всяческих комбинаций и неизбежного страха. Пределы дозволенного были не особенно ясны. Любой шаг мог оказаться роковым. Все это сообщало характеру нэпманов истеричность. Их существование с его судорожным и кургузым размахом, облезлыми автомобилями, увядшими красавицами и ресторанной цыганщиной напоминало плохо сыгранный спектакль.

Где-то в Сибири и на Дальнем Востоке сдавались в концессии рудники и золотые прииски, но это было так далеко от Москвы, что казалось нереальным и, может быть, поэтому не вызывало тревоги. Мы же сталкивались только с нэпманской «плотвой». Нас, конечно, не могли смутить кислые дамы и старушенции, торговавшие пончиками и самодельными тянучками из окон своих комнат в первых этажах домов.

Соблазнительные свои товары они раскладывали на подоконниках. Там, кроме пирожков и печенья, можно было увидеть горки пиленого сахара на облезлом фарфоровом блюде (настоящий «сакс»), вязаные галстуки, зажигалки, китовый ус для корсетов и нарядные — розовые и голубые — резинки для дамских подвязок, негодные к употреблению, так как резина давно пересохла. Мы воспринимали нэп главным образом с бытовой и комической стороны.

Особенно славился в то время в Москве «король древесного угля» Яков Рацер. Предприятие его помещалось в Марьиной роще против дома, где жил Гехт. Каждое утро, чуть начинало светать, Яков Рацер выходил на балкон своего дома и пропускал мимо себя весь длинный обоз угольщиков на колченогих конях. Рацер стоял, как полководец, принимающий парад своих войск.

После парада угольщики расплзались по всем закоулкам Москвы,

оглашая дворы унылыми криками: «Вот уголек кому надо!» Все в угольной пыли, они ходили на негритосов. Они удивляли москвичей эмалевой белизной глазных яблок под сизыми веками.

Время от времени Яков Рацер печатал в «Известиях» объявление: «Бывали случаи, что уголь у Якова Рацера оказывался неполновесным, но не было случаев, чтобы уголь у Якова Рацера оказывался сырым». Но на кульках с самоварным углем Яков Рацер печатал несколько иные и довольно изысканные рекламные стихи:

Так говорит Заратустра:
«Кто рекламирует шустро,
Но не пленяет товаром,
Тот рекламирует даром».
Уголь ли нужен, дрова ли,
Рацера фирма едва ли
Будет Москвою забыта —
Слава недаром добыта!

Широко известен был еще один частник по фамилии Функ. Он открыл в Москве производство сапожного крема.

Функ понимал толк в рекламе.

На всех улицах висели на фонарях веселые человечки, вырезанные из жести. Они танцевали чечетку, приподняв над головой желтые щегольские канотье, сверкая зубами и сияющими ботинками, только что начищенными пастой Функ.

Человечки восторженно призывали чистить обувь только пастой Функ. Этот призыв выглядел в то время нелепо. По всем улицам шлепали заскорузлыми босыми ногами беспризорники, а обуви, требующей столь идеальной чистки, в Москве вообще не было.

Москва была полна беспризорными. Их вылавливали, увозили в колонии, но они тотчас снова возникали на улицах и рынках, ходили стаями, играли в карты в глухих закоулках, спали в подъездах и в пустых асфальтовых котлах, воровали, выпрашивали папиросы и пели по трамваям блатные песни, отбивая такт деревянными ложками.

Вплотную с беспризорными я встретился в ночном пригородном поезде. Это случилось поздней осенью перед жестокими морозами 1924 года. Однажды мы с Зуенко вошли в плохо освещенный вагон. Ярко светили только фонари на платформе. Их свет проникал внутрь вагона сквозь забрызганные дождем окна. Дождь лил холодный, упорный, с ознобом. В углу вагона шевелилась груда серого тряпья.

— Нетопыри, — сказал Зуенко.

Это были беспризорные. Они лежали вповалку на полу, прижавшись друг к другу, прикрывая собой самого маленького мальчика лет восьми. Свет фонаря падал на него, и первое, что я заметил, — это его большие глаза без слез, а потом — дрожь, ужасную, неудержимую дрожь его высохшего маленького тела. Он дрожал так, что в ответ на его дрожь позванивало расшатанное стекло в окне вагона. Лежавшие по сторонам мальчишки натягивали на него полы своих рваных «клифтов».

«Клифтами», или «жакетами», называлась одежда беспризорных — кофты или пиджаки с чужого взрослого плеча, длинные, ниже колен, с болтающимися рукавами. От времени, пыли и грязи клифты приобрели одинаковый мышино-серый цвет и блестели, будто смазанные маслом.

В рваных, обвисших карманах этих клифтов хранилось все имущество беспризорников — «марафет», ножи, папиросы, корки хлеба, спички, засаленные карты и обрывки грязных бинтов. Под клифтами даже

не было истлевших рубах, а желтело озябшее, зеленоватое, грязное тело, расчесанное в кровавые полосы.

— Не трусь, Царевич,— проговорил осипшим голосом мальчик постарше.— Мы в Мытищах отогреемся.

Вошел кондуктор, посветил на беспризорников фонарем, выругался и прошел мимо.

Мы сели поодаль. В вагоне, кроме нас, почти не было пассажиров. А те немногие, что вошли, сидели тихо и будто ничего не замечали.

— А ну, пацаны! — вдруг сказал Зузенко.— Желающие покурить — вали сюда!

Встал и подошел только мальчик постарше. Остальные — их было трое — продолжали лежать.

Мальчик сел на скамью против нас, поджал босые ноги, жадно закурил, длинно сплюнул и сказал, поглядывая на слабо блестящий морской герб (так называемый «краб») на фуражке Зузенко:

— Ты моряк, красивый сам собою...

— Заткнись, пацан! — оборвал его Зузенко.

Но мальчик, глядя в сторону, вдруг запел во весь хриплый детский голос:

Позабыт, позаброшен
С молодых юных лет.
Я родился сиротою,
Счастья, доли мне нет!

— Ты это брось! — повторил Зузенко.— Не до шуточек. Дружок твой пропадает вконец.

— Это Шурка Царевич,— объяснил беспризорник.— А я зовусь Летчик.

— Есть предложение,— так же спокойно сказал Зузенко.— Нельзя его так оставлять.

— Ага! — равнодушно ответил Летчик и высморкался в длинный, как труба, черный рукав.— Второй день горит, аж светится.

— Так вот! Айда к нам в Пушкино. У нас дача. Одну комнату протопим, переживете несколько дней, а там видно будет. Дальше будете действовать по своему усмотрению. Нельзя такого пацанчика загубить.

— А вы нас не зацапаете?

— Балда! — сказал, всерьез обидевшись, Зузенко.— Я капитан дальнего плавания. Понял? А это писатель.

— Шамовку дадите? — спросил Летчик.— На всех на четверых?

— А ты, видно, и вправду дурак!

— Счас! — ответил Летчик и подсел к своим.

Они долго шептались, потом Летчик вернулся и небрежно сказал:

— Братва соглашается.

У меня на даче пустовало пять комнат. Рядом с моей была самая большая. Она обогревалась той же печкой, что и моя. Никого и ни о чем не надо было спрашивать — хозяин дачи жил в Москве, и я видел его всего один раз.

Когда мы привели на дачу беспризорных, печка была еще теплая от утренней топки.

В кладовой валялись старые полосатые тюфяки. Мы расстелили их на полу около печки. Беспризорники расселись на тюфяках, закурили и притихли. Я принес Шурке Царевичу подушку и медвежью шкуру. Мальчики молча смотрели на меня. Я уложил Шурку. Тогда Летчик сказал:

— Обовшивеет этот медведь.

Я промолчал. Мальчики тоже молчали, чем-то подавленные.

Зузенко принес со своей дачи австралийский усовершенствованный примус и вскипятил воду для чая в большом щербатом чайнике. Шепнув мне, что идет за доктором, Зузенко снова ушел. Беспризорники было забеспокоились, но я сказал им, что капитан ушел за шамовкой.

Шурка дышал с тоненьким свистом. Я потрогал его лоб — от него тянуло палящим жаром.

Через час Зузенко привел старенького доктора-армянина. Он никак не мог протереть озябшими руками старомодное пенсне в черепаховой оправе и все время сокрушенно повторял:

— Ой, скандал, скандал! Какой скандал!

Ко времени его прихода беспризорники напильсь чаю и уснули, сбившись гурьбой на один тюфяк. Никто из них не проснулся.

Доктор выслушал Шурку, сморщился и объявил, что у мальчика двухстороннее воспаление легких и его надо немедленно отправить в больницу.

На даче у Зузенко были хозяйские большие салазки. Капитан возил на них дрова и воду.

Пока Зузенко ходил за салазками, я налил доктору чаю. Он обхватил стакан обеими руками, чтобы согреть пальцы, и долго молчал. Пенсне вздрагивало у него на переносице, сползало и несколько раз чуть не упало на пол. Доктор снял его, поднес почти вплотную к старческим выпуклым глазам и спросил:

— Как это случилось?

— Что? С мальчиком?

— Нет! Как это случилось, что тысячи детей выкинуты, как котята, на улицу?

— Не знаю.

— Нет! — сказал он твердо. — Вы знаете. И я знаю. Но мы не хотим думать об этом.

Я промолчал. О чем говорить! Это безнадежно. Что толку переливать из пустого в порожнее!

— Вот скандал! — повторил доктор, криво усмехаясь. — Уход нужен. Только уход. А эти мальчики опоздали перекочевать на юг. Надо дать знать, чтобы их взяли в колонию. Иначе они пропадут.

Зузенко притащил салазки. Мы закутали Шурку чем могли, в том числе и медвежьей шкурой, уложили на салазки и осторожно повезли в больницу.

Я хотел разбудить Летчика, но он так же, как и все остальные мальчики, спал тяжелым сном и не проснулся, хотя во сне все время вертелся и яростно чесал грудь.

Мы ушли, но дачу не заперли, чтобы не напугать мальчиков, когда они проснутся.

Возвратились мы на рассвете. Дождь стих. Из леса тянуло острым водянистым холодом.

На даче было пусто. Беспризорники исчезли. На переплете книги «Голый год» Бориса Пильняка, лежавшей на столе, было криво и крупно написано: «Шурка Балашов, отец умерши, мати потерялась».

— Ну что ж! — вздохнул Зузенко. — Улетели чижи. От своих филантропов. Я всегда считал, что свобода сильнее страха смерти. Пацаны это тоже понимают.

Шурка Балашов умер через четыре дня.

Долго после его смерти я не мог избавиться от чувства вины перед ним. Зузенко говорил, что никакой вины нет, что я — гнилой интеллигент и неврастеник, но под кожей на скулах у капитана ходили твердые желваки и он без конца курил.

Мальчика похоронили в мелкой могиле на краю кладбища. Все время шли дожди, сбивали гнилые листья и засыпали ими низкий могильный горб. Сейчас я, конечно, его уже не найду, но приблизительно знаю, где похоронено маленькое беспомощное существо, совершенно одинокое в своем страдании.

Жизнь в Пушкине была неприятной. Весь день до позднего вечера я проводил в редакции «На вахте». К полночи я добирался до вокзала, уезжал в Пушкино, там сразу же окунался в глушь, мрак и безлюдье, быстро засыпал, а утром, еще в полной темноте, приходилось вставать, топить печку и торопиться на поезд в Москву.

Чередование одних и тех же дел надоедало, утомляло, я подголодавал, и, может быть, от этого у меня несколько раз — всегда по ночам — бывали обмороки.

Один раз я упал на каменные плиты на Северном вокзале и очнулся в вокзальном приемном покое с разбитой в кровь головой. Больше всего меня потрясло то обстоятельство, что сонная медицинская сестра, приволившая меня в чувство, подозревала, что я пьян.

Я обиделся и ушел, шатаюсь, из приемного покоя. Я опоздал на последний поезд, не встретился с Зузенко и просидел всю ночь в пустом вагоне на путях вблизи вокзала. Голова у меня трещала, мутилась, и я жалел, что рядом нет беспризорных. Все-таки с ними было бы легче. Из-за своей слабости я чувствовал себя таким же беспризорным, как и они.

Стужа

Над кострами клубился черный смолистый дым, подкрашенный багровым огнем.

Дым костров и январской стужи низко висел над Москвой. Сквозь этот дым со скрежетом ползли, позванивая, трамваи. Вагоны заросли изнутри клочьями изморози и походили на ледяные пещеры.

Костры складывали на площадях из цельных бревен и старых телеграфных столбов. Около огня грелись милиционеры в серых каракулевых шапках с красным верхом — «снегири». Так звали милиционеров в то время. Милиционеры держали на поводу заиндевелых нетерпеливых коней.

Со стороны Красной площади доносились сильные взрывы. Там разбивали окаменелую землю, готовили могилу для Ленина.

Кострами и дымами Москва была окрашена в черно-красный траур. Черно-красные повязки были надеты на рукава у людей, следивших за бесконечной медленной толпой, продвигавшейся к Колонному залу, где лежал Ленин.

Очереди начинались очень далеко в разных концах Москвы. Я стал в такую очередь в два часа ночи у Курского вокзала.

Уже на Лубянской площади слышались со стороны Колонного зала отдаленные звуки похоронного марша. С каждым шагом они усиливались, разговоры в толпе стихали, пар от дыхания слетал с губ все судорожнее и короче.

Прощайте же, братья, вы честно прошли
Ваш доблестный путь благородный...

Кто-то запел вполголоса эти слова, но тотчас замолк.
Любой звук казался ненужным среди этой полярной ночи. Только скрип и шорох многих тысяч ног по снегу был закономерен, непрерывен,

величав. В непроглядной темноте к гробу шли люди с окраин, из подмосковных поселков, с полей, с остановившихся заводов. Шли отовсюду.

Молчание застыло над городом. Даже на далеких железнодорожных путях не кричали, как всегда, паровозы.

Страна шла к высокому гробу, где среди цветов и алых знамен не сразу можно было рассмотреть изможденное лицо человека с большим бледным лбом и закрытыми, как бы прищуренными глазами.

Шли все. Потому что не было в стране ни одного человека, на жизни которого не отразилось бы существование Ленина, ни одного, кто бы не испытал на себе его волю. Он сдвинул жизнь. Сдвиг этот был подобен исполнинскому геологическому сбросу, встряхнувшему Россию до самых недр.

В промерзшем насквозь Колонном зале стоял пар от дыхания тысяч людей.

Время от времени плавное звучание оркестра разбивали пронзительные, плачущие крики фанфар. Но они быстро стихали, и снова мерно звучал оркестр, придавая печали торжественность, но не смягчая эту печаль.

Со мной в толпе шел Зузенко.

Долго шли молча. Потом Зузенко поежился и сердито сказал:

— Ну и холоду! Как в полярной трескоедне! (Так он насмешливо называл все полярные страны.) Веки смерзаются. Грандиозный мороз!

Он помолчал и сказал снова:

— Все сейчас грандиозно. Вот Ленин... Грандиозный разрушитель всяческой скверны и грандиозный создатель... Дышите через шарф, а то отморозите бронхи... Жаль, не удалось мне с ним поговорить. О всемирном союзе моряков. Грандиозный был бы у нас разговор!

Мы медленно прошли мимо гроба и еще медленнее вышли из Колонного зала. Все люди оглядывались и замедляли шаги, стремясь в последнем взгляде удержать все увиденное — лицо Ленина, его выпуклый лоб, сжатые губы и небольшие руки.

Он был мертв, этот человек, стремительно перекроивший мир. Каждый из нас думал о том, что теперь будет с нами.

— Наши дети, — сказал Зузенко, когда мы вышли из Колонного зала, — будут завидовать нам, если не вырастут круглыми идиотами. Мы влезли в самую середину истории. Понимаете?

Я это прекрасно понимал, как и все, кто жил в то тревожное и молниеносное время. Ни одно поколение не испытывало того, что испытали мы. Ни такого подъема, ни таких надежд, ни таких разочарований и побед. Зеленых от голода и почернелых от боев победителей вела только непреклонная вера в торжество грядущего дня.

Мне было в то время тридцать лет, но прожитая жизнь уже тогда казалась мне такой огромной, что при воспоминании о ней делалось страшно: Даже холодок подкатывал под сердце.

«Действительно ли ты сын своего времени?» — думал я. Всем существом я понимал, что я неотделим от времени, от судьбы страны, от радостей, какие испытывал мой народ, и от страданий, которые выпали на его долю с такой незаслуженной щедростью.

Мы шли с Зузенко на Северный вокзал по улицам, охваченным стужей. Она яростно подвывала под ногами.

«Век шествует путем своим железным», — говорил я про себя. Эти слова преследовали меня весь тот день.

— Что вы бормочете? — спросил Зузенко.

— Да так... Ничего...

Железный век! И вдруг в памяти зазвенели, поднявшись из ее глубины, далекие слова:

Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи, кто золотой угадал?

«Век шествует путем своим железным». Но его путь, конечно, ведет к золотому веку, к миру, к разуму. К золотому веку! Надо верить в это. Иначе нельзя жить.

Потом мы долго ехали с Зузенко в Пушкино. Пустой дачный поезд грохотал и качался в пару. Колеса вагонов звучно били по стыкам рельс. Им вторило ночное эхо. Казалось, что оно тоже замерзает от стужи и потому звенит, как тонкий лед, разбитый камнем.

В Пушкине все дымилось от мороза.

— Сорок градусов, если не больше, — сказал Зузенко. — Зайдемте ко мне. Погреемся.

Я любил заходить к Зузенко. Маленькая его дача была засыпана снегом по самые окна.

Зузенко зажег свечу. На бревенчатых стенах висели, приколотые кнопками, заграничные пароходные плакаты. Они были очень старые, рваные, но заманчивые. Особенно один, где был изображен полосатый — белый с красным — маяк на песчаном берегу, маслянистое море и цветущий куст олеандра. Не верилось, что на свете бывают такие смелые сочетания алых цветов и лилового моря.

У Зузенко всегда было холодно. Окна заросли льдом — снег в ту зиму валил почти непрерывно. Плакаты, казалось, съеживались от такой зимы и быстро тускнели.

Я любил рассматривать их, хорошо понимая, что никогда не попаду ни в одно из великолепных мест, изображенных на этих плакатах.

Кроме плакатов, у Зузенко была библия, лоция Атлантического океана, несколько книг по марксизму и растрепанный том энциклопедии Брокгауза и Ефрона на букву «н».

Зузенко, оказывается, изучал библию, чтобы вести в Австралии, где он прожил несколько лет, бурные диспуты со священниками христианских церквей. Это было его любимое занятие, если не считать морского дела и постоянных схваток со всякими соглашателями, бюрократами, нэпачами, хлюпиками и размагниченными интеллигентами.

Зузенко разжег свой австралийский примус. Он ревел, как перегретый паровой котел, и был готов каждую секунду взорваться. Стало теплей.

Мы молча выпили чай с черными сухарями, потом Зузенко спросил:

— Поедете завтра на похороны Ленина?

— Конечно.

— В чем? Мороз крепчает. Ваше осеннее пальтишко — чистое рядно, чтобы не сказать дерьмо. Да вас уже и сейчас трясет. Жаль, нет термометра.

— У меня есть.

— Померяйте. А завтра утром я зайду. Пораньше.

Я ушел. Ко мне от дома Зузенко вела протоптанная в снегу тропинка. Густые ели опустили на нее мохнатые лапы, отягченные снегом. Я задевал их, и снег несколько раз слетал мне за шиворот. Каждый раз я вздрагивал, как от удара ножом.

Я часто оступался в глубокий снег. Лес вокруг трещал и скрипел.

В моей комнате было тоже холодно, как в запертом леднике. Часто присаживаясь на табурет, чтобы отдышаться и избавиться от головокру-

жения, я затопил печку и тотчас лег, не раздеваясь, укрывшись знакомой медвежьей шкурой. Под ней умирал маленький мальчик Шурка Балашов, и она из больницы вернулась ко мне. Занавески на окнах примерзли к стеклам, и где-то в пазах между бревен пищали мыши.

Даже под медвежьей шкурой я слышал тошнотворный запах мышинного помета. И все думал, ежеминутно теряя нить своей мысли (она рвалась, как гнилая пряжа), о своей неустроенности, о том, что нужно сделать в жизни, а не только в комнате, генеральную уборку, все вымыть и выветрить. Но этого почему-то никак нельзя сделать зимой. Как будто беспорядок моего существования примерз ко мне и его не отодрать — не хватит сил.

Я понимал, что заболеваю, и сказал громко — на всю комнату, на всю пустую промерзшую дачу:

— Человек не может быть один. Если он один, то только по собственной вине. Только поэтому.

Голова у меня мутилась. Я подумал, что сейчас, в такие дни просто нельзя уступать смутным и печальным мыслям, нельзя позволять тоске распоряжаться собой.

Мир потрясен. Москва пылает в похоронных кострах. Люди ждут избавления от тысячелетних и бессильных страданий. Ушел человек, который знал, что делать.

Он знал. Завтра его опустят в прокаленную холодом землю. Первая же ночь засыплет могилу снегом и будет равнодушно продолжать свой предназначенный путь.

Я потянулся к часам. Печка перегорела. При свете углей я увидел, что уже шесть часов.

В стенах сильнее забегали и запищали мыши. Мне было жарко, душно, хотя холод сжимал мне лоб ледяной рукой. От этого болела голова.

Очнулся я утром, если можно назвать утром серый сумрак, наморок, заползавший в комнату из окна и тут же падавший в темноту на пол. Снег уже не шел.

Надо было собираться и ехать в Москву.

Пока я умывался оттаявшей водой, сумрак начал наполняться синью. Вскоре оранжевые пятна солнца упали на черные стены и на фотографию Блока.

Зузенко постучал ко мне в окно и крикнул, приложив ладони к стеклу, что мороз осатанел и от него болят легкие.

— Вам ехать в Москву невысказанно, — прокричал он. — Оставайтесь! Не смейте вставать и открывать мне дверь. Я скоро вернусь и все расскажу.

У меня не было ни сил, ни голоса спорить. Он ушел. Я все же натянул пальто, замотал шею старым шарфом, натянул на уши кепку и вышел.

Я добрал до железнодорожного переезда как раз в то время, когда прошел на Москву последний утренний поезд. Я опоздал.

Тогда я пошел вдоль полотна в сторону Москвы.

Но я не прошел и двух километров. Кружилась голова. Мне хотелось сесть на откос в снег и посидеть немного. Но я знал, что в такой мороз этого делать нельзя. Поэтому я все шел и шел, спотыкаясь, понимая, что идти бессмысленно и надо возвращаться.

По своей нелепой привычке я все время загадывал — вот дойду до того телеграфного столба и поверну.

Телеграфный столб задержал меня ненадолго. Я прислонился к нему, оглянулся и увидел, как Пушкино тяжело дымило всеми своими печными трубами, всем своим березовым дымом. Дым был алым от морозного солнца.

Впереди так же яростно, как и Пушкино, заваливая дымом всю землю, курилась Клязьма.

Лес потрескивал от мороза, как тлеющие дрова, и часто сбрасывал с вершин плоские блестящие снежки, похожие на рыбы чешуйки. Каждая ель, отягощенная снегом, стояла, как страж этой тихой зимней пустыни.

Я стоял, ждал. Я убеждал себя, что в этой ломкой тишине обязательно услышу, когда гроб будут опускать в могилу, хотя бы и очень отдаленный, но слитный гул всех заводских гудков Москвы. Может быть, даже услышу громыхающий вздох оружейных залпов.

Но было очень тихо. Только все сильнее потрескивал лес.

Со стороны Пушкина, выбрасывая столбы дыма, шел поезд. Был слышен его нарастающий гром.

Шел сибирский экспресс. Он всегда проходил в это время мимо Пушкина, не останавливаясь, не тормозя, уволасывая за стрелки тяжелые пульмановские вагоны. Все казалось, что вагоны хотят отстать, остановиться, но паровоз безжалостно мчал их вперед и не давал отдышаться.

Поезд приближался. Внезапно он вздрогнул. Залязгали и заскрежетали тормоза. Грохот колес оборвался, и поезд сразу остановился среди леса. Паровоз дышал, как запаленная лошадь.

Он остановился там, где его застало время похорон.

Тотчас пар вырвался струей из недр паровоза, и паровоз закричал. Он кричал непрерывно, не меняя тона. В его крике слышалось отчаяние, гнев, призыв.

Этот могучий гудок летел окрест — в леса, в стужу, в поля, где одним глубоким пластом расстилались снега.

Прошла минута, две. Паровоз кричал все так же томительно, так же тоскливо и непрерывно, возвещая, что сейчас на Красной площади в Москве предадут погребению тело Ленина.

Поезд промчался через тысячи километров великой русской земли, но опоздал. Всего на сорок минут.

Мне казалось, что я слышу не только гудок сибирского экспресса, но вопль всей Москвы. В эту минуту остановилась жизнь. Даже морские пароходы легли в дрейф и оглашали зимние свинцовые воды морей плачем сирен.

Гудок сразу стих, и поезд медленно тронулся в задымленную даль, к близкой Москве.

Все было кончено. Я побрел домой.

На дачах мертво висели траурные флаги.

На обратном пути я не встретил ни одного человека. Мне казалось, что вымер весь мир и жизнь иссякла, как последний неприятный свет этого январского дня с его никому не нужной мучительной стужей и горьким запахом дыма.

Вечером вернулся Зузенко и застал меня в жару и бреде. Я проболел больше месяца.

Снежные шапки

Как-то ближе к весне, тихим и снежным днем ко мне в Пушкино приехал Булгаков. Он писал в то время роман «Белая гвардия», и ему для одной из глав этого романа нужно было обязательно посмотреть «снежные шапки» — те маленькие сугробы снега, что за долгую зиму накапливаются на крышах, заборах и толстых ветвях деревьев.

Весь день Булгаков бродил по пустынному в тот год Пушкину, долго стоял, смотрел, запахивая старую, облезлую доху, — высокий, худой, печальный, с внимательными серыми глазами.

— Хорошо! — говорил он. — Вот это мне и нужно. В этих шапках как будто собрана вся зимняя тишина.

— Декадент! — сказал о Булгакове Зузенко. — Но, видно, чертовски талантливый тип. Добросовестно себя тренирует.

Что он этим хотел сказать? Я не понял. Тогда Зузенко столь же неясно и неохотно объяснил:

— Натаскивает себя на впечатления. Мастак!

Пожалуй, в этом он был прав. Булгаков был жаден до всего, если можно так выразиться, выпуклого в окружающей жизни.

Все, что выдавалось над ее плоскостью, будь то человек или одно какое-нибудь его свойство, удивительный поступок, непривычная мысль, внезапно замеченная мелочь (вроде согнутых от сквозняка под прямым углом язычков свечей на театральной рампе) — все это он схватывал без всякого усилия и применял и в прозе, и в пьесах, и в обыкновенном разговоре.

Может быть, поэтому никто не давал таких едких и «припечатывающих» прозвищ, как Булгаков. Особенно отличался он этим в Первой киевской гимназии, где мы вместе учились.

— Ядовитый имеете глаз и вредный язык, — с сокрушением говорил Булгакову инспектор Бодянский. — Прямо рветесь на скандал, хотя и вырости в почтенном профессорском семействе. Это ж надо придумать! Ученик вверенной нашему директору гимназии обозвал этого самого директора «Маслобоем!» Неприличие какое! И срам!

Глаза при этом у Бодянского смеялись.

Семья Булгаковых была хорошо известна в Киеве — огромная, разветвленная, насквозь интеллигентная семья.

Было в этой семье что-то чеховское от «Трех сестер» и что-то театральное.

Булгаковы жили на спуске к Подолу против Андреевской церкви — в очень живописном киевском закулке.

За окнами их квартиры постоянно слышались звуки рояля и даже пронзительной валторны, голоса молодежи, беготня и смех, споры и пение.

Такие семьи с большими культурными и трудовыми традициями были украшением провинциальной жизни, своего рода очагами передовой мысли.

Не знаю, почему до сих пор не нашлось исследователя (может быть, потому, что это слишком трудно), который проследил бы жизнь таких семей и раскрыл бы их значение хотя бы для одного какого-нибудь города — Саратова, Киева или Вологды. То была бы не только ценная, но и увлекательная книга по истории русской культуры.

После гимназии я потерял Булгакова из виду, и мы снова встретились только теперь в редакции «Гудка».

В ту зиму Булгаков писал свои острые рассказы, где насмешка и гротеск достигали разящей силы.

Я помню то ошеломление, какое вызвали такие статьи и рассказы Булгакова, как «Записки на манжетах», «Роковые яйца», «Дьяволиада» и «Похождения Чичикова (Поэма в двух пунктах с прологом и эпилогом)».

Художественный театр предложил Булгакову на основе его романа «Белая гвардия» написать пьесу. Булгаков согласился. Так появились «Дни Турбиных».

Многострадальная и блестящая пьеса пережила много перипетий, запретов, но победила всех талантливостью и драматургической силой.

В ходе этой постановки возникло много гротескных, почти невероятных подробностей. Гофманиада сопутствовала Булгакову всю его жизнь.

Недаром любимым писателем Булгакова был Гоголь. Не тот истолкованный по-казенному Гоголь, которого мы принесли в жизнь с гимназической скамьи, а неистовый фантаст, безмерно пугающий людей то своим восторгом, то сардоническим хохотом, то фантастическим воображением, от которого стынет кровь.

Гоголь всегда как бы стоит позади читателей и своих героев и пристально смотрит им в спину. И все оглядываются, боясь его всепроникающего взгляда, а оглянувшись, вдруг с облегчением замечают на глазах Гоголя слезы восхищения чем-то столь прекрасным, как сверкающее италийское небо над Римом или бешеный раскат русской тройки по ковыльным степям.

У Булгакова была странная и тяжелая судьба.

МХАТ играл только его старые пьесы. После семи представлений новая пьеса «Мольер» была запрещена. Прозу его перестали печатать.

Он очень страдал от этого, мучился и наконец не выдержал и написал письмо Сталину, полное высокого достоинства русского писателя. В этом письме он настаивал на единственном и священном праве писателя — праве печататься и тем самым общаться со своим народом и служить ему всеми силами своего существа. Ответа он не получил.

Булгаков тосковал. Он не мог остановить своих писательских мыслей. Не мог выбросить на свалку свое воображение. Худшей казни нет и не может быть для пишущего человека.

Лишенный возможности печататься, он выдумывал для своих близких людей удивительные рассказы — и грустные и шуточные. Он рассказывал их дома, за чайным столом.

К сожалению, только небольшая часть этих рассказов сохранилась в памяти. Большинство их забылось или, выражаясь старомодно, «кануло в Лету».

В детстве я очень ясно представлял себе эту Лету — медленную подземную реку с черной водой, в которой очень долго, но безвозвратно тонули, как будто угасали, любые предметы, люди и даже человеческие голоса.

Я помню один такой рассказ.

Булгаков якобы пишет каждый день Сталину длинные и загадочные письма и подписывается: «Тарзан».

Сталин каждый раз удивляется и даже несколько пугается. Он любопытен, как и все люди, и требует, чтобы Берия немедленно нашел и доставил к нему автора этих писем. Сталин сердится: «Развели в органах тунеядцев, а одного человека словить не можете!»

Наконец Булгаков пойман и доставлен в Кремль. Сталин пристально, даже с некоторым доброжелательством его рассматривает, раскуривает трубку и спрашивает, не торопясь:

— Это вы мне эти письма пишете?

— Да, я, Иосиф Виссарионович.

Молчание.

— А что такое, Иосиф Виссарионович? — спрашивает обеспокоенный Булгаков.

— Да ничего. Интересно пишете.

Молчание.

— Так, значит, это вы — Булгаков?

— Да, это я, Иосиф Виссарионович.

— Почему брюки заштопанные, туфли рваные? Ай, нехорошо! Совсем нехорошо!

— Да так... Заработки вроде скудные, Иосиф Виссарионович.

Сталин поворачивается к наркому снабжения:

— Чего ты сидишь, смотришь? Не можешь одеть человека? Воровать у тебя могут, а одеть одного писателя не могут! Ты чего побледнел? Испугался? Немедленно одеть. В габардин! А ты чего сидишь? Усы себе крутишь? Ишь, какие надел сапоги! Снимай сейчас же сапоги, отдай человеку. Все тебе сказать надо, сам ничего не соображаешь!

И вот Булгаков одет, обут, сыт, начинает ходить в Кремль, и у него завязывается со Сталиным неожиданная дружба. Сталин иногда грустит и в такие минуты жалуется Булгакову:

— Понимаешь, Миша, все кричат: гениальный, гениальный! А не с кем даже коньяку выпить!

Так постепенно черта за чертой, крупца за крупницей идет у Булгакова лепка образа Сталина. И такова добрая сила булгаковского таланта, что образ этот человечен, даже в какой-то мере симпатичен. Невольно забываешь, что Булгаков рассказывает о том, кто принес ему столько горя.

Однажды Булгаков приходит к Сталину усталый, унылый.

— Садись, Миша. Чего ты грустный? В чем дело?

— Да вот пьесу написал.

— Так радоваться надо, когда целую пьесу написал. Зачем грустный?

— Театры не ставят, Иосиф Виссарионович.

— А где бы ты хотел поставить?

— Да, конечно, в МХАТе, Иосиф Виссарионович.

— Театры допускают безобразие! Не волнуйся, Миша. Садись.

Сталин берет телефонную трубку:

— Барышня! А барышня! Дайте мне МХАТ! МХАТ мне дайте! Это кто? Директор? Слушайте, это Сталин говорит. Алло! Слушайте!

Сталин начинает сердиться и сильно дуть в трубку.

— Дураки там сидят в Наркомате связи. Всегда у них телефон барышня барышня, дайте мне еще раз МХАТ. Еще раз, русским языком вам говорю! Это кто? МХАТ? Слушайте, только не бросайте трубку! Это Сталин говорит. Не бросайте! Где директор? Как? Умер? Только что? Скажи, пожалуйста, какой нервный народ пошел! Пошутить нельзя!

Проводы учебного корабля

Норвежский парусный барк с железным корпусом — прекрасный океанский корабль — сел на камни во время первой мировой войны в горле Белого моря.

Русское правительство купило этот корабль у Норвегии. После революции ему дали название «Товарищ», превратили в учебный корабль торгового флота и летом 1924 года отправили из Ленинграда в кругосветное плавание.

В редакции «На вахте» началось волнение: кого послать в Ленинград корреспондентом на проводы «Товарища»?

Это был первый советский парусный корабль, уходивший в заманчивое кругосветное плавание. Я, конечно, никак не надеялся попасть на проводы «Товарища». Я понимал, что право на это имеют прежде всего наши сотрудники-моряки Новиков-Прибой и Зузенко.

Женька Иванов устроил по этому поводу совещание. На нем неожиданно появился Александр Грин.

Я увидел его тогда в первый и последний раз. Я смотрел на него так, будто у нас в редакции, в пыльной и беспорядочной Москве, появился капитан «Летучего Голландца» или сам Стивенсон.

Грин был высок, угрюм и молчалив. Изредка он чуть заметно и вежливо усмехался, но только одними глазами — темными, усталыми и внимательными. Он был в глухом черном костюме, блестящем от старости, и в черной шляпе. В то время никто шляп не носил.

Грин сел за стол и положил на него руки — жилистые, сильные руки матроса и бродяги. Крупные вены вздулись у него на руках. Он посмотрел на них, покачал головой и сжал кулаки — вены сразу опали.

— Ну вот, — сказал он глуховатым и ровным голосом, — я напишу вам рассказ, если вы дадите мне, конечно, немного денег. Аванс. Понимаете? Положение у меня безусловно трагическое. Мне надо сейчас же уехать к себе в Феодосию.

— Не хотите ли вы, Александр Степанович, съездить от нас в Ленинград на проводы «Товарища»? — спросил его Женька Иванов.

— Нет! — твердо ответил Грин. — Я болею. Мне нужно совсем немного, самую малую толику. На хлеб, на табак, на дорогу. В первой же феодосийской кофейне я отойду. От одного запаха кофе и стука бильярдных шаров. От одного парового дыма. А здесь я пропаду.

Женька Иванов тотчас же распорядился выписать Грину аванс.

Все почему-то молчали. Молчал и Грин. Молчал и я, хотя мне страшно хотелось сказать ему, как он украсил мою юность крылатым полетом своего воображения, какие волшебные страны цвели, никогда не отцветая, в его рассказах, какие океаны блистали и шумели на тысячи и тысячи миль, баюкая бесстрашные и молодые сердца.

И какие тесные, шумные, певучие и пахучие портовые города, залитые успокоительным солнцем, превращались в нагромождение удивительных сказок и уходили вдаль, как сон, как звук затихающих женских шагов, как опьяняющее дыхание открытых только им, Грином, благословенных и цветущих стран.

Мысли у меня металась и путались в голове, я молчал, а время шло. Я знал, что вот-вот Грин встанет и уйдет навсегда.

— Чем вы сейчас заняты, Александр Степанович? — спросил Грина Новиков-Прибой.

— Стреляю из лука перепелов в степи под Феодосией, за Сарыголом, — усмехнувшись, ответил Грин. — Для пропитания.

Нельзя было понять — шутит ли он или говорит серьезно.

Он встал, попрощался и вышел, прямой и строгий. Он ушел навсегда, и я больше никогда не видел его в жизни. Я только думал и писал о нем, сознавая, что это — слишком малая дань моей благодарности этому человеку за тот щедрый подарок, который он бескорыстно оставил всем мечтателям и поэтам.

— Большой человек! — сказал Новиков-Прибой. — Заколдованный. Уступил бы мне хоть несколько слов, как бы я радовался! Я-то пишу, честное слово, как полотер. А у него вдохнешь одну строку — и задохнешься. Так хорошо.

Новиков-Прибой разволновался и тоже отказался ехать на проводы «Товарища».

— Только сердце себе буравить, — сказал он сердито.

Пришла очередь Зузенко. Он подмигнул мне и сказал, что согласился бы идти на «Товарище» капитаном. Приезжать же ему, старому морскому волку, на корабль в качестве «шелкопера» неуместно. Обойдутся и без него.

Тогда Женька Иванов предложил ехать мне. И сам тоже вызвался ехать.

Мы выехали на следующий день.

Я первый раз в жизни ехал на север. Уже в поезде за Тверью я почувствовал величавость его лесов, тусклого неба и равнин, озаренных бледным солнечным светом.

В детстве я читал у Пушкина, что «город Петра» возник во тьме лесов, среди чухонских болот. Потом это представление забылось. Его вытеснила сложная история города, его торжественная архитектура, постоянное присутствие здесь сотен замечательных людей.

Еще не зная Петербурга, я видел его их глазами.

Поколение писателей, поэтов, художников, ученых, полководцев, моряков и революционеров, прекрасных девушек и блестящих женщин сообщали полуночной столице облик героический и почти нереальный. По милости писателей и поэтов Петербург был населен призраками. Но для меня они были так же реальны, как и окружающие люди.

В глубине души я верил, что Евгений Онегин, Настасья Филипповна, Незнакомка и Анна Каренина жили здесь на самом деле и этим обогатили мое познание Петербурга. Нельзя себе представить Петербург без этого сонма сложных и привлекательных лиц.

Я был уверен, что в Петербурге жизнь реальная и жизнь, рожденная воображением, сливаются неразрывно.

Я чувствовал на расстоянии его притягательную силу. Как будто в светлом воздухе и блеске ночей именно со мной должны были совершиться всякие события, похожие на те, что действительно происходили в этом городе и навеки запомнились людям.

Поэтому, подъезжая к Ленинграду, я волновался так сильно, что просто оглох, не слышал вопросов, обращенных ко мне, и вообще был похож на одержимого.

Город появился как видение, созданное из мглистого воздуха. Дымка лежала в даях его проспектов. Сквозь нее бледно светила легендарная игла Адмиралтейства. Над Невой покачивался слюдяной солнечный блеск и пролетали легкие ветры со взморья.

Линии величественных зданий (я сразу понял, что таких архитектурных чудес нет больше нигде на свете) были чуть размыты северным воздухом и приобрели от этого особую выразительность.

На Невском проспекте между влажных торцов пробивалась свежая трава. Ленинград был в тот год совершенно бездымен, чист. Почти все его заводы бездействовали.

Мы ехали с Ивановым с вокзала на Васильевский остров на стареньком форде. Я боялся, что Иванов начнет болтать и мне придется прислушиваться к его словам и отвечать на них. Но Иванов оказался молодецом! Он молчал и только, прищурившись, смотрел вокруг.

Сотни раз до этого я читал и слышал слова: «На берегах Невы». Но я, конечно, не понимал, что это значит, пока с взлетающего длинного моста не грянул в глаза величавый разворот дворцов и не сверкнула си́нева обветренной Невы.

Над царственным простором горело солнце и цепенела тишина. Даже не тишина, а нечто большее — великая немота этого великолепия.

Очень легко дышалось. Может быть, потому, что воздух непрерывно соприкасался со смолой сосновых торцов и запахом лип. Здесь они казались такими темными, как нигде в мире. Особенно липы в Летнем саду.

Мы вышли из машины около Морского корпуса. По кривым, осевшим от времени огромным плитам мы поднялись в здание корпуса, в холодный парадный зал. Там шло собрание моряков в связи с отплытием «Товарища»:

Иванов шепнул мне, что этот зал — единственный в мире потому, что он подвешен к стенам на огромных корабельных цепях. Я ему не пове-

рил. Я не видел никаких цепей, но все же пытался уловить едва заметное качание паркетного пола. Если зал действительно подвешен, то он должен был бы качаться.

Но зал стоял твердо, не шелохнувшись.

Женя познакомил меня с рыжим веселым стариком — знаменитым парусным капитаном и морским писателем Лухмановым. Он подтвердил, что зал Морского корпуса действительно висит на цепях, и беспечно сказал, что в этом нет ничего удивительного.

Для меня же все вокруг было удивительным — и зал, и морские эмблемы на его стенах, и большие, блестящие сухим лаком модели кораблей, стоявшие на подставках вдоль стен.

Я сидел невдалеке от модели старого линейного корабля, очень пристально всматривался в него (модель стояла на уровне окна), и, должно быть, поэтому у меня в глазах вдруг что-то сместилось и дрогнуло. И вот уже этот линейный корабль уплыл за окно и оказался стоящим на якоре посреди Невы. Флаги его трепетали от ветра. Корабль кланялся жерлами старинных пушек — каронад, глядевших из люков.

Прикрыв его на минуту дымом, прошел буксирный катер. Корабль закачался на волнах от катера, чертя бушпритом зигзаги по небу то выше, то ниже Исаакиевского собора, видневшегося на другом берегу. Этот оптический обман радовал меня, как неожиданное возвращение детских моих ощущений.

Жестокое сожаление, даже досада охватили меня. Я был совершенно уверен, что не имею права видеть все это великолепное зрелище только один.

И потом всю жизнь я испытывал это непоправимое сожаление, когда бывал один вдалеке от любимых людей — среди опаленных островов эгейского архипелага, у берегов Сардинии, в темном и искристом Тирренском море, в феерическом блистании ночных парижских бульваров, во вписанном в туман и блеклую листву платанов Эрменонвиле, где умер Жан Жак Руссо, на «плянтах» Кракова и в рыбацких городках Болгарии, пропахших инжиром и «ясным» вином.

Иванов окликнул меня. Надо было идти на «Товарища». Он стоял, расцвеченный флагами, у гранитной набережной.

На его палубе на длинных столах был сервирован обед. Столы были засыпаны полевыми цветами и обыкновенной травой.

Перед обедом Лухманов позвал Женю Иванова и меня в низкую темноватую каюту с дубовыми стенами, достал из шкафчика зеленую пузатую бутылку и налил всем какой-то адской жидкости. Она сожгла мне горло. Я сразу же пропитался до самых костей вяжущей горечью.

Поэтому, когда я вышел из каюты, Нева качнулась и чуть не сбила меня с ног. Шпиль Петропавловской крепости провел по небу размашистую дугу, а проходивший мимо катер показался мне дельфином. Он пенился, нырял носом, трубил в рог, от его борта водопадами летели радуги.

Я был пьян от одного стаканчика этой жидкости.

— Однако вы здорово надрались, — сказал мне Женя Иванов. — Как в Одессе на даче капитана Косоходова. Помните?

Я помнил, конечно, но сейчас я не хотел вспоминать об Одессе. Довольно с меня Ленинграда. У меня от него началось сердцебиение.

Иванов обиделся за Одессу, но, по-моему, совершенно напрасно. Одесса — Одессой! Пусть живет, грохочет дрогами биндюжников, засоряет портовую воду арбузными корками, острит и хохочет, чадит жареными кабачками. Каждому свое!

Сейчас в меня вошел новый магический мир. Мне надо было привыкнуть к нему и вернуть потерянное спокойствие.

Бесплатный табак

Есть целые полосы жизни, о каких не хочется вспоминать. И не потому, что с ними связаны какие-нибудь наши ошибки, несчастья или неудачи. В неудачах, как говорил мой отец, тоже бывают хорошие стороны.

Нет, не из-за этих причин мне не хочется иной раз возвращаться памятью к прошлому. Вспоминать о некоторых годах нет охоты потому, что они ничего не прибавили к тому представлению о настоящей жизни, какое существует у каждого из нас. Наоборот, они даже урезали это представление.

Таким плохим было время, когда я ушел летом 1924 года из газеты «На вахте» и перешел на работу в телеграфное агентство РОСТА. Туда меня затащил Фраерман, переехавший в Москву из Тифлиса.

Поначалу я зарабатывал в РОСТА очень мало. Я все еще жил в Пушкине и никак не мог устроить свою жизнь более сносно. Каждый месяц у меня дней за десять до получки кончались деньги. На еду еще кое-как хватало, но на папиросы не оставалось ничего.

«Стрелять» папиросы у друзей и знакомых было неловко и в конце концов невозможно. У этого занятия тоже был свой предел.

Тогда я совершенно неожиданно открыл простой и бесплатный способ добычи табака.

Я выходил в Пушкине к полотну Северной железной дороги и шел вдоль путей, подбирая все окурки и так называемые «бычки», выброшенные пассажирами из окон вагонов. На пути от Пушкина до Клязьмы за какие-нибудь три километра я обычно набирал до двух сотен окурков.

Постепенно у меня накопились ценные наблюдения и над окурками и над курильщиками.

Некоторых курильщиков я презирал, а к другим, правда немногим, чувствовал симпатию и благодарность.

Невзлюбил я тех, кто докуривал папиросы до картонного мундштука. Очевидно, это были люди расчетливые и скупые.

С одобрением я относился к курильщикам нервным и капризным. Они никогда не докуривали папирос до конца, а сплошь и рядом выбрасывали их после одной-двух затяжек.

Сначала я собирал окурки один и скрывал это от Зузенко. Но вскоре пронизательный капитан догадался, откуда у меня появились запасы разносортного табака, пришел в восхищение от моего открытия, и мы начали собирать окурки вместе.

Это было и веселее и добычливее.

Добычливее потому, что у Зузенко было острое капитанское зрение. А веселее потому, что окурки давали нам пищу для совместных выдумок, остроумия и насмешек, а в редких случаях — и для торжества.

Так мы торжествовали, когда нашли на путях резиновый кисет, набитый легким табаком, и толстую сигару — совершенно черную и едкую, будто ее вымочили в седитре. Ее, должно быть, уронил какой-нибудь иностранец — пассажир сибирского экспресса («капиталистическая раззява», как говорил Зузенко).

Изредка мы находили окурки со следами губной помады. На оттиске от женских губ всегда оставалась легкая сетка морщинок.

Зузенко утверждал, что рисунок губных морщин у всех женщин был совершенно разный, подобно тому как разнятся у людей линии на большом пальце руки. Такие окурки вызывали у капитана взрыв фантазии. Он полагал, что по линиям губ можно было находить потерянных людей или отыскивать преступниц.

Цвет губной помады соответствовал, по мнению капитана, характеру женщин. Очень алая помада выдавала пылких южанок, розовая —

наивных стрекотух, желтоватая — женщин загадочных и властных, а синеватая — нерях.

Довольно скоро мы заметили, что окурков на перегоне Пушкино—Клязьма становится все меньше. Тогда мы начали доезжать из Пушкина до платформы Тайнинка и оттуда уже шли пешком вдоль дорога до Лосинки. Так были открыты новые богатые россыпи окурков.

Возвратившись домой, мы отрезали от окурков обугленные концы, высыпали чистый табак, тщательно перемешивали его, сбрызгивали водой и сильно нагревали на времянке — «ферментовали», как торжественно говорил Зузенко. От этого табачная смесь теряла горечь и курилась в самокрутках легко и приятно.

Зузенко даже предлагал написать вдвоем руководство по заготовке и переработке табака из недокуренных папирос. Он считал, что может получить полезная книга со вставными сюжетными новеллами. Она будет пользоваться бешеным успехом, не меньшим, чем широко известное в Америке «Руководство по ограблению почтовых поездов», изданное в Чикаго.

Зузенко читал эту книгу и уверял, что она была полна разумных советов. Шутки шутками, а такая заготовка табака при скудости нашего существования нас очень выручала.

Птицелов

· В Москве три Обыденских переулка.

Название этих переулков вводит людей в заблуждение. Ничего особенно обыденного в них нет. Наоборот, переулки эти отличаются некоторыми приятными качествами. Они сбегают к Москве-реке и упираются в пустынную набережную. По обочинам этих переулков весной даже цветут хилые одуванчики.

Из Пушкина я переехал в Москву, в Обыденский переулок, в подвал старого купеческого особняка. Окно, пробитое ниже уровня земли, выходило в сад, обнесенный высокой кирпичной стеной. Над стеной поблескивал тусклым золотом купол храма Христа Спасителя и его тяжелый крест. В то время этот храм еще не собирались сносить.

Внезапно в один туманный зимний день в Обыденском переулке появился Эдуард Багрицкий. Он впервые приехал в Москву. Прямо с вокзала его привез ко мне Гехт.

Тяжелое астматическое дыхание Багрицкого, влажное хрипение его голоса и смущенный смех сразу напомнили Одессу и редакцию «Моряка».

Багрицкий, расстегивая зеленую бекешу, сказал, как бы утверждая все, что он читал и знал до тех пор о Москве:

— Златоглавая столица! Порфироносная! Азия! Но в общем знайте, что я не буду жить у вас в грубом понимании этого слова. Нет! Я буду стоять постоем!

Он явно храбрился. Но столь же явно было, что он чувствует себя в Москве неуверенно.

Друзья просто заставили его приехать в Москву. Довольно было сиднем сидеть в Одессе, где газеты платили Багрицкому за превосходные стихи по три рубля не за строчку, а за все стихотворение целиком (или, как говорили бухгалтера, «аккордно»).

Довольно было голодать, продавать последние вещи и мечтать о пачке махорки и «кирпиче» черного мокрого хлеба.

Сейчас же после приезда Багрицкого ко мне в подвал нахлынули одесские литературные мальчишки. В то время они уже всем кланом переселились в Москву.

Мальчики расхватили у Багрицкого все привезенные стихи — весь этот рожочущий черноморский рассол, все поющие строфы, пахнувшие, как водоросли, растертые на ладони.

Мальчики разобрали по рукам стихи, переписанные на шербатой машинке с пересохшей лентой, и ринулись разносить их по редакциям.

Сам Багрицкий этого бы не сделал никогда в жизни. Он боялся выходить на московские улицы. Он задыхался от московской желтой оттепели. Он клокотал бронхами, сидя весь день на тахте, поджав по-гурецки ноги, и, отдышавшись, читал вслух «Уляляевщину» Сельвинского.

Даже сквозь закрытое окно проникал во двор его певучий, срывающийся голос и знакомые слова:

И-и-й-ехали казаки, ды и-и-й-ехали казаки,—
Чубы па губам!

Багрицкий читал «Уляляевщину» каждый раз по-новому, обыгрывая своим симфоническим голосом ритмы этой поэмы или какое-нибудь одно любимое место:

Уляляев був такий: выверчено віко,
дирка в підбородці тай в ухї серга.
Зроду нэ бачено такого чоловіка,
як той батько Уляляев Серга.

Я просил Багрицкого, чтобы он прочел мне свои стихи. Они утоляли в то время мою тоску по недавно покинутому Черному морю, по перегретому воздуху в тени одесских акаций. Но он не слушал меня и пел в каком-то самозабвении:

Гайда-гайда-гайда-гайда — гай даларайда...

В конце концов он сжалился и прочел мне свои стихи, но не о море, а немного печальные и светлые стихи о непобедимой молодости:

И пусть уже струится тень печали
И скорбный ветер ширится над нами,—
Наш легкий шаг еще, как прежде, строен...

Я не знал тогда, что эти стихи не Багрицкого, а какого-то другого поэта. Но это обстоятельство Багрицкий, очевидно, считал несущественным, так как ничего не сказал мне об этом. Очевидно, для него стихи, как воздух, как солнечное тепло, были всеобщим достоянием.

Мне даже казалось, что, например, стихи Блока о командоре, или «Веселые нищие» Бернса, или сказание Де Костера о Тиле Уленшпигеле — все это он считал как бы написанным не только Блоком, Бернсом или Де Костером, но и им, Багрицким. Все это принадлежало ему хотя бы по той причине, что он умел открыть в нем незамеченные богатства звуков, образов, красок и очарований.

Есть байка о том, что некоторые люди могут взять в руку тугой завязок цветка и от теплоты их рук он распухнет со всей пышностью, на какую способен.

Чужие стихи как бы расцветали в руках у Багрицкого. Он был веселым феодалом государства поэзии. Он проходил по лугам этой страны, сбивая пыльцу с высоких перезревших цветов, прищурившись от солнечного света, сея богатства широкой рукой. И, может быть, к нему больше подходило слово «певец», чем «поэт».

После приезда Багрицкого я сказался больным и целую неделю не ходил на службу в РОСТА. Я предпочитал весь день болтать с Багрицким, готовить скудную нашу пищу и слушать стихи.

Однажды мне повезло. Я достал мороженого судака. Багрицкий решил зажарить его по «черноморско-греческому способу». Для этого понадобилось кило масла, кило чернослива и лимон. Такая трата была в то время невероятной, но я не жалел об этом.

Багрицкий засучил рукава, подвязался полотенцем, пододвинул к раскаленной времянке старое кресло с вылезшей из сиденья паклей (кресло я нашел в дровяном сарае), растопил на сковороде все масло и ждал, потирая руки, пока оно не пошло трещать и взрываться золотыми темными пузырями.

Тогда Багрицкий утопил в кипящем масле куски рыбы, обваленные в муке, и торжественно сказал, почти пропел жирным, наигранным голосом какие-то незнакомые стихи:

О, судаки, обваренные маслом!
От жара раскаленного времянки
Покрытые коричневым загаром!

Отсвет огня играл на смуглом средневековом лице Багрицкого. В то время он был еще худ и напоминал юношу с потемневшей итальянской фрески.

Трещали и румянились ломтики белого судака, синеватый чай вился над сковородой, а Багрицкий плотоядно присвистывал и повторял:

— Вот сейчас вы узнаете, какая это смакатура! Нигде в Греции, даже на острове Митиленакаки, вы не сможете поесть такого судака.

— Мировая шамовка! — повторял он, когда мы ели этого действительно замечательного судака с жареным черносливом. — Пища титанов и кариатид!

Потом мы закурили папиросы «Ира», и начались мечты. Мне они казались совершенно детскими и, конечно, нелепыми. Я относился к ним снисходительно, но в глубине души все же верил в эти мечты Багрицкого. Он говорил почему-то во множественном числе, но совершенно серьезно:

— Получим гонорар. Ну, сколько? Как вы думаете? На круг — тысячу рублей? Или, может, больше?

— Больше, — говорил я.

— Полторы тысячи! — восклицал Багрицкий. — Или две? — спрашивал он, испуганный собственной дерзостью, и выжидательно смотрел на меня.

— Свободно! — говорил я, небрежничая. — Очень даже свободно, что и все три. Чем черт не шутит.

— Три так три! Тогда так, — говорил Багрицкий и загибал палец на левой руке. — Одну тысячу — телеграфом в Одессу Лиде и Севе (жене и сыну). У них нет ни ложки постного масла. На другую тысячу мы покупаем на Трубе птиц. Всяких. Кроме того, на пятьсот рублей покупаем клеток и муравьиных яиц для корма. И еще канареечного семени. Самый легкий и калорийный корм для птах. Остается пятьсот рублей на дожитие в Москве и на обратную дорогу до Одессы-мамы.

Мечты эти каждый день менялись, но не очень значительно. То прибавлялись книги, и за этот счет одесская тысяча сокращалась до семисот рублей, то возникало духовое ружье.

Багрицкий развлекался этими мифическими подсчетами. Я вместе с ним втянулся в игру. Меня только смущала сумма в пятьсот рублей, предназначенная на муравьиные яйца и канареечное семя.

Я представлял себе навалы, целые чатыр-даги муравьиных яиц. Их, по словам Багрицкого, надо было хранить очень умело, в точной температуре. Иначе в один прекрасный день все эти яйца могут превратиться в рыжих злых муравьев. Они разбегутся по дому и за полчаса вынесут до последней крупинки весь сахарный песок.

Я считал, что пятисот рублей на муравьиные яйца, пожалуй, много.

— Пусть много,— соглашался Багрицкий.— Но вы представляете, что будет с одесскими птичниками и птицеловами? Или с тем подлым стариком, который продавал мне на Привозе муравьиные яйца чуть не по штукам и выжимал из меня последние соки? Посмотрю я теперь на этого старика!

В это время пришел один из одесских литературных мальчигов по имени Сема. Он оторопел от безумных планов Багрицкого. Выражение ужаса появилось у него на лице. Посидев пять минут, Сема просто сбежал.

Багрицкий много рассказывал мне о своих одесских птицах. Но я знал это сам. Я был однажды у него на Степовой улице и помню сплошной треск, щебет, свист и чириканье в клетках, повешенных высоко под потолком. Брызги воды летели на головы из клеток, где птицы мылись в цинковых мисках, трепеща крыльями.

По словам Багрицкого, это были самые редкие и самые дорогие птицы, хотя выглядели они затрапезно и довольно жалко.

Он покупал их на окраинных базарах, ловил в степи за Фонтаном, выменивал на соль и табак.

У него были паутинные сети для ловли птиц и разнообразные дудочки и манки.

Ловля птиц сетями — очень тонкое дело. Птицелов должен знать не только голоса и повадки птиц, но и обладать еще мастерством декоратора. Выбрав гладкое место, похожее на маленький ток, он рассыпал по нему шпено или крошки хлеба, растягивал над током на высоких колышках сеть, маскировал ее травой (бурьяном и цветами), пускал на ток какого-нибудь ручного предателя-щегла или чижа, привязанного леской за лапку к колышку, и прятался вблизи.

Предатель прыгал по току, клевал зерна, щебетал, обманывал вольных птиц, и они бесстрашно слетали на ток. Тогда птицелов, неподвижно лежавший за укрытием, выдергивал за бечевку колышки из-под сети, она падала и накрывала несчастных птах.

Но мечты мечтами, а за стеной подвала в редакциях и издательствах Москвы происходило нечто, казавшееся Багрицкому чудом.

Стихи Багрицкого газеты и журналы брали нарасхват. Издательства начали заключать с ним договоры на книги и платить авансы. Мальчишки, нагруженные доверенностями от Багрицкого, приносили в подвал деньги. Они тщательно пересчитывали их и записывали итог на стене около временки.

Багрицкий денег не считал. Он только посматривал на цифры на стене и говорил:

— А птичий счет меж тем невидимо растет! Мы сможем купить на эти деньги еще и справный парусно-моторный дубок. Назовем его по традиции «Дуся» и будем возить на нем из Херсона в Одессу через Днепроовско-Бугский лиман лучшие монастырские кавуны. Почернеем, как черти. Вы имеете понятие о лиманном загаре? Это — лучший в мире загар. Цвета коньяка с золотом. Он образуется не только от солнца, но и от его отражений в тихой лиманной воде. На лиманах много штилей. Жар от солнечного отражения такой же палящий, как и от прямого солнечного луча. Он качается и слепит, этот жар.

Иной раз незначительные, услышанные как бы мимоходом слова западают в душу и начинают мучить человека чем дальше, тем больше. Так случилось со словами Багрицкого об особенном слепящем солнечном блеске лиманов — обширных, неглубоких, с зеленоватой чистой водой и низкими полянными берегами.

С тех пор желание увидеть лиманы и пожить на их берегах прибавилось ко многим другим, столь же практически бесполезным желаниям, наполнявшим мою жизнь.

В первое же лето после этого разговора с Багрицким я уехал в Херсон и на Днепровско-Бугский лиман.

Об этих местах, напитанных запахом чируса и жаркой древности, я напишу отдельно. Даже венки названий, связанный с этим лиманом, волновал меня — все эти Кинбурны, Ольвии, Очаковы, Тендры, Березани, Ингулы и Егорлыки.

Названия были, как жестковатые степные цветы, как сухие букеты из репейника. Букеты эти пахли и сами по себе горьковато и сладко и вместе с тем пропитывались запахом беленных мелом рыбацких лачуг. На их стенах эти букеты висели на ржавых гвоздиках целый год — от одной весны до другой.

Неисповедимыми путями русская поэтическая мысль время от времени приближалась к лиманным берегам, селениям и водам: «Однако как свежо Очаков дан у Данта», «Тонет белый парус на Лимане, много видел он морей и рек».

Здесь из этой пережатой земли хлеборобы выпаживали иной раз звонкие эллинские вазы. На рисунках этих ваз черноморский ветер, дувший тысячи лет назад, развеивал легкие подола эллинских женщин. Каждая из этих женщин казалась мне Ифигенией, умершей здесь в изгнании.

Чем дальше по времени был умерший человек, тем он становился более живым и в конце концов делался действительно бессмертным.

Недавно я был летом на другом лимане — Днестровском. К глинистым его откосам нельзя было прикоснуться рукой, так они были раскалены, но за пересыпью разливалось по пескам прохладой и пеной зернисто-зеленое море.

Теплое вино в лавчонках села Шабо мутило голову. Уютный, будто построенный в бесконечно мирные времена городок Аккерман (Белгород-Днестровский) задыхался от цветущего табака и лиловой матиолы. Рыбачьи лодки уходили на веслах в лиман за бычками и глоссой. На базаре продавали самотканые шерстяные ковры с такими пылающими розами и бешено-зелеными виноградными листьями, что покупателей брала оторопь.

Там же, на базаре, над корзинами с виноградом и сливами звенели на одной высокой ноте перетянутые в талии осы и старик в черных очках говорил доверительно:

— Покупайте сливы-мирабельки. Чистая глюкоза! Покупайте и кушайте себе на здоровье в холодке под акацией. Очень укрепляет кровеносные сосуды!

Городок весь целиком был погружен в густейшую тень садов, будто над ним протянули зеленый, прохладный брезент. А за резкой чертой этого брезента плавился на солнце лиман, испепеляя лица и шеи.

Об этих лиманных водах я впервые услышал от Багрицкого. Он сказал о них вскользь, может быть не придавая своим словам никакого значения, кроме шутиwego. Но мимолетный образ лиманной воды упал, очевидно, на благодатную почву в мое сознание, стремившееся изучить в природе все, что замечено вскользь и о чем говорится почти всегда мимоходом.

Каждый день, по мере того как цифра гонорара на стене у времянки росла, мечты Багрицкого усложнились. Ему уже мало было дубков и муравьиных яиц. Он мечтал о путешествиях и говорил о них задыхаясь. Чтобы успокоить одышку, он курил астматол. Тогда в подвале пахло горелой травой и валерианкой.

Багрицкий стремительно завоевал Москву. Успех его стихов был бурным и всеобщим. По вечерам в подвале уже трудно было дышать от обилия людей и папиросного дыма.

Как всегда, неожиданный успех принес с собой беспокойство. Он казался преувеличенным и шатким. Багрицкого мучили дурные предчувствия. Он начал поговаривать, что литературные мальчишки перестарались, что в недрах редакций наверняка уже лежат разгромные статьи об его стихах и, как большинство статей такого рода, они написаны нагло и фамильярно.

Он клялся, что его будут обвинять в «гнилом индивидуализме», имитаторстве и назовут «вертлявым гимназистом».

С немногими критиками, появившимися в подвале, Багрицкий держал себя настороженно. Но явно раздражал его только один из них, человек навязчивый и развязный, который всю поэзию нашего юга называл «повидлом из баклажан».

Уже тогда Багрицкого угнетало то обстоятельство, что чужие люди назойливо лезли к нему и советовали любить то, чего он не любил, и отрицать то, к чему он тянулся с самого детства. Впервые тоном приговора было произнесено по отношению к нему слово «романтик», но с оговоркой, что он заслуживает снисхождения.

Но все это меркнет перед тем, что произошло уже после смерти Багрицкого, в послевоенные годы, когда раздалось нелепое обвинение, будто Багрицкий глумится над украинским народом.

Это было глупо и неверно: ведь каждая строка «Думы про Опанаса» исполнена любви к Украине, к ее поэзии, к Шевченко.

Оружием Багрицкого, кроме его подлинной поэзии, было еще острое слово. Он отбивался им, как рапирой, от надоедливых учителей. Под выдержкой и благодушием он скрывал порой жестокий сарказм. Но к нему он прибегал только ради достоинства и вольности стихов.

В то время я только что окончил повесть под нарядным названием «Пыль земли Фарсистанской».

Название это казалось мне очень заманчивым, хотя было неправильным. Дело в том, что действие повести происходило на крайнем севере Персии (я там был очень недолго), а Фарсистаном называется как раз южная часть страны. Там я никогда не был. Но звучность этого слова — Фарсистан — так мне понравилась, что я пренебрег точностью и сдвинул название с юга на север. Я успокаивал себя тем, что персидский язык называется «фарси» и потому все области страны, где говорят на этом языке, можно называть Фарсистаном.

О повести этой узнал Бабель и попросил, чтобы я дал ему прочесть ее. Сначала я здорово испугался и начал уверять Бабеля, что повесть еще не окончена. Но Бабель был неумолим.

— Через два дня, — сказал он, — я приду, и чтобы повесть к тому времени лежала вот тут на столе как миленькая.

И он постучал ладонью по краю расшатанного стола, который Багрицкий прозвал «обломком империи».

Стол действительно был ветхий, из черного дерева, с бывшей перламутровой инкрустацией. Ее, очевидно, долго и настойчиво выковыривали дети нескольких поколений. От инкрустации остались только осколки.

Потом Бабель долго, посмеиваясь, изучал на стене около времянки запись полученного гонорара и даже выписал итог на листке бумаги.

— Я рад за вас, Эдя,— сказал он.— Лида наконец вздохнет. Вы проживете спокойно и наверняка напишете чудную поэму.

Когда Бабель ушел, Багрицкий произнес зловещим голосом:

— Подходит беда! У него мертвая хватка и дыхание бенгальского тигра. Так что лучше положите рукопись на стол сейчас же. Чтобы она всегда была на месте, если он придет без вас. Иначе он вынет из вас душу.

— За что?

— Откуда я знаю за что? И как бы он и из меня тоже не вынул душу.

— А у вас за что?

— Вы видели, что он списал со стены цифры?

— Он списал только итог.

— А зачем? Не знаете? Вот то-то! Никогда нельзя догадаться, что думает этот человек. Кошмарный характер!

Бабель пришел, как обещал,— ровно через два дня.

Пока он тщательно протирал запотевшие очки и близоруко рассматривал их, Багрицкий спустил ноги с тахты и застегнул гимнастерку.

Бабель сел на стул против Багрицкого и начал смотреть на него смеющимися глазами. Багрицкий заерзал и отвернулся.

— Не нервничайте, Эдя!— сказал Бабель.— Нервничать будете, когда я уйду.

— А чего мне нервничать? Я всегда рад вас видеть, Исаак Эммануилович.

— Смотря при каких обстоятельствах,— ответил Бабель, все так же пристально и весело глядя на Багрицкого.

Багрицкий молчал. В коридоре дефективная соседская девочка стояла у телефона и, держа трубку вверх ногами, без конца повторяла:

— Я слушаю, слушаю, слушаю...

Так она могла повторять до ста и до двухсот раз, пока кто-нибудь не высовывался в коридор и не кричал:

— Положи немедленно трубку!

Родители дали этой девочке роскошное имя — Эволюция. Но потом они спохватились, отсекли начало имени, и девочка навсегда осталась Люцией.

Во всяком случае вечное жалобное бормотание Люции: «Я слушаю, слушаю, слушаю» — придавало жизни в подвале несколько зловещий оттенок.

— Итак, Эдя,— сказал наконец Бабель,— что вы собираетесь делать?

Багрицкий продолжал молчать. За дверью бормотала как заведенная Люция.

— Конечно,— промолвил с грустью Бабель,— вас хватит на то, чтобы купить на весь гонорар вагон канареечного семени в Кишиневе и засеять им Дюковский сад.

— А что ж тут такого? — с осторожным вызовом спросил Багрицкий.— Между нами говоря, в Кишиневе канареечного семени нет. Им торгуют только Москва и Калуга.

— А то тут такого,— ответил Бабель,— что доставайте все деньги и выкладываете на это место!

Бабель постучал ладонью по «обломку империи».

— Ну, хорошо. А что же будет дальше? — уже робея, осведомился Багрицкий.

— Дальше будет изъ-я-ти-е некоторых сумм,— внятно ответил Бабель.— На предмет отсылки Лиде в Одессу.

— Это очень мило с вашей стороны,— вежливо сказал Багрицкий,— что вы так печетесь о моем семействе. Но деньги в Одессу я переведу сегодня же собственной рукой. А этому пасквильянту Семе я — тоже собственноручно — набью морду. Это он накапал вам, что я хочу на две тысячи рублей купить певчих птиц и завалить весь Привоз в Одессе конопляным семенем. Вы же самый проникательный человек на свете, Исаак Эммануилович, а попались на удочку. Семе — стопроцентному вралю и мищуресу.

Кстати говоря, Сема не был ни вралем, ни нахалом. То был хилый, веснушчатый юноша с плохим воображением. Поэтому он принимал за чистую монету все наши разговоры, пугался, тотчас бежал предупредить кого-нибудь из знакомых и вызывал бессмысленное смятение.

— Стопроцентных вралей не бывает,— убежденно ответил Бабель.— Даже Марк Твен не был абсолютным вралем. Он хорошо понимал это дело, но иной раз тоже давал слабину. Из современных писателей никто не умеет врать по-настоящему. Вдохновенно, возвышенно, смешно или красиво. Искусство вранья скоро будет потеряно. Что вы хотите, когда семилетние мальчики уже обыгрывают в шахматы Капабланку и понижают схему детекторного приемника. А ваш Сема врет только впятеро, не больше.

— Допустим,— согласился Багрицкий.

— Если так, то вы, Эдя, худо-бедно, а решили истратить на птиц не две тысячи рублей, а, скажем, впятеро меньше — четыреста рублей.

— Верно! — подтвердил Багрицкий.

— Этого нельзя допустить,— сказал ледяным голосом Бабель.— Ни в коем случае. Хватит с вас двухсот рублей. Я даю вам настоящую цену.

— Последняя цена,— сказал Багрицкий,— четыреста рублей и ни копейки меньше!

Он хлопнул ладонью по «обломку империи».

— Что вы такое говорите, Эдя? — воскликнул Бабель тоном перекупщика.— Побойтесь бога! Четыреста рублей! Какой кретин даст вам четыреста рублей!

И Бабель в свою очередь ударил ладонью по «обломку империи».

— Триста рублей — и кончим этот разговор!

Началась игра. Бабель придумал ее молниеносно, на ходу, чтобы выйти из неловкого положения, в какое попал.

Он перевел неприятный разговор в шутку. Багрицкий подхватил эту шутку. Она была сейчас очень кстати. Она спасла Бабеля от открытой ссоры с Багрицким.

Шутка спасла положение. Но этого показалось мало, чтобы загладить неловкость. И, как всегда в таких случаях, люди, стремясь переменить разговор, бросились на первое, что им попало под руку. К несчастью, под руку попала моя рукопись «Пыль земли Фарсистанской».

Я мужественно принял на себя по поводу этой рукописи залп вопросов и замечаний, наспех придуманных Бабелем и Багрицким.

Наконец Бабель забрал мою рукопись и мы вышли все вместе. Багрицкий пошел на почту отправлять деньги в Одессу, я пошел проводить его, а Бабель, подмигнув мне, деликатно исчез.

В одно хмурое предвесеннее утро (в подвале все утра казались хмурыми) Багрицкий встал, шумно выдохнул воздух и сказал:

— Постой прекращается! Послезавтра я еду в Одессу.

Он радовался возвращению в Одессу, как ребенок. Его бронхам не хватало черноморской соли. В Москве он задыхался все сильнее, но не жаловался. Чем хуже ему было, тем чаще он шутил над собой.

Просыпаясь среди ночи, я видел, как он, сидя на тахте и обхватив колени руками, тяжело, со свистом кашлял и потом долго ловил воздух судорожно открытым ртом.

Я вставал, сворачивал фунтик из газетной бумаги, насыпал в него какую-то сушеную траву и селитру, клал на тарелку и поджигал все это. Потом я кипятил на времянке чай. Горячий чай и едкий дым одинаково успокаивали Багрицкого и помогали ему, как он говорил, «раздышаться».

Он долго не мог уснуть (спал он полусидя), и после каждого такого ночного чая у нас начинался разговор до утра.

Однажды Багрицкий сказал мне, что астма — это типичная болезнь еврейской бедноты, еврейских местечек, зажатых и тесных квартир, пропитанных запахом лука, сухого перца и какой-то едкой кислоты. У нее, у этой кислоты, не было названия. Она, по словам Багрицкого, самозарождалась в воздухе жалких ремесленных мастерских и пахла так же мерзко, как муравьиный спирт. Ею пропитывалось до самого корня все — заплатанные сюртуки стариков, рыжие парики старух, вся шаткая мебель, все пышные и душные подушки в розовых мутных наперниках, вся еда. Даже чай отдавал этой кислотой, будто окисью медного самовара.

Багрицкий говорил, что как только он попадал в этот ремесленный чад, вдыхал запах кожи, коленкора и паяльных ламп, у него начиналась жестокая астма.

Проходила она начисто только в теплые приморские дни, когда рука, опущенная в морскую воду, не ощущала холода и можно было часами лежать грудью на раскаленных массивах рейдового мола и прогреваться насквозь — сверху солнцем, а снизу жаром ракушечника.

Он с тоской говорил о тех мельчайших приметах безмятежного одесского лета, какие всегда вызывают широкое счастливое состояние.

Он звал меня приехать летом в Одессу, обещал сводить на Сухой лиман и в замечательный рыбачий поселок Каролино-Бугаз, где-то около Днестровского лимана. Я поехал летом в Одессу (об этом я расскажу позже) и все это видел.

Но вскоре Багрицкий совсем переехал в Москву и поселился в Кунцеве, среди сыроватых и довольно унылых дачных участков и низкорослых берез.

Я всегда считал его переезд на север ошибкой, но не решался говорить об этом ни его родным, ни друзьям.

Я считал это ошибкой потому, что нельзя отрывать поэта от его жизненных корней, от сложного соединения простых и милых для него явлений. Из них неведомыми путями рождалась поэзия. Вернее, рождался подтекст его поэзии — тот вначале неуловимый слухом ультразвук, который рано или поздно пробивал оболочку немоты и появлялся рядом с нами печальный, радостный, торжественный.

Я бывал у Багрицкого в Кунцеве и все время чувствовал досаду и теснение. Как большая нахохленная птица, он сидел все так же на тахте, поджав по-турецки ноги, как сидел в мзем сыром подвале на Обыденском переулке.

Сидел и все шутил, все смеялся, хотя в глазах его временами появлялась пристальная тоска по степным шляхам, уходящим в туманные закаты, по веселому бегу наперегонки бесчисленных волн у диких пляжей, по мельканию солнца в виноградной листве и по обильно политым ранним утром одесским улицам.

И, конечно, по угреннему свисту птиц, гнездившихся в обрывах морского берега под корнями тамариска и акации.

Нелегкое дело

Со времени работы в РОСТА я начал упорно обороняться от всего, что могло засорить тот внутренний мир, который я носил в себе и пытался передать другим.

Больше всего я боялся заразиться стертым и беспомощным языком. Он безжалостно и быстро распространялся в те годы.

То обстоятельство, что я почти бессознательно забывал уродства языка, очевидно, и дало мне в дальнейшем возможность стать в какой-то мере писателем.

Отвращение к исковерканному языку накапливалось давно и перешло в ненависть к нему.

Ко многим словам, таким, как «поприветствовать», «боевитый» (их можно привести сотни), я чувствовал такую же ненависть, как к хулиганам. И не только потому, что они идут вразрез с характером русского языка, но еще и потому, что в них выражалось невежество и отсутствие национальных качеств.

Язык всегда должен быть под стать стране. Он должен определять ее лицо, ее красоту, ее характерность с такой же наглядностью, как определяет все эти качества самый пейзаж страны, как это определяет какой-нибудь изводок, уходящий в вечеряющий туман над милой до сердцебиения рекой. Многого не надо, чтобы догадаться, что ты в России. Достаточно увидеть, как синицы стряхивают на землю лимонные листья с прибрежных осин.

Возможно, что я отношусь к языку с преувеличенной строгостью и благоговением. Но иначе и не может быть. Иначе следовало бы заняться счетоводством или еще чем-нибудь в этом роде.

Русский язык существует подобно своду величайшей поэзии, столь же неожиданно богатой и чистой, как полыхание звездного неба над лесистыми пустошами.

Ко времени работы в РОСТА у меня уже было напечатано несколько рассказов, большей частью написанных наспех. Писал я их за один-два вечера и относился к ним довольно легкомысленно.

Рассказы эти были данью моему детству, главным образом тому туманному восхищению морем и моряками, которое завладело мной еще в Киеве, когда я впервые встретил в Маринском парке гардемарина с корабля «Азимут».

Правда, была уже вчерне написана повесть «Романтики». Но я считал ее еще не достойной печатания. Она лежала у меня без движения много лет — так долго, что рукопись обветшала и пожелтела.

Более или менее удачные отдельные строчки и мысли были разбросаны по разным рассказам и терялись в них.

Я знал, что подлинный писатель должен быть в своем деле ясным, естественным, должен с полной силой и смелостью выражать свое отношение к жизни и людям. Тут отдельными хорошими местами не отделаешься. Да я и не очень верил в эти свои хорошие места. Сгоряча они мне нравились, но быстро приедались и казались безжизненными. Я даже начинал стыдиться их.

Но не это главным образом тревожило меня в первые годы. Работа над языком и первые удачи — все это было как бы «в порядке вещей». Хуже всего были полуудачи. Ими я начал постепенно считать, как сказано выше, почти все свои первые рассказы.

Нет ничего более неприятного, чем забитый в стену и согнутый гвоздь. Ему не доверяешь.

Мои полуудачные рассказы были чем-то необъяснимо похожи на собрание то сильно, то чуть заметно согнутых гвоздей. Исправлять их не было смысла, — давно известно, что как ни выправляй гвоздь, он все равно останется хоть и немного, а кривым.

Так и рассказы. Есть рассказы хорошо написанные, но внутри пустые, как съеденное червем яблоко. Пустые потому, что они выдуманы или, что вернее, придуманы, что от живой жизни в них присутствует всего только несколько крох, а все остальное набрано отовсюду и наспех связано непрочными нитками. Они вот-вот оборвутся, и рассказ развалится на куски.

Такое ощущение все чаще оставалось у меня от своих вещей. Это меня удручало.

Каждый раз я садился писать новый рассказ с твердым решением быть беспощадным к себе и не уходить от подлинности в мир искусственных вещей. Но каждый раз какая-то слепая внутренняя инерция понуждала меня идти по линии наименьшего сопротивления, брать внешний сюжет и уступать своей склонности к необычным положениям, необычным людям и обстановке.

Перечитывая только что написанный рассказ, какую-нибудь «Королеву голландскую», «Черные сети» или «Разговор во время ливня», я замечал, что он сделан хотя и из добротных, но все же из отходов какого-нибудь любимого мною в то время писателя (в частности, из отходов Джозефа Конрада, на что мне впервые указал Бабель). Но, в общем, рассказ «держался», читать его было порой легко и даже интересно, и это давало мне ложное успокоение.

«В чем же дело? — спрашивал я себя. — Почему у меня не подымается рука перечеркнуть все это и выбросить в корзину?»

Пока я писал новый рассказ, все было как будто хорошо, но потом, особенно по ночам, вспоминая его, я не мог уснуть, находил в нем много скороспелого и проклинал себя за то, что дал его в печать.

Пока что я печатался главным образом в газетах. Газеты требовали срочных рассказов!

С тех пор у меня остался страх перед быстрым печатанием.

Так сам по себе получил силу закон — не печатать вещей, не дав им отстояться, пока не оседет, как в растворе, осадок, а влага не заиграет своей кристаллической и холодной чистотой. Этот элементарный закон подтверждался опытом многих писателей.

Я понял слова Пушкина об усовершенствовании плодов любимых дум. Всего в четырех словах был дан изумительно ясный и четкий совет, или, пожалуй, приказ, для пишущих.

Так началась борьба за то, чтобы все, что пишешь, исходило из подлинностей, борьба за неразрывное слияние этой подлинности со свободным воображением.

И здесь появился, помимо Бабеля, новый учитель — Михаил Михайлович Пришвин. Я прочел его рассказ «Башмаки» о холодных сапожниках-«волчках» из Марьиной рощи, пытавшихся сделать туфли для женщины будущего.

Весь этот рассказ был основан на совершеннейшей реальности, даже на быте, но вместе с тем он подчинялся легкому вымыслу.

Так для меня родился второй закон: рассказ о жизни в любых ее событиях и о человеке в любых его качествах становится настоящим искусством, когда он связан с реальным опытом и вместе с тем с воображением и вдохновением.

Я был уверен, что нашел правильный путь в тот всегда прекрасный для меня, тяжкий труд писателя, о каком я так давно и бесплодно мечтал.

Нашел я его почти инстинктивно, так как никогда не был способен к долгим и последовательным размышлениям.

Путь был найден и привел меня к первой моей, как говорили мои друзья, «настоящей» книге — «Кара-Бугазу».

Лесовик

За Пришвиным я долго следил издали, боясь встретиться с ним, боясь встречи с этим, как мне казалось, знахарем и мудрецом. От него как бы пахло талой водой, едким соком дягиля, лесной прелью, вечерней зарей над болотами.

Он всегда где-то скрывался, в каких-то российских гущах, как мужичок-лесовик, неслыханно лукавый и до того пронизательный, что ни одна птичья хитрость не могла от него ускользнуть.

Потом мы встретились, но близко не сошлись. Он обладал тем качеством, которое не всегда помогает сближению, — своим особым и порой невнятным для окружающих языком для выражения своих совсем особых мыслей.

Что-то было в нем от старого цыгана, не только в наружности, но и в том вольном знании страны, что свойственно прирожденным бродягам.

Однажды Пришвин сказал мне, что все напечатанное им — сухие пустилки по сравнению с его дневником, с его ежедневными записями. Он вел их всю жизнь. Эти записи он главным образом и хотел сохранить для потомства.

После смерти Пришвина часть этих записей была опубликована. Судя по ним, это был труд поразительный и огромный, полный поэтической мысли и неожиданных коротких наблюдений — таких, что другому писателю двух-трех строчек Пришвина из этого дневника хватило бы, если их расширить, на целую книгу.

Если в литературе есть подтекст — второе значение вещей, вторичное их видение, отражающее, как эхо, основной звук и укрепляющее его в нашем сознании, — то Пришвин открыл подтекст и в русской природе.

Тайна этого подтекста состояла в том, что его личное, очень интимное ощущение от мелколесья, зверей, облаков, рек, глухих чапыг и вторичного цветения какой-нибудь облепихи сливалось с природой и давало ей особенный, пришвинский облик.

Пришвин сам существовал как явление русской природы.

Он был владельцем нашей земли по праву любви к ней, по праву знания, и, как все владельцы, был немного собственником, но в особенном значении этого слова.

Он жалел и охранял землю, как ее собственник, но не для себя, а для искусства и для поколений. Охранял потому, что знал облагораживающую силу девственной земли.

Он хотел сохранить для людей хотя бы обрывки этой первозданной земли, чтобы человек мог дышать воздухом нетронутых уголков и видеть ту ее свежесть, которая быстро тускнеет и жухнет под слоями пыли и дыма.

Поэтому он очень сердился на меня за то, что я написал книгу «Мещерская сторона» и тем самым привлек на Мещерские леса пристальное и губительное (к сожалению) внимание людей с его неизбежными тяжкими последствиями — толпами туристов, истоптавшими вконец эти свежие некогда места, и бригадами людей практических, тотчас же начавших приспосабливать этот край к извлечению из него наибольшей выгоды.

— Вы знаете, что вы наделали своими восторгами перед Мещерой! — сказал он мне с укором и осуждением, как неосторожному мальчику. — В вашей тихой Солотче уже строят сотни дач для жителей Рязани.

Пойдите-ка теперь в луга и найдите хоть один цветущий шпорник. Поищите! Черта с два вы его найдете. Красоту только тронь небрежной рукой,— она исчезнет навеки. Современники, может быть, и будут вам благодарны, а дети ваших детей вряд ли за это поклонятся. А сколько в этой самой Мещере было сил для развития высокого народного духа, народной поэзии! Неосмотрительный вы человек, милый мой. Не сберегли свое Берендеево царство.

Да, шпорника теперь в Мещере, пожалуй, и днем с огнем не найдешь.

«Днем с огнем» — какие хорошие слова. Для детей. Потому что только ребенок может поверить, что по зарослям бродят днем какие-то чудачки и светят сильными фонарями в гущу трав, чтобы в их укромной тени найти синий — втрое более яркий и темный, чем небо,— цветок.

Сначала я был ошеломлен гневом Пришвина. И даже чуть возмущен. Все, мол, для себя, ничего для людей. Что хорошего и достойного в том, чтобы прятать от них красоту?

Но вскоре я убедился, что Михал Михалыч говорил так, заботясь о благе людей, о том, чтобы их жизнь не была обездолена. Он думал далеко вперед, мы же привыкли думать о сегодняшнем дне,— в этом заключается наше себялюбие.

Медные подковки

Маяковский лежал на низком помосте в зале Дома писателей.

Дом этот стоит в глубине двора, в зарослях сирени. Говорили, что этот старый особняк Толстой описал в «Войне и мире» как дом Ростовых.

Окна в зале были открыты. Манерную статую Венеры Медицейской в вестибюле закрыли черным покрывалом. Из-под него виднелось ее мраморное холодное колено.

Маяковский лежал на помосте в гробу, будто в каменном саркофаге,— тяжелый, большой, не переставший думать. Лежал ногами к выходу и людям, толпившимся около гроба. Поэтому прежде всего были видны его прочные ботинки с медными подковками на каблуках. Подковки блестели в луче солнца и были сильно стертые.

Поэт ходил по земле широко и немного небрежно. Медь быстро стиралась от такой ходьбы.

Должно быть, у многих появилась тогда мысль, что эти грошовые подковки не истлеют никогда, тогда как прах поэта исчезнет. А ведь людям были нужны не только его стихи, но и он сам — живой и гремущий.

Небывало теплый апрель стоял в Москве в год его смерти. От сырой земли в палисаднике за окнами подымался пар. Он шевелил прошлогодние палые листья.

Листья были черные, пахли кисловатым вином. Из них нельзя было сплести венки поэту.

Кто-то положил вместо венка несколько таких листьев в гроб к его ногам. Они не потерялись среди оранжерейных хризантем и гвоздик, среди атласных траурных лент, веток туи и скипидарной елочной хвои.

Листья лежали здесь по праву. Один из них прилип к подошве Маяковского и вместе с ним сгорел потом в пламени погребения.

Самое трудное в смерти для тех, кто остался жить дальше, заключается в том, что они не успели сказать умершему то главное, что думали и чувствовали о нем. Любящие, как всегда, опоздали. Непонятная застенчивость сжимала им губы. И теперь он, конечно, никогда не узнает, как бескорыстна была их любовь. Может быть, она могла спасти его?

А он молчал перед смертью и ни перед кем не выговорил свое последнее горе. Он лежал, чуть нахмурясь, никому не сказав о тех обидах и болях, какие жизнь нанесла ему — сильному духом и уверенному в себе поэту.

Да, он наступил на горло собственной песне. Он совершил подвиг поэтического самопожертвования ради блага своей страны и народа.

Он был чернорабочим, агитатором, бойцом. На его плечи легла задача привить революцию каждодневной человеческой жизни. Мягкость была не к месту.

Вокруг было слишком много слюнтяйства. Надо было бичевать бездарность, глупость, тугие мозги и затылки. Надо было кричать на людей, чтобы они опомнились и вылезли из своих тепловатых гнезд. Надо было просто выгнать людей из этих гнезд на резкий и холодный ветер революции. Особенно поэтов.

Недаром в 1921 году он написал:

Подернулась тинной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина...

Он писал свои стихи, как молотобоец, — засучив рукава.

Есенин сказал, что «в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей».

Безнадежность этих слов казалась Маяковскому возмутительной. Но прошло всего пять лет со смерти Есенина — и он сам позвал к себе смерть и полностью рассчитался с жизнью.

Зачем? Кто знает?

Его несли по улице Воровского, по улице иностранных посольств. Флаги над посольствами были приспущены. Даже недруги отдавали должное его поэтической мощи, его прямолинейности трибуна, его политическому темпераменту.

Раз он умер, то они, очевидно, успокоились и перестали придавать значение разящей силе его слов. Они просто не знали, что сплошь и рядом слово чем дальше, тем становится грозней. Его не обезвредишь, даже утопив на дне океана, как пытаются обезвреживать отходы атомного производства. Оно все время будет прорывать благополучную пленку жизни и взрываться то тут, то там.

Я почти не знал Маяковского.

После возвращения из скитаний по югу я целый год прожил в Пушкине по Северной дороге. Об этом я уже писал. За моей дачей глухо стоял сосновый лес, а за ним тянулась болотистая низина и разливалась речка Серебрянка, всегда затянутая туманом.

Всю зиму я прожил на этой даче один, а летом в ней поселился поэт Асеев с женой и ее веселыми сестрами-украинками. Потом добрейший Семен Гехт (сестры произносили его фамилию «Хехт») снял пустой чердак, где по ночам спали хозяйские козы, и началась шумная и вольная дачная жизнь.

Маяковский жил в то время на Акуловой горе и часто приходил к Асееву играть в шахматы.

Он шел через лес, широко шагая, вертя в руке палку, вырезанную из орешника.

Он показался мне угрюмым. Я старался не попадаться ему на глаза. Я был излишне застенчив. Мне казалось, что Маяковскому просто неинтересно разговаривать со мной.

Что я мог сказать ему нового и значительного? Все уже сказано, вся мировая культура изучена им и взвешена в острых и остроумных спорах. Я это знал потому, что из комнаты Асеева до меня долетали все разговоры.

Однажды, когда Асеев уехал в Москву, Маяковский постучал ко мне и предложил сыграть в шахматы.

Я играл плохо. У меня не было способности предвидеть игру за несколько ходов вперед. Но я согласился, и мы пошли к Асееву.

Там сидела на тахте, подобрав ноги, жена Асеева Оксана с золотыми распущенными волосами. Мне очень нравились стихи Асеева, посвященные ей:

Оксана, жемчужина мира,
Со дна Малороссии вырыл
И в песни оправил тебя...

Стихи эти по первой сокращенной строке назывались «Окжемир». Так же звали и Оксану.

Окжемир сказала, что ее тошнит от вида мужчин, нахохленных над шахматной доской. Маяковский только хмыкнул, а я промолчал.

Надо было о чем-нибудь говорить. С каждой минутой молчание становилось все тягостнее. У меня в голове носились обрывки всяких, преимущественно глупых мыслей. Я не мог ничего придумать, чтобы начать разговор.

Маяковский молчал, зажав папиросу в углу рта, и смотрел на доску. Почему-то молчала и Окжемир. Тогда в полном отчаянии я заговорил о ловле раков в реке Серебрянке. Там действительно водились огромные раки — настоящие речные крокодилы.

— Нудное дело,— сказал Маяковский.— Не понимаю, как можно заниматься такой ерундистикой!

Я покраснел и до конца партии не мог вымолвить ни слова. На мое счастье пришел Асеев, и я сбежал к себе.

С тех пор я начал бояться знаменитых людей и боюсь их до сих пор. Я всегда чувствовал себя свободно и спокойно только в обществе людей самых простых.

Среди писателей таких людей было не так уж много. Правда, очень прост и доброжелателен был Ильф, прост и печален был Андрей Платонов.

Когда мне впервые попал в руки один из рассказов Платонова и я прочел фразу: «Тихо было в уездной России» — у меня сжалось горло,— так это было хорошо.

Платонова почти не печатали. Если в редких случаях где-нибудь появлялся его рассказ, на него обрушивали горы вздорных обвинений.

У Платонова есть маленький рассказ «Июльская гроза». Ничего более ясного, классического и побеждающего своей прелестью я, пожалуй, не знаю в современной нашей литературе. Только человек, для которого Россия была его вторым существом, как изученный до последнего гвоздя отчий дом, мог написать о ней с такой горечью и сердечностью.

Платонов был крепок, у него был хороший закал. Он тяжело болел, плевал кровью, месяцами лежал без движения, но ни разу не погрешил против своей писательской совести.

В первые годы революции умами и сердцами молодежи владели Маяковский и Сергей Есенин.

Мне так и не удалось узнать Есенина в жизни,— я вернулся в Москву незадолго до его смерти.

Впервые я увидел Есенина в гробу в Доме журналистов на Никитском бульваре. Поперек бульвара протянули черное траурное полотнище. На нем белыми буквами было написано: «Тело великого национального поэта покоится здесь».

День был темный, с низкими, неподвижными тучами, с хмурой тишиной. В такие дни в домах раньше времени зажигают лампы. Свет их похож на желток.

В зале, где лежал Есенин, горели люстры. В их неярком свете лицо Есенина казалось прекрасным. Красоту его особенно выделяли густые тени от ресниц.

Он лежал, как уснувший мальчик. Звуки женских рыданий казались слишком громкими и неуместными — они могли его разбудить. А будить его было нельзя, — так безмятежно и крепко он спал, намаявшись в житейской бестолочи, в беспорядке своей быстрой славы, в тоске по своей рязанской земле.

Много позже, в 1960 году, я увидел фотографию Есенина, только что вынутого из петли. Он лежал на боку на диване, подобрал колени, и все лицо его было в слезах. Они не успели высохнуть.

Такая детская обида была на этом лице, что никто не мог смотреть на эту фотографию. Все отворачивались и уходили, пряча глаза.

Есенину я обязан многим. Он научил меня видеть небогатую и просторную рязанскую землю — ее синеющие речные дали, обнаженные ракиты, в которых посвистывал октябрьский ветерок, пожухлую крапиву, перепадающие дожди, молочный дым над селами, мокрых телят с удивленными глазами, пустые, неведомо куда ведущие дороги.

Несколько лет я прожил в есенинских местах вблизи Оки. То был огромный мир грусти и тишины, слабого сияния солнца и разбойничьих лесов.

По ним раз в несколько дней прогремит по гнилым гатым телега, да порой в окошке низкой избы лесника мелькнет девичье лицо.

Надо бы остановиться, войти в избу, увидеть сумрак смущенных глаз — и снова ехать дальше в шуме сосен, в дрожании осенних осин, в шорохе крупного песка, сыплющегося в колею.

И смотреть на птичьи стаи, что тянут в небесной мгле над полесьем к теплему югу. И сладко тосковать от ощущения своей полной родственности, своей близости этому дремучему краю. Там текут из болот прозрачные ключи, и невольно кажется, что каждый такой ключ — родник поэзии. И это действительно так.

Зачерпните в жестяную кружку воды из такого родника, сдуйте к краю красноватые листочки брусники и напейтесь воды, дающей молодость, свежесть, вечное очарование родной стороны. И вы уверитесь, что только небольшая доля этой поэзии выражена в стихах таких поэтов, как Есенин, все же ее несметные богатства еще скрыты и ждут своего часа.

Недавно я читал стихи совершенно забытой поэтессы Растопчиной, современницы Пушкина и Лермонтова, и нашел у нее две замечательные строки:

Поэты русские свершают жребий свой...
Не кончив песни лебединой...

В этих словах было только признание того, что случилось.

Оскорбления, дуэли, клевета, ревность, тяжелый характер — все это было внешней картиной этих трагедий.

Понятно, когда человек уходит из жизни от отчаяния и усталости. Но, пожалуй, нет ничего странного и в том, что человек может уйти из

жизни и от сознания душевной полноты, когда она доходит до такой завершенности, что каждый следующий день — упадок и ущерб. Таких случаев мы не помним, но я допускаю, что они могут быть.

...Глухие зимние дни, поля в ночных снегах, в оловянной мути, скрежет смерзшихся дубовых листьев за окном — и он один, один в этих ночах без сна, без вдохновенья. Живут только воспоминания — бесплодные, томительные. Все необратимо, невозвратно.

И вдруг — отдаленный топот копыт. Кто-то скачет издалека. К нему. С какой вестью?

Всадник соскакивает у крыльца, и через мгновение в руках у Пушкина записка. Она приехала! Она ждет его у Осиповых в Тригорском! Анна!

Как будто все эти буреломы и мертвые леса, все эти косые избы и волчьи ночи озарил мгновенный метеор. И вот он уже скачет через ночь, он видит только ее глаза во тьме — ее сияющие слезами и любовью зеленые, глубокие глаза.

Он мог бы упасть с седла и умереть от одного удара в сердце. Где-нибудь здесь, у трех сосен вблизи озера Маленец или около песчаного косогора. И в тысячную долю мгновения этой смерти он был бы истинно счастлив.

Этот сон о Пушкине, как говорили в старину — «видение», так крепко вошел в меня, что я часто видел его наяву и мог бы описать во всех простых его чертах — от зимнего ветра, бьющего Пушкину в глаза, до огня в доме Осиповых, играющих в обледенелых стеклах.

Девонский известняк

Первый подснежник я заметил у самого края подтаявшего, хрустящего снега, в том месте, где уже сочились струйки талой воды. Они перекатывали какие-то зерна и песчинки.

Белые, почти прозрачные лепестки подснежника, измятые после зимнего сна, распрямлялись на солнце и вздрагивали.

Первая весна! *Prima vera!* Когда мы с мученьями зубрили в гимназии латынь, то только эти два благозвучные латинские слова впервые примирили нас — и то немногих — с этим языком. «Прима вера» — первая, полудетская весна. Та весна, когда стрелки травянок еще не выползли из земли и видны только в сырых маленьких трещинах. Там они еще прячутся от ночных заморозков.

Тихое солнце в полном безветрии грело землю (это было в Орловской области, около городка Ливны) и спокойно сверкало над просторной — тогда еще уездной, а ныне районной — Россией.

В оврагах за городом уже сердилась и бормотала вода. Вдали, в печном дыму пригородных слободок — Стрелецкой и Ямской, — орали, надсаживаясь сдуру, теряя голоса, слободские бесстрашные петухи. Они радовались возвращению тепла и ликовали по случаю своей долгой жизни, — петухам, наверное, казалось, что они бессмертны на этой земле так же, как бессмертны и люди.

Я отпросился из РОСТА на несколько дней и поехал в Ливны к старым знакомым мамы. Поехал без всякого дела, просто так. Мне хотелось отдышаться после трудной жизни в Пушкине и затяжной московской зимы.

В Ливнах жила старушка, вдова земского врача Шацкого, с дочерью, тоже врачом, и сыном-геологом. После экспедиции на восточный

берег Каспийского моря геолог Алексей Дмитриевич заболел тяжелым нервным истощением и теперь отдыхал в Ливнах у матери и сестры. Шацкие жили в старом деревянном доме вблизи железной дороги.

Геолог не любил сидеть на месте. Он все время бродил по городу и полям вокруг него и брал с собой в спутники девушку — дочь машиниста Таю — и меня.

Иногда с нами ходила и его сестра Нина Дмитриевна — строгая на вид, но добрая и близорукая сорокалетняя женщина, очень решительная в своем медицинском деле и влюбленная в это дело, как был в него влюблен и ее отец.

Слава о нем как о бескорыстном и самоотверженном докторе-исцелителе жила еще долго после его смерти в Ливнах, в Ельце и в самом Орле.

К отцу вдова его и дети относились с благоговением. Память его почиталась не только за его врачебный талант, но и за то, что он был из числа народников и боготворил Чернышевского. В кабинете доктора, где мне стелили на диване, висели фотографии юношей, похожих на писателя Гаршина, с длинными волосами и курчавыми бородками, и девушек в черных и тугих шелковых корсажах с буфами и гладкими прическами.

У всех девушек были открытые, очень русские лица и серые глаза. Конечно, на фотографиях цвет глаз разобрать было нельзя, но так мне казалось. Этот цвет глаз очень шел к чуть заметным улыбкам на губах этих девушек и к их приветливым лицам.

Сам я вырос в семье с неустойчивым и беспокойным бытом, с разнокалиберной обстановкой случайных квартир и, может быть, поэтому чувствовал необыкновенную любовь к таким домам, как у Шацких.

В этих домах, как выражались в старину, можно было «отдохнуть душой». Тишина, изредка украшенная смехом и голосами молодежи, спокойствие и легкая суэта праздников, старые диваны, над которыми склонялась тень фикусов, вечерний и непонятно почему успокаивающий писк керосиновых ламп, много старых книг и журналов, легкий запах лекарств, как и должно быть в доме врача. Сад за окнами, а за садом — железная дорога, станционный переезд, редкий перестук товарных поездов и громкое пыхтение старых паровозов. Мне всегда казалось, что вблизи станции они нарочно пыхтят так напряженно и так добросовестно работают шатунами, чтобы показать, какие они незаменимые работяги. Милый запах вечернего чая, смешанный с легким самоварным паром, какое-нибудь всегда особенное варенье («Вы не поверите, Тая достала в Орле десять кило сахарного песку»), то из китайских яблок, то из ежевики, — все это и еще сотни мелочей создавали уют, без которого плохо жить человеку. Уют этот одно время принято было ругать: он, мол, «обволакивает и успокаивает людей».

— Ну и слава богу, что успокаивает, — говорила старушка Варвара Петровна, — хоть подумать и прийти в себя будет время. А то среди ваших этих вопросов или, как их там, проблем, что ли, недолго и здоровье совсем потерять. Выпейте лучше чайку с вишневым вареньем да сходите в кино. Там, говорят, представление идет замечательное про какого-то закройщика из Торжка. Тая прямо обхохоталась.

Из окна докторского кабинета виднелись такие дали и такие мягкие, округлые взгорья, что даже замирало от взгляда на них сердце. А у подножья этих далей, увалов, оврагов и взгорий, широкой (по весне) лентой протекала под железнодорожный мост река Быстрая Сосна.

Она действительно была быстрая, струистая, несла последние коричневые льдины, шуршала, особенно громко по ночам, и с каждым часом подымалась, качая и затапливая кусты лозняка.

На ветках лозы тесно сидели, как крошечные воробьи с желтыми грудками, пушистые почки-«барашки». Они распушились как раз к вербному воскресенью.

Вдоль берега реки снег уже стаял, но подальше, на краю полей, он еще лежал толстым покровом.

Геолог объяснял это тем, что Быстрая Сосна протекает у Ливен в мощных пластах девонского известняка, а этот известняк будто бы хранит в себе тепло далеких многомиллионных эпох. Это тепло сочится непрерывно из земных недр и отравляет жителей Ливен.

Поэтому, по словам геолога, в городке до сих пор, на седьмом году революции, еще много диких поверий. Он рассказывал, что бесплодные ливенские женщины покупают у рыбаков живых шук, пускают их в корыто с водой и долго — не меньше, чем два часа, — смотрят не отрываясь в желтые и злые щучьи глаза. Говорят, помогает. А старухи грызут от зубной боли куски известняка с могилы юродивого Петьки-Петушка. Тоже, говорят, помогает.

Тая только вскрикивала и с испугом взглядывала на меня, боясь, что я могу этому поверить.

Когда геолог заговаривал о девонском известняке, Нина Дмитриевна делала мне незаметный знак, чтобы я слушал, но не возражал. А старушка Варвара Петровна начинала дрожащей рукой разглаживать скатерть на обеденном столе.

Губительное дыхание девонского известняка было той легкой и безобидной манией, какой страдал геолог.

Кроме того, он убеждал меня — правда, не очень уверенно, — что человечеству принесет много несчастий, а возможно, и полную гибель, все, что начинается на букву «г» — Германия, Гогенцоллерны, Гитлер, Геббельс (тогда уже начинался в Германии расцвет фашизма).

Но, в общем, геолог был человеком добродушным, молчаливым и никому не мешал.

На второй день моего приезда в доме выставили рамы. Сырой разогретый сад дохнул в комнаты слабым запахом ванили, напоминая, что приближается пасха.

На подоконниках обывательских домишек зеленой сочной щеткой прорастал в плошках овес.

Старухи плелись на кладбище с поминальными веночками из крашенных стружек — цветов еще не было, они не распустились.

Цветы и венки из стружек делали очень искусно (особенно большие лоснящиеся розы) ливенские мастерицы. Они даже славились этим на всю округу. Красили стружки анилином — ярко и неприятно.

Каждый день геолог гулял за городом с Таей и со мной.

Тая была хромая милая девушка с толстой русой косой и светлыми круглыми глазами. У нее была какая-то болезнь щитовидной железы (по словам геолога — конечно, от излучения девонского известняка). Нина Дмитриевна давно ее лечила, надеялась вылечить окончательно и устроить после этого в медицинский техникум в Ельце.

Тая робко расспрашивала меня (геолога она немного побаивалась) о Москве, Черном море, о Крыме, о том, какие там растут деревья, и правда ли, что, поднявшись в горы, можно попасть в теплые облака.

Иногда она спрашивала меня, видел ли я Ленина и Льва Толстого, Горького, Маяковского и Шалапина.

Я выдумывал и говорил, что видел, хотя не видел ни Толстого, ни Горького. Мне нравился восторг в ее глазах — она даже задыхалась и начинала пришепывать от волнения. Я рассказывал ей обо всем так, как ей бы хотелось услышать.

К счастью, геолог не обращал внимания на наши разговоры во время прогулок, а Нина Дмитриевна их не слышала, иначе мне бы здорово попало за обман.

Нина Дмитриевна была строжайшей ревнительницей правды во что бы то ни стало.

— У меня медицинский ум,— говорила она.— Я не понимаю, какая может быть польза для человека от выдумок, даже от самых приятных. Любая правда лучше их. И человечнее.

Я с ней не спорил, но правым считал, конечно, себя.

В воскресный день во время прогулки мы встретили за городом на берегу Быстрой Сосны молоденького красноармейца. Он сидел на сухом бревне и вырезал из куска ивовой ветки жалейку — простую пастушью дудочку.

Когда мы поравнялись с ним, он встал, как перед старшими, и вытянулся.

— Вот! — сказал он смущенно и покраснел.— Здравствуйте! Режу тут... Балуюсь помаленьку...

Мы присели на бревно, закурили. Красноармеец все стоял, не решался сесть с нами, пока Тая не потянула его за рукав шинели и не заставила сесть. Жалейку и нож он поспешно спрятал в карман шинели.

В Ливнах стояла какая-то воинская команда. Красноармеец был, должно быть, из этой команды.

— Новобранец? — спросил его Алексей Дмитриевич.

— Так точно! — охотно ответил красноармеец.— Касьян Звонарев. Сам я олонецкий. Тут я недавно.

С давних пор Олонецкий край привлекал меня. Мое увлечение географией России шло наплывами: то я читал запоем все, что мог достать о Белоруссии, потом — о Закаспийских степях, а одно время увлекся Севером, зачитывался строгой и неторопливой книгой Максимова «Год на Севере» и описаниями северных монастырей.

— Был один хороший человек — Касьян с Красивой Мечи,— сказал Алексей Дмитриевич и улыбнулся, что бывало с ним очень редко.— А ты будешь теперь у нас Касьяном с Быстрой Сосны. Согласен?

— Да не очень,— ответил красноармеец.— Я, вернее, Касьян из Занежья. Может, слыхали?

— Слыхали. Гранитная страна! — сказал Алексей Дмитриевич.

— Вот-вот! Граниту у нас много. И озер. Да не в этом наша сила.

— А в чем же? — спросил я.

— В плотницкой работе. У нас избы рубят без гвоздей, на одних шипах. И церковей рубленых сколько хошь. Ученые приезжали, считали не считали, сбились — так и уехали, не сосчитавши. У меня дед — плотник, батя мой — плотник, я сам — плотницкий ученик, а бабка моя — первая помощница наших мужиков по плотницкому делу.

— Неужели старуха плотничает? — удивилась Тая.

— Да нет, не то. У нас избы все в кружевах, как в полушалках. Принимаете? В деревянных кружевах. И каждый тщится, чтобы была у его избы иная лепота, иной узор, чем у соседа. А чтобы узор по дереву составить, для этого особый дар нужен. Большой дар. Бабке он даден, этот дар. Она такие узоры намечает, что не всякий и выпилишь. Даже большие мастера отступились, не осмеливались те узоры осилить.

— А как же она работает? — спросила Тая.

— Сначала тоскует. Сидит иной раз до полночи на крылечке, на всходе в избу, все томится. Ночи у нас по лету все в свету, в белизне. В такие ночи дыхание у человека воздушное, как сквозь сон какой-то.

Посидит вот так, потоскует, потом запоет про себя чего-нибудь старинное-престаринное, протяжное, но не церковное, а общее, стародавнее. Из новгородских времен. А спевши, возьмет уголек и рисует на чем ни попало узор. И у всех у них, у этих узоров, есть имена. Один называется «Свиток», другой — «Травница», третий — «Петушинный переклик».

Он помолчал.

— Ой, разболтался я, прощения прошу.

— Девон источает яд,— строго сказал Алексей Дмитриевич,— а граниты, гнейсы и все эти крупнозернистые магмовые породы выдыхают силу, зоркость, упорство — в этом вся соль.

— Народ у нас действительно зоркий,— согласился Касьян.— Поэтому наших больше берут во флот, в мореплавание. Один я обчелся, заслал меня в эти поля да овражины. И река тут мутная, глины много.

— Вы бы сыграли, Касьян,— попросила Тая.— На вашей дудочке.

— Извольте, если желаете.

Красноармеец вынул жалейку, долго ее осматривал, вертел в пальцах, потом поднес к губам и заиграл жалобно, тонко, будто какая-то залетная птица призывала кого-то, просила прислушаться к ее птичьей беде. Мы сидели, слушали.

Потом Касьян, гремя тяжелыми сапогами, проводил нас до железнодорожного переезда, попрощался, за что-то поблагодарил и ушел.

— Жалко его,— вдруг сказала Тая.— Совсем мальчик. И бледный очень.

— Это от весны,— ответил геолог.— В ливенском весеннем воздухе особенно много девона.

Мне казалось, что все в этом северном мальчике было от весны — и бледность, и смущенный ласковый взгляд, главное — тихое пение жалейки. Как будто звенели под сурдинку слабенькие весенние стебельки и проснувшиеся после зимы соки разных растений.

Вскоре я уехал из Ливен, но эти несколько дней весны я долго не мог забыть. Есть такое слово «светлость». Помните, у Тютчева: «Есть в светлости осенних вечеров...» Все дни в Ливнах были наполнены этой светлостью, как солнцем.

Однажды Алексей Дмитриевич вошел в кабинет, где я лежал на диване, и высыпал на письменный стол из картонной коробки много фотографий.

— Хотите посмотреть места,— спросил он,— куда вам нельзя никогда ездить?

— Почему?

— Потому что при вашем цвете глаз и волос вам опасно спускаться ниже сорок пятой параллели. Я геолог и точно это знаю. Смотрите, тут такие наглядные пласты пород, складки, свиты и обрывы, каких нет нигде больше ни в Европе, ни в Азии. Смотрите спокойно и не пугайтесь. Если захотите, я вам кое-что объясню.

Он ушел, загадочно улыбаясь. Я встал, сел за стол и взял в руки первую же большую фотографию.

Под ней была надпись: «Порог Усть-Урт. Вид с северо-запада, со стороны Мангышлака».

Я всмотрелся в фотографию, и меня взяла оторопь.

В необыкновенной ясности воздуха над глинистой пустыней, усеянной мелкими сухими камнями, вздымалась отвесная черная стена высотой в двести — триста метров — гладкий порог, как бы срезанный ножом исполнина.

Казалось, что в этом месте пустыня раскололась и неведомые силы подняли половину ее к небу гигантским домкратом.

На отвесной этой стене не было ни трещин, ни следов водоэрозии — то была совершенно девственная стена, будто только что возникшая здесь, несмотря на многие тысячелетия, безусловно прошедшие со времени ее образования.

Так иногда подымается над землей в безоблачном свете неба, в чистой его синеве черная, как мировая ночь, глухая, могучая и молчаливая — грозовая или ураганная — туча, резко отделенная от остального мира.

Но в этой сухой туче нет ни вспышек молний, ни рокота грома, ни признаков далеких вихрей в виде косматых сосков пыли, припадающих к земле.

Усть-Урт! Я знал, что на восточном берегу Каспийского моря лежит это недоступное и смертоносное плато, похожее на могильную плиту с периметром в несколько сот километров. Туда нет никаких дорог.

Вопреки словам Алексея Дмитриевича мне не стало страшно. Наоборот, жадное любопытство охватило меня, жестокое желание увидеть эти места лицом к лицу и почувствовать не страх, а какой-то непонятный восторг перед грозным одиночеством этих скал, раскаленных солнцем.

Очевидно, такое же состояние может охватить человека при зрелище катаклизмов космических катастроф, извержений и великих ураганов, меняющих в одно мгновение знакомый облик земли.

То был застывший катаклизм.

В лупу можно было рассмотреть на краю этой стены белеющий над обрывом скелет верблюда. И ни одной травинки. Даже чий — закаленное полумертвое растение пустыни — не рос нигде, сколько я его ни искал.

«Ад! — подумал я. — Ужас и одиночество».

В этом зрелище было что-то могучее, захватывающее, будто я стоял на краю бездны.

Я вспомнил недавний разговор с Ильфом в «Четвертой полосе» «Гудка». Говорили о путешествиях, и Ильф всколыхнул сказал:

— Чтобы взять от путешествий все, что можно, нужна большая психическая выносливость.

— Люблю афоризмы! — заметил Олеша. — Особенно из уст великих путешественников Джемса Кука и Ильи Арнольдовича Ильфа.

Ильф не рассердился.

— Юра, — сказал он убежденно, — вы же не собираетесь всю жизнь гулять в панаме по померанцевым рощам Сицилии или срывать лилии в пышных королевских садах Версаля. Что, если вам придется попасть в такие океанные места, как, скажем, Антарктика или пустыни Китая? Семьдесят градусов скрипучего мороза или паршивая колючая пыль, что будет хлестать вам в лицо несколько суток подряд. Надо это увидеть, выдержать, запомнить. И не проситься домой, до мамы. Так рождаются великие характеры и мужественные души. Иначе не стоит брать в руки гусиное перо.

Я вспомнил эти шуточные слова Ильфа и подумал, что я непременно поеду на восточный берег Каспийского моря и увижу эту омертвелую землю, как бы испепеленную мировым пожаром. И выдержу. И напишу.

Тем сильнее и преданнее я буду любить потом каждый серый денек у нас в Средней России — тот самый, что помаргивает дождиком и пахнет мокрыми лопухами.

Мне казалось, что свою старую любовь к обыкновенной земле я усилю, укреплю, доведу до предела, только испытав отчаяние этих бесплодных пространств, непригодных для человеческой жизни.

Я рассмотрел все остальные фотографии. Все они были очень выразительны и даже величественны. То были снимки берегов карабугазского залива на Каспии.

Я ничего о нем не знал и даже не представлял себе, где он находится. Но он уже неудержимо тянул к себе своей дикостью, какой-то явной тайной, скрытой в его мгlistых пространствах. Тайна была. Я это чувствовал.

Потом Алексей Дмитриевич скупно и странно рассказал мне о Кара-Бугазе. В его рассказе действительность была спутана с легким бредом. Но это, пожалуй, только усилило мой интерес к этому неведомому месту. После его рассказа загадочный туман кое-где поредел, а кое-где сгустился.

Я узнал, что залив этот похож на исполинский конденсатор соли и что вся местность вокруг него никем не исследована.

Так впервые в тихом провинциальном доме, где застенчиво цвел на окнах бальзамин, родилась мысль о книге, целиком взятой из реальной и суровой, даже жестокой жизни. Я начал много думать об этой книге и готовиться к поездке на Мангышлак и в Кара-Бугаз.

А когда через три года мне удалось совершить эту поездку и начать писать книгу, я второй раз приехал в Ливны. В силу чего — не знаю. Может быть, в силу прямой противоположности ливенских мест закаспийской пустыне. В Ливнах все были на старом месте — и старушка Варвара Петровна, и Нина Дмитриевна, и геолог, и Тая, и даже Касьян из Заонежья.

Он остался в Ливнах на сверхсрочную службу, как мне показалось, из-за Таи, возмужал, загорел и перестал быть похожим на хилого северного пастушка.

Мне легче было писать о Кара-Бугазе в дремоте старого дома, под непрерывную переключку слободских петухов, под ровный звон дождевой воды, лившейся с крыши в старую бочку, поглядывая за окно, где сквозь облака просвечивало по временам нежаркое и безопасное солнце.

(Окончание следует)



ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ

★

КРАСКИ ЗАКАВКАЗЬЯ *

2. ДВЕ НЕДЕЛИ В АРМЕНИИ

12

Мы пересекли северо-западную оконечность Азербайджана — Кавказ, зону хлопка, винограда, зерна.

Пожалуй, даже без надписи у моста через реку Храми почувствовалось бы, что покидаешь Грузию. Все удивительным образом изменилось — как бы незаметно и все же чувствительно для глаза.

Поля сделались темно-зелеными с краснецей, в частую белую крапинку; это были хлопковые плантации со следами прошедшей уборки. Кое-где у дороги сплошь белело — сушился убранный хлопок. В других местах он стоял в огромных плотных скирдах, туго затянутых брезентовыми попонами.

Изменилась форма деревенских домов — здесь они были цвета сухой глины, кубики с плоскими кровлями. Расширились дали, подтушеванные размытым туманом; из него рождалась, как на японских гравюрах, гряда причудливых гор. Старик в остроконечной папахе ехал на беломордом ишаке, свесив ноги, старуха шла впереди. Их обогнал трехколесный хлопковый трактор. Среди полей появились нагие кладбища с торчащими из земли закругленными каменными плитами, похожими на скрижали; здесь пишут на могильном памятнике профессию: «Мамед-Оглы Гаджиев, портной...»

У автобусной станции продавали айву. Кирпичная круглая башня старой крепости виднелась на плюшево-зеленом холме, внизу протекал арык. Под открытыми навесами сушили табак на длинных веревках. Мы подъезжали к Узунтале. Молодая рожица вдруг польхнула пламенем осени — как предвестница других, новых красок. Впереди была Армения. Она встретила нас гостеприимной надписью на деревянной арке, первыми домами из розового арктического туфа и торжественным строем шумящих листвой тополей.

Замечали ли вы, что едва ли не каждая страна и даже область имеет — или по крайней мере желает иметь — собственную Швейцарию? Я знаю несколько таких Швейцарий, начиная со Швейцарии на реке моего детства, на Тетереве с его обрывистыми гранитными берегами, где так славно было лежать летним бездумным деньком пузом к горячему камню, и кончая Саксонской Швейцарией с базальтовыми сказочными столбами, с мостами, перекинутыми через курящиеся туманом пропасти.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

Однажды мне показалось, что нет на свете ничего красивее скалистых берегов Эльбы, когда едешь осенью береговой дорогой из Дрездена в Прагу. А теперь я думаю, что в мире нет ничего прекраснее осенней дороги через Иджеванский (Семеновский) перевал.

Мы ехали вдоль реки Агстев, она змеилась среди скал и лесов, то уходя от дороги, то возвращаясь. Длинноволосые ивы склонялись над ее водами. Осень полыхала вспышками, разгораясь все ярче. Перед нами было Лорийское нагорье, край Ованеса Туманяна, край садов, виноградников и табачных плантаций. Слева обрисовалась горная гряда в красно-бурой шкуре лесов. Она возникла вдали как обещание, чуть затянутая туманной дымкой. И вот вы уже в царстве камня, среди фантастических башен, выстроенных под небеса из горячей когда-то лавы. Еще поворот — перед нами на западе новая далекая гряда, она рисуется в небе острым изломом линий; никак не похоже на горы Грузии. Это, наверное, Базумский хребет.

Проезжаем село Ахкухли. У птицефермы, будто разбросанный хлопок, белеют куры. На деревьях, стерегущих дорогу, каждый лист виден сам по себе под солнцем. Дорога снова переходит из долины в ущелье. По сторонам — серо-зеленоватые отвесные скалы. За поворотом — Дилижанский заповедник, сокровище каменной Армении, где леса могут расти лишь на склонах гор, обращенных к морям.

Влага Черного моря и Каспия, несомая ветрами, задерживается здесь — и вот они, заповедные леса Дилижана: могучие дубы, граб и нежелтеющий бук с зелено-седыми кронами. Едем как бы среди шумящих вершин — так далеко вниз сбегает по горным склонам деревья — и выезжаем к селу Куйбышев, где из окон домов гирляндами свисают папуши сохнущего табака и ожерелья лаково-красного перца.

Длинные обмолоченные скирды стоят у въезда в село над дорогой, на кромке покатою склона, — они как бы съехали по крутизне сверху и остановились у самого края — из любопытства.

Где же тут вырос, где мог созреть этот хлеб, трудный хлеб Армении? Камни среди полей, поля среди камней — вот первое, что приходит на ум в этой стране.

В селе Тегут дети шумно коротают переменку во дворе школы. За школой строят из туфа длинное здание. Конические стожки сена венчают плоские кровли крестьянских домов. Сухой кизяк сложен коричневыми пирамидками. По улице черноглазый мальчонка в отчаянном испуге гонит хвостистой корову, у нее страшно, едва ли не пополам, разорвано вымя, оно бессильно болтается на неловком коровьем бегу, кропя землю кровью. Что могло с ней случиться, кто, какой зверь напал на нее? Этого я никогда не узнаю; село уже позади, а впереди — дорога и горы, то по-медвежьему бурые, то рыжие, как лиса.

Осенние деревья играют с Агстевом свою игру — то отбегают, то сбегаются к быстрой воде. Из толщи скалы неожиданно вылетает серебряная труба, ложится мостом через реку и снова исчезает в толще другой скалы. Это нитка газопровода Карадаг—Ереван. Он тянется из Азербайджана, с северо-востока на юго-запад, через Армению.

Трудно представить, сколько мастерства, упорства и смелости понадобилось, чтобы прошить этой ниткой горы, переметнуться через ущелья и реки, перевалить через хребты. Хачик Абрамян показал мне одно местечко, где экскаваторщик работал, привязанный с помощью троса над краем бездны, — там, наверху, еще видны глубоко впечатанные в грунт следы траков.

Хачик Абрамян — один из двух шоферов, попеременно ведущих наш автобус. Второй шофер молчалив, сухошав, немолод. Кепка низко накинута, под коротко подстриженными усами прячется улыбка; она рас-

цветает, когда навстречу попадет машина. Поравнявшись, шофер сбавляет газ и приветственно приподнимает ладонь.

Покупая автобусный билет, я попросил в кассе место у выхода справа, чтобы удобнее было смотреть вперед и по сторонам. Хачик Абрамян, видно, сразу признал во мне человека, нового в этих краях. Сменившись, он уселся на вертящийся стульчик лицом ко мне, грозно шелкнул ножом, очистил крупное яблоко и подал мне половинку на кончике лезвия.

По-армянски густобровый, сероглазый, смуглый, опрятно одет; недавно участвовал в автомобильной туристской поездке, повидал пол-Европы, но убежден твердо, что лучше этих мест не найдешь.

Он указывает то на одно, то на другое. Вон там, наверху, под черепичными крышами, — климатические санатории Дилиджана. Высоченные сосны вцепились в гору растопыренными пятернями корней, в их тени — молодые цепкие сосенки. На крутом склоне выложено из белых камешков: «Детсад Ервинкомбината». Останавливаемся у подножия перевала. Мачты электролинии сбегают на цыпочках в глубокую котловину. На холме стоит ресторан, ветер колеблет легкие занавески. За ним — белые туристские домики. Журчит горный ручей. Какой-то альбинос-северянин, до неправдоподобия светловолосый, с малиновым от здешнего солнца, белобровым лицом, сидит на обочине — обхватил руками колени, задрал голову, щурится на припеке, наслаждается...

Отсюда лишь начнется настоящий подъем. Мы заправляемся шашлыком, выпиваем по бокалу кислого раздана. Хачик садится за руль, солнце заглядывает то справа, то слева, и вот уже не видно ни ресторана, ни домиков — все ушло куда-то вниз. Из придорожных скал бьют холодные родники. В тени дубов ребята собирают в корзины желуди. Много диких яблонь и груш, их здесь солят на зиму. На уступах горных пастбищ пасутся коровы — кто их знает, как они туда взбираются. У въезда в Семеновку молотят хлеб. По улице движется свадьба с гармошкой, впереди молодые, за ними приплясывают дружки, позади галдят ребятишки. Это русское село среди армянских нагорий; не знаю точно происхождения — то ли сосланные молокане-сектанты, то ли отставные солдаты Семеновского полка.

От высоты закладывает уши — две тысячи двести метров над уровнем моря. Еще несколько минут, и впереди — внизу — открывается другая Армения: зелено-синяя удлинённая чаша Севана, плывущие тени облаков на обнаженных горах; справа среди облачной мягкой белизны угадывается твердая белизна вершин Арагаца, а прямо — чуть темнеющий в мареве Арарат.

Мы спускаемся, постепенно набирая скорость; остановка — у Севана. Это второе по величине высокогорное озеро мира (первое, с неаппетитным на русское ухо названием Титикака, находится в Южной Америке). Бирюзовый Севан заключен в оправу серого камня. У северо-западной оконечности был когда-то куполообразный каменный остров, на нем монастырь. Я говорю «был» — теперь это уже не остров, а полуостров; изменение произошло потому, что за последние полтора десятка лет Севан отступил от берегов по всему периметру более чем на пятнадцать метров.

О том, что произошло и происходит с Севаном, говорилось не раз; и все же невозможно молчать об этом, когда увидишь сам, как беловатые полосы на прибрежных скалах ярус за ярусом отмечают неуклонный ход снижения уровня вод. Отметины природы звучат серьезным упреком людям, так неосмотрительно обошедшимся с ее редкостным даром.

Идея Севано-Разданского каскада гидроэлектростанций была эффектно, звучала громко, но в конечном счете не выдержала испытания временем. Это, на мой взгляд, один из примеров так называемых «воле-

вых решений», принимаемых без глубокого анализа и всестороннего взвешивания доводов «за» и «против». Имея рядом, в Грузии и Азербайджане, неисчерпаемые ресурсы топлива и гидроэнергии, не разумнее ли было бы вложить средства там? Время показало выгоду и необходимость более тесных экономических связей между республиками Закавказья. Армения теперь — после слияния энергосистем всех трех республик — может получать достаточное количество недорогой энергии через кольцевые линии передач. Больно смотреть, как прозрачные воды Севана утекают к турбинному залу верхней станции каскада (он расположен на глубине ста десяти метров под землей — нет, не под землей, а в толще камня). Бездна технического мастерства и труда вложена здесь в строительство, и вот приходится думать, как восполнить бедственное падение уровня Севана. Есть замысел — соединить озеро с рекой Арпа подземным — вернее, подкаменным туннелем; на это потребуются немалые средства, и кто знает, останется ли Севан таким же полноводным, чистым, смарагдово-синим, каким он был прежде.

А за Севаном — к юго-западу — нагие горы в рубцах и складках, сухие и серые, будто слоновья кожа. Опускаемся вниз между Памбакским и Гегамским хребтами. Линии гор постепенно смягчаются. Невдалеке от дороги — механизированный карьер, здесь добывают беловатый камень, из которого научились делать необыкновенно прочное волокно, годное для различных тканей. Даже для тонких костюмных. Говорят, в павильоне Армении на ВДНХ можно увидеть такие ткани, но в магазинах пока еще не найдешь. Долог путь от изобретения до так называемого внедрения.

Навстречу, громяхая, мчатся машины с арматурным железом, доски. У дороги появились деревья, они выстраиваются двумя шеренгами. Ереван встречает — как большинство городов теперь — поднятыми приветственно стрелами башенных кранов.

13

В Киеве перед отъездом я встретился с главным архитектором Еревана Эдуардом Аветовичем Сарапяном и теперь позвонил ему. «Очень хорошо, — сказал он, — есть удобный повод для общего взгляда на интересующий вас предмет. Приходите завтра на лекцию в городской музей».

Было воскресенье; к двенадцати часам в лекционном зале музея собралось десятка три-четыре слушателей, — вероятно, очень малая часть «болельщиков», интересующихся перспективами городского строительства в Ереване. Впрочем, лекционный зал и не вместил бы больше; это одно из помещений «худжры», проще говоря — один из классов мусульманской духовной школы, находившейся при мечети. Мечеть, память недобрых времен сардарского владычества (теперь здесь разместились музеи — истории города и краеведческий), стоит на проспекте Ленина, напротив крытого рынка, законченного в 1952 году.

Мой друг — он побывал в Ереване тогда — очень хвалил это здание. Оно действительно эффектно и могло понравиться; но за прошедшее десятилетие многое изменилось, мы стали видеть иначе, и теперь крытый рынок представляется громоздким, тяжеловатым. Я побывал там по дороге на лекцию, и мне куда больше понравились горы винограда, яблок, дынь и персиков на прилавках, чем чугунные изображения этих плодов и всякой живности на отлично исполненных литых решетках-вitraжах.

По пути сюда я успел посмотреть еще кое-что и прежде всего, конечно, гордость нового Еревана — площадь имени Ленина.

Армении повезло. У ее строителей есть два сокровища: туф и наследие Таманяна.

Зданий, построенных А. И. Таманяном, не так уж много в Ереване. Но все, что он сделал здесь, было как бы ударом камертона. Однажды взятая сильная нота звучит и сегодня, когда Таманяна давно нет.

Широко образованный архитектор, вице-президент Петербургской Академии художеств, он очутился после революции в Тегеране, куда его занесли события и собственные сомнения, и вернулся на родину, чтобы строить. Он приехал в город, куда больше похожий на пыльную большую деревню, беспорядочно слепленную из камня, глины и сырцового кирпича. На тесных немощенных улочках позванивали колокольцами верблюды; женщины с ведрами толпились вокруг луж у водоразборных кранов. Благоустроенные дома можно было пересчитать по пальцам.

Александр Иванович Таманян был автором первого генплана реконструкции Еревана. Этот план, разработанный в 1924 году, оказался, в сущности, первым социалистическим градостроительным планом в нашей стране.

Таманян задумал и распланировал сердце города — площадь Ленина, но успел застроить лишь ее северо-восточную часть. Правительственное здание — оно очерчивает четверть большого овала площади — облицовано арктиским туфом, который принято называть розовым, хотя в действительности он имеет много оттенков — от сизо-розового до коричнево-красного, цвета жженой охры.

Сочетание этих оттенков придает новым домам Армении особенную живописность. Каждый камень стены кажется мазком, живым ударом кисти. Правда, тут есть опасность некоторой мозаичности, пестроты, если мазки положены неточно.

В этом смысле более благодарен другой материал, другое богатство Армении — колагеранский фельзитовый туф нежно-кремового, теплого тона. Он более однороден, светел и жизнерадостен. Этим камнем облицовано административное здание, очерчивающее другую, юго-западную, четверть овала площади.

Григорян, Израелян, Сарапян, Сафарян и Аревшатян — вот имена архитекторов, успешно продолживших замысел Таманяна. Глубокие аркады, плеск воды, опадающей в бассейн, контрасты света и тени, тепла и прохлады, сочетание величественности и уюта — все это сообщает площади особую привлекательность, приближает ее к человеку. Такой площадью, ее цельностью и размахом, ее жизнерадостным звучанием, ее самобытностью могла бы гордиться любая столица.

Когда Таманян приехал в Армению, в Ереване насчитывалось менее пятидесяти тысяч жителей. Работая над генпланом реконструкции, он исходил из расчета предполагаемого роста до ста пятидесяти тысяч. А к 1959 году население Еревана перевалило за полмиллиона. Город рос в таком темпе, как новые города Урала или Сибири. Планировщики и строители не поспевали за жизнью. Теперь в Ереване прибавилась еще сотня тысяч людей, а строительство ведется по генплану рождения 1951 года, рассчитанному на четыреста пятьдесят тысяч жителей.

Умение смотреть далеко вперед и считаться с естественным ходом жизни — необходимое качество для людей, занимающихся планированием. Необходимое — но не всегда присущее. Иным очень трудно оторваться от единожды принятых формул, нормативов и «средних» цифр.

Госплан Армении планирует увеличение ассигнований на жилстроительство по общесоюзной формуле прироста населения; между тем хорошо известно, что в Армении эта формула непригодна. Люди здесь особенно чадолюбивы и смотрят на детей как на ценнейшее богатство. Тому есть причины — многовековые гонения, бедствия, истребления...

Тем, кто понимает это, нелегко сладить с непонимающими. Все же сейчас в итоге борьбы мнений пришли к цифре в один миллион — таково предполагаемое население Еревана к 1980 году. Исходя из этой цифры, будет разрабатываться новый генплан. Об этом и рассказал собравшимся Эдуард Аветович Сарапян.

Когда он сказал, что к восьмидесятому году на каждого жителя Еревана придется по комнате, к стрельчатым сводам худжры вознесся дружный вздох. Однако Сарапян не ограничился обнадеживающими картинками будущего. Он говорил и о сегодняшнем дне: о строительстве новых массивов и реконструкции центра и о том, что город на восемьдесят процентов потребности обеспечен школами и всего лишь на пятнадцать процентов — детсадами и яслями. Что кинотеатров по норме необходимо иметь в шесть раз больше, а канализационных сетей — едва ли не вдвое. Что новые дома в Ереване строятся, в сущности, по тем же типовым проектам, что и в Москве (изменены лишь частности), так как и Москва и Ереван отнесены планирующими инстанциями к одному и тому же «четвертому климатическому району»...

Все это признаки «функциональных расстройств» планирования, досадный результат нарушения обратной связи в делах строительства.

Когда Сарапян закончил, ему стали задавать вопросы: «Долго ли еще будут пятиэтажные дома строить без лифтов, ведь наверху не одни молодые живут, там и состаришься», «Что с названиями, неужели фантазии не хватает? Вот есть в центре улица, называется зачем-то «Кривая», «Почему министерство строительства не дает гарантийные паспорта на жилые дома? Чувствуют, значит, что качество хромает?», «А что с внутриквартальной застройкой? Уходим на периферию, новые массивы строим, а в центре, отойди в сторону на десять шагов, — старье, сплошная глина», «Как будет отмечаться юбилей города, ведь скоро уже двести тысяч семьсот пятидесятилетие — тьфу, и не выговоришь, — так, может быть, стоит объявить юбилейную пятилетку, как следует подготовиться?»...

Неужели же Еревану без малого 2750 лет? Ровесник Вавилона, Рима... А ведь не похоже.

Если поинтересуетесь, вам покажут в историческом музее Армении каменную плиту с клинописью, найденную археологами на берегу Севана, — там упомянута крепость Еребуни, построенная урартским царем; а недавно на окраине города (на юго-востоке, холм Аримбер) раскопаны остатки этой крепости, относящиеся к восьмому веку до нашей эры. Вот как далеко тянется нить истории города!

Но — в отличие от Тбилиси — нить эта здесь незрима. Страницы каменной летописи сожжены, разбиты, погребены в земле; самый древний город нашей страны кажется с первого взгляда едва ли не самым юным.

Бродя по незнакомым улицам, поневоле отмечаешь взглядом новопостроенные дома. В Ереване я поймал себя на том, что ищу старье. Поначалу мне это удавалось плохо: я ходил по магистралям.

Говорят, Ереван — один из красивейших городов Советского Союза. Не стану ни подтверждать, ни отрицать. Могу лишь сказать уверенно: один из самых приятных и любопытных.

Прогуляемся вместе по его улицам. Для начала свернем с площади Ленина на улицу Амиряна — добротню и со вкусом застроенную, сплошь новую и в то же время удивительно обжитую. Пройдем мимо школы имени Чаренца; в зеленом газоне перед зданием стоит его бюст — собственно, не бюст, а возникающая из узкой каменной призмы голова поэта; здесь умеют делать такие вещи. Дойдем до проспекта Ленина,

постоим на углу. Налево — проспект полого спускается к ущелью Раздана. Направо — пологий подъем, замыкающийся вдали серым прямоугольником Матенадарана.

Это знаменитейшее на весь мир хранилище древних рукописей и книг. Гранитное здание как бы врублено в скалу, на которой пылает осеннее пламя деревьев. Не станем входить внутрь — это у нас еще впереди; поднимемся по крутым склонам на самый верх Канакерского плато — туда, где стоит опустевший постамент из темно-серого ереванского туфа.

Нет, постаментом это, пожалуй, не назовешь. Глухая, суровая безоконная башня тридцатипятиметровой высоты с ризалитами по углам, с массивной бронзовой дверью в полукруглом уступчатом портале, сплошь покрытом резьбой по камню. Внутри полагалось быть музеем. А наверху...

Надо высоко задрать голову, чтобы увидеть верх, где стояла статуя размером в шестнадцать с половиной метров. Теперь ее нет — к удовлетворению всех, с кем приходилось мне говорить.

Стоит внимательно посмотреть резьбу портала. Степанян и Мирзоян, замечательные резчики, покрыли наличник сплошной лентой узора, состоящей из девятнадцати соединенных кругов-розеток. На первый взгляд они покажутся вам одинаковыми. Но приглядитесь: все они различны по внутреннему рисунку, ни одна подробность не повторяется дважды.

Лейтмотив армянской резьбы — гранатовые ветви с плодами, виноградная лоза. Вариации беспредельно разнообразны. В армянской резьбе — быть может, как ни в одном другом искусстве, — выразилось неодолимое стремление к разнообразию — самое природное из природных свойств человека.

В Армении не любят симметрии. Даже чугунные круги-решетки вокруг деревьев на проспекте Ленина нарисованы несимметрично. Быть может, поэтому так неуместно выглядят здесь дома-близнецы в ново-строящемся массиве, хоть они облицованы сизо-розовым арктиским туфом и строятся, надо сказать, куда добротнее, чем во многих других городах.

Архитекторы современной Армении — дети своего народа; им так же свойственна любовь к разнообразию, как и армянским резчикам по камню. И они, наверное, задумываются над тем, как избежать монотонности в массовой новой застройке. Эдуард Аветович Сараян надеется на разновысотность — на Конде намерены ставить многоэтажные дома башенного типа вперемежку с малоэтажными. Наверное, это один из возможных путей — но лишь один.

Разнообразие, как неотъемлемое условие человечности, — общая для всех забота; надо, чтобы по улицам новых массивов было так же приятно прогуляться пешком, как по улице Карла Маркса или улице Баграмяна в Ереване. И чтобы захотелось, как на улице Таманяна, присесть и поглядеть вокруг себя.

Кажется, это лучшая из новых улиц, какие я видел где-либо. Тихая, непроезжая, замкнутая в конце подпорной стенкой (по серому камню стекает вода в бассейн, по сторонам две лестницы ведут в гору, на верху ее — тополя). Бульвар с дорожками зернистого красно-лилового песка, скамьи, подстриженные деревья. В начале улицы по сторонам — два девятиэтажных объема с лоджиями, к ним примыкают пятиэтажные дома, облицованные смугло-желтым фельзитовым туфом. Они скупо расчленены по горизонтали простым карнизом над окнами второго этажа. Они не изуродованы аляповатыми вывесками. «Дом моделей», «Кафе», «Воды — мороженое» — все это выполнено из небольших от-

дельных букв цвета тусклого серебра. Нет фонарных столбов; световые плафоны подвешены на растяжках, аккуратно ввинченных концами в стены. А ведь бывает сплошь и рядом иначе: одни построили, отделали, затем пришли другие, пробили дырку для подвески, желобок для электропроводки или еще чего-нибудь, замазали кое-как алебастром — так и осталось на веки вечные. Ничто, кажется, не способно привести меня в большее отчаяние, чем следы такого небрежения к «чужому» труду.

Нет, давно я не испытывал такой умиротворенности, как на улице Таманяна. Человечность, покой, солнечное тепло...

Но теперь мы с вами не на улице Таманяна, а на самом верху Канакерского плато, в парке Зейтун. Перед нами внизу прямая лента проспекта Ленина; он спускается к ущелью Зангу-Раздана (река имеет два противоположных имени). Перепад уровней между Канакером и берегами реки — около трехсот метров; наверху и внизу — два разных микроклимата: здесь прохладнее и суше, там влажнее и жарче.

Справа на северо-востоке — отроги Гегамского хребта, слева — рыжеватые возвышенности Апаранского плато. Город лежит в широкой ложбине, спускаясь к югу — туда, где в самой дальней дали встает над горизонтом двуглавая гора, носящая, как и Зангу-Раздан, два имени: Арарат, или, нежнее, Масис.

Иногда вы видите ее, как сейчас, в дымке марева, и ее вершины кажутся чуть темнее неба. В другой раз они будут сиять белизной в синеве. Куда бы, в какой конец Армении вы ни направились, повсюду вы станете искать эти вершины взглядом, забывая, что не отовсюду они видны. Потому что Арарат-Масис — это как бы душа Армении, его не отделишь от ее песен и сказок, не оторвешь от ее пейзажа, ее истории.

Если вы устали, можно посидеть на скамье в аллеях парка, сплошь усыпанных опавшими листьями (в старом Ереване, говорят, был один чухлый бульварчик).

Вечереет. Спустимся с Канакерского плато вниз. На проспекте Ленина бронзовеют чинары; пацан в школьной форме, встав на цыпочки и сдвинув назад фуражку, пьет родниковую воду из фонтанчика на углу. Женщина продает цветы — не то хризантемы, не то махровые астры, их полным-полно в туго набитой корзине, белеющей в сумерках. Дикий виноград оплетает фонарные столбы, добираясь до проводов; окна кое-где уже светятся, а фонари еще не зажглись. В газоне среди цветущего шалфея спит желтая пастушеская собака. Людской говор, шорох шин, красные искорки стоп-сигналов... Прекрасный предвечерний час в незнакомом городе: — никуда не торопиться, не знаешь, что ждет тебя за углом.

Свернем в незнакомую улочку, где двухцветный «москвич» кряхтит и фыркает недовольно — не может развернуться. Тут своя, особенная жизнь: сырцовые или каменные заборы, калитки, ступеньки вверх-вниз, туго слепленные боками дома; на покосившейся деревянной террасе под голой электролампой человек в майке читает газету. Соседки переговариваются, высунувшись из окон.

Сквозь все это и прорастает новый город. Сарапян рассказывал, что для участка под один современный дом приходится отселять по сотне семейств. Трудно. И все же — еще десяток, полтора десятка лет, и сардарский Ереван исчезнет бесследно. Местные люди подумывают, что следовало бы сохранить (кажется, в районе Конда) уголок старого города на память потомкам и для удовольствия приезжих любителей живописной старины.

В стране камня дороги торят навечно. Шоссе, по которому мы ехали, было ветвью Большой царской дороги, по которой каких-нибудь две с половиной тысячи лет назад гонцы «царя царей» эстафетой несли приказы из Парфии в Мидию.

Об этом стал рассказывать Викян Гайкович Хечумян, знаток и любитель армянской древности, как только мы выехали из Еревана на юго-восток. Перед нами открылось Аванское ущелье, и Викян Гайкович отвлёкся от древних времен, чтобы рассказать об огромных залежах каменной соли, обнаруженных здесь в прошлом году (пласт толщиной до двухсот метров). Затем он указал на обращенные к югу склоны холмов, поросшие рядами молоденьких, метрового роста деревьев. Было похоже на большой детский сад; оказалось, это часть гигантского сада, скорее — фруктового леса площадью девятьсот пятьдесят гектаров. Справа от дороги перемежались ряды абрикоса, персика, вишни; слева — молодые яблоньки. Викян Гайкович стал говорить, что все это — дело рук, вернее — души одного хорошего человека по имени Цолак Сафарян. Он задумал превратить нагие нагорья юго-восточнее Еревана в цветущий сад, откуда станут брать больше фруктов, чем дает теперь Араратская долина.

Сафарян предложил устроить в ущелье близ Дзорахпюра озеро площадью пятнадцать гектаров для орошения; теперь это уже делается. Выстроены поселки, где живут люди, вынянчивающие сад. Пошел всего лишь третий год как в борозды были положены первые тонны абрикосовых косточек — и вот они, юные деревца, уже по-взрослому (и по-разному) встречающие осень. Одни — сизо-багряными красками листьев, другие — лимонной желтизной.

Я не знал, что персиковое дерево уже с трех лет дает плоды, но старится рано — к семи годам. Поэтому персики здесь сажают в шахматном порядке — между вишнями и абрикосами, — чтобы посадить новые в свое время. Рассказав об этом, Викян Гайкович стал говорить, что Сафарян хочет развести в будущем саду-лесу еще и фазанов, но вдруг умолк и тронул шефера рукой. Машина остановилась.

— Выйдемте, — сказал Хечумян, — хочу кое-что вам показать.

Дорога проходила в ложбине. Слева по склону тянулись рядами деревца, справа на гребне стояло сооружение из тепло-желтого туфа. Это был как бы портал с треугольным пологим фронтоном и полукруглой сквозной аркой, в проеме которой синело небо. Туда вели шестнадцать каменных ступеней.

Как только я ступил на первую, внизу арки показалось снежно-белое пятнышко в синеве.

— Идите не торопясь, — сказал Хечумян.

Но я и сам уже понял, что меня ждет: в проеме арки выросал Арарат.

С каждым шагом, с каждой новой ступенью он поднимался все выше, и вот наконец две белоголовые горы вписались в полукружие, вошли в него, как часть памятника. Потому что это и был памятник Егише Чаренцу, поэту призыва двадцатых годов, самому известному и любимому из молодых поэтов Советской Армении.

— Вы, я думаю, слышали, что с ним случилось, — сказал Хечумян. — Год смерти мы знаем — тридцать седьмой, а где могила — неизвестно. Вот и решили — вместо могилы...

В тени полукруглого свода — каменный стол и каменная скамья для путника; родниковая вода стекает, звеня, в долбленную чашу.

— Это сделал Рафо Израелян,— сказал Викян Гайкович,— наш талантливый архитектор.

Мы напились по очереди, наклоняясь к звенящей струе. Долина курилась утренней дымкой. Убегающий книзу склон холма был исчерчен строчками деревьев-подростков.

В полукружие арки врезано: «Весь свет пройди, светлее Арарата вершины нет... Егише Чаренц».

Еще тридцать километров отделяло нас от цели. Мы поднимались к Гарнийскому плато; горы вырастали впереди, мохнатые и рыжие, как верблюжьи горбы. Потом начался спуск в новое ущелье. На крутом повороте гладкошерстая бронзовая львица с кошачьей мордой и сосцами, как у римской волчицы, указывала поднятой лапой путь; на базальте цоколя было выбито: «Гегард».

Еще несколько минут, и впереди показался небольшой конический купол на круглом барабане с узкими окнами.

Пещерный монастырь Айриванк (или Гегард) был основан в четвертом веке. В десятом его опустошили арабы, в двенадцатом он снова поднялся и вот уже восьмое столетие стоит здесь свидетельством состязания человека с каменными горами.

Гегард стоит среди сурового и прекрасного хаоса седых базальтовых скал и столбов, среди пожара осенних деревьев, среди каменных диких башен, уходящих под самое небо, среди первозданности, неописуемой словами. Гегард побеждает горы, маленький среди их суровой огромности: он создан человеком.

Не знаю, как именно, каким способом изваяна, вырублена в нутре горы пещерная церковь — вся целиком, с куполом, колоннами, алтарем, без единого шва, без возможности поправить что-либо, сдвинуть, убавить или дополнить. Это сделали в 1283 году зодчий Галдзак и армянские каменотесы на месте пещеры со священным родником. Столетия утекли, родник не иссяк; в призрачном желтоватом свете, проникающем сквозь прорубленное в верху купола круглое отверстие, видны монетки, они лежат на дне выдолбленной в камне чаши, как и во многих других местах, куда хочется вернуться.

Теперь там лежит и моя монетка; вернусь ли — не знаю, а хотелось бы.

В Гегарде есть еще две скальные церкви; они соединены между собой «телефоном» — продолбленными в камне трубами, удивительно хорошо передающими звук, даже шепот. Вообще акустика этих сооружений своеобразна: голос отдается от камня, как от деки музыкального инструмента. Пение хора, должно быть, звучало здесь с органной, гудящей силой.

Есть еще здесь долбленные кельи, есть пещерные часовенки-«жаматуны» с язычками копоты и прилепленными к камню восковыми огарками; много «хачкаров» — каменных плит с рельефными крестами, окруженными тончайшей резьбой; конечно же, не найдешь двух одинаковых. Бесконечные вариации излюбленных армянских мотивов: переплетения лозы, виноградные кисти, гранат...

Хачкары — это как бы знак благодарности или задабривания наперед, они имеют, в сущности, то же значение, что и «матах» — обряд жертвоприношения, сохранившийся в армяно-григорианской церкви еще со времен язычества.

На все есть свои причины; церковь древней Армении противостояла напору византийской и римско-католической церкви, ей необходимо было обособиться. В годы, вернее, века, нашествий, горя и слез, когда во круг рушилось все, армянские монастыри оставались последним оплотом

единства; за их стенами укрывались поэты и летописцы, там хранились рукописи ученых, да и сами они сохранялись для будущих поколений как несгораемая страница каменной летописи, как воплощение созидательной силы народа. (Аветик Исаакян написал «Гимн армянскому зодчеству», там есть такие строки: «О, как верил народ мой страдающий вам! В скорби светел душою и сердцем высок, видел он, припадая к замшелым камням, в славе прошлого — будущей славы залог».)

Церковь Катогике монастыря Гегард построена в 1215 году. Мы вошли под ее невысокие своды. Было прохладно и тихо; в углу за столиком сидел нестарый монах. Он подсчитывал что-то на счетах, ведя пальцем по длинному столбцу цифр (вот они, крайности века, — на вселенском соборе в Риме все подсчеты вели две быстродействующие кибернетические машины). Горка тонких восковых свечей лежала на потемневшей серебряной тарелке. В глубине, направо от алтаря, висела на стене одинокая небольшая картина. Это была наивно исполненная масляными красками копия «Сикстинской мадонны» Рафаэля. В нижнем углу виднелась подпись дарителя и дата — «1947». Возможно, даритель был одним из тех, кто видел Сикстину в 1945-м, у нас в батальоне, в Дрездене или в Пильнице — как знать...

В монастырском дворе было пусто. Шаги отдавались гулко от истертых веками каменных плит. Ящерицы грелись на солнце под хачкарами. В глубокой закопченной нише висел на цепях котел. Здесь будут, как и полтысячи лет назад, варить освежеванного барашка. Сейчас его заколют на берегу шумящей горной реки, среди седых камней и пылания осени, окропят теплой кровью церковный порог, а затем сварят, не забыв о соли, перце и пахучих травах, и станут есть, запивая вином и угощая всех, кто окажется поблизости.

Хотели угостить и меня (барашка привезли трое: отец, мать и сын, с виду деревенские жители, колхозники), и я не прочь был остаться, поговорить о живучих суевериях, если бы позволило время. Но время перевалило за полдень, спутнику моему пора было возвращаться, а мне хотелось еще заехать в Гарни — посмотреть единственный в нашей стране античный храм, вернее — его развалины.

15

Крепость Гарни начиная с третьего века до нашей эры была летней резиденцией армянских царей. Ее разрушали дважды — римляне и арабы; она стояла над обрывистым глубоким ущельем на юго-западной оконечности Гарнийского плато — на оконечности, похожей на треугольный мыс, вдающийся в море воздуха с дальним берегом гор. Вход и теперь стерегут остатки крепостных стен из огромных, искусно отесанных базальтовых квадров, сложенных насухо и соединенных железными скрепами.

Из синевато-черного звенящего базальта высечен и гарнийский храм, раскопанный Николаем Яковлевичем Марром.

Я не бывал в Греции, не поднимался на Акрополь. Но теперь, думаю, многое там показалось бы мне знакомым. Я обошел вокруг храма, измерил его шагами: в ширину шесть, в глубину девять. Шесть на девять, классическая пропорция.

Девять крутых — не по нынешнему шагу — ступеней ведут с торца на высокий подиум, где стоят остатки ионических колонн, окружавших некогда целлу храма. Вокруг — среди сухой травы и осенних кустов миндаля — лежат капители, базы, камни стен и куски антаблементов. Желтые листья опадают на черный камень, на изваянные девятнадцать

веков назад изгибы аканта и виноградной лозы, как будто эллинские по форме, но чем-то уже сродные музыке здешней, мелодиям армянских камерезов.

«Мы — античная нация... — писал Микаэл Налбандян. — Что могут нам напомнить средние века? — Разрушение, плен, резню, кровь, огонь, голод, мрак и смерть...»

Гарни напоминает о другом. Гарни напоминает о тех временах, когда Армения простиралась от Каспийского моря до Средиземного, от Киликийского Тавра до Мидийских гор. О временах, когда здесь находили приют философы и ученые, бежавшие от преследований завоевателей-римлян. О временах, когда Армения, восприняв эллинскую культуру, обогащала ее своими красками, своими линиями, творческим духом своего народа.

За храмом несколько лет назад раскопали небольшое сооружение площадью три на три метра с мозаичным полом, выложенным из множества крошечных камушков — колотых самоцветов. Тут была баня — вероятно, храмовая, а может быть, и дворцовая. Оливково-зеленоватые, розовые, охристо-коричневые и черные пятнышки складываются в изображения странных существ — русалок мужского рода (эллины их называли ихтиокентаврами), у них бородатые лица, туловища рыб и лошадиные копыта. Там изображены еще попросту рыбы, дельфины, рыбаки, женщины — и надо всем этим греческая надпись: «Работали, ничего не получая». Это обращенная в будущее жалоба художников-рабов.

Неподалеку от бани обнаруживается врытый в желтую землю кувшин — «карас», — в таких не только держали вино, но и прятали в дни нашествий все, что можно было.

Направо по склону холма тянутся порыжелые виноградники; там в перепаханном грунте среди узловатых лоз нетрудно найти осколки амфор, кувшинов, тарелок. За каких-нибудь полчаса я набил карманы черепками, младшему из которых было куда больше тысячи лет. А старший — черный, «задымленный» — принадлежал к тем правременам, когда поливы еще не знали.

Пора была уходить. Я подшел к оконечности мыса. Далеко внизу пенился и шумел по камням Азат. Ущелье наливалось синевой, и оттуда, из предвечерней сини, вздымались горящие свечи тополей, по-особенному стройных тополей Армении. Орех, абрикос, миндаль и вишня пылали на все лады оранжевыми и пурпурными кронами. Крутизна тянула вниз, я взялся рукой за дикий камень, торчащий на самой кромке, и вдруг увидел, что весь он покрыт беспорядочными мазками, — так, уйдя в работу, художник оттирает, не глядя, кисть... Это была Армения Сарьяна; может быть, именно он отирал кисть об этот камень.

Держась за него, я наклонился над ущельем. Какое-то здание, маленькое отсюда, очень современное — прямоугольность, белизна и стекло, дом отдыха или санаторий, — стояло на скале у самой реки. Среди горячих красок осени прохладно зеленела луговина, по ней бродили, щипля траву, две лошади — вороная и белая. Как редко случается теперь увидеть коня — да еще такого, сказочно длиннохвостого и длинногривого, свободного!.. Я вспомнил о Карабахе и еще что Армения славилась лошадьми в библейские времена, об этом упоминает пророк Иезекиил.

Снизу донеслось едва слышное протяжное ржание. Хочешь не хочешь, пора была уходить. Рыжая безрогая телка, треща ветвями, вышла из кустов и остановилась, что-то жуя и глядя на нас волоком взором.

На обломке антаблемента сидела босоногая девочка в ситцевом выцветшем платье, с упавшей на смуглый лоб прядью волос. На земле

стоял кувшин с мутно-розовой жидкостью и два граненых стакана. Это было «мачари», семидневное молодое вино, оно щиплет язык и пьется легко, но после второго стакана вам хочется обнять весь мир.

16

Километрах в двадцати пяти на юго-запад от Гарни стоит райцентр Арташат, пограничный городок на берегу Аракса,— тоже единственное в своем роде место. Там был разыгран первый достоверно известный нам спектакль в истории театра народов СССР.

И поскольку этот спектакль — трагедия Еврипида «Вахканки» — перепелся удивительно тесно с одним из кровавых спектаклей общечеловеческой истории, не могу удержаться от того, чтобы не рассказать о нем подробнее.

Это произошло ровно две тысячи лет назад, когда Арташат был не райцентром, а столицей, где царствовал Артавазд, сын «царя царей» Тиграна Второго, построившего в прежней столице, в Тигранакерте, большой амфитеатр на склоне горы, на манер эллинских, для представления трагедий и комедий.

В шестьдесят девятом году до нашей эры римский полководец Лукулл разгромил Тиграна и разрушил Тигранакерт. Еще через шесть лет «царь царей» явился в стан другого римского полководца — Помпея, снял с головы царскую тиару и пал на колени. Армения была измучена войнами, старик Тигран (ему шел семьдесят шестой год) хотел мира — и добился его. Он прожил еще десять лет и завещал Артавазду жить в союзе с Римом.

Но это было не так-то легко. Армения — такова уж была ее историческая судьба — стояла на стыке враждующих сил («на грани двух разных, спорящих миров», — сказал Брюсов). Через нее — с юга, севера и запада — прокатывались волны разрушительных войн. Она стонала веками под гнетом Парфии, и на ее же земле Александр Македонский громил парфян. Затем появились римляне...

Положение Артавазда было сложным. В Армении не могли простить римлянам недавно пережитых унижений; их здесь считали варварами, уничтожившими культуру Эллады. Века парфянского владычества тоже не миновали бесследно: простой люд свыкся в конечном счете со многими обычаями и — если уж выбирать — предпочитал парфян и Элладу и Риму.

Сам Артавазд, как и весь «верхний слой» Армении, принадлежал к филэллинам. Он говорил по-гречески, сочинял на этом языке трагедии и выписывал ко двору актеров-эллинов; он любил театр и, может быть, сам выступал на сцене вместе с актерами, как сирийский царь Антиох или император Нерон. Впрочем, это всего лишь предположение; в конечном счете любой царь или тиран — в своем роде лицедей, играющий на сцене истории.

Царь Артавазд, надо сказать, играл свою роль довольно ловко. Он хитро лавировал между Римом и Парфией, пока это было возможно, сближаясь то с теми, то с другими, обещая каждому союз и военную помощь.

Когда римляне затеяли очередной поход на парфянскую столицу, Артавазд лично явился в лагерь римского полководца Красса, чтобы заверить его в своей преданности; он даже предложил ему идти на Парфию через Армению. И в то же время он вел осторожную игру с парфянским царем Ородом.

Красс повел свои легионы на парфянскую столицу по кратчайшему пути — от Средиземного моря на восток, через Сирию и Месопотамию;

и здесь, под арабским городом Карры, невдалеке от южной границы Армении, разыгралась битва, вошедшая затем во все военные пособия по тактике и стратегии (это был первый в истории пример стратегического отступления с последующим контрнаступлением.)

Командующий парфянской конницей армянин Сурен, отступая, заманил римлян в пустыню, измотал их тяжелым походом, а затем обрушился на них свежими силами, окружил и разгромил.

Разгром был по тем временам ужасен — двадцать тысяч убитых, десять тысяч захваченных в плен. Выжженная солнцем пустыня под Каррами была усеяна непохороненными. Сам Красс — как повторялось не раз в подобных случаях — пытался бежать с небольшим отрядом телохранителей в сторону Армении, но был на пути окружен, тяжело ранен в бою, а затем убит.

Марк Лициний Красс — о нем стоит сказать несколько слов — был очень характерной фигурой. Он делил с Цезарем и Помпеем власть над тем, что еще недавно именовалось республикой, а теперь становилось огромной империей. Рим к тому времени покорил Сицилию, Галлию, Сардинию, Корсику, Испанию, Карфаген, Грецию, Македонию, проник в Сирию, Малую Азию, Иудею, Египет. Рим разбухал и ширился, кичась могуществом и загнивая неправедными богатствами.

Зло порождает зло, вражда — вражду. В Риме царили насилие и ненависть солдафонов к «образованным», процветало взяточничество и воровство. Римский историк Саллюстий писал: «Каждая сторона все, что могла, тащила себе, рвала, грабила... Государство управлялось по произволу немногих...» Впрочем, сам Саллюстий — он занимал высокие посты в империи — был лихоимец настолько наглый, что его пришлось судить. Но суд по ходатайству свыше оправдал его, ограничившись конфискацией денег на постройку очередной дачи для Цезаря.

Триумvir Марк Лициний Красс был взяточник из взяточников, вор из воров. Он по свидетельству Плутарха, «добыл свои богатства из пламени пожаров и войн, пользуясь общественными бедствиями как средством для скопления огромных барышей».

Разживаться он начал на проскрипциях диктатора Суллы, присваивая себе имущество арестованных и казненных, — это было нетрудно в Риме. Собираясь в поход против парфян, он завернул по пути в Иудею, стащил из иерусалимского храма всю золотую утварь, загреб храмовые деньги и прихватил в придачу штангу червонного золота весом около семисот фунтов.

Плутарх оценивал его состояние в семь тысяч сто талантов. Наш ученый В. Д. Блаватский приравнивает эту сумму к доходам от девяноста пяти тысяч человеко-лет труда рудокопов в римских серебряных рудниках.

Но и этого было мало Крассу. Получив под свое управление Восток, он задумал еще разжиться на грабеже парфянской столицы, да не вышло...

Убив Красса, парфяне отрубили ему правую руку и голову с крутым, как бульжник, подбородком, низким лбом и мелко вьющимися короткими волосами, зачесанными наперед (теперь такая стрижка входит в моду, парикмахеры почему-то называют ее «канадская полечка»).

Затем глотку Крассу — в отместку за ненасытность — залили расплавленным золотом, насадили голозу на копье и... повезли в армянскую столицу, в Арташат.

Повезли же ее туда потому, что именно там в это время находился парфянский царь Ород. Хитроумный Артавазд, учтя обстановку, успел заключить союз с парфянами и теперь для упрочения союза выдавал свою сестру замуж за наследника парфянского престола.

В Арташате шли пышные приготовления к свадьбе. Торжество готовились украсить театральным представлением в царском дворце силами царских актеров. Артавазд выбрал к случаю трагедию Еврипида «Вакханки» — и выбрал, как мы увидим, не случайно.

В этой трагедии Еврипид рассказывает, как мифический бог вина и веселой любви Дионис пришел из Азии в Фивы, сопровождаемый пляшущими вакханками. Здесь он напускает на царя Пентея вакхические чары, заставляет переодеться женщиной и уводит на склоны Киферонских гор.

Вакханки тем временем чаруют мать Пентея, Агаву. Закружив ее в плясках и доведя до иступления, они заставляют ее принять участие в оргии, где убивают ее собственного сына. Царя Пентея, переодетого женщиной, разрывают заживо, а одуревшей матери кажется, что убивают не то льва, не то оленя. Насадив голову сына на тирс, она возвращается в Фивы; здесь чары Диониса рассеиваются и несчастная осознает себя сыноубийцей.

Роль Агавы исполнял в спектакле любимый актер Артавазда Язон Траллийский (в те времена женщины не допускались на сцену). И вот когда он произносил трагический монолог, держа на тирсе бутафорскую голову Пентея, в зале появился парфянский сатрап Силлакес. Низко склоняясь перед рыжебородым Ородом и Артаваздом, он достал из мешка и швырнул на подмостки голову Красса.

О том, какой это произвело эффект, говорить не приходится. Выражаясь по-современному, искусство здесь так связалось с жизнью, что теснее некуда.

17

От этого спектакля, упоминаемого Плутархом, ведет начало армянского театра историк Георг Гоян. В двухтомном труде, опубликованном лет десять назад, он тщательно прослеживает и убедительно доказывает непрерывность существования театра в Армении на протяжении двух тысячелетий.

Это значительная и полная смысла поправка не только к истории мирового театра, но и к истории мировой культуры в целом.

Валерий Брюсов справедливо заметил, какое огромное значение имеет армянский мир для всего культурного человечества. Он говорил, что знакомство с армянской культурой заставляет перестроить наши воззрения на взаимоотношения Запада и Востока.

Работа Георга Гояна убедительно подтверждает эту мысль. Ведь до последнего времени история мирового театра начиналась с Греции, затем шел Рим, а за Римом возникал неосвещенный провал емкостью в несколько столетий, после чего историки как ни в чем не бывало продолжали изучение на материале европейского средневекового театра.

Впрочем, такой подход лишь отражал неверные общен исторические взгляды, согласно которым средоточие духовной жизни нашей эры отыскивалось в одной лишь Европе.

Так называемый «европоцентризм» ограничивал кругозор науки; он мог придать спеси, но знаний не придавал. Держа ножку циркуля где-нибудь в Италии, ученые очерчивали из этого центра магический меловой круг, за пределы которого не считали полезным заглядывать.

В 1945 году я встретил в Дрездене крупнейшего знатока живописи, почетного доктора нескольких университетов. Когда я стал говорить с ним о русском искусстве, он вопросительно приподнял брови. Ему не был известен ни русский восемнадцатый век, ни девятнадцатый, ни двадцатый. Может, он и притворствовал по злобе, но не один он мог тогда похвастать неведением. И теперь, я уверен, не перевелись на Западе про-

свещенные европоцентристы с громкими учеными званиями и нешироким кругозором.

В этом есть и наша вина; мы издавна не умеем знакомить мир со своими культурными богатствами.

В 1909 году Блок пишет матери из Венеции: «Здесь открыта еще международная выставка, на которой представлена вся современная живопись (кроме России).— И добавляет:— Общий уровень совершенно ничтожен, хотя выставлен почти весь Штук, Цорн и Дегаз...»

А ведь мы имели в 1909 году великолепных живописцев! Недавно я встретил итальянского литератора, живо интересующегося русским искусством; Врубель был для него откровением: он действительно не знал, да и откуда?..

Иногда, вдаваясь в мечты, я составляю в уме список для выставки, которую условно назвал про себя «Сто шедевров». Я бы, пожалуй, смог укомплектовать ее, взяв по одной вещи у каждого, начиная с Рублева и кончая Сарьяном, Кончаловским, Чуйковым... Я не пропустил бы ни одного этапа, ни одной вехи — как это сделано в небольшой, но прекрасной картинной галерее Армении, где можно проследить весь путь, пройденный и армянской и русской живописью. Вот была бы выставка! Провести бы ее по столицам Европы, а потом издать тиражом побольше альбом хороших репродукций с толковым текстом на нескольких языках...

Все это, впрочем, всего лишь мечты, оставим их; вернемся покуда к царю Артавазду и его дальнейшей судьбе.

Через девятнадцать лет после описанного спектакля новый римский триумvir Марк Антоний хитростью заманил Артавазда в свой лагерь и объявил его пленником. Армянского царя заковали в серебряные цепи и повезли в Египет, где он должен был украсить собой триумфальное шествие Антония.

Марк Антоний отличался от Красса известной неустойчивостью натуры, склонной к романтическим неожиданностям. Полюбив египетскую царицу Клеопатру, он так накуролесил, что задал пищу поэтам и драматургам на много столетий вперед.

Триумфы римским полководцам устраивались лишь по решению сената. Антоний наплезал на это; он ведь не остановился перед тем, чтобы бросить на произвол судьбы римский флот ради Клеопатры. Короче, он устроил себе псевdotриумф в Египте.

Клеопатра сидела на высоком золотом троне под балдахином, наблюдая триумфальное шествие, где должны были провести армянского царя в цепях. Антоний объявил Артавазду, что дарит его египетской царице, но обещал ему жизнь, а может быть, и свободу, если тот встанет перед Клеопатрой на колени, назовет ее «царицей цариц» и попросит ее милости.

Старик (Артавазду было за шестьдесят) вроде бы отказался. Так или иначе, через полгода ему отрубили голову. А его столица Арташат (Плутарх называл ее «Карфагеном Армении») была сожжена позднее нероновскими легионами. Император Марк Аврелий разрушил ее дотла.

Сколько я могу судить, Георг Гоян несколько идеализирует Артавазда; возможно, ему нравится, что этот царь любил театр и даже сам писал трагедии. Вернее было бы все же предположить, что тут наложило свою печать время, когда Гоян работал над книгой. Полтора десятка лет назад как-то не принято было хулить царей; некоторые очень крупные художники готовы были даже кровавую опричнину изображать как некое абсолютное благо.

Георг Гоян стремится представить Артавазда просвещенным, умным,

смелым, красивым, деятельным — словом, образцом лучших свойств. Между тем летописец пятого века Мовсес Хоренаци — его называют «отцом армянской истории» — писал иное: «Артавазд не совершил никакого подвига мужества или храбрости. Он весь был предан яствам и питию; бродил, блуждая по болотам, по чашам тростников, по крутизне, охотясь на онагров и кабанов, не заботился ни о мудрости, ни о храбрости, ни о доброй памяти; служитель и раб своего чрева, он утучнял только его».

Кому же верить? Не призвать ли в судьи народную поэзию как выразительницу окончательной правды?

В Армении существовала легенда, будто закованный Артавазд не убит, а находится в плену у дэвов — злых духов — и заключен в пропасти Арарата. Верные псы царя стремятся освободить его, они грызут и грызут цепи, но раз в году, в страстную пятницу, армянские кузнецы ударяют молотами — и оковы крепнут вновь.

Иоаннес Иоаннисян (Брюсов назвал его народным певцом, создателем новейшей фазы армянской поэзии) так передает дух легенды:

Бей молотом по наковальне, кузнец!
Бей молотом, звенья да крепнут цепей!
Врага ненавистного звенья цепей!
Бей молотом по наковальне, кузнец!..

Он, мстительный, хочет вернуться опять,
Чтоб яд смертоносный страданий своих
По лону земли без конца разливать,—
Но крепко он стиснут в цепях роковых.

Пусть верные псы те оковы грызут,
Грызут беспрестанно оковы царя,—
Страдания твои, Артавазд, не пройдут,
Последняя в мире — далеко заря!

Твоей обессиленной злобы порыв
Под молотом нашим опять упадет!
Мы верим: наш край еще будет счастлив
И грешный народ еще благо найдет!

Но, если будем подобны камням,
Расслышать не сможем призывов души,—
Спасенья купель не откроется нам:
Наш молот тогда, Артавазд, сокруши!

Когда перестанем мы молотом бить,
Вы, псы, разгрызите железо оков:
Пора наступила — царя отпустить,
Он ринется в мир, и жесток и суров...

Тут я всей душой на стороне легенды и готов повторить за поэтом:

Бей молотом, бей неустанно, кузнец!
Бей молотом, звенья да крепнут цепей!
Царя ненавистного тяжесть цепей!
Бей молотом, бей неустанно, кузнец!

Неожиданность — вот что особенно привлекает в незнакомом городе. Неожиданным был для меня памятник Давиду Сасунскому, поставленный недавно на привокзальной площади в Ереване.

Я собирался в Лениканан и поехал к вокзалу в трамвае. Сойдя на остановке, я позабыл, зачем приехал. Я ходил вокруг памятника и цокал языком, изнывая от желания поделиться хоть с кем-нибудь неожиданной находкой. И было удивительно, что люди торопятся по своим делам и проходят мимо.

Мне кажется, это лучшая конная статуя, поставленная у нас за столетие, а может быть, и больше.

Впрочем, слово «статуя» здесь не подойдет, оно предполагает неподвижность, статичность; а тут надо говорить о полете.

Памятник посвящен герою народного эпоса, повествующего о борьбе против арабского ига. Давид привстал в стремени на вздыбленном — нет, летящем коне; он отмахнул обеими руками назад тяжелый меч, «меч-молнию», его грудь обнажена, плащ отнесло встречным ветром, тугие завитки волос упали на лоб, нахмурены грозно брови. Куррик-Джалали, его верный конь, летит над бездной, как и должно лететь сказочному коню, одним прыжком переносящему всадника через Севан.

Он вот-вот оторвется от серой скалы; оттуда, сверху, водопадом льется вода из полуопрокинутой копытом бронзовой чаши. Это — по замыслу скульптора — переполненная чаша народного терпения, а внизу, у подножия памятника, — море народных слез. Но дело, конечно, не в прямолинейной символике.

Впервые вижу памятник, где вода — не просто зеркало или элемент фонтанно-декоративного украшения. Плеск истекающей из чаши струи звучит, как голос рассказчика; ее непрерывное падение сверху вниз разительно усиливает впечатление порыва, бесстрашного полета всадника и коня над бездной.

Пластика памятника великолепна. Она далека от мелочного правдоподобия; все здесь полно выразительности, «микеланджеловских» неправильностей, все подчинено мысли. Волны могучих мышц перекачиваются под кожей коня, его ноздри раздуты, выкачены глаза. Его грудь, быть может, чуть более широка, чем бывает, копыта чуть более тяжелы, а хвост слишком длинен — но это лишь с точки зрения учебников анатомии или ветеринарии.

Налюбовавшись памятником в целом и частностях, я вдруг заметил, что конь летит без уздечки, без поводов, и подумал, что так ведь и быть должно, — к чему повод и уздечка верному помощнику Давида? Нужны ли сказочному коню подковы? Их тоже нет. Есть высшая правда, есть поэзия, есть большое искусство, проникающее куда глубже поверхностного правдоподобия.

Кое-кто удивлялся одежде Давида, его пастушеским штанам, обшитым по бокам козьей шерстью — сверху донизу, на манер ковбойских. Ерванд Кочар, автор памятника, говорит, что Давид и его земляки-горцы носили такие штаны и что именно отсюда, через арабов — через Северную Африку, Испанию, — этот вид одежды был занесен за океан. Не знаю, так ли, но гипотеза о происхождении ковбойских штанов показала мне очень занятной.

Я побывал в мастерской Кочара; хозяин оказался в отъезде, жена его гостеприимно позволила мне посмотреть работы и рассказала что могла.

Она из тех многих женщин-подруг, на чью долю пришлось ранняя седина и терпеливое ожидание. Ерванд Кочар беспричинно отсутствовал пять лет и вернулся оглохший на одно ухо — разумеется, на левое (как бывало, если твое дело не вел левша).

Это, на мой взгляд, очень интересный, мучительно ищущий художник. Он окончил в 1921 году Московское училище живописи, ваяния и зодчества; А. В. Луначарский направил его преподавать в Тбилиси, от-

туда он попал в Париж и вернулся в Армению вместе с Аветиком Исаакяном. В мастерской у него висят живописные и графические работы, но сильнее он все же в скульптуре. Я видел впечатляющий эскиз памятника полководцу пятого века Вардану Мамиконяну (там все четыре копыта коня в воздухе, он летит, едва касаясь брюхом клубящейся пыли), видел строгий эскиз статуи Анания Ширакаци, математика, в седьмом веке утверждавшего, что Земля кругла (вспомним, что в это время ученые мужи Европы не сомневались, что она плоска, как стол).

Надо побывать в Матенадаране, чтобы представить, как велик вклад армян в мировую сокровищницу культуры. Там собрано уцелевшее, с трудом сохраненное, спасенное из пылающих библиотек, унесенное в годы изгнаний. Там вы найдете самую древнюю в мире таблицу четырех арифметических действий, увидите алфавиты исчезнувших с земли народов, армянские рукописи девятого века на грубо выделанной телячьей коже и первые книги, отпечатанные на бумаге в Венеции, где изгнанники основали в 1512 году первую армянскую типографию. Вы узнаете, что еще в пятнадцатом веке армянские ученые заметили лечебные свойства плесени и сформулировали закон о сохранении вещества. Вы увидите библию, которую называли позднее «царицей переводов»; французский ученый Лакроз восхищался красотой, изяществом, точностью ее текста. (Многие произведения античной литературы пропали бы бесследно, если б не сохранились армянские переводы.)

Сокровища Матенадарана необозримы (около двадцати пяти тысяч одних рукописей, из них десять тысяч армянских). Есть тексты, которых еще не коснулась рука исследователя. И до сих пор армяне со всех концов земли шлют в Матенадаран разметанные по белу свету древности.

Повседневным посетителям открыта лишь самая малая часть богатств; выставка невелика, но достаточно разнообразна, чтобы обрисовать общую картину. Я видел там прелюбопытную «авторучку» двенадцатого века, стеклянную, с шариком-резервуаром для чернил; видел расписные турецкие фирманы, рукописи Авиценны, Алишера Навои, собственноручно подписанный указ Наполеона о награждении орденом офицера Пьера Шамбо... Видел рукопись весом в тысячу двести килограммов — на каждый лист ушла шкура теленка, а всего их семьсот (армянские беженцы разделили ее пополам, чтоб спасти в трудный час; половину унесли, вторую зарыли в Арзруме. Нашли ее русские офицеры). Видел и самую маленькую, пятнадцатого века, она весит восемнадцать граммов...

Но если бы спросили, что более всего поразило меня там, я бы, пожалуй, ответил — Торос Рослин. Этот художник-монах в 1285 году украсил рисованными заставками книгу «Чашоц», написанную царем Киликийской Армении Гетумом Вторым. Рискну сказать, что эти работы по жизненности, по воздушной тонкости письма значительно опережают европейское Возрождение. Я был поражен, обнаружив моделирование объема полутонами и рефлексы, утвердившиеся в искусстве Запада намного позднее.

Миниатюры Тороса Рослина редкостно красивы по колориту: сочные краски — пурпурные, синие, золотые — сочетаются там с мягкими лиловыми и зеленоватыми. Средневековой жесткостью и не пахнет. Не пахнет и влияниями персидской миниатюры.

Вот ведь откуда тянется нить к сегодняшнему искусству Армении!

В вестибюле Матенадарана я видел превосходную современную мозаику, где изображен эпизод Аварайского сражения. Это настоящая мозаика, не претендующая на подражание масляной живописи. И вас никак не смущают огненно-красные или ярко-желтые кони, мчащие всадников навстречу персам, что восседают на боевых слонах.

Памятники, памятники... Кажется, не хватило бы места на армянской земле, если бы отметить памятниками всех ученых и поэтов, всех героев, все бесчисленные битвы и сражения со времен нашествия Тиглатпаласара и до последних лет. А нужно ли это? Наверное, все-таки нужно. Потому что без прошлого нет будущего и память о мертвых неотделима от уважения к живым.

Но памятники бывают разные. Я не видел ничего скромнее, проще и сердечнее памятников-родников на дорогах Армении. Не знаю, кто именно это придумал; говорят, колхозники села Паракор Эчмиадзинского района поставили первый такой памятник героям Отечественной войны, своим односельчанам. Впрочем, слово «поставили» неточно; эти памятники как бы вырастают сами, возникают естественно из какой-нибудь придорожной скалы, из глыбы дикого камня. Они невелики; гладко отесанная плита с долбленной чашей или ниша под небольшим фронтоном, каменная скамья — и все разные, непохожие. Теплый камень и студеная неиссякаемая струя, как символ вечного течения жизни. У таких памятников останавливаются, чтобы утолить жажду, посидеть, подумать.

Вы можете увидеть их в Арташатском, Талинском, Артикском, Алавердском, Степанаванском районах — на перекрестках дорог, на площадях райцентров. Рафо Исраелян — автор памятника Чаренцу — и другие армянские зодчие помогли воздвигнуть много таких знаков народного уважения к памяти павших.

Не лучше ли это какой-нибудь гипсовой или бетонной (а то и позолоченной) фигуры стандартного производства, в каске и с автоматом? Не говорю уже о покосившихся пирамидках, о поросших сорной травой братских могилах, о мусорных свалках на месте гибели тысяч людей.

Недавно генерал Чумаченко, подполковник Улыбышев и майор Анненков рассказали в «Красной звезде» о сиротливых солдатских могилах вокруг Волгограда, о заброшенных и запущенных могилах, вблизи которых «...веселятся юноши и девушки, чьи отцы и старшие братья отдали жизнь за счастье будущих поколений». Грустный рассказ.

В прошлом году Финляндия объявила международный конкурс на памятник Сибелиусу. В конкурсе участвовало немало скульпторов и архитекторов из разных стран; первое место завоевал проект под девизом «Душа музыки», автором оказалась Эйла Хилтунен. Я видел этот проект, он произвел на меня глубокое впечатление и пробудил множество мыслей.

Представьте себе поляну в народном парке Хельсинки, среди сосен, дубов и темных елей. На поляне, в зеленой глади травы, — треугольный пруд, на берегу которого — три плакучие березы.

Впрочем, это лишь издали, лишь на первый взгляд покажется вам березами; на деле же это и есть главная часть памятника, его основное сооружение. Я говорю «сооружение» потому, что это сделано из нержавеющей стали, как бы изваяно из множества труб, похожих одновременно и на стволы, покрытые берестой, и на свисающие печально ветви, и на органые трубы. Они свисают к траве, отражаются в тихой воде пруда и в то же время возносятся вверх, как звуки музыки, рожденной на этой земле, в окружении лесов и озер.

Это необычный, непривычный памятник. Один журналист, беседуя с председателем жюри конкурса профессором Хансеном, не без колкости спросил:

— Значит, можно обойтись без цоколя, музыкальных инструментов и вдохновенной позы?

— Эйла Хилтунен не занимается производством устаревших стандартов, — ответил Хансен, — и не копирует с копий... Она отлично понимает,

что народная символика не обязательно должна быть иллюстративной, дословной; что в данном случае необходимо было искать синтетическое образное решение, выраженное языком современной пластики; что памятник, не считающийся с пейзажем, атмосферой, пространством, небом, природой (я бы добавил — и временем), пусть он даже красив, может оказаться далеким от произведения подлинного искусства.

В самом деле, вернее ли было бы, если б на этой поляне поставить бронзовую или каменную фигуру Сибеллиуса, автора «Финляндии», любимого народного композитора, — в пиджаке или пальто, с дирижерской палочкой или без, вдохновенно вслушивающегося или пишущего? Не знаю...

В искусстве нет и не должно быть всеобщих рецептов. Но есть вещи, заставляющие думать, волнующие. и есть произведения хоть и умелые, но холодные, бездумные. Есть летящий Давид Сасунский и есть Хачатур Абовян, вельможено стоящий на цоколе в сюртуке и накидке, похожей на римскую тогу; не припомню, чем он отличается от Грибоедова, стоящего на таком же цоколе в Тбилиси. Кажется, Грибоедов стоит без накидки.

Мариэтта Шагинян вспоминает о композиторе Спендиарове — «маленький человек, с круглым личиком, глядел сквозь очки, улыбался детской улыбкой...». Но у скульптора, что поставил памятник Спендиарову подле оперного театра в Ереване, были свои представления о величии (вернее, не свои, а взятые взаймы у давно минувших времен). Надо вчитаться в надпись, чтобы понять, кто именно восседает в бронзовом кресле — Спендиаров или Туманян (у театра стоят два на диво одинаковых памятника).

19

Поезд уходит на юго-запад; справа виднеется Арагац, слева дымчат заводы. Мимо окон плывут окраинные дома среди садов, по-весеннему зеленые гряды огородов, красноватые плантации убранных хлопчатника, побурелые виноградники. Стадами стоят обмолоченные скирды. Полустанок из розового арктического туфа появляется на миг, и вдруг вдаль — прямо перед окнами, во весь свой пятикилометровый рост — открывается двуглавый Арарат.

Желтое солнце висит высоко над его вершинами. Место высадки Ноя (старик, надо думать, причалил к вершине Большого Арарата) затянуто прозрачной дымкой. Белое стекает вниз по горе ледяными ручьями. Малый Арарат — удивительно правильной конической формы — облит снежной глазурью ровно до половины. К нему прилепилось концом длинное узкое облачко; кажется, что он курится дымом, как и положено вулкану.

Горные вершины Кавказа предстают перед вами как завершение, как девятый вал среди бури каменных волн. Арарат возникает без предисловий, он открыто стоит на ковре равнины, и в этом его особое, негрозное величие.

Равнина, которую принято называть Араратской долиной, — благословенный кусок армянской земли, хотя бы потому, что там ровно и не так уж много камней. Недостаток влаги пополнен людским трудом (каналы), а солнца здесь не занимать. Вот и сейчас оно заливает нежарким светом чисто вспаханные поля, скирды, виноградники, абрикосовые рощи. Тополя убегают вдаль, отмечая невидимые дороги, — ряды маленьких, желто горящих свечей, расставленных по равнине. Серо-зеленоватые купы деревьев смахивают на оливковые рощи, но это не оливы, это пшат — армянский финик, мучнистый, в коричневой коже.

Иногда тополя приближаются к самым окнам, все наливается трепетным желтым светом; затем они расступаются, открывая седую солонцовую гладь в кострах горящих кустов тамариска. Листьями этого растения кормится кошениль — насекомое, из которого некогда добывался пурпур. Эта яркая и стойкая краска библейских времен годилась для тканей, камня, бумаги, стекла и даже применялась как лекарство. В Матенадаране сохранился дневник Саака-миниатюриста, где он описывает рецепты приготовления пурпура для разных целей. Было время, когда пурпур ценился вровень с золотом; одни называли его византийским, другие — армянским.

Проплывает какое-то село — сухие стебли кукурузы, ульи, увитые виноградом айваны, пирамиды кизяка... Розовый камень, черепица. Прохладно-зеленая с голубизной стоит рядами капуста — тугие, огромные вилки на оголенной земле — и снова серебро солонцов, пурпурные кусты тамариска, черно-белая пасущаяся баранта...

На станции Октябрь продают ведрами виноград, крупные помидоры, яблоки. В одежде женщин — все краски осени. Это все еще Армения Сарьяна. Но есть и другая; поезд свернул на север — вскоре она появится и вступит в свои права.

Облачко над Малым Араратом вспухает, множится — и вот уже затянуло обе вершины. Правее сгрудились сизые тучи; где-то над Турцией бушует гроза.

Это было в день высшего напряжения кризиса в районе Карибского моря. Те, кто оказался тогда на Западе, рассказывали потом о страхе, охватившем людей; о всеобщей тревоге, отчаянии, о панике на биржах Италии, о вдруг помрачневшей Франции, о внезапно опустевших гостиницах, о парижанах, всерьез обсуждавших вопрос — куда, где укрыться...

Слушая их рассказы, я вспоминал безмятежное, удивительное спокойствие Еревана.

Должно же быть объяснение такому спокойствию. Беззаботность? Нежелание взглянуть в лицо фактам? А может быть, оно происходит от невозможности поверить, что мир стоит на краю бездны? Мы ведь привыкли жить будущим, верить в будущее.

Человек Запада теперь гораздо более склонен верить в близкий конец света. К этому приучили не только атомные испытания, но и глубокий пессимизм послевоенного искусства. Оно слишком уверилось в неизбежности зла.

Гроза и солнце... Когда поезд стал, донеслись отдаленные глухие раскаты. За станцией Аракс начался подъем. Два паровоза на сцепе, согласно пыхтя, тянут вверх. Земля все гуще засеивается камнем, все заботливее — чтоб не оставалось проплешин. И вдруг среди желтоватого камня — обмолоченные скирды, добротное длинное строение, должно быть — коровник; трактор с прицепом, ряды розовеющих домов. У станционного здания штабелями — бумажные мешки с цементом. Это Матара, с ее полями среди камней, с ее отвоеванными полями. Гряды вспаханной земли расчерчены клеткой неглубоких канавок, снесенные камни лежат холмами.

Бурливая речушка бежит с юго-запада поперек движению. Все больше камня, и он все крупнее. Камень складывается в курганы, в основания несуществующих памятников или остатки крепостных стен. И вот уже все окаменело вокруг: лишь изредка — кустики и белые солонцовые пятна. Но вскоре и они исчезают; натужно пыхтя, паровозы тянут нас в каменную страну. Все кругом будто посеребрилось. Фантастический, лун-

ный пейзаж. Острые серые изломы иногда подступают к самым окнам, иногда камни стоят торчмя, будто могильные памятники великанам-строителям, иногда громоздятся башнями, серо-серебряными от векового лишайника; под лишайником — темно-серый, почти черный вулканический туф.

И снова — наперекор всему — село, куски отвоеванной земли, расчерченной оросительными канавами и огороженной низкими каменными стенами.

В Ереванской галерее, в зале Сарьяна, висит его «Армения», написанная в 1923 году. В этой картине как бы сливаются все темы Сарьяна, его излюбленные мелодии. Хоровод женщин кружится там на плоской кровле деревянного дома, а вокруг собралось все, что мило сердцу художника, — горная река, древний храм, столбы базальтовых скал, пробегающие к обрыву деревья, быки в упряжке арбы, стройные тополя, черно-синяя баранта на зеленом пастбище, розовый камень, Арарат вдаль — словом, все, в то же время не все...

У Сарьяна — своя Армения, его живопись выражает давнюю мечту народа о цветущей земле. А вот эта, другая, серокаменная, суровая, трудная Армения выразилась не в живописи, а в творениях зодчих, камнерезов и скульпторов.

В одном из залов галереи — кажется, именно в сарьяновском — я увидел прекрасно изваянную из серого камня голову. Это был Шалапин, но не такой, каким привыкли мы его представлять; это был Шалапин стареющий и несчастливый — откинута назад голова, далеко устремленный взгляд, едва проявленные, как бы затуманенные черты лица и одна-единственная горькая складка у рта, рассказывающая обо всем.

Эту голову изваял в Париже Гюрджян, один из многих скитальцев — «харибов», рассеянных несчастьями по всему свету, но не забывающих ни на миг о родной земле.

Директор галереи любезно показал мне другие работы Гюрджяна, хранящиеся в запаснике. Их немало — около ста пятидесяти, это дар вдовы скульптора; Гюрджян умер недавно в чужих краях. Я видел там портрет Рахманинова — позеленевшая бронза, воплощенная грусть по родным полям. Видел беломраморную голову пианиста Добровейна — того самого, что играл Ильичу «Аппассионату». Видел «Юность», высеченную из черного базальта, и чудесный портрет французской актрисы Паскар, слегка подкрашенный, с нарисованными тонкими бровями, с морщинками увядания и умным, чуть насмешливым взглядом. Видел голову Анахит, древнеармянской богини любви и плодородия.

Я видел еще множество других даров — картин, офортов, скульптур, что стекаются со всего света в Ереванскую галерею в знак памяти и любви к земле, которую нельзя не любить, даже если она сплошь проросла камнем — вот так, как здесь, за станцией Кармрашен, где среди лунного дикого безлюдья бежит куда-то бетонный лоток самотечного оросительного канала и шагают опоры высоковольтной линии.

Овцы пасутся среди камней — бог знает что они там шиплют; из камня сложены низенькие укрытия для чабанов — на случай непогоды. Вдоль поезда стелется маслянисто-черная накатанная дорога, по ней бежит бензовоз. Справа по ходу, в каменном сером ущелье — река. И — неожиданный оазис: дом путевого обходчика, несколько тополей, лилово-розовые цветы...

За станцией Ани (ее название напоминает об еще одной древней столице Армении) все вокруг чуть смягчается — линии, краски. Камень исподволь желтеет. Мы спускаемся в долину реки Ахурян, петляющей между зеленоватых возвышенностей. Там, за рекой, земля будто бы та же, что здесь, — да не та, вся сшитая из небольших лоскутков, с темными

вспаханными заплатами. Отчетливо видно турецкое селение — плоские кровли, купы деревьев. На стерне пасутся коровы, черные и красно-бурые, с ленивым спокойствием они бродят у самой пограничной черты.

Где-то здесь СССР и Турция вскоре начнут строительство крупного водохранилища — общего для обеих стран, нужного той и другой стороне.

Осень бурет над Ахурьяном. Вдоль дороги сажают деревца. Мы подъезжаем к Ленинану. На запад уходит приток Ахуряна — Арпачай.

«...Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимой мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег...»

Вы, конечно, узнали строки из «Путешествия в Арзрум». Задумывались ли вы над этой тягой к «чужой земле», к путешествиям в другие страны? Простое ли тут любопытство или потребность куда более серьезная? «С детских лет путешествия были моею любимой мечтою...» Кто ж из нас не повторит эти слова и не пожалеет, что так мало видел? Век географических открытий был для многих счастливым веком, и та же извечная воля к выходу в неизведанное посылает теперь человека за пределы Земли, — в то время как сама планета все еще разгорожена и не так-то просто «въехать в заветную реку».

Я почему-то думаю, что конь у Пушкина был легкий, как бы крылатый, и явственно представляю, как весело он перенес его через пенный Арпачай. И еще я вспоминаю, как Пушкин описывает свое возвращение в Россию, где его первым делом встретила ругательная статья какого-то борзописца — из тех, кто нравственность смешивает с нравоучением и видит в литературе одно педагогическое занятие. Может быть, это была ругань насчет «Графа Нулина», а может быть, и другая; на долю Пушкина всякой ругани выпало вдоволь.

Всего лишь за год с небольшим до путешествия в Арзрум некий Б. Федоров на страницах «Санкт-Петербургского зрителя» наставительно осуждал слово «корова», как недостаточно возвышенное для поэзии, и упрекал автора «Евгения Онегина» в том, что тот называет благородных барышень «девчонками». А месяца три спустя М. А. Дмитриев огорчился на страницах «Атенея», что никак не может понять выражение: «Мальчишки коньками звучно режут лед». Он с трудом догадывался, что это означает: «Мальчишки бегают по льду на коньках». А уж такое, как «бокал кипит», «безумное страданье», «сиянье розовых снегов», — такое было ему вовсе непонятно. Он был против усложненной поэзии.

До чего же все-таки стара, однообразна и заразительна железная готовность судить и выносить скорые приговоры искусству — даже среди людей неглупых. Вот запись Пушкина:

«О «Цыганах» одна дама заметила, что во всей поэме один только честный человек, и то медведь. Покойный Рылеев негодовал, зачем Алеко водит медведя и еще собирает деньги с глазющей публики. Вяземский повторил то же замечание. (Рылеев просил меня сделать из Алеко хоть кузнеца, что было бы не в пример благороднее.) Всего бы лучше сделать из него чиновника 8 класса или помещика, а не цыгана. В таком случае, правда, не было бы всей поэмы: *Ma tanto meglio*». (Но тем лучше.)

В Ленинакане подвешивали воздушную сеть для первой троллейбусной линии. Шофер такси сказал, что — кровь из носу — к седьмому ноября должны закончить. Наверное, к празднику хотели поспеть и с бассейном на центральной площади, против здания горсовета.

Это водный партер на манер версальских, прямоугольный, восемьдесят пять шагов длины на двадцать ширины, с уступчатым каскадом и фонтанными форсунками в центре каждого уступа. Наверное, будет эффектно; готовятся к пробному пуску — заканчивают бордюр светло-серого камня, асфальтируют. На площади потрескивают костры, ездит взад-вперед тяжелый каток, постукивает компрессор, тархтят отбойные молотки. На тракторный прицеп грузят строительный мусор. Вокруг толпятся болельщики. Вечереет, а мне еще хочётся пройтись, взглянуть в лицо городу. Я знаю о нем всего лишь то, что была здесь прежде глухая пограничная крепость с гарнизоном, при крепости — полумертвый городок, назывался Александрополь, а теперь...

Вряд ли я удивлю кого-нибудь, сказав, что теперь тут действуют текстильный комбинат на пять тысяч рабочих, трикотажная фабрика, заводы шлифовальных станков, промышленных приборов, крупный мясокомбинат и проч. Я мог бы еще добавить о строящемся заводе электрохолодильников, но и это, пожалуй, не удивит никого.

Я снял номер в гостинице (у лестницы стоит бронзовый кудрявый пацан с лампионом) и отправился побродить.

На деревьях бульвара шумно совещались перед отлетом грачи. Под ногами бумажно шуршало. Пахло палым листом и дымом. В зеленеющем небе темнели шатры старой церкви. Зажглись фонари — лампы «дневного света», как в Москве или Киеве. Они тянулись вдоль старых и новых домов проспекта Победы, разделенного широким бульваром на две части, — справа новые вперемежку со старыми, слева одни старые, одноэтажные, невысокие.

Очень забавно выглядят старые дома Ленинакана, добротные сложенные из темно-серого туфа или базальта. Приземистые, крепкие, с вытесанными наличниками окон и дверей, с профилированными карнизами по всем правилам искусства, даже с архивольтами и фронтонами, но без крыш.

Да, действительно, покатых крыш на этих домах нету, а есть скрытые за каменными карнизами плоские глинобитные кровли. Но с первого взгляда кажется, что крыши были и что их снесло, одним махом сбрило какой-то непонятной стихией.

Все прояснится, когда вы узнаете, что в Александрополе испокон веку жили лучшие в Армении каменотесы и резчики; они уходили на лето далеко за пределы Армении. Строить в Александрополе, кроме своих домов, было нечего. Вот и строили себе каменные полужемлянки по всем правилам тогдашнего строительного мастерства; а крыши были тут ни к чему. Здесь привыкли к плоским; и до сих пор кое-где в деревнях Армении летняя жизнь течет на этих кровлях-балконах, как бы удваивающих площадь жилья.

Ну а новые... Новые дома в Ленинакане строят из арктического туфа, преимущественно пятиэтажные. В сумерках их не разглядишь, оставим на завтра.

Возвращаюсь к гостинице. Молодежь штурмует кинотеатр «Октябрь», там идет «Последний раунд». Это один из двух городских кинотеатров — на сто двадцать тысяч населения. Есть еще, правда, киноустановки при клубах, но по гудящей толчее видно, как легко тут попасть в кино.

В бассейн пустили воду, в ней отражаются голубые огни фонарей и

желтое пламя костра. Пахнет горячим асфальтом. Над площадью носятся тучей грачи.

В ресторане пустовато. Буфетчица тут похожа на ван-гоговскую «Арлезианку», на мадам Жину с ее крупным носом, зеленовато-смуглой кожей и тяжелыми веками. И вообще все вокруг чем-то неуловимо напоминает «Ночное кафе», хотя прямого сходства и нет. Может быть, пустоватость и фигура официанта в белой куртке, стоящего у буфетной стойки. А может быть, просто пришедшая вдруг мысль, что Ван-Гог мог бы сидеть тут, покуривая свою трубочку,— он ведь тянулся к чистым краскам и добрым людям.

Интересно, что бы сказали здесь, увидев, как он пишет ночное звездное небо и тополя, сидя в темноте у мольберта и заткнув за ленту шляпы полдюжины горящих свечей? В Арле его тотчас сочли сумасшедшим.

Наверное, он подарил бы этому ресторану несколько своих картин,— хотя бы ради того, чтоб убрали те, что висят на стенах. Вот ведь удивительная вещь — в стране замечательных живописцев стены гостиниц, кафе, ресторанов, клубов увешаны бог знает какой халтурой, вплоть до «мишек в лесу» поточного производства. А сколько добра заточено в запасаниках Ереванского музея и на складах Министерства культуры Армении!

В театре имени Спендиарова — в одном из любопытнейших театральных зданий страны, построенном Таманяном,— я увидел в фойе выкрашенный белой масляной краской муляж: он и она, полунагие, в псевдоизящных «классических» позах — заломленные и воздетые руки, он полулежит, она подъяла очи к небу... К гипсовому изделю привинчена жестяная фирменная табличка, как на экскаваторе: «Государственная скульптурная фабрика. г. Харьков». Так и написано. И это на родине Гюрджяна, в городе, где живет Ерванд Кочар!

Кроме того, в фойе стоят еще литые бронзовые торшеры из комиссионного магазина, фарфоровые нездешние вазы — утеха присяжного поверенного, и мраморный стол на изогнутых ножках стиля ампир.

А. И. Таманян строил в те годы, когда почему-то считалось, что по сценам новых театров должна свободно маневрировать кавалерия и двигаться танки. Как выяснилось позднее, танки сыграли свое на других театрах, а сценические подмостки обошлись как-то без них. Выяснилось также, что театр будущего — это вовсе не обязательно «массовое действо» с эскадронами статистов, и сейчас наибольшим успехом пользуются пьесы, где действующих лиц двое, трое, ну и в крайнем случае несколько.

Таманян построил своеобразную сцену с тремя порталами («трехчастную», в виде трельяжа), и не одну сцену, а две, соединенные тылом и обращенные к двум разным залам. Функция здания ясно выражена в его архитектуре — с двумя мощными полукружиями фасадов (амфитеатры) и возвышающейся посредине сценической частью. (Оригинальное пространственное решение Таманяна было отмечено золотой медалью на Всемирной выставке в Париже.)

Но занавесы на боковых частях сцены остаются теперь задернутыми; я смотрел балет Хачатуряна «Спартак» — вполне традиционную постановку с «натуральными» slashавыми декорациями, с кордебалетом в хлопчатобумажных туниках и солистами в штапельных пеплумах и хитонах. Было чуть-чуть смешно и грустно; таманяновская сцена ждала другого.

В октябре 1926 года Ленинан разрушило сильным землетрясением. Тогда-то и приехал сюда молодой архитектор Каспаров, окончивший Тбилисскую академию художеств.

Рубен Галусович прожил в Ленинакане тридцать шесть лет, знает здесь каждый дом и сам построил немало. На улицах ему то и дело приходится приподнимать шляпу, отвечая знакомым.

Мы побывали с ним на новостройках, где стоят кварталы пятиэтажных домов, похожих на ереванские; здесь строят по тем же типовым проектам. Вся Армения вместе с Ереваном отнесена планирующими инстанциями к «четвертому климатическому району», хотя достаточно взглянуть в энциклопедию, чтобы узнать, что республика «отличается исключительным разнообразием климатических условий».

Ширакское нагорье никак не похоже на Араратскую равнину; зима здесь суровая, с морозами до тридцати пяти градусов, а летние ночи прохладны. Пушкин назвал эти места «возвышенными равнинами холодной Армении» (он проезжал здесь в конце июля).

Между тем новостроящиеся дома, повторяю, ничем не отличаются от ереванских; здесь, как и там (и как в Грузии), к типовому проекту привязаны «этажеркой» открытые террасы, жильцы самосильно превращают их в закрытые, выгадывая десяток метров площади и безнадежно уродуя застройку.

В Ереване живет архитектор Бабаян, он предложил экономичный проект квартиры с передвижными перегородками; в жаркое время можно получить просторную веранду-лоджию, открытую, с летней кухней, зимой наружная остекленная панель возвращается из глубины комнаты на место. Перестановка вместе с передвижением внутренних перегородок отнимает всего три-четыре часа.

Проект одобрен Ученым советом Института искусств Академии наук Армении. Но скоро ли начнут возводить такие дома?

В принципе плановая система должна обеспечивать быстрое внедрение целесообразных проектов; на деле же перестройка нередко затрудняется многочисленными инстанциями. Новшества поощряются плохо, инициатива гаснет, все подчиняется отчетной цифре: столько-то квадратных метров жилья.

Что говорить, цифры впечатляют; за прошлый год в Армении сдано в эксплуатацию триста восемьдесят шесть тысяч квадратных метров (семь тысяч квартир) — масштабы небывалые. Но тем более пристально вглядываешься в новопостроенные дома. Их не сменишь, как устаревший станок или отслужившую машину. Они поднимаются, как образ грядущего, и поневоле задумываешься: каким же должен стать мир в эпоху промышленной стандартизации? Миром однообразия или миром разнообразия? На этот вопрос обязаны ответить наши строители, и ответ должен быть скорый. Потому что будущее строится сегодня.

В бедах и напастях, перенесенных Арменией за два с половиной тысячелетия, землетрясения занимают не главное место; но все же, как говорят геологи, «формирование горного сооружения Кавказа в целом» и по сей час не закончилось; подземные хлопоты природы время от времени отдавались и отдаются эхом в Армении.

Армянская архитектура (как и здешние люди) кореннее, плотнее, упористее грузинской. Когда в Ленинакане во время землетрясения рушились недавние постройки, старая церковь на центральной площади, сложенная из черного и красного туфа, продолжала стоять нерушимо, как стоит и теперь. Это — копия (или вольное повторение) храма из Ани, столицы Багратидского царства, основанной в конце восьмого века, а к шестнадцатому превращенной нашествиями в жалкую деревушку.

Рубен Галусович говорит, что в сильный бинокль можно увидеть развалины Ани. Мне это не удалось, но я видел другие развалины, вырази-

тельно свидетельствующие, как опасно пренебрегать законами природы и законами искусства.

Километрах в двадцати западнее Еревана, близ Эчмиадзина, есть возвышенность, с нее открывается дивный вид на долину и Арарат; на этом месте в седьмом столетии решили построить храм — памятник первому католикозу Армении Григорию Просветителю.

Это сооружение стало известно под названием «Звартноц» (то есть храм «бдящих сил», или ангелов). История его строительства нашла своеобразную трактовку в современной поэме Гегамы Саряна «Храм славы».

Там рассказано, как зодчий Овнан, получив задание построить храм «более прекрасный, чем собор святой Софии в Византии», бьется безуспешно над сооружением, — построенное за день само по себе рассыпается ночью. И вот Овнану являются во сне строители собора святой Софии. Они дают ему совет: «Если хочешь, чтоб стойкое зданье возвышалось, сияя в веках красотой, сердце ты положи в основание...»

Вняв совету, Овнан последовательно жертвует всем, что ему дорого, а под конец и сам бросается с вершины храма: «И внезапно он с купола бросился вниз, сердце родине отдал навеки. И остался тот храм, в блеске каменных риз, вечной памятью о человеке».

Спору нет, поэт имеет право на вольности, образные преувеличения, может отклоняться от «сухих фактов». Но если Овнан действительно бросился с купола вниз, то не потому ли, что осознал вавилонское тщеславие замысла и бесполезность своих жертв?

Ведь беда-то в том, что в отличие от большинства древних сооружений Армении Звартноц не остался «в блеске каменных риз, вечной памятью о человеке». Он рухнул — и довольно скоро, через два с лишним века, в итоге первого основательного землетрясения.

Рухнул же он, надо думать, оттого, что был построен не на реальной почве Армении, а на почве отвлеченной идеи величия.

Это был единственный в Армении круглый храм телескопической формы (Июфановский проект Дворца Советов исходил из такого же образного решения). Три последовательно уменьшающихся круглых объема возвышались один над другим, увенчанные шатровым куполом. Выглядело величественно, красиво, но это была лишь скорлупа, декоративная оболочка. Внутри скрывался «тетраконх» — крестообразная конструкция из колонн и аркад.

Звартноцу не хватило стойкой честности, содержание разошлось с формой — и он погиб. Вот о чем, пожалуй, стоило бы написать поэму. И там, наверное, уместны были бы строки о мастерстве рабочих-каменотесов. Диву даешься, глядя на базальтовые ступени стилобата, перестоявшие тринадцать веков, — ни шербиночки, линия — как по шнурку, будто вчера уложено. Есть чему позавидовать и поучиться.

На стилобате высятся обломки колонн, куски стен из оранжеватосерого и зеленоватого камня, лежит мастерски высеченная из базальта огромная капитель — распростерший крылья черный орел.

Старая церковь в Ленинакане (теперь там краеведческий музей) — одно из немногих перестоявших землетрясением крупных зданий. Почти все остальное на площади построено заново — и все на глазах и с участием Рубена Галусовича Каспарова, знающего здесь каждый уголок. Славная все-таки разновидность людей — старожилы. И не так уж часто встречающаяся в наше время.

Я провел несколько приятных часов с Рубеном Галусовичем на городских улицах. Он рассказывал о разном — как перед самой войной дали воду из Казанчи, за сорок пять километров, из горных родников с де-

бетом тысяча литров в секунду; и что сейчас из Кировакана тянут сюда азербайджанский газ; и что при клубе текстильного комбината строится театральное здание; и что до революции вообще-то в Александрополе было всего два добротных дома: вот они — коммерческое училище и женская гимназия; и что если уж говорить всерьез о свободной застройке, то нельзя, черт возьми, по-разному трактовать уличный и дворовой фасады...

А я думал, что без таких вот людей худо было бы небольшим городам, а их ведь не так уж много — любящих свой небольшой город старожил-знатоков, и не очень-то им легко, а молодежь norовит уехать, и на это есть тоже свои причины; не телевизором единым жив человек.

Мы подошли к улице Абовяна. Она была отгорожена переносными барьерами, ее мостили крупными шестигранниками из подкрашенного цемента. Григорий Иванович Асратян, председатель горисполкома, задумал сделать эту недлинную, примыкающую к центру улицу местом прогулок — перекрыл движение, снял тротуары, и теперь плитки ложатся во всю ширину. Кос-где остаются незамощенные шестигранники, туда сажают кусты и деревца — но не рядами, а свободно, вразброс.

Об Асратяне я уже слышал. Молодой архитектор из Еревана, он принял пост «мэра» с намерением поменьше сидеть в кабинете. Председательствует недавно, а говорят о нем повсюду — и хорошо.

Конечно же, неплохо иметь мэра-архитектора, самостоятельно разбирающегося и в городском хозяйстве и в искусстве. Но главное все-таки было сказано Рубеном Галусовичем.

Асратян успел уже кое-что сделать для города: реконструировал широкую улицу Калинина, пустил троллейбус, приводит в порядок и озеленяет территорию новостроек, мостит старые улицы, прокладывает новые — словом, действует. Рассказывают, он пригласил сюда садовода-мичуринца из северных областей России сажать морозостойчивые яблони; будем надеяться, они приживутся.

Мы поднялись по тихой улице в городской парк — он здесь называется по-старинному: «Горка». Клены роняли крупные листья. С полукруглой эспланады видны были остатки Александропольского форта, смахивающие на развалины Колизея. Слева виднелся в дымке город — трубы фабрик, хлебопекарен, заводов. На севере, километрах в семи, была Турция.

Мы побродили по аллеям, поговорили о благополучном исходе кубинского кризиса — сегодня передали об этом по радио. «Присядем?» — предложил Рубен Галусович. Сдвинув на затылок шляпу, он привалился к спинке скамьи, расстегнул пальто. Впереди, на пожухлой траве, выростала из полированной призмы по-здешнему хорошо изваянная голова Аветика Исаакяна.

«Берия здесь стоял», — проговорил Каспаров. Впервые за день улыбка покинула его лицо. Он достал платок, отер лоб и поросшие седоватой щетинкой смуглые щеки.

До маршрутного такси на Ереван оставалось немного времени. Ребята возвращались из школ, размахивая портфелями и осторожно неся чернильницы-невывайки. На улице Шаумяна старик в бараньей шапке сидел над мешком подсолнуха, перебирая каменные четки. Посреди улицы горами лежала базальтовая брусчатка, приготовленная для мощения. В мастерских стучали молотками сапожники, громыхали жестянки. На углу вешали вывеску: «Ремонт пылесосов и электрополотеров». Вдоль тротуаров сохли на солнце свежеекрашенные детские кровати. Их мастерят из гнutoго затейливо металлического прута, красят веселыми красками — голубой, желтой, розовой. Кажется, они не застаиваются тут подолгу.

Одинокое облако лихо сидело в седле Арагаца; слева за ближней горой скрылся Артик, где добывают розовый туф. Шофер надвинул кепку; серпантинная дорога сильно блестела под солнцем.

Попутчиков было трое — два молодых инженера и колхозник из Арагатской долины.

Инженеры возвращались из командировки; они работают в проектно-институте, месяц пробыли в Ленинакане, помогали налаживать новую линию на текстильном комбинате. У одного торчит из кармана плаща свежий номер «Юманите-диманш». Он родился во Франции, а институт закончил в Ереване. Он отличается от второго какими-то второстепенными, но все же приметными черточками.

Это один из многих тысяч возвращающихся харибов — изгнанников, беженцев, скитальцев, с незапамятных времен разбросанных по белу свету.

В Ереване я познакомился с Арутюном Галенцом. Ему было шесть или семь лет — он и сам не знает точно, — когда озверелые аскеры зарубили отца в пустыне во время резни 1915 года, когда Талаат-паша, союзник германского кайзера, зарубил, сжег, загнал в пустыни Месопотамии, потопил в Трапезунде, заморил бегством и голодом около миллиона армян. Мать умерла. Дальше — сиротский дом, чужбина. А вернулся он не потому, что так уж плохо, никудашно жилось последние годы. Бедствия учат упорству; ум и талант — единственное оружие изгнанников. Галенц стал в Ливане признанным художником и даже оформил ливанский павильон на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке. Вернулся же он потому, что стало возможно вернуться и жить без страха на родной земле.

Его живопись необычайно звонка, цветиста, быть может — чуть излишне бравурна. Кажется, он торопится, спешит высказаться; но это, наверное, пройдет, уляжется. Излишек легкости опасен для самого большого таланта.

В картинной галерее Армении есть зал Айвазовского (к слову, родители его происходят из Ани, его настоящая фамилия — Айвазян). Среди хранящихся там холстов я увидел два необычных — без моря, волн, без так легко дававшихся эффектов. Эти две скромные картины — «Дарьяльское ущелье» и еще одна, безымянная, — поле, шалаш, стога, — очень запомнились мне.

Мы проехали Маралик, где строится город при новом заводе — чистый, с асфальтом и фонарями дневного света. Слева в котловине — какое-то село — каменные дома среди садов, длинные, как поезда, скирды соломы. Оливково зеленеет пшат. В Давиташене на кладбище стоит во весь рост краснокаменный мужчина под балдахином из оцинкованного железа. Это — любимый председатель колхоза, его именем названо село.

Наш третий попутчик — усатый, по-крестьянски темнолицый, в сапогах, синих армейских шароварах, с белеющей по краю фуражки верхней половиной лба, — рассказывает о другом памятнике, где всегда найдешь стакан и початую бутылку; покойный любил коньяк, и теперь жена заботится...

Рассказав об этом, он кивнул в сторону Арагаца, где среди рыжих горных лесов блестели серебром купола Бюраканской обсерватории, а выше — за разросшейся облачной пеленой — спрятался знаменитый институт Алиханяна. «Очень вредные условия, — сказал он. — Поверите? Полгода поработает человек, потом одни девочки родятся»...

Инженеры расхохотались. Усатый пожал плечами. Помолчав, он стал сетовать, что заставляют хлопок сеять в Араратской долине. «Посудите сами, какой толк, — говорил он, загибая для наглядности пальцы со светлыми в черных каемках ногтями, — с одного гектара хлопка — четыре тысячи прибыли, а с винограда — сто!» Наверное, он по привычке считал в старых деньгах, но суть дела от этого не менялась. Инженеры согласно кивали; не знаю, насколько был прав усатый с точки зрения общегосударственных интересов. Возможно, следовало бы больше довериться уму-разуму колхозников Араратской долины.

Мы спустились в долину. Впереди — Аштарак, сладостный Аштарак, среди виноградников, среди абрикосовых и персиковых садов, среди яблонь, груш, миндаля и светло-желтых ореховых деревьев. «Скупой здесь народ, — вдруг произносит усатый. — Богатые, понимаешь, у каждого в подвале одного вина прошлогоднего полторы-две тысячи литров, а попроси что-нибудь...»

Я хотел было заметить, что скупость — родная сестра богатства, но тут усатый сказал, что в Эчмиадзине колхозники еще богаче живут, чем в Аштараке, а вот ведь — душа нараспашку, рубаху с себя снимет...

Я проглотил неродившийся афоризм, размышляя о рискованности обобщений. Навстречу бежали осенние сады. Молодые тополя стояли шпалерами вдоль дороги. Бетонный оросительный канал пересекал долину, уходя в сторону Арарата. Его вершины, затянутые мглой, рисовались силуэтом, чем-то напоминая нагую грудь матери-земли.



КАЙСЫН КУЛИЕВ

★

ИЗ НОВОЙ КНИГИ СТИХОВ

С балкарского

.

Я вижу, мама, день весенний.
Ты — молода еще; я — мал.
Уткнув лицо в твои колени,
Я слушал песню и дремал.

Ты, не откладывая дела,
Под мерный гул веретена
Про медвежат мне песню пела,
И уносила их волна.

Как искры на спине форели
В прозрачном озере весной,
Слова сверкали, и горели,
И пахли ягодой лесной.

Ты пела звонко, пела тонко,
Тебя чужая жгла беда
Так, словно твоего ребенка,
Как маленького медвежонка,
Уносит полая вода.

И нынче, как тогда, в то утро,
Спой песенку про медвежат,
Пусть нам покажется, как будто
Сидим мы тридцать лет назад,

Что нет морщин от лет суровых
И где-то старость далеко,
Что у меня на сердце снова
Светло, как в детстве, и легко.

Жить, удивляясь

Блистают звезды, цвет меняют горы,
Снега сползают, розы опадают,
Мне очень жалко тех людей, которых
На свете ничего не удивляет.

Рождаются великие творенья,
Не потому ли, что порою где-то
Обычным удивляются явлениям
Ученые, художники, поэты.

Я удивляюсь и цветам и птицам,
Хоть мне их не понять, как ни пытаюсь,
Я удивляюсь и словам и лицам,
Чужим стихам и песням удивляюсь.

Текут ручьи, звенят их голоса,
Я слышу моря гул и птичье пенье.
Земля нам дарит щедро чудеса
И ждет взамен всего лишь удивленья.

..*

Кремень — кремень и только.
Но встретясь, два кремня
Надолго ль, ненадолго —
Источники огня.

Что наше сердце,
 если
Другого рядом нет.
Сердца лишь те, что вместе
Несут огонь и свет.

Бешимет

В нем горец и пахал и сеял,
Шел на врага, плясал и пел.
И вот бешимет висит в музее,
И пот на нем окаменел.

А я стою, гляжу с любовью
И вижу старые следы
Давным-давно пролитой крови,
Я слышу запах этой крови
И запах первой борозды.

..*

Сжимаю в пальцах влажный ком земли,
Вдыхаю запах сладкий и знакомый.
Как часто, люди, умирать мы шли
За эти хлебом дышащие комья.

И. ШМЕЛЕВ

★

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Рассказ

Я с нетерпением поджидал лета, следя за его приближением по хорошо мне известным признакам.

Самым ранним вестником лета являлся полосатый мешок. Его вытягивали из огромного сундука, пропитанного запахом камфары, и вываливали из него груды парусиновых курточек и штанишек для примерки. Я подолгу должен был стоять на одном месте, снимать, надевать, опять снимать и снова надевать, а меня повертывали, закалывали на мне, припускали и отпускали — «на подвершочка». Я потел и вертелся, а за невыставленными еще рамами качались тополевые ветки с золотившимися от клея почками и радостно голубело небо.

Вторым и важным признаком весны-лета было появление рыжего маляра, от которого пахло самой весной — замазкой и красками. Маляр приходил выставлять рамы — «впускать весну» — и наводить ремонт. Он появлялся всегда внезапно и говорил мрачно, покачиваясь:

— Ну, и где у вас тут чего?..

И с таким видом выхватывал стамески из-за тесемки грязного фартука, словно хотел зарезать. Потом начинал драть замазку и сердито мурлыкать под нос:

И-ах и те-мы-най ле-со...

Да йехх и те-мы-на-ай...

Я старался узнать, что дальше, но суровый маляр вдруг останавливал ерзавшую стамеску, глотал из желтой бутылочки, у которой на зеленом ярлычке стояло «политура», плевал на пол, свирепо взглядывал на меня и начинал опять:

Ай-ехх и в темы-на-ам ле...

Да и в те... мы-ны-мм!..

И пел все громче. И потому ли, что он только всего и пел что про темный лес, или потому, что вскрикивал и вздыхал, взглядывая свирепо исподлобья, — он казался мне очень страшным.

Потом мы его хорошо узнали, когда он оттащил моего приятеля Васю за волосы.

Так было это дело.

Маляр поработал, пообедал и завалился спать на крыше сеней, на солнышке. Помурлыкав про темный лес, где «сы-тоя-ла ах да и со-сенка»,

Рассказ «Русская песня» видного русского писателя-реалиста Ивана Сергеевича Шмелева, автора известных повестей «Человек из ресторана» и «Гражданин Уклейкин», не включался ни в один из сборников его произведений. Рассказ предоставлен редакции племянницей покойного писателя — Ю. А. Кутырной.

маляр заснул, ничего больше не сообщив. Лежал он на спине, а его рыжая борода глядела в небо. Мы с Васькой, чтобы было побольше ветру, тоже забрались на крышу — пускать «монаха». Но ветру и на крыше не было. Тогда Васька от нечего делать принялся шекотать соломинкой голые маляровы пятки. Но они были покрыты серой и твердой кожей, похожей на замазку, и маляру было нипочем. Тогда я наклонился к уху маляра и дрожащим тоненьким голосом запел:

И-ах и в те-мы-ном ле-э...

Рот маляра перекосялся, и улыбка выползла из-под рыжих его усов на сухие губы. Должно быть, было приятно ему, но он все-таки не проснулся. Тогда Васька предложил приняться за маляра как следует. И мы принялись-таки.

Васька приволок на крышу большую кисть и ведро с краской и выкрасил маляру пятки. Маляр лягнулся и успокоился. Васька состроил рожу и продолжал. Он обвел маляру у щиколоток по зеленому браслету, а я осторожно покрасил большие пальцы и ногти. Маляр сладко похрапывал — должно быть, от удовольствия. Тогда Васька обвел вокруг маляра широкий «заколдованный круг», присел на корточки и затянул над самым маляровым ухом песенку, которую с удовольствием подхватил и я:

Рыжий красного спросил:
— Чем ты бороду лучил?
— Я не краской, не замазкой,
Я на солнышке лежал!
Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал!

Маляр заворочался и зевнул. Мы притихли, а он повернулся на бок и выкрасился. Тут и вышло. Я махнул в слуховое окошко, а Васька поскользнулся и попал маляру в лапы. Маляр оттрепал Ваську и грозил окунуть в ведерко, но скоро развеселился, гладил по спине Ваську и приговаривал:

— А ты не реви, дурашка. Такой же растет у меня в деревне. Что хозяйской краски извел, ду-ра... да еще ревет!..

С того случая маляр сделался нашим другом. Он пропел нам всю песенку про темный лес, как срубили сосенку, как «угы-на-ли добра-молодца в чуду-дальнюю сы-торонушку!..». Хорошая была песенка. И так жалостливо пел он ее, что думалось мне: не про себя ли и пел ее? Пел и еще песенки — про «темную ноченьку, осеннюю», и про «березыньку», и еще про «поле чистое»...

Впервые тогда, на крыше сеней, почувствовал я неведомый мне доколе мир — тоски и раздолья. таящийся в русской песне, неведомую в глубине своей душу родного мне народа, нежную и суровую, прикрытую грубым одеянием. Тогда, на крыше сеней, в ворковании сизых голубков, в унылых звуках маляровой песни приоткрылся мне новый мир — и ласковой и суровой природы русской, в котором душа тоскует и ждет чего-то... Тогда-то, на ранней моей поре, — впервые, быть может, — почувствовал я силу и красоту народного слова русского, мягкость его, и ласку, и раздолье. Просто пришло оно и ласково легло в душу. Потом — я познал его: крепость его и сладость. И всё узнаю его...

Апрель, 1926 года.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

И. ОСИПОВ

★

СПАСАТЕЛИ

В просторной, щедро залитой солнцем комнате радицентра Черноморского пароходства раздался громкий протяжный звонок.

Повинуясь этому сигналу, радисты мгновенно прекратили работу. Тот, кто передавал радиограмму, снял руку с ключа морзянки. Тот, кто принимал донесение, оборвал на полуслове запись.

Наступили минуты молчания.

Радисты сидели, откинувшись на спинки стульев, не снимая наушников.

Вот так же, как здесь, вахтенные корабельных и береговых радиостанций под всеми широтами земного шара прекратили прием и передачу радиограмм. Они сидят у своих приемников и передатчиков. В эти минуты пошлет свои позывные лишь тот, кого настигла беда.

Дважды в течение каждого часа — от пятнадцати до восемнадцати и от сорока пяти до сорока восьми минут — эфир освобождается от любых, пусть самых важных и срочных радиопереговоров, чтобы не затерялись в пространстве никем не услышанные три точки, три тире, три точки — SOS потерпевших бедствие.

Тревожный сигнал всегда поймает кто-нибудь на своей радиовахте. Но в минуты молчания просьбе о помощи открыта «зеленая улица». Она не будет пробиваться в толчее бесчисленных позывных. Ее услышат всюду...

Тишина завладела радиоцентром Черноморского пароходства. Слышно, как тикают часы на стене. Стрелка, отсчитав три минуты, вышла из «сектора молчания», обозначенного на циферблате красным цветом. Снова раздался звонок. Радисты возобновили прием и передачу радиограмм.

БУДНИ «СЕМЕРКИ»

Никто не послал в эфир SOS, и маленькое судно с надписью по обоим бортам «Спасатель» продолжает заниматься своим будничным делом в Новороссийском порту. Это водолазный бот с цифрой «7» на палубной надстройке. Его называют «семеркой» в отличие от таких же суденышек, помеченных другими цифрами.

«Семерка» стоит возле восточного мола. Ее водолазы очищают морское дно от бетонных глыб, сброшенных в воду, когда выбивали из Новороссийска гитлеровских захватчиков.

Долго лежали, никому не мешая, эти обломки. Теперь расширяют причальный фронт; тесно стало в порту танкерам и пароходам. У восточного мола необходимо убрать «мусор», чтобы они могли пройти к новым причалам.

На кормовой палубе «семерки» одевают водолаза. Он уже облачился в скафандр, сунул ноги в пудовые «галюши». На плечи ему взвалили свинцовые грузила. Остается только привязать к поясу нож и надеть медный шлем.

Сегодня первым спускается на дно моря Александр Федорович Овсянников. Два других водолаза — Кузьминых и Яновский — будут держать в руках воздушный шланг, телефонный кабель и сигнальный «конец».

Овсянников спрашивает:

— Как меня слышите?

Кузьминых стоит в двух шагах, возле пульта водолазной станции. В руке у него микрофон, наушники прижаты к голове.

— Слышу хорошо, — отвечает он. — Как воздух?

— Воздух хорош.

Овсянников стоит, широко расставив ноги, — неуклюжий, лишенный возможности смахнуть с лица капельки пота. Он терпеливо ждет разрешения отправиться в подводное царство.

Этот молчаливый, с виду даже угрюмый, немолодой человек двадцать два года работает водолазом. Он опускался на рекордную глубину — на сто восемьдесят пять метров, испытывал новые конструкции скафандров. Александр Федорович четыре с половиной тысячи часов прожил под водой. И каждый раз, готовясь к спуску, ведет себя так, будто делает это впервые. Все, что положено сделать перед тем, как он сойдет с трапа и скроется под водой, все это совершается с предельной пунктуальностью.

Овсянников не испытывает беспокойства. Можно сказать — нить его жизни в верных руках. Только опытным водолазам позволено держать воздушный шланг, занять пост у пульта, откликаться на каждое слово человека, который проник в таинственный мир безмолвия.

Наконец все снаряжение проверено, подтянуто, закреплено. Овсянников спускается по трапу. Медный купол шлема скрылся в воде, и тотчас на этом месте возник бурн. Через несколько секунд вода вскипает чуть дальше. Это дышит Овсянников, опускаясь на дно моря.

Он не спешит. Для того чтобы организм привык к повышенному давлению, набирать глубину нужно постепенно. Над его шлемом — десятиметровая толща воды. Он остановился. Можно, конечно, при хорошей тренировке опускаться быстрее, но зачем рисковать? И Овсянников спокойно выжидает на первой «ступеньке» — ровно столько, сколько требует инструкция. Пузыри воздуха вырываются на поверхность моря в одном и том же месте. Телефонный кабель перестает разматываться. Потом он снова начинает медленно уходить в воду: Овсянников опускается глубже. Так в течение минуты он уходит на пятнадцатиметровую глубину.

— Стою на грунте, — слышен его голос.

Кузьминых раскрыл тетрадку, в которой отмечены цифрами участки бетонной стенки мола. Где-то здесь, возле десятого «пикета», на дне моря лежит глыба взорванного бетона. Сейчас Овсянников скажет — можно ли поднять ее плавучим краном, или придется еще раз взорвать.

— Ну как, Саша? Поднимем? — спрашивает Кузьминых.

Овсянников молчит, и в наушниках слышно только его ровное дыхание. Бурлит вода у борта «семерки». Может быть, увидев бетон, обросший ракушками и морской травой, Александр Федорович вспомнил, как эта глыба взлетела над молотом, подброшенная снарядом, и рухнула в воду.

Двадцать лет назад Овсянников участвовал в десанте черноморцев, освободивших Новороссийск. Корабельная артиллерия, обеспечивая высадку морской пехоты, вела огонь по волнолому, где гитлеровцы построили дзоты. Изрядно тогда покорежили бетонную сгенку мола...

Овсянников отслужил свой срок на флоте и остался в городе, который увидел впервые с борта торпедного катера в час отважной атаки.

— Ну, что там у тебя? — снова спрашивает Кузьминых. — Чего молчишь?

— Не поднять нам этот массив, — отвечает Овсянников.

— Будем подрывать?

— Да, так и запиши.

- А может, остропим и выдернем?
- Вряд ли... Он наполовину в грунте.
- Возьми гидромонитор. Может, обойдемся без взрывчатки.
- Давай попробуем, — соглашается Овсянников.

Он всплывает у трапа, берет гидромонитор и тут же погружается снова.

- На грунте, — сообщает он. — Включай...

Сильная струя воды пущена по шлангу в гидромонитор. Овсянников подмывает бетонный массив.

- Напор хорош? — спрашивает Кузьминых.
- Добавь немного.
- Есть добавить немного.

Потом доносится со дна моря:

- Нет. Надо подрывать.
- Записываю, Саша. А как на двенадцатом пикете?
- Схожу посмотрю...

Удаляются буруны от борта «семерки» — водолаз идет туда, где тоже были сброшены разбитые снарядами морского десанта бетонные глыбы.

Три часа бродит Овсянников по дну моря. За это время очистили от мусора небольшой участок возле восточного мола. Плавающий кран поднимает и укладывает на волнолом один обломок бетонной стенки, другой взорвали и тоже извлекли из воды.

Так трудится экипаж «семерки», и постепенно размеренный темп этой однообразной работы заставляет забыть об опасностях, которые подстерегают человека на дне моря. Если вначале каждое его слово было полно какого-то особого смысла, то к исходу дня все выглядит уже вполне будничным, ничем не примечательным, и только рекомпресссионная камера на палубе водолазного бота напоминает, что здесь люди ежедневно рискуют жизнью.

Никогда заранее не знаешь, что случится с тобой на морском дне, и если вдруг придется очень быстро всплыть — эта герметически закрытая камера предохранит от тяжелых симптомов кессонной болезни. Войдя в нее, водолаз как бы снова опускается на большую глубину. Затем его медленно «поднимут», постепенно снижая давление воздуха, чтобы азот, скопившийся в крови и тканях, не стал бурно выделяться и не причинил большой беды.

Каждый день проверяют исправность оборудования камеры — в любую минуту она может понадобиться человеку, который работает под водой.

«Семерка» возвращается к своему причалу. Будничный день спасателей завершился, как обычно, короткой строкой в судовом журнале: «Очищали дно гавани».

Овсянников отдыхает на корме водолазного бота. Приятно после длительного пребывания в полумраке подводного царства сидеть вот так на солнышке.

— Увидит кто-нибудь, как мы топчемся возле восточного мола, — говорит Александр Федорович, — и, наверно, подумает: какие же это спасатели? Только и работы у них — выгребать мусор со дна моря. А ведь не знают, что возле такого мусора иной раз хлебнешь горя... Поднимали мы на внешнем рейде «Десну», еще в войну затонула. Чтобы прикрепить к ней понтоны, мы промывали под корпусом четырнадцать тоннелей. Работали грунтососами. Каждый тоннель — метр высотой, в ширину — метра полтора. Только бы протиснуться. Через эти щели пропускали под «Десной» канаты для понтонов. Я отработал свое время, вышел из воды. Сменил меня в тот день Нерубицкий. Опытный водолаз, человек смелый. Промывает тоннель третий час. Все в порядке. Пора выбраться наверх. А выйти из тоннеля не может: позади обвалился грунт. Лежит под днищем «Десны», растерялся парень. Не сообразит сразу, что делать. Ну, мы, конечно, ободряем его. Разверни, говорим, грунтосос, промывай завал. А сами тоже волнуемся: время вышло, хватит у него силы пробиться? Успокоился. Говорит, сам выберусь, не нужно никому спускаться. И вырвался, молодец. Только полчаса, не больше, пробивал себе дорогу к жизни.

Водолазный бот пересекает бухту, направляясь к причалу, где стоит несколько таких же суденышек. Сегодня все они тоже были заняты будничными делами — «разматывали винт» большого танкера, спускали водолаза зацементировать щель в подводной части пирса.

Сегодня не позвали их на помощь. Никого не перехватила беда на морских просторах.

ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ

Спасательные флотилии размещены во всех крупных портах. Если придет сигнал бедствия, первым на помощь спешит тот, кто находится вблизи района, указанного в аварийной радиограмме.

Обычно спасательное судно пребывает в состоянии двухчасовой готовности. Когда метеосводка не предвещает ничего хорошего, этот срок сокращается вдвое: через час после получения приказа «спасатель» обязан отправиться в рейс. А в штормовой день вступает в силу режим немедленной готовности: пятнадцать минут отпущено для подготовки к рейсу. Поэтому так часто играют аврал на борту «спасателя», и в точном соответствии с боевым расписанием люди занимают свои посты, спускают шлюпки, выносят на палубу аварийное снаряжение, пускают в ход насосы для откачивания воды, «лафеты» для тушения пожара, разматывают шланги, брезентовые пластыри.

Когда нужно поспешить к потерпевшему бедствие, «спасатель» не опаздывает.

...Греческий пароход «Крити», выйдя из Констанцы, направился в Одессу. На его борту совершали путешествие двести пятьдесят шведских туристов.

День выдался хмурый, шестибалльный ветер не мог разорвать густую завесу тумана. Сильно качало. Пассажиры после завтрака разбрелись по каютам.

«Крити» убавил ход, его сирена часто гудела, навевая тоску. Часто из непроглядной серой мглы доносился ответный, такой же протяжный сигнал. Встречное судно удалялось, постепенно замирала его сирена.

Было ровно три часа дня, когда радиостанция «Крити» послала в эфир сигнал бедствия. Пароход сбился с курса и наскочил на мель. Испуганные пассажиры высыпали на палубу. Они услышали голос капитана, усиленный репродукторами:

— Прошу, господа, сохранять спокойствие. Не поддавайтесь панике. Мы находимся недалеко от Одессы. Я послал радиограмму. Пожалуйста, не волнуйтесь, господа, нашему судну ничего не угрожает...

Произнося эти успокоительные слова, капитан отлично понимал, какая серьезная опасность нависла над «Крити». Ветер усилился. По-прежнему все вокруг тонуло в густом тумане. Волны с размаху ударяли в корпус парохода, неподвижно стоявшего на грунте. В таком положении «Крити» долго не удержался бы. Капитан еще не знал, что штурман ошибся и неверно определил координаты судна...

Через полчаса после того, как радист «Крити» отстучал на своем передатчике SOS, из Одессы уже вышел буксир «Горячий». Сигнал бедствия приняли и на борту спасательного судна «Горделивый», находившегося в открытом море. «Горделивый» тоже поспешил к бедствующему судну. Сюда же направился и флагман спасательной флотилии «Атлант».

Очень трудно было отыскать в тумане пароход, стоявший на большом расстоянии от места, указанного в радиограмме. Но спасатели обнаружили «Крити» с помощью локаторов. Первым приблизился к нему, рискуя напороться на камни, «Горячий». Тотчас спустились водолазы, осмотрели днище парохода. Всем корпусом он сидел на каменистом грунте. Одним буксиром, даже очень мощным, не удалось бы снять его с мели.

Вскоре вынырнул из тумана «Атлант», через два часа появились «Горделивый» и еще один буксир — «Бодрый». Шведских туристов сняли с «Крити» и

повезли в Одессу. Четыре дня гостили они здесь, а тем временем водолазы, сменяя друг друга, работали под корпусом «Крити». Они дробили, размывали гидромониторами и грунтососами каменистую плиту, на которой стоял пароход. Время от времени спасатели пробовали стянуть «Крити» с грунта. В судовом журнале «Горячего» сохранились такие записи:

«16 часов 45 минут. Лопнул манильский трос. Заводим вторично.

21 час 40 минут. Лопнул буксирный трос.

11 часов 30 минут. Все буксирные суда работают одновременно, рывками.

12 часов 30 минут. Лопнул трос «Горделивого».

16 часов. Опять оборвался наш буксирный трос. Спустили водолаза. Подымаем грунт».

Водолазы трудились день и ночь, убирая камни из-под корпуса «Крити».

Записи в судовом журнале после трехсуточной напряженной работы становятся более отрадными:

«05 часов 30 минут. Буксирные суда работают совместно, рывками. «Крити» сдвинулся с места.

06 часов 25 минут. «Крити» движется.

06 часов 45 минут. «Крити» сошел с мели. Спустили водолаза для осмотра подводной части корпуса на водотечность. Рулевое устройство и кингстоны поврежденных не имеют. На днище незначительные царапины.

08 часов 00 минут. Подъем государственного флага СССР.

08 часов 30 минут. Снялись с якоря. «Крити» своим ходом следует в Одессу».

Капитан «Крити» обратился к спасателям с таким письмом: «Дорогие господа! Настоящим подтверждаю, что сегодня, в 06 часов 25 минут по местному времени, мое судно было снято с мели на чистую воду. Я благодарю спасателей. Преданный Вам Карчнанис Иоанис».

Спасатели не опоздали. И это решило судьбу «Крити». Вот что сказано в документе, который скрепили своими подписями морские специалисты: «Посадка парохода «Крити» на каменную банку в районе открытого моря представляла реальную опасность как для судна, так и для пассажиров, ибо изменение направления ветра и волнение моря могли привести к тому, что аварийное судно было бы разбито. Эта опасность усугублялась еще и тем, что подход к нему в условиях северо-восточного ветра до шести баллов, волнения моря от двух до четырех баллов, густого тумана и пыльной мглы был весьма затруднен наличием на месте посадки судна на мель большого количества подводных камней».

Не опоздали протянуть руку помощи попавшим в беду и моряки Мурманского порта, когда тонул в Кольском заливе лесовоз «Беролина» под флагом ФРГ.

Что-то непонятное приключилось с этим судном на рейде Мурманского порта. «Беролина», отдав левый якорь, внезапно накренилась на борт. В открытые иллюминаторы хлынула вода. На палубе заметались люди, кто-то прыгнул в воду, кто-то тщетно пытался спустить шлюпку.

Через пятнадцать минут к тонущему судну примчался пожарный катер и снял всю команду.

О том, что происходило после первого броска спасателей, рассказывают судовые журналы и акты морской инспекции.

Не успел катер снять с лесовоза экипаж, как возле «Беролины» уже стал «Байкал». Матросы перебрались на покинутую экипажем «Беролину» и закрепили там несколько стальных канатов.

Всю ночь водолазы и матросы, пренебрегая опасностью, снимали груз с палубы «Беролины». Нужно было как можно быстрее облегчить судно, чтобы удержать его на плаву. Корма «Беролины» погружалась в воду. На рассвете стало очевидным: лесовоз погибнет, если не уведут его отсюда на мелководье и не посадят на грунт, чтобы снять груз.

Спасатели так и сделали. Два буксира подхватили тонущее судно. «Байкал» не разлучался с ним, поддерживал во время буксировки. Крен лесовоза увели-

чивался, достиг пятидесяти градусов. Его мачты уперлись в фальшборт «спасателя».

Семнадцать суток моряки Мурманского порта боролись за жизнь судна, снимали с затопленной палубы лес. Наконец водолазы заделали иллюминаторы, протянули под днищем стальные стропы, и мощный плавучий кран поднял корму из воды. «Беролину» привели в порт.

Зимой в районе мыса Пицунда выбросило на береговые камни рыболовецкое судно ПТС-91. Сигнал бедствия был принят радиостанцией Черноморского пароходства. Ближе всех к этому району оказался быстроходный буксир аварийно-спасательной флотилии «Громовой».

Капитан Александр Михайлович Васильев получил на рассвете приказ: «Следуйте к мысу Пицунда для оказания помощи бедствующему судну».

«Громовой» не мог подойти к сейнеру на такое расстояние, чтобы завести буксир. Крупная зыбь швыряла из стороны в сторону спасательное судно, и все-таки удалось спустить на воду моторный бот. Смельчаки «Громового» направились к берегу.

Для того, чтобы сдернуть с камней сейнер, пришлось обхватить его «брагой» — прочным канатом, который закрепляется вокруг корпуса судна. Двумя сильными рывками «Громовой» сдвинул его с места. Сейнер снова был на плаву и своим ходом добрался в порт. Экипаж «Громового» действовал бесстрашно, быстро и умело, пренебрегая опасностью. А казалось, бедствующее судно уже ничто не спасет.

...Непроглядной мартовской ночью сквозь грохот и завывание норд-оста в радиорубке того же «Громового» услышали сигнал бедствия. Эфиопский пароход «Анжелика» взывал о помощи, настойчиво повторяя свои координаты.

Вахтенный вручил капитану листок радиограммы. Через семь минут «Громовой» снялся с якоря. Выйдя за каменную стенку мола, прикрывающего новороссийскую гавань, небольшое судно оказалось во власти штормовой волны. Шестнадцать часов спасатели пробивались к бедствующему пароходу. Это был очень рискованный рейс.

Радист «Громового» поддерживал связь с «Анжеликой». На ее борту кончилось топливо. Машина замерла, судно не могло бороться со штормом, и когда капитан «Громового» увидел с мостика «Анжелику», до берега было рукой подать. Еще немного, и пароход выбросило бы на скалы.

Шторм не утихал, невозможно было подойти к «Анжелике» и подать ей буксир. Васильев приказал вынести на кормовую палубу линемет. В свисте ураганного ветра потонул негромкий выстрел. Из ствола линемета, похожего на старинный пистолет большого калибра, вырвалась ракета, оставляя за собой огненный след. Она пролетела над палубой «Анжелики». Тонкий трос потянулся за ракетой и соединил два судна, разделенные клокочущей водой. Теперь можно было передать на борт «Анжелики» буксирный канат. «Громовой» привел спасенное судно в порт.

В судовом журнале каждый случай, подобный вышеописанному, занимает немного места. Только память тех, кто поспешил на помощь терпящим бедствие, сохраняет подробности трудной вахты.

Они запомнили, как испугались матросы «Анжелики», увидев огненный хвост ракеты и еще не догадываясь, что она принесет им спасение. Запомнили, как молодой капитан «Анжелики» благодарил Васильева и весь экипаж «Громового» за мужественный труд, старательно выговаривая только что заученные слова: «Спасибо, дорогие друзья!» И прощание с «Анжеликой», когда каждый матрос перед уходом из порта хотел пожать руку людям, которые мгновенно откликнулись на призыв о помощи и спасли судно от неминуемой, казалось, гибели.

Вскоре капитан Васильев перешел на борт нового спасательного судна «Посейдон». Еще раз, тоже в штормовую ночь, радист услышал сигнал бедствия. Греческий пароход «Бахия» выбросило на песчаную косу. Теперь пришлось поработать

водолазам. Они спустились на дно моря, осмотрели корпус «Бахии», исследовали грунт, на котором сидел пароход. К счастью, здесь не оказалось каменных прослоек в ракушечнике, и судно не получило пробойны.

Васильев принял решение: промыть грунт под днищем «Бахии». Рискав посадить и свое судно на мель, он подошел как можно ближе к греческому пароходу, отдал якорь. Двое суток машина «Посейдона» работала на самых больших оборотах, вращался винт, бурлила вода за кормой. Время от времени машину останавливали, водолазы спускались на дно. Пароход еще сидел на грунте.

Метеосводка предупредила моряков: после непродолжительного затишья снова ожидается шторм. Если бы не удалось опередить норд-ост и судно осталось на мелководье, не вернуться бы ему из этого рейса в Пирей...

Наконец водолазы сообщили: значительная часть килля вышла из грунта, может быть, теперь буксирный канат выдержит... Ждать дольше было уже рискованно. Ветер пробежал над водой, на крутых гребнях появились барашки.

— Взять на буксир «Бахию», — приказал Васильев.

Натянулся, как струна, толстый стальной трос, выступили на нем капельки смолы из пенькового «сердечника». Чуть приметно шевельнулся — впервые за трое суток — длинный черный корпус «Бахии».

Это заметили прежде на «Посейдоне», а через мгновение боцман «Бахии», подбежав к фальшборту, поднял вверх ладони, сплетенные в крепком рукопожатье, потряс ими над головой, и видно было в бинокль, какой радостью осветилось его смуглое лицо.

Вот уже и капитан, перегнувшись через ограждение ходового мостика, приветственно помахал рукой. Прошло несколько минут, и «Посейдон» потянул за собой спасенное судно в порт. Едва успели войти в гавань, как нагрянул восьмибалльный шторм. Это испытание пароход уже не выдержал бы, сидя на мели.

После трехсуточной борьбы за жизнь судна осталась очень короткая запись: «Бахия» снята с мели. Повреждений в корпусе водолазы не обнаружили».

БЕЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Сегодня впервые я расстался с записной книжкой. День за днем я заполнял ее всем, что хотел удержать в памяти и что обычно опасаясь доверить только ей — а вдруг не сохранит что-то имя, название судна, сказанное кем-то сочное слово. Говорят, это плохая привычка. Память нужно, мол, постоянно тренировать. И затем: если не запомнилось что-нибудь — значит, и нет в нем особой нужды. Не берусь судить, кто поступает разумнее — тот ли, кто берет в помощники записную книжку, или тот, кому лень всегда таскать ее с собой. Я чувствую себя как-то увереннее, зная, что в любую минуту она у меня под рукой.

И вот нас разлучили. В каюте водолазного бота на аккуратно заправленной койке лежит блокнот в помятой обложке. Дунаев протянул мне шерстяное белье.

— Облачайтесь. Не забудьте снять часы.

На записную книжку легли мои часы и бумажник. Все это не понадобится там, куда снаряжает меня Дунаев.

— Теперь надевайте вот это.

Он дает мне меховые чулки. Как-то, вылетая зимой из Якутска в Усть-Виллюйск, в геологоразведочную партию, приобрел я точно такие, на собачьем меху. В тот день было сорок семь градусов мороза. Мне позавидовал сосед по кабине в крохотном ЯК-12: «Хороши чулочки. Пригодятся в тайге...» Сейчас я влез в чулки, обливаясь потом. Дунаев сочувственно улыбнулся:

— Потерпите немного. Под водой без них неуютно...

Я поднялся по трапу на палубу. После штормовой недели выдалось тихое, солнечное утро. Вероятно, я был единственным существом, которому это не доставило радости.

На палубе распластался светло-голубой скафандр. Я не раз уже видел, как облачается в водолазную «рубаху» Дунаев. Но только сейчас, натянув ее чуть выше колен, сообразил, что без посторонней помощи никак не совладать с нею. Две пары рук ухватились за ее края, послышалось: «Взяли!» — и я погрузился в рубашу по самое горло.

Нечего было и думать о том, чтобы самому выбраться из скафандра. Впрочем, некогда было размышлять об этом, наступило время обуваться.

Огромные, уродливые галоши — каждая весом в пуд — привязали к моим ногам, и с этой минуты я утратил способность самостоятельно передвигаться.

Снаряжая меня в подводный рейс, водолазы тщательно выполняли все правила. Дунаев и Морозов не позволили себе сжалиться надо мной и ускорить процедуру, хотя каждая лишняя минута для меня была тяжелым испытанием. Казалось, они даже не замечали, что происходит со мной.

Когда меня обули в галоши, легла на плечи медная «манишка». Она не показалась особенно тяжелой. Во всяком случае ее вес не шел ни в какое сравнение с чугуной обувью. В то время как водолазы соединили ее с рубашой, я поглядывал на галоши: не осрамиться бы, когда надо будет пойти к трапу. До кормы шагов пять-шесть, не больше. Одолеть бы... А вдруг не хватит сил? И меня поведут, поддерживая с обеих сторон. Попробовал оторвать ногу от палубы. Это мне не удалось.

— Не огорчайтесь, — сказал Дунаев. — С непривычки всегда трудно...

Два человека — оба атлетического сложения — понатужась, взвалили на меня водолазные вериги. Иначе не назовешь эти свинцовые грузила, увеличившие мой вес почти на сорок килограммов. Я предпочел бы в этот момент не вставать с табурета, но иначе не удалось бы закрепить свинцовые грузы — один на спине, другой на груди.

Едва лишь с этим было покончено, я мгновенно опустился на табурет. На палубе, возле свернутого в кольца воздушного шланга, полыхала жарким пламенем медь водолазного шлема. Казалось, вот-вот солнце расплавит его сверкающий купол. Прежде чем надеть на меня шлем, Дунаев немного остудил его в тени. И все же я испытал вначале такое ощущение, будто меня сунули головой в печь. В круглое окошко перед моим лицом ввинтили толстое стекло иллюминатора. Где-то под куполом шлема зашипела, придя из компрессора, прохладная струя воздуха.

Я услышал голос Дунаева:

— Как воздух?

Крохотный микрофон передал из моего шлема первые слова:

— Воздух хорош.

Я еще не был уверен, соответствует ли это действительности, но без колебаний доверился людям, отныне взявшим на себя ответственность за мою жизнь. Я видел их — Дунаева и Морозова через стекло иллюминатора. Они улыбались, о чем-то переговаривались. Теперь я уже не мог услышать их слова.

Вспомнив, что сказано в инструкции, я нажал головой на клапан, выпустив часть воздуха, наполнившего скафандр. Дунаев одобрительно кивнул:

— Травите еще немного.

Нажимая снова на клапан, я отрапортовал:

— Есть немного травить.

В данной ситуации было совершенно излишне докладывать о выполнении приказа: Дунаев увидел в иллюминаторе, как я прижимал головой клапан, и, наверно, услышал шестел воздушной струи, вырвавшейся из скафандра.

«Это уходит углекислота, — подсказала память, сохранившая кое-что из прочитанного в инструкции. — Если своевременно удалить углекислоту и поддерживать нормальное давление воздуха в скафандре — все будет в порядке». О том, что происходит, когда замешкаешься и не успеешь хорошенько провентилировать свое подводное снаряжение, мне тоже было известно. Симптомы отравления угле-

кислотой описаны в инструкции: вдруг станет жарко, прильет кровь к лицу. Что еще? Не стоит об этом думать. Все идет нормально. Я дышу размеренно, глубоко вдыхая полной грудью нагнетаемый в скафандр воздух.

Легкий шлепок ладонью по шлему отвлек меня от размышлений о неприятных последствиях отравления углекислотой. Дунаев пригласил погрузиться в воду...

Мои опасения, связанные с переходом от спасительного табурета к трапу, оказались напрасными. Удивляясь самому себе, я одолел без посторонней помощи это расстояние, повернулся спиной к трапу и стал спускаться в воду.

Постепенно я избавлялся от тяжести, которую взвалили на меня, и это ощущение было очень приятным. Сначала освободились от груза ноги. Когда вода дошла до колен, я уже без всякого усилия мог ступить на третью ступеньку. Еще один шаг — и громадные, уродливые галоши словно бы оторвались — вдруг стало легко. В это время я вошел в воду уже по пояс.

Последняя ступенька... Я выпустил из рук скользкую железную планку и, вместо того чтобы уйти под воду, вынырнул с такой легкостью, будто избавился не только от галош, но и от всего остального груза.

— Травите воздух! — приказал Дунаев.

Услышав его голос под куполом шлема, я понял, что случилось. В скафандре скопилось слишком много воздуха, и поэтому меня вытолкнуло на поверхность моря. Я поспешно выполнил приказание и нажал головой на выпускной клапан. В тот же миг рубаха прилипла к моему телу, и я камнем пошел на дно. В мозгу пронеслось: «Опять что-то сделал не так, как полагается...»

— Отпустите клапан! — крикнул Дунаев.

В его голосе послышалась тревога. Не думаю, что в эту минуту мне угрожала серьезная опасность. Сигнальный конец и воздушный шланг находились в руках Морозова: он стоял на корме водолазного бота и мог бы в любой момент поднять меня на поверхность моря. Да и глубина здесь была небольшая — двенадцать метров. Но Дунаев был встревожен, как я об этом узнал позднее, слишком быстрым погружением. Нарушая все установленные нормы, я в течение каких-нибудь двух-трех секунд опустился на глубину более десяти метров. Нельзя с такой быстротой переходить из зоны нормального в область повышенного давления. Под водой человек должен вести себя более осмотрительно.

Я перестал слишком энергично вентилировать скафандр, и дальше все шло нормально. За стеклом иллюминатора в зеленоватом сумраке висела черная якорная цепь водолазного бота. Я опускался на дно, не теряя ее из виду, хотя с каждым метром, по мере того как увеличивалась глубина, сумрак сгущался, и вскоре уже невозможно было различить ее отдельные звенья. Еще виднелись широкие лопасти винта; потом они растворились в неподвижной воде.

Свинцовые подошвы моих галош коснулись грунта, и все вокруг сразу заволкло илом, всплывшим с морского дна. Ничего нельзя было разглядеть в серой колеблющейся мгле. Я почувствовал себя совершенно беспомощным, на мгновение забыв, что прочно связан с надводным миром. Я не шевелился, стараясь не тревожить больше толстый слой ила и водорослей. Чувствуя себя очень одиноким, я захотел услышать чей-нибудь голос.

— Стою на грунте, — сказал я.

— Вот и отлично, — откликнулся Дунаев. — Ну что, осмотрелись?

Трудно передать, как он меня обрадовал! Я стал рассказывать, что происходит здесь, как колыхается вокруг всплывающий серый ил. Наверно, опытному водолазу было скучно слушать сбивчивый рассказ о том, что он видит ежедневно. Но Дунаев терпеливо все выслушал. И даже задал несколько вопросов.

Тем временем вода вокруг меня чуть посветлела. Солнечные лучи проникли сюда, на двенадцатиметровую глубину, и можно было заметить, как проплывает возле иллюминатора, неторопливо направляясь куда-то по своим делам, черный большеголовый бычок. Он едва не задел своими короткими плавниками мой шлем. Стайка крохотных ставрид ринулась прямо на меня. Я даже поднял руку, думая

схватить одну, но вся стайка мгновенно вильнула в сторону и пропала из виду.

После каждого вдоха я слегка нажимал на клапан и видел, как уходит воздух из скафандра. Серебристая цепочка пузырьков поднималась над шлемом, исчезая в зеленоватом сумраке. Теперь, немного освоившись, я уже мог увеличивать или облегчать свой вес. Для этого стоило чуть дольше не прикасаться к воздушному клапану или, наоборот, сильнее нажать на него.

В первом случае я испытывал удивительное ощущение, похожее на то состояние невесомости, о котором рассказывают космонавты. Наполнив воздухом скафандр, я отрывался от грунта и, чуть шевеля рукой или ногой, передвигался, вернее говоря, проплывал над дном. Выпустив из скафандра чуть больше воздуха, я «прилипал» к грунту, снова поднимая при этом со дна ил и перегнившие водоросли.

— Как воздух? — спрашивал время от времени Дунаев.

— Воздух хорош, — отвечал я.

— Как самочувствие?

И снова я кратко уведомлял, что чувствую себя хорошо.

Короткая пауза, и опять знакомый голос:

— Что видите?

В инструкции сказано, что с водолазом, ушедшим на дно, необходимо поддерживать непрерывную связь. Если не о чем беседовать — пусть бормочет, что ему придет на ум. Или песню поет. Во всяком случае долгая пауза в переговорах между водолазом и человеком, который отвечает за его жизнь, недопустима. Бог знает что может произойти там, под толщей воды... Если человек в скафандре не произносит ни слова, не обращается к людям, которые держат в своих руках нити жизни, — это вызывает тревогу. Сколько всяческих происшествий случилось под водой! Я наслушался рассказов, от которых просто мороз по коже подирает...

Мне не угрожала встреча с акулой или осьминогом. Я не опускался в машинный трюм затопленного парохода через разбитые палубные надстройки, где можно продыривить шлем. Я не рыл тоннель под днищем корабля, рискуя задохнуться под обвалившимся грунтом.

Меня лишь опустили на дно и через пятнадцать минут заставили вернуться. Я не работал под водой. Но эти минуты, прожитые в скафандре, убедили меня, что профессия водолаза относится, несомненно, к числу таких, которые требуют очень высокого напряжения физических и душевных сил.

Возвращение со дна моря было гораздо продолжительнее, чем спуск с трапа на воду. Научившись пользоваться запасом воздуха в скафандре не только для дыхания, но и для того, чтобы погружаться или всплывать, я оттолкнулся галошами от грунта, на секунду повис неподвижно, а затем, услышав: «Сейчас поднимем вас», очень медленно стал всплывать.

Сначала мне показалось, что я самостоятельно выбираюсь наверх. Но это ощущение было обманчиво. Меня осторожно вытаскивали из воды. Для этого-то и предназначен прочный сигнальный конец, обвязанный вокруг пояса и пропущенный под левой рукой.

Вода становилась все более прозрачной. Вероятно, мой шлем уже увидели с палубы водолазного бота. Я мог разглядеть очертания его днища у себя над головой. Еще раз, словно прощаясь, подплыл к моему иллюминатору черный бычок с выпученными глазами. Кажется, это был единственный обитатель морских глубин, удостоивший меня своим вниманием.

— Как самочувствие? — спросил Дунаев.

Я незамедлительно откликнулся:

— Отлично.

— Видите трап?

Поглядев вверх, я увидел нижнюю ступеньку трапа.

— Вижу.

— Можете дотянуться до него рукой?

Я ухватился за ступеньку.

— Вот так, хорошо, — сказал Дунаев. — Теперь подтягивайтесь...

Совершенно не ощущая тяжести груза, привязанного к моему телу, я без всяких усилий подтянулся к трапу. Моя голова оказалась выше уровня воды. Теперь нужно было ступить на трап, но — увы! Не хватило силы поднять ногу, поставить ее хотя бы на нижнюю ступеньку...

Под шлемом посвистывал нагнетаемый воздух, часть моего тела еще находилась в воде. Но я «обсох» по пояс, и все свинцовые килограммы, которых я не замечал на дне моря, неумолимо потянули меня вниз.

Не знаю, как бы я выбрался на палубу, если бы не Морозов. Сигнальный конец натянулся, я почувствовал, что меня поднимают, и с благодарностью подумал, как разумно устроено водолазное снаряжение. Человек под водой всегда может рассчитывать на помощь друга, и она не запаздывает.

— Становитесь на трап, — сказал Морозов, когда нижняя ступенька была на уровне галош.

Возвращение в надводный мир было незабывасмо отрадным. Кажется, и всех на борту «двадцатки» обрадовало мое появление у трапа. Этого не высказали водолазы из-за свойственной им сдержанности. Зато их любимица, веселая собачонка Джинка, дала волю своим чувствам. Нарушая обычный ритуал подъема водолаза, она кинулась к трапу, опередив Морозова, и на радостях облизнула стекло иллюминатора.

Сняли весь груз, отвязали проклятые галоши, вынули меня из скафандра, и только теперь Дунаев позволил себе произнести неуставную фразу:

— Поздравляю с подводным крещением...

Должен принести извинения читателям за то, что имена водолазов и название бота вымышлены. В аварийно-спасательных отрядах Новороссийского и Одесского портов нет ни Гриши Дунаева, ни Леонида Морозова, ни «двадцатки», на борту которой снаряжали меня в подводный рейс. Пришлось изменить имена людей, которых я уговорил спустить меня хоть на несколько минут в морскую пучину, чтобы не взыскали с них за нарушение строгих правил водолазной службы.

— Пожалуйста, не выдавайте нас, — сказали, прощаясь со мной, водолазы.

ОПАСНАЯ ВАХТА

Пароход «Черняховский» давно покоится на дне Цемесской бухты. Когда-то его использовали вместо причала. В трюмы насыпали гравий, и ветеран, отработавший свой долгий срок, стоял на посмертной вахте возле восточного мола.

Потом нужно было освободить эту часть акватории бухты, и «Черняховский» покорно двинулся вслед за буксиром к заводскому пирсу, где такие посудины быстро превращают в груды железного лома.

Изношенное судно не выдержало удара волны и затонуло. Глубина в этом месте небольшая, черная труба и палубная надстройка торчат над водой, мешают теплоходам и танкерам маневрировать в бухте. Поднять большое судно не так-то просто. Поэтому решили разрезать его под водой и поднимать по частям.

Ранним утром я отправился на водолажном боте туда, где затонул «Черняховский». Едва мы отошли от причала, Анатолий Нижитович Воронов начал готовиться к подводной вахте. Восемнадцатый год — ровно половину своей жизни — Воронов надевает скафандр изо дня в день. За это время ему приходилось участвовать в трудных экспедициях. Он помогал поднимать затонувшие суда в Черном море и Керченском проливе. В его послужном списке имена кораблей «Червона Украина», «Пролетарий», «Кизелбаш», «Ястреб», «Комсомолец», «Делегат». Недавно Анатолий Нижитович опускался на двухсотметровую глубину. Спутник Воронова, Миша Ермоленко, потерпел тогда аварию. В его скафандре скопилось слишком много воздуха. Ермоленко «взлетел» на добрых полтора метра

и едва не погиб. Воронов помог ему выбраться на поверхность моря, вошел с ним в рекомпрессионную камеру и пять часов не спускал с него глаз, следя за тем, чтобы Ермоленко не заснул, снова поднимаясь с большой глубины — теперь уже по всем правилам, медленно, с выдержкой через каждые десять метров.

Когда наш бот стал на якорь возле «Черняховского», Воронов уже был в скафандре, готовый принять на свои плечи водолазные вериги и медную манишку.

— Толя, я прошлый раз не мог залезть под корму, — сказал Чебаненко, перед тем как надеть на Воронова шлем. — Сходи туда, может, после взрыва легче будет пролезть...

— Посмотрю, посмотрю, — обещал Воронов, сделав последнюю затяжку и бросая за борт окурки. — Под кормой сегодня непременно будем рвать...

Он ушел в воду. Медный шлем проплыл над ржавым железом верхней палубы «Черняховского», потом спустился ниже, и вот уже только бурун на поверхности моря позволил определить, что водолаз пробирается вдоль борта от носа к корме.

Медленно разматывался телефонный провод. Воронов должен был остерегаться: после каждого подводного взрыва отрываются от корпуса парохода железные листы, они иногда держатся на честном слове и могут рухнуть на голову. Острые края разорванных листов угрожают воздушному шлангу: зацепится — и останешься на дне без воздуха.

В то время как Воронов залезал под корму «Черняховского», на палубе нашего бота приготовили буюк. Деревянную доску обвязали тонкой бечевой и держали наготове, чтобы передать водолазу, когда он окажется там, где нужно положить заряд.

— Давай буюк, — сказал Воронов Алексею Чебаненко, сообщив, что лежит сейчас под кормой парохода, в небольшой выемке, образовавшейся после вчерашнего взрыва. — Здесь не развернешься, — ворчливо добавил он. — Ты вчера, Алеша, недоделал...

— Старался изо всех сил, — в тон ему откликнулся Чебаненко. — Дали б вчера побольше взрывчатки, тебе куда просторнее было бы...

— Едва протиснулся. Иллюминатор чуть не разбил... Давай буюк.

К деревянной доске привязали тяжелый груз и отправили по сигнальному тросу Воронову. Лежа под днищем «Черняховского», он получил нашу «посылку» и отвязал груз.

— Пускаю буюк. Следи...

Свежеоструганная доска вынырнула из воды в том же месте, где после каждого выдоха водолаза возникали буруны.

— Выпрыгнул, — произнес Чебаненко. — Все в порядке, Анатолий.

— У тебя порядок, а здесь черт знает что. Не знаю, с какой стороны подступиться к четвертому листу. Висит, проклятый, на одной заклепке, мешает заложить взрывчатку.

— Пройди к пятому, — посоветовал Чебаненко. — Там удобнее...

— Нет, положу здесь. Сразу оторвем два листа...

Некоторое время Воронов работал, не произнося ни слова. Потом спросил:

— Взрывников не видно?

Катер с красным флажком на мачте показался за кормой нашего бота.

— «Кобчик» притопал, — сообщил Чебаненко. — Выходи, Анатолий, перекурим...

Воронов поднялся на борт водолазного бота. Сняли с него шлем, манишку, груз. Он отдыхал, сидя на палубе. Тем временем «Кобчик» приткнулся к носовой части корпуса «Черняховского», торчавшей над водой. Мастер судоподъемных работ, ветеран аварийно-спасательной службы Михаил Григорьевич Слипский и два взрывника высадились на «малую землю» — так называют здесь этот клочок палубной надстройки затонувшего судна. Только в тихую погоду можно высадиться на «малую землю». Чуть подует ветер — и волны перекатываются через нее, оставляя жгуты водорослей и морской травы.

Мастер Сиплский — дородный пожилой человек — и его молодые помощники не торопились. Они осторожно перенесли с «Кобчика» на нос «Черняховского» завернутые в промасленную бумагу шашки тротила. Шестьдесят килограммов взрывчатки привязали к деревянной доске, вложили в этот заряд детонирующий шнур. Когда все было готово, «Кобчик» вышел в инспекторский рейс. Шустрый катерок проследовал к пирсу, где водолазы осматривали причальную стенку, и передал им приказ выйти из воды. Затем он направился к плавучему доку — проверить, не окажется ли кто под водой, когда подожгут шнур.

«Кобчик» вернулся, взрывники спустились в шлюпку и отплыли в сторону. Вскоре оттуда донесся негромкий отголосок взрыва. Это взорвали «отпугивающий» заряд. Перед тем как грохнут шестьдесят килограммов тротила, нужно отогнать рыбу от «Черняховского».

— Салют в честь рыбного надзора, — пошутил матрос нашего бота. Он сидел на палубе, забросив в море «донку» с наживкой. — А ведь зря стараются взрывники. Как только мы становимся на якорь возле «Черняховского» — вся рыба уходит. Знает, наверно, что тут ей несдобровать. Верно я говорю, Анатолий Никитич?

Воронов подтвердил: с той поры как начали рвать на куски затонувший пароход, не увидишь под водой ни ставридки, ни окуня.

Шлюпка вернулась, и Воронов надел шлем. Сойдя с трапа, он подплыл к взрывникам. Шлюпка покачивалась возле буйка, который обозначил место, выбранное водолазом для закладки заряда. Приняв его из рук взрывников, Воронов погрузился, потянув за собой, кроме воздушного шланга, сигнального конца и телефонного кабеля, еще и тонкий детонирующий шнур.

Молча следили мы за тем, как вырываются из воды пузыри воздуха. Воронов тоже молчал, пробираясь со своим опасным грузом в тоннель, под днище «Черняховского». Удастся положить заряд именно там, где это необходимо — под пятым листом? Не помешает что-либо водолазу втиснуться в узкую щель, прижать к железному корпусу затонувшего парохода тротил? Чебаненко нетерпеливо переминался с ноги на ногу, поглядывая на стрелку манометра. Наконец не выдержал.

— Как воздух? — спросил он только ради того, чтобы нарушить тягостное молчание.

— Прибавь чуток, — ответил Воронов, тоже, видимо, не испытывая в этом особой нужды, но понимая, что там, наверху, на палубе бота, просто хотят услышать его голос. — Сейчас положу заряд... Ну и тесно же, черт...

Кто не опускался на дно, под киль парохода, не сможет со всей отчетливостью представить себе, какой опасности подвергается Воронов, пробираясь между разорванными железными листами в полузаваленный грунтом тоннель. Чебаненко, стоявший возле пульта водолазной станции с микрофоном в руках, вчера побывал там, под днищем парохода, и тоже укладывал заряд, стараясь плотно прижать его к металлу.

В инструкции сказано: «...Случаи повреждения шлема и вообще скафандра чаще всего происходят при работе в узких и захламленных помещениях в условиях плохой видимости».

Воронов сейчас оказался именно в таком положении: он работал в полном мраке, в «помещении», которое не только было захламлено, но к тому же со всех сторон блокировано разорванным железом.

Никто на борту водолазного бота не выказывал явного беспокойства, но механик почему-то перестал возиться с мотором и стоял на корме, возле Чебаненко; забыл о своей удочке матрос, глядел не отрываясь на буруны, всплывавшие вокруг буйка; пришли сюда, на корму, и капитан, и повариха Рая.

— Подбирай шланг, — слышалось в наушниках телефониста.

Будничные, привычные слова прозвучали как радостная весть о том, что опасность миновала. Механик вернулся к замасленной детали, рыболов вспомнил о своей удочке, повариха скрылась в камбузе.

Но когда Воронов поднялся на палубу, его не спросили, что случилось, почему

он так долго возился с зарядом, а сам он сообщил только о том, что заряд под пятым листом, как и было намечено.

— Положил вплотную к днищу.

Капитан нашего бота велел выбрать якорь. Мы отошли от «Черняховского», уступив место экипажу взрывной шлюпки.

Огненно-красный детонирующий шнур протянулся к ней от заряда. Мы находились уже на расстоянии двухсот метров, когда там чиркнули спичкой и бросили шнур за борт. Не теряя времени, взрывники налегли на весла. Шлюпка быстро удалялась от «Черняховского». Минуты через две-три раздался сильный взрыв. Над «малой землей» взлетел водяной каскад. Когда он рассыпался, на поверхности моря плавали расщепленные доски и выброшенные со дна водоросли.

Мы вернулись к затонувшему пароходу. Вода над ним потемнела, и уже нельзя было разглядеть палубную надстройку, покрытую толстым слоем ила. Воронов не стал дожидаться, пока осядет на дно вся муть, поднятая взрывом, и отправился проверить — хорошо ли сработали шестьдесят килограммов тротила. На этот раз он недолго оставался под шилем парохода.

— Оторвало два листа, — сказал он, — третий держится на честном слове... Можно вынуть тонн пятьдесят, не меньше...

К «малой земле» подтянули плавучий кран. Пятьдесят тонн металлического лома, ради которого трудился под водой Воронов, увезли к причалу, где громоздятся горы такой же разорванной на куски корабельной стали, — ее подняли со дна моря и отправят на переплавку, чтобы вышли в море новые корабли...

«ЛОРД ГЛАДСТОН» ТЕРПИТ ВЕДСТВИЕ

В Новороссийском порту стоит «Лорд Гладстон». Огромный черный корпус теплохода крепко пришвартован к пирсу. Портальные краны поднимают из трюмов мешки, грузчики подхватывают их и укладывают в вагоны. «Лорд Гладстон» доставил в Новороссийск кубинский сахар.

На палубе два матроса сдирают скребками ржавчину, третий покрывает суриком очищенное железо. Свободные от вахты мотористы, матросы, механики спускаются по трапу.

— Все? — спрашивает по-английски девушка-переводчица из Новороссийского клуба моряков.

— Все, — коротко отвечает боцман.

Двадцать китайцев из Гонконга — они составляют большинство экипажа судна, плавающего под британским флагом, — идут к автобусу. Клуб моряков пригласил их в театр.

— Сколько стоит билет? — осторожно осведомляется боцман.

Услышав ответ, он удивленно пожимает плечами: все двадцать бесплатно? И за проезд в автобусе тоже не нужно платить? Сэнк ю! Что нам покажут? «Марицу»? Нет, я не видел ее. Редко, знаете ли, моряк попадает в театр..

На мостик выходит из своей каюты капитан Кларенс Айрланд. Это пожилой угрюмый человек. Он неодобрительно следит за тем, как матросы удаляются от борта «Лорда Гладстона», предводительствуемые девушкой в синем платье. Потом он спускается по трапу на палубу, к матросу, перепачканному суриком. Что-то и здесь ему не по душе. Он бросает несколько слов, матрос старательнее орудует кистью.

Капитан с минуту стоит у трюма, наблюдая за работой наших грузчиков. Тут не к чему придраться. Разгружают судно отлично. Стрела крана плывет над палубой, опускает в трюм свой крюк и через мгновение уносит на пирс связку тяжелых мешков.

Теплоход не стоял бы сейчас под разгрузкой, и не отправились бы матросы смотреть «Марицу», и не накрывал бы буфетчик столы в кают-компании к ужину, и не играли бы в ма-джонг мотористы на кормовой палубе, если бы русские мо-

ряжи не спасли «Лорда Гладстона», потерпевшего бедствие в открытом море, невдалеке от Новороссийска.

Тридцатого мая 1963 года в 4 часа 12 минут утра «Лорд Гладстон» сел на мель в районе Суджукской косы. Где бы ни случилась такая беда, она всегда чревата тяжкими последствиями. А здесь, у берегов Новороссийска, — это известно всем морякам — опасность особенно велика. Слишком часто и внезапно врываются сюда бешеные норд-осты, гудит злая бора, угрожая всем судам, застигнутым штормом вблизи береговых скал и предательских отмелей.

В то утро погода была сносная, дул слабый юго-западный ветер, видимость позволяла разглядеть и красный огонь буйка, ограждающего Суджукскую косу, и зеленые огни Пенайских и Новороссийских створов. Стоило лишь проследить за показаниями навигационных приборов, чтобы благополучно миновать опасные места и войти в Цемесскую бухту.

На мостике «Лорда Гладстона» стояли капитан, старший штурман и еще один капитан, Вильям Джонс — он сдал судно в Босфоре новому командиру. Три года не видел берегов Англии старый моряк.

Резкий толчок едва не свалил с ног всех, кто находился на мостике.

— Судно коснулось грунта! — испуганно крикнул старший штурман.

Остановили машину. Несколько минут ушло на то, чтобы сообразить — каким же это образом стряслась беда именно там, где все проявляют особую осторожность.

Лучше других мог бы, наверно, определить, что вызвало аварию, Вильям Джонс. Он уже три раза вводил судно в Новороссийскую гавань. Он-то, очевидно, понимал, что причиной бедствия была непростительная беспечность капитана и старшего штурмана. Они повернули к Новороссийску на несколько минут раньше, чем нужно было это сделать, чтобы не сбиться с фарватера. Они не следили за показаниями приборов.

В судовом журнале не записано, сказал ли он об этом или промолчал, щадя самолюбие нового капитана. Но вслед за этим была допущена еще одна ошибка — о ней упомянуто в судовом журнале:

«4 часа 12 минут. Судно село на грунт.

4 часа 13 минут. Машине дан полный вперед. Судно не двигается».

Разумеется, оно и не могло бы двинуться, так как всем своим днищем (это увидели вскоре наши водолазы) напоролось на крупную гальку. Ни в коем случае нельзя было давать полный вперед, это лишь усугубило беду, постигшую «Лорда Гладстона»...

Радиограмма с борта бедствующего судна была получена в Новороссийске в 4 часа 50 минут утра. Через тридцать минут из порта вышел буксир «Джугарлыч». На его борту к месту аварии прибыли начальник аварийно-спасательной группы Николай Александрович Шульга, инженер Георгий Лукич Артюхов, представители портовых властей.

Вслед за ними к «Лорду Гладстону» пришвартовался водолазный катер. В то время как матросы с британского судна принимали швартовы, водолаз Вениамин Яковлевич Кузьминых уже спускался по трапу на дно моря. Он шел вдоль корпуса «Лорда Гладстона» и докладывал по телефону:

— Судно сидит на крупной и мелкой гальке. Повреждений не видно. Только следы краски на камнях — там, где по ним пришлось днище.

Водолаз подвергался большой опасности. Сильный накат с правого борта то и дело сбивал его с ног. Камни, поднятые волной, угрожали помять шлем. Кузьминых не сообщал об этом по телефону со дна моря. Он знал, что нужно быстрее осмотреть подводную часть корпуса, чтобы решить, каким образом стянуть с мели судно длиной в сто сорок метров.

В то время как Кузьминых самоотверженно трудился, исследуя грунт и днище «Лорда Гладстона», экипаж британского судна пребывал в вынужденном бездействии. Англичане и китайцы с одинаковым беспокойством наблюдали за подготовкой к разгрузке теплохода. Все понимали, что стянуть его с мели не удаст-

ся никакими силами, если не снимут хотя бы часть груза. А сколько продлится разгрузка в открытом море? Позволит ли погода выполнить эту первую часть операции? Если ветер с четырех баллов перейдет на шесть или восемь — никто не поручится, что «Лорд Гладстон» выпутается из беды...

Водолаз совершил рискованный рейд вдоль обоих бортов теплохода. Передохнув немного, снова опустился на дно, чтобы выяснить, в какую сторону можно потянуть «Лорда Гладстона» без риска еще раз посадить на мель.

— Влево нельзя, — предупредил Кузьминых. — Если подхватим за корму, проследите, чтоб нос не вилял, не то опять посадим на грунт.

Все, что высмотрел Кузьминых, позволило корабельному инженеру Николаю Шамировичу Захарьяну — он прибыл с первой группой спасателей — составить технический проект стаскивания «Лорда Гладстона» с мели.

Днище «Лорда Гладстона» было прижато к грунту тяжестью почти в две с половиной тысячи тонн. Несколько очень мощных буксиров могли бы сдвинуть его, но стальные листы обшивки теплохода вряд ли смогут выдержать такую нагрузку. Скорее всего они порвутся и судно окажется в еще более опасном положении. Строгий расчет требовал большой осмотрительности. Как ни эффектно выглядела простая операция: мощные буксиры одним рывком снимают теплоход с грунта — об этом никто и не заговаривал. Инженер Захарьян предъявил свои выкладки и свой — единственно возможный — вариант спасательной операции: вынуть из трюмов две тысячи четыреста тонн, чтобы буксиры могли оторвать судно от грунта.

Капитан Айрланд одобрил проект Захарьяна.

— Сколько понадобится вам, чтобы снять такой груз в рейдовых условиях? — спросил он. — Не изменится ли за это время погода?

Спасатели не могли, конечно, гарантировать, что слабый юго-западный ветерок не превратится завтра в десятибалльный норд-ост. Но снять с теплохода в самый короткий срок как можно больше груза — это они обещали капитану Айрланду. И англичане убедились, что у советских моряков слова не расходятся с делом.

Из Новороссийска привели баржу, и бригада грузчиков поднялась на борт «Лорда Гладстона».

В «Оперативном журнале» инженера Георгия Лукича Артюхова записано:

«12 часов. Самоходная баржа ошвартовалась у трюма № 3. Десять грузчиков приступили к работе. Выгружают мешки с сахаром из трюма. Ветер норд-норд-вест, четыре балла. Облачно. Море — три балла.

14 часов 45 минут. Сильный накат с левого борта не позволяет продолжать разгрузку. Перевели баржу под правый борт. Ветер норд-норд-вест, пять баллов. Облачно. Море — четыре балла».

Погода ухудшалась, нужно было торопиться.

Волны подбрасывали баржу, трудно было принимать тяжелые связки мешков, поднятые над высоким бортом теплохода. Не впервые портовые грузчики работали вот так же, на рейде, ежеминутно рискуя свалиться за борт, подхватывая раскачивающийся из стороны в сторону маятник весом в полторы тонны. Но никогда еще не разгружали они судно с такой быстротой.

В восемь часов вечера инженер Георгий Лукич Артюхов записал в «Оперативном журнале»:

«Выгружено двести шестнадцать тонн. Ветер норд-норд-вест, пять баллов, море — четыре балла. Пасмурно».

Вспыхнули прожекторы. Разгрузка продолжалась. Из Новороссийска прибыла еще одна самоходная баржа. Ее поставили у левого борта, несмотря на то, что накат не уменьшился. Погода совсем испортилась, тяжелые облака сгрудились над морем, загрохотал гром. Потoki воды обрушились на теплоход. Задраили трюмы. Погасли прожекторы. В отблесках молний виден был неподвижный корпус «Лорда Гладстона» и буксиры, водолазные боты, самоходные баржи, раскачивавшиеся на крутой волне.

На мостике теплохода стояли Айрланд и Джонс. Все, кто побывал на борту «Лорда Гладстона», заметили, что два англичанина старались не вступать в общение друг с другом. Во время переговоров с командованием аварийно-спасательного стряда Вильям Джонс молча сидел в каюте капитана. Иногда, решая какой-нибудь чисто технический вопрос, капитан обращался к нему, и видно было, что обоим это не доставляет удовольствия.

Капитан Новороссийского порта познакомил меня с документом, который вручил ему Кларенс Айрланд после завершения спасательной операции.

В этом послании изложены все обстоятельства, предшествовавшие аварии. Изложены так, что малоосведомленный человек даже не заподозрит в чем-либо капитана. Он вел судно, пользуясь картой Адмиралтейства, и оставил Суджукскую косу, как и рекомендует, влево по курсу. Но капитан полагает, что «Суджукский буй должен быть перемещен на несколько сотен метров дальше к востоку». И тогда «Лорд Гладстон» не напоролся бы на мель.

Такое предложение показалось бы вразумительным лишь тому, кто не знает подлинной обстановки в этом районе. Если бы передвинули к востоку буй, это сократило бы и без того узкий проход между Суджукской косой и Пенайской банкой.

Капитан Айрланд хотел снять с себя вину за грубую ошибку.

«Намечая курс при подходе к Суджукскому бую, — написал он, — я полагался на опытность бывшего капитана, который был на борту и неоднократно входил в Новороссийскую бухту».

Гроза заставила прервать разгрузку «Лорда Гладстона». Капитан и его молчаливый пассажир не покидали мостик. Никто не ложился спать и в каютах экипажа. Спасательные шлюпки по обоим бортам были приведены в готовность. Боцман стоял возле лебедки. Не один человек на борту английского парохода, наверное, подумывал о том, что «Лорду Гладстону», видимо, не суждено вернуться из этого рейса...

Утром снова открыли трюмы и грузчики возобновили работу. Возле теплохода стояли наготове «Посейдон» и «Ледокол-2». Все с нетерпением ждали минуты, когда перебросят на борт «Лорда Гладстона» стальные канаты и заработают машины двух буксировщиков. Они обладали достаточной мощностью, чтобы сдвинуть с места судно после того, как снимут с него часть груза.

Наступил третий день с того злополучного рассвета, когда «Лорд Гладстон» послал сигнал бедствия. Старший штурман доложил капитану:

— Русские намерены подать нам буксир.

— Сколько они выгрузили?

— Тысячу шестьсот тонн.

— Они должны снять две тысячи четыреста.

— Но они все-таки хотят подать нам буксир, — повторил старший штурман. — Завтра воскресенье, они, наверное, желают отдохнуть...

— Завтра может нагряться норд-ост. Как его здесь называют — бора?

— Так точно, сэр.

— Принимайте буксир.

«Посейдон» и «Ледокол-2» завели на корму «Лорда Гладстона» буксирные канаты. Инженер Артухов высадился на его борт, прихватив с собой радиста с аварийной рацией.

Машины спасательных судов заработали на полную мощность, натянулись толстые стальные тросы. Несколько минут «Лорд Гладстон» не подавал никаких сигналов. Потом послышалось из репродуктора:

— Судно шевельнулось...

Через минуту над морем прозвучало радостное:

— Двигается!

И тогда на палубе «Лорда Гладстона» закричали по-английски и по-китайски:

— Идет!

Еще раз спустились на дно водолазы, осмотрели корпус судна.

— Никаких повреждений нет, — сообщили они, поднявшись на борт водолазного бота.

К «Лорду Гладстону» подошел лоцманский катер. Можно было ввести спасенное судно в порт.

«Лорд Гладстон» разгружается в Новороссийском порту. Работает та же бригада грузчиков, что спустилась в его трюмы у Суджукской косы. Черный корпус теплохода уже поднялся на несколько метров над пирсом. Выглянули из воды склепанные железные листы обшивки в оранжевых подтеках ржавчины.

Возле огромной подошвы порталного крана остановился, глядя на теплоход, на ярко освещенную палубу, светловолосый высокого роста моряк. Вениамин Яковлевич Кузьминых отработал свои три часа под водой у восточного мола и по дороге домой не отказал себе в удовольствии взглянуть еще раз на судно, которое помог спасти.

Увидев меня, Кузьминых спросил:

— Ну как, неплохую посудину отняли у моря? Новенький шип, пятьдесят девятого года рождения...

Он хозяйским взглядом окинул океанский корабль под чужим флагом.

— Все-таки не мешало бы ему побывать в доне. Ходит в южных морях, там корпус быстро ржавеет. Смотрите, как его прихватило под ватерлинией. А ниже, у самого киля, — я это увидел тогда, у Суджукской косы — живого места не осталось.

На причал вкатился взамен только что ушедшего железнодорожный состав. После короткой передышки взобралась по железной лестнице в кабину молоденькая крановщица, прозвучало: «Майна помалу!» — и тяжелая связка мешков, набитых желтоватым сахарным песком, нырнула в вагон.

Утром «Лорд Гладстон» стоял на прежнем месте, и, поднимаясь вместе с представителями портовой администрации по трапу, я заметил, что ржавые листы подводной части корпуса теплохода уже возвышались над причалом почти на метр. За ночь вынули из трюмов более тысячи тонн сахара.

Капитан встретил нас у порога своей каюты. Дверь была раскрыта настежь, и грузная фигура Айрланда возникла перед нами в сизых волнах табачного дыма. На столе возле пишущей машинки большая пепельница была доверху заполнена раздавленными окурками сигарет.

— Я получил радиogramму из Лондона, — сказал капитан, пригласив нас в каюту. — Хозяин судна просит передать благодарность всем, кто участвовал в оказании нам помощи.

— У вас нет никаких претензий к этим людям?

— О, что вы! Они работали отлично. Я отмечаю это в своем письме. — Капитан жестом указал на лист бумаги, вставленный в пишущую машинку. — На борту ваших спасательных судов — опытные моряки. Прошу поблагодарить их и от моего имени.

В каюту заглянул бывший капитан. Айрланд представил его нам.

— Сэр Джонс четвертый раз в Новороссийске. У него здесь много знакомых...

— Но с отрядом спасателей пришлось встретиться впервые, — добавил с усмешкой Вильям Джонс.

Капитан промолчал. После неловкой паузы он произнес, нервно сунув недокуренную сигарету в пепельницу:

— Нельзя признать самым удобным из всех существующих в мире этот фарватер возле Суджукской косы...

Представитель порта не стал разубеждать капитана. В настоящей ситуации было бы не совсем деликатно напомнить сэру Айрланду, что в Новороссийский порт ежедневно входят суда под флагами многих стран мира, и каждому необходимо обогнуть Суджукскую косу, и все совершают этот несложный маневр

без каких бы то ни было осложнений. Даже в штормовой час. Представитель порта решил перевести разговор на другую тему.

— Я слышал, у вас на борту интересная противопожарная сигнализация? — спросил он. — Нельзя ли взглянуть?

Капитан охотно согласился пройти с нами в штурманскую рубку. Мы увидели аппарат, который позволяет в любую минуту узнать, какая температура во всех отсеках теплохода. Если где-нибудь температура поднялась выше нормы — об этом здесь мгновенно станет известно.

Этот аппарат был в полной исправности, так же как и радар и эхолот. — его почему-то не включили, когда «Лорд Гладстон» приближался к Новороссийску. Неловко было спрашивать капитана, воспользовался ли он эхолотом, точно показывающим глубину моря под килем судна, когда выбирал безопасное направление при подходе к Суджукской косе. Ведь если бы тогда прибор привели в действие, не понадобилось бы особого умения, чтобы изменить курс и уберечь судно от посадки на мель.

— Завтра кончим разгружать вас, — сказал, прощаясь, представитель порта. — Возьмете пшеницу — и в обратный рейс?

— Да, — сказал капитан.

— Желаю вам счастливого плавания.

— Благодарю.

— Надеюсь, в следующий раз приход в Новороссийск не доставит вам никаких огорчений...

— Разделяю вашу надежду.

Капитан и сэр Джонс проводили нас до трапа.

Матросы британского теплохода возвращаются из театра. Судя по тому, как они оживлены, с какой сердечностьюжимают руку переводчице, вечер пришелся им по душе.

Если доведется вам побывать в каком-либо порту, откуда уходят, сверкая огнями, большие, красивые корабли, загляните и на тот тихий причал, где стоят скромные суденышки аварийно-спасательной флотилии. Вы не встретите здесь щеголевато одетых моряков дальнего плавания. На корме или на фальшборте буксира наверняка зияют вмятины — память о недавнем штормовом рейсе. Эти труженики порта всегда готовы помчаться туда, где с кем-нибудь стряслась беда. Радисты сменяют друг друга в крохотных каютах, в машинных трюмах не остывают гребные валы.

Пожелайте счастливого плавания и удачи отважным спасателям морского флота...



ПУБЛИЦИСТИКА

А. БОВИН

★

ИСТИНА ПРОТИВ ДОГМЫ

Единство международного коммунистического движения — важнейшее условие ускорения социального прогресса. Всякие попытки расколоть единый фронт коммунизма закономерно встречают отпор марксистов-ленинцев, дорожащих сплоченностью революционных рядов, сплоченностью лагеря социализма. Вот почему коммунисты всего мира с тревогой и беспокойством следят за действиями руководства Коммунистической партии Китая, которое встало на глубоко ошибочный, раскольнический путь. Руководители КПК открыто и настойчиво выступают против генеральной линии, выработанной совместными усилиями коммунистов всех стран. С догматических, сектантских, левооппортунистических позиций они пересматривают стратегию и тактику мирового коммунизма по таким коренным вопросам, как отношение к угрозе войны и политика мирного сосуществования, роль и развитие мировой социалистической системы, борьба против идеологии и практики культа личности, методы и формы борьбы за социализм, характер и значение национально-освободительной борьбы на современном этапе. Истинам, которые родились в борьбе народов, они противопоставляют догмы, абстрактные схемы и формулы, которые так же отличаются от подлинной революционной теории, как высохшая мумия от живого человека.

Вряд ли надо специально доказывать, что серьезные разногласия по принципиальным, затрагивающим кровные интересы народов вопросам современности внутри коммунистического движения, ухудшение отношений между Коммунистической партией Советского Союза и Коммунистической партией Китая — серьезное событие международной жизни за последние годы. Естественно, что разные люди, разные классы и партии по-разному относятся к этим фактам. Однако ни радость наших врагов, ни огорчение друзей не должны помешать спокойному, трезвому анализу сложившейся ситуации, ее причин и возможных перспектив развития. Легковесный оптимизм и преждевременный пессимизм в равной степени вредны при решении проблем большой политики. Для всех коммунистов, для всех людей, думающих о проблемах, поставленных в центр полемики, образцами служат документы КПСС и братских коммунистических партий, где строго научный подход к анализу разногласий сочетается со страстной убежденностью в правоте, истинности отстаиваемых положений.

ПОЛЕМИКА И СОЦИОЛОГИЯ

Анализ возникших разногласий можно провести с разных точек зрения: политической, экономической, идеологической и т. д. Но вполне закономерен и общесоциологический аспект исследования. Он, понятно, уступает анализу политическому и в смысле остроты и актуальности выводов, и в смысле детального изучения всех оттенков мнений и нюансов политики, и в смысле практической «отдачи». Но у социологии есть свои преимущества — ее подход более обобщен. Во главу угла ставится выяснение того, какое место данный факт занимает в цепи исторических событий, какие новые стороны исторической реальности он показывает, какое имеет значение для наших

представлений о характере и тенденциях развития мирового социализма. Точный (речь, конечно, идет не о математической, а о социологической точности) и всесторонний ответ на эти вопросы даст, видимо, ближайшее будущее. Вместе с тем уже сегодня можно высказать некоторые соображения, сформулировать несколько «рабочих гипотез», которые в социологии не менее необходимы и полезны, чем в естествознании.

Сейчас очевидно, что некоторые наши представления о взаимоотношениях социалистических стран, о соотношении единства и различий в рамках социалистической системы нуждаются в корректировке. Многие из нас думали — и это было не слишком давно, — что победа социалистической революции, приход к власти коммунистических партий как-то само собою исключают сколько-нибудь значительные разногласия и противоречия между соответствующими партиями и странами. Теперь каждому ясно, что реальность оказалась сложнее и противоречивее.

Развитие событий показало, что ни единая система собственности, ни одинаковая сущность политической власти сами по себе, «автоматически» не обеспечивают, не гарантируют безусловного единства политических действий, стратегии и тактики, единого понимания важнейших теоретических и политических проблем. Общность социально-экономического строя, общность коренных интересов и целей, конечно, создает, как сказано в Программе КПСС, «объективную основу для прочных и дружественных межгосударственных отношений в социалистическом лагере», является крепким и надежным фундаментом для единства стран социалистического лагеря. Но, как известно, на исторической сцене действуют люди, живущие в конкретных условиях той или иной конкретной страны. Различная степень экономического развития, разнородные исторические и национальные традиции, разница в социальной структуре населения и ряд других аналогичных факторов могут в той или иной форме отразиться на политике социалистической страны. Надо ли доказывать далее, что немалую роль в определении этой политики играет состав руководящих органов, личные качества руководителей, их политический оцет, их идейная зрелость?

Пожалуй, ни одна историческая эпоха не была столь насыщена важнейшими событиями, не требовала такой быстроты анализа постоянно меняющихся обстоятельств, такой точности и обоснованности принимаемых решений, как время, в которое мы живем. К сожалению, бремя политических решений, тяжесть политической ответственности нельзя переложить на плечи счетно-решающих устройств. Политика, и даже научная политика, во многом продолжает оставаться сферой искусства, где безраздельно царствует ум человеческий со всеми его сильными и слабыми сторонами, с гениальными предвидениями и традиционными предрассудками.

«Могут ли быть, товарищи, в нашей практической деятельности, в строительстве социализма и коммунизма разное понимание, различный подход к решению тех или иных вопросов, иной раз даже принципиального характера? — говорил Н. С. Хрущев. — Могут. В одной партии подчас возникает у отдельных деятелей этой партии различное понимание одного и того же вопроса.

Что же в таких случаях надо делать?

Нужно добиваться единства в самом главном, решающем, что нас объединяет. Вместе с тем надо проявить терпение, когда обнаруживаются разногласия по тем или иным конкретным вопросам, не следует бросаться обвинениями — если ты со мною не согласен — значит ты против революции, а если ты со мною согласен — ты за революцию».

Таким образом, основная, решающая тенденция, действующая в рамках социалистического содружества народов, ведет к сплочению и единству всех стран социализма для решения общих задач, для борьбы с общим врагом. Корни этой тенденции уходят в общность экономических, политических и идейных структур стран социализма, ее истоки лежат в самой природе, в самой сущности нового способа производства. Что же касается возможности разногласий, то она связана не с природой социализма, а с некоторыми особенностями его возникновения и становления. С укреплением и упрочением социализма, с выравниванием уровня экономического и социального развития социалистических стран, с преодолением традиций, унаследованных от старого мира, единство социалистического лагеря будет расти и крепнуть, а разногласия

уходить в прошлое. Сказанное ни в коей мере не следует понимать так, будто появление серьезных разногласий между братскими странами — нечто фатально неизбежное. Разногласия возможны. Но их можно избежать, появление их можно предотвратить! Что нужно для этого? Настоячиво, последовательно проводить в жизнь принципы пролетарского интернационализма, братской солидарности всех социалистических стран. Не поддаваться ложно понимаемым соображениям «престижа», бороться с проявлениями националистических и великодержавных тенденций. Всегда ставить во главу угла то основное и самое важное, что спланирует всех коммунистов, всех трудящихся, видеть перспективу, общую цель борьбы. Руководствоваться принципами творческого марксизма-ленинизма. Правильно говорится в Открытом письме ЦК КПСС: «...разногласия между братскими партиями — это не более чем временный эпизод, тогда как отношения между народами социалистических стран устанавливаются сейчас навеки». Вот почему святая обязанность каждой партии — приложить максимум усилий для достижения единства, для устранения существующих разногласий.

Социологический (и политический) анализ окажется односторонним и потому ошибочным, если мы ограничимся лишь констатацией факта. Установление факта — первый этап исследования. Второй этап — оценка интересующего нас факта с точки зрения классов и партий, в данном случае с точки зрения социализма.

Если речь идет о различных оттенках в понимании того или иного конкретного вопроса, если в рамках дружеской дискуссии сравниваются, изучаются различные методы решения общих задач, если на основе общей марксистско-ленинской платформы обсуждаются те или иные проблемы теории, то такие дискуссии и обсуждения вполне естественны и закономерны. Такие дискуссии, если их основой служат интересы коммунизма, ведут к дальнейшему сплочению сил социализма, ибо они отсекают все отжившее, старое, способствуют развитию теории, росту взаимопонимания и укреплению единства социалистических стран.

Но есть и другие споры, в которых одна из спорящих сторон ставит под сомнение основные устои революционной теории, отворачивается от фактов, игнорирует аргументы. Такие споры не укрепляют, а расшатывают единство коммунистов, вызывают неприязнь и недоверие между партиями и странами.

МЕТОДЫ КРИТИКИ И КРИТИКА МЕТОДОВ

Именно в спор такого рода втягивают КПСС и все международное коммунистическое движение руководители КПК и КНР. Китайские деятели часто пишут и говорят, что «проводить четкую грань между врагами и своими товарищами, быть беспощадным к врагам и доброжелательным к своим товарищам — это элементарное требование к коммунистам» («Жэньминь жибао», от 15 декабря 1962 г.). Сказано верно. Но дела китайских деятелей противоположны их словам. Все их полемические статьи насыщены оскорбительными, бранными выражениями по адресу коммунистов других стран. Руководители Индийской коммунистической партии — это «лакеи и прихвостни» буржуазии, «жалкая горстка». Руководители компартии США «двулики», товарищи из Французской компартии проявляют «поразительную безответственность», а деятели компартии Италии «близоруки и трусливы, как мыши». В ответ на критические замечания КПСС лидеры КПК высокомерно заявляют: «Не карлика мерить своей меркой поступки исполинов». Вот уж поистине исполненная самоуверенность и зазнайство. И это стиль дискуссии между коммунистами?! Это партийные методы полемики?! Это доброжелательное отношение к своим товарищам?! Нет, этот «ароматный» букет было бы уместней видеть в руках ярых антикоммунистов, чем у людей, называющих себя марксистами-ленинцами.

Коммунистические партии решительно отвергают левооппортунистическую платформу лидеров КПК и с негодованием осуждают недостойные коммунистов методы ведения дискуссии, приемы разрешения разногласий. Вот что говорится, например, в резолюции Пленума ЦК компартии Дании: «Мы очень сожалеем о тех методах, к которым прибегает руководство Коммунистической партии Китая, делая свои вы-

пады против совместно выработанной линии. Эти методы не отмечены стремлением к достижению взаимопонимания и единства. Наоборот, они отражают стремление к созданию фракций, ведущих ко все более и более непримиримым точкам зрения. Нет никакого оправдания выпадам, направленным против братских партий, выпадам, базирующимся на произвольно сконструированной основе, когда партиям приписывают убеждения, которых, как всем известно, они не придерживаются. Еще более остро формулируют свое мнение ливанские коммунисты: в оппозиционном, раскольническом курсе китайских руководителей «превалируют хитрость и махинации, обращение к клевете и интригам, к авантюрам и шантажу, догматизм, узость взглядов и близорукость, слепой шовинизм». Резкие, но справедливые слова!

Если внимательно изучить многочисленные заявления китайского руководства, материалы китайской печати, то вырисовывается следующий перечень основных методов и приемов, которыми пользуются китайские руководители для обсуждения вопросов теории:

фальсификация, искажение взглядов и концепций своих оппонентов. «Сначала они приписывают нам ни на чем не основанные, ими же самими выдуманные положения,— говорится в Открытом письме ЦК КПСС,— а затем начинают обвинять нас, бороться с нами, разоблачая эти положения»;

почти полное пренебрежение к фактам, к исторической реальности, к той обстановке, в которой действуют другие коммунистические партии; подмена научного анализа чрезвычайно общими, абстрактными формулами, не пригодными для выработки конкретной тактики в конкретной ситуации;

догматическое, начетническое использование отдельных высказываний Маркса и особенно Ленина, называемое борьбой за «чистоту» марксизма-ленинизма.

Можно привести десятки примеров, иллюстрирующих каждый из указанных критических приемов. Но для того, чтобы определить качество вина, вовсе не нужно выпивать всю бутылку. Поэтому ограничимся единицами.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ КАК ПРИНЦИП

Казалось бы, что правильное, добросовестное изложение взглядов своих оппонентов — элементарное, само собой разумеющееся условие и предпосылка объективной, научной критики. Теоретики из Пекина не спорят с этим. Больше того, они настаивают на этом условии, протестуют против «клеветнического искажения» их взглядов. Шумные протесты направлены не по адресу. Искажение, вольная перелицовка концепций и представлений братских коммунистических партий — один из основных приемов, используемых китайскими критиками. Они много, очень много толкуют о «принципах», но создается впечатление, что главный из этих принципов — клевета на другие партии, произвольное переименование их позиций и мнений.

Вот несколько фактов. Подвергая необоснованным нападкам позицию американских коммунистов в связи с карибским кризисом прошлого года, китайские руководители обвиняют компартию США и другие партии не больше не меньше как в стремлении «обелить» американский империализм. В передовой статье «Жэньминь жибао» от 8 марта 1963 года «О заявлении Коммунистической партии США» утверждается, будто в международном коммунистическом движении существуют «принципиальные разногласия в вопросе о том, как оценивать американский империализм». Суть этих «разногласий» китайские теоретики излагают следующим образом: «Мы верим в великую силу народных масс, выступаем за то, чтобы в борьбе против империализма и в защиту мира во всем мире опираться главным образом на сплоченность и борьбу народов всех стран, на объединенную борьбу социалистического лагеря, международного рабочего класса, национально-освободительного движения и всех миролюбивых сил. В противоположность нам, они не верят народным массам и возлагают свои надежды главным образом не на сплоченность и борьбу народных масс, а на «разум» и «добрую волю» империалистов, на встрече глав двух великих держав».

В этой филиппике нет ни грама правды. Находясь в самом центре международного империализма и мировой реакции, поставленные в невыносимо тяжелые условия, под-

вергаемые непрерывным преследованиям и репрессиям, американские коммунисты мужественно ведут борьбу с сильным и опасным противником. Они решительно изгнали из своих рядов Ловстона, Браудера и их приспешников, проповедовавших «исключительность» американского империализма, и последовательно разоблачают агрессивную, реакционную политику правящих кругов США. Они отвергли псевдоревolutionционную болтовню троцкистских и полутроцкистских авантюристов, левацких раскольников и взяли курс на сближение с массами, на завоевание поддержки масс. Их стратегия и тактика определяются не благими пожеланиями, не «хотением», а трезвым учетом реальной обстановки, соотношением классовых сил в стране.

Китайские критики марксизма, видимо, полагают, что иронические кавычки («разум» империалистов), неоднократные упоминания о борьбе народных масс — неопровержимое доказательство революционности, ненависти к империализму. Конечно, по сравнению с такими «бумажными тиграми», как, скажем, атомная бомба, кавычки — несравненно более сильнодействующее средство борьбы против империализма. Было бы просто чудесно, если бы можно было уничтожить империализм, взяв в кавычки это слово. Но, к сожалению, этого пока сделать никому не удалось. Даже китайским архиревolucionционерам!

Суть дела, если говорить серьезно, а не вращаться в кругу общих фраз и прописных истин, в том и состоит, чтобы найти пути, методы, способы, подводящие массы к пониманию необходимости борьбы с империализмом, чтобы наметить наиболее эффективные, наиболее действенные способы этой борьбы. Суть дела состоит, далее, и в том, чтобы, опираясь на поддержку масс, на борьбу трудящихся, заставить империалистов считаться с требованиями народов. А для этого, в частности, необходимо использовать и противоречия среди империалистических политиков, использовать разум одних против безумия других.

Принципиальная ошибка китайских теоретиков заключается в том, что они за словом «империализм» не видят самих империалистов, за словом «массы» не видят конкретных людей, которых надо убеждать, воспитывать, вести на борьбу против эксплуатации. Короче говоря, они не видят всей сложности жизни и предельно схематизируют действительность. А всякие взгляды, не укладывающиеся в прокрустово ложе этой черно-белой схемы, они объявляют ревизионистскими, реформистскими и т. п. Прием не новый...

Другой, не менее очевидной фальсификацией взглядов марксистско-ленинских партий является попытка доказать, будто под прикрытием фраз о мирном сосуществовании коммунисты отказываются от революции. Вот несколько вариаций на эту тему. «Современные ревизионисты, — говорится в передовой журнала «Хунци» (1963, № 1) под громким названием «Ленинизм и современный ревизионизм», — лицемерно ратуют за «мир» и «мирное сосуществование», пытаются ограничить, ослабить и даже отрицать революционную борьбу угнетенных народов и угнетенных наций». Этот же журнал (1963, № 3—4) в редакционной статье «Еще раз о разногласиях товарища Тольятти с нами» обвиняет итальянских коммунистов, будто они считают, что «путем одного лишь мирного соревнования между социалистическими и капиталистическими странами, без революций народов можно в капиталистических странах создать такой же «экономический и общественный порядок», какой существует в социалистических странах». Аналогичный упрек бросает заявление представителя китайского правительства (1 сентября 1963 года) и в адрес советских коммунистов: «Все больше и больше фактов показывают, что теория советских руководителей в вопросе войны и мира является теорией запрета революции...»

Трудно сохранять корректный тон, отвечая на фальсификации. Но не будем подражать тону китайской печати. Ограничимся аргументами.

Ни в официальных документах коммунистических партий, ни в их практической деятельности нет и намек на то, что революция «заменяется» мирным сосуществованием. Как-то даже неудобно доказывать этот самоочевидный тезис. Вопрос стоит иначе:

— способствует ли мирное сосуществование между капиталистической и социалистической системами подъему революционного движения в развитых капиталистических странах?

— способствует ли сохранение мира росту национально-освободительного движения, борьбе народов за политическую и экономическую независимость?

Международное коммунистическое движение отвечает утвердительно на оба эти вопроса. И этот вывод — не просто плод умозрения, а итог, обобщение опыта революционной борьбы за послевоенный период. Главное здесь состоит в том, что в условиях мирного сосуществования происходит непрерывное возрастание могущества социалистического лагеря, увеличивается его удельный вес в экономической и политической жизни мира, растет притягательная сила живого, реального примера нового образа жизни — жизни без эксплуатации, без нищеты и безработицы, без национального и расового неравенства. Успехи мирового социализма революционизируют мир, вдохновляют народные массы на борьбу с империализмом, способствуют росту авторитета коммунистических партий. Это факты, которые нельзя опровергнуть.

Вместе с тем мирное сосуществование ослабляет лагерь империализма, сковывает по рукам и ногам наиболее агрессивных деятелей капиталистических стран, препятствует проведению антикоммунистической политики, обнажает неустойчивость экономической системы и социальной структуры капитализма. Разве случайно, что именно империалистические политики вели и продолжают вести линию на срыв мирного сосуществования? Нет, не случайно. И не потому, что, допустим, Даллес имел драчливую натуру, а Трумэн отличается воинственными наклонностями. Империалисты понимают то, чего, к сожалению, не хотят уразуметь китайские руководители: сохранение мира ослабляет силы контрреволюции и укрепляет силы революции. И наоборот, всякое обострение международной обстановки ведет к усилению реакции, к разжиганию антикоммунистической истерии, затрудняет борьбу народов за свободу, независимость и социализм.

За примерами не надо далеко ходить. Каковы результаты индо-китайского пограничного конфликта, этого типичного образчика политики «острие против острия»? Может быть, этот конфликт способствовал делу социализма, поднял революционную энергию масс, привел к росту антиимпериалистических настроений? Ничего подобного!

Индо-китайский пограничный конфликт, во-первых, подорвал престиж социалистической страны в глазах миролюбивых сил, в глазах миллионов трудящихся стран Азии и всего мира; во-вторых, создал питательную среду для активизации индийских реакционеров, вызвал преследование коммунистов, ослабил влияние идей социализма в одной из крупнейших «неприсоединившихся» держав. И, в-третьих, дал лишний козырь в руки империалистических пропагандистов, пугающих массы «агрессивностью мирового коммунизма». Вряд ли можно утверждать, что все это пошло на пользу революции. Нет, не пользу, а большой вред делу освободительной борьбы приносит неразумная политика противопоставления мирного сосуществования интересам социализма.

Еще более отчетливо фальшь китайских концепций, якобы защищающих революцию от «всяких миротворцев», выявилась в связи с осуждением китайскими руководителями Договора о запрещении испытаний ядерного оружия. Китайские деятели, видимо, считают, что чем чище будет воздух на нашей планете, тем легче будет дышаться империалистам, а это, само собой понятно, вредно для дела революции. Но народы мира не принимают такую логику. Они борются не для того, чтобы умереть в месте с империалистами, а для того, чтобы жить без империалистов.

Можно понять желание китайских деятелей поскорее покончить с империализмом, побыстрее создать коммунистическую цивилизацию на земле. Но историю не всегда можно подхлестывать. Когда на чашу весов кладутся сотни миллионов человеческих жизней, всякое намерение искусственно «ускорить» революционный процесс превращается в конечном счете в свою противоположность, в тормоз общественного прогресса.

Вспомним слова Ф. Энгельса: «Победоносный пролетариат не может никакому чужому народу навязывать никакого осчастливления, не подрывая этим своей собственной победы. Разумеется, этим не исключаются никоим образом оборонительные войны различного рода».

В наше время именно мирное сосуществование — наиболее желательная для народов форма общественного прогресса. И чем прочнее будет мир на земле, чем прочнее будут позиции миролюбивых сил, тем активнее будет разворачиваться классовая борьба против империализма, колониализма, реакции. Такая точка зрения международного ком-

мунистического движения не имеет ничего общего с пацифизмом, с капитулянством. КПСС поддерживала и поддерживает освободительные, справедливые, революционные войны.

Такова позиция КПСС. Такова позиция мирового коммунистического движения. И напрасно стараются китайские деятели ее извратить, бросить тень на революционный характер коммунистических партий. Народы, трудящиеся мира знают, на чьей стороне истина.

СХЕМЫ ПРОТИВ ЖИЗНИ

Другой, не менее часто используемый прием китайских критиков — чрезвычайно общая, так сказать «всеобъемлющая», постановка вопросов, почти полное пренебрежение к анализу конкретной ситуации, к изучению тех специфических условий, в которых работают братские коммунистические партии. Из заявления в заявление, из статьи в статью китайские деятели повторяют всеобщие истины марксизма, «защищают» их от воображаемых противников. Тем самым полемика уходит в сторону, ибо спор идет как раз не об этих истинах — они всем известны и в общей форме признаются всеми. Спор идет о другом — о том, как эти истины применить на практике, как действовать, как бороться в данных условиях, в данной обстановке, в данное время и в данной стране. И хотя руководители КПК берут на себя смелость раздавать направо и налево указания и наиздания, их суждения, если это правильные суждения, не выходят за рамки элементарного учебника марксизма. От постановки и разработки конкретных проблем, актуальных для мирового коммунистического движения, китайские руководители уходят, скрываясь за дымовой завесой общих лозунгов и деклараций.

Возьмем их отношение к Югославии, к политике СКЮ. Общие фразы и ругань — этим исчерпывается позиция китайских теоретиков, суть которой сформулирована так в статье «Жэньминь жибао» «Зеркало ревизионистов» (9 марта 1963 года): «Клика Тито — это своего рода зеркало. Оно показывает, как предательская клика, идя по пути ревизионизма, привела к разложению партии и перерождению социалистической страны в капиталистическую».

Возможно ли в принципе такое перерождение? Да, видимо, возможно, хотя история пока не знает таких случаев. Но если оставаться на почве марксизма-ленинизма, если оставаться на почве науки, то для доказательства такого перерождения нужны не заклинания, а аргументы, не мнения, а факты. Однако ни фактов, ни аргументов лево-опportunистические критики «ревизионизма» не приводят. Все их рассуждения о господстве капитализма в Югославии — результат или незнания югославской действительности, или сознательного обмана своей партии, своего народа.

Каждому марксисту, а тем более тем, кто претендует на роль непогрешимых теоретиков, своего рода жрецов марксизма, должно быть ясно, что характер общественно-экономического строя определяется характером общественных — и прежде всего экономических — отношений. В чьих руках находится собственность на основные средства производства? Кому принадлежит политическая власть? В чьих интересах, в каком направлении развивается народное хозяйство и культура? Каково положение человека в системе господствующих отношений? Только ответив на совокупность этих вопросов, можно вынести суждение о природе господствующего общественно-экономического строя.

Как же обстоит дело в Югославии? За исключением сельского хозяйства и кустарного промысла, где все еще имеются индивидуальные производители, частный сектор полностью исчез или совершенно незначителен. В настоящее время социалистический сектор составляет в промышленности сто процентов, в сельском хозяйстве — пятнадцать процентов и в торговле — сто процентов. Власть принадлежит трудящимся и осуществляется ими через разветвленную систему органов общественного самоуправления. В новой конституции Социалистической Федеративной Республики Югославии говорится, что существующая система отношений обеспечивает дальнейший прогресс общества к коммунизму, к созданию как можно более широких возможностей и свободы для

всестороннего развития человеческой личности и осуществления гуманных и демократических отношений между людьми. Что же «капиталистического» видят китайские теоретики в существующей системе? Они предпочитают молчать об этом.

Верно, формы и методы, посредством которых осуществляется социализм в Югославии, отличаются от форм и методов, которые применяются в Китае. Возможно, что югославские методы не нравятся китайским руководителям. Однако «вкусовые» суждения в политике имеют малую ценность: зачастую они характеризуют не объект суждения, а ограниченность его авторов.

Еще большую неосведомленность о фактическом положении дел, еще большее пренебрежение к жизни проявляют китайские деятели, когда они берутся рассуждать о внутренней политике КПСС, о положении в СССР. Чего стоят хотя бы их разговоры о классовой борьбе в Советском Союзе? «Кое-кто, может быть, и скажет, что у них-де уже бесклассовое общество,— пишут наши критики.— А мы отвечаем, что нет и что во всех без исключения социалистических странах существуют классы и классовая борьба».

Какие же классы существуют и борются между собой в социалистических странах и, в частности, в Советском Союзе? Послушаем китайских руководителей: «Поскольку там еще есть элементы — остатки старых эксплуататорских классов,— которые пытаются осуществить реставрацию, поскольку там постоянно рождаются новые буржуазные элементы, поскольку там еще существуют паразиты, опекуны, тунеядцы, хулиганы, казнокрады и т. п., то как можно заявлять, что там нет классов и классовой борьбы?»

Китайские критики все свалили в одну кучу. Никто не отрицает, что в СССР есть классы: дружественные классы рабочих и крестьян. Но у нас нет эксплуататорских, враждебных трудящимся классов — и в этом суть дела, ибо классовая борьба — это борьба на антагонистической социальной основе. Она ведется там, где существуют антагонистические противоречия между классами. Ни тунеядцы, ни казнокрады, ни прочая нечисть не составляют класса, если в это понятие вкладывать не произвольное, а научное содержание.

Развернутое научное определение классов принадлежит В. И. Ленину: «Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают». Китайским теоретикам, которые так любят цитировать, было бы полезно подумать над содержанием ленинского определения классов.

Справедливо спрашивает журнал «Коммунист»: какое же место в системе общественного производства занимают прихлебатели? Какую роль в общественной организации труда выполняют тунеядцы и хулиганы? Как, наконец, различаются все эти элементы в укладе общественного хозяйства? Достаточно поставить эти вопросы, чтобы стала очевидной надуманность и безжизненность рассуждений о враждебных классах в СССР, о «классовой борьбе» в условиях полной и окончательной победы социализма.

Пытаясь ввести в заблуждение своих читателей и создать видимость того, что тезис о «классовой борьбе» в СССР опирается на факты, китайская пресса дает крайне однобокую информацию о положении дел в Советском Союзе. В большом количестве перепечатаются материалы советской прессы, разоблачающие хапуг, жуликов и прочие антиобщественные элементы, причем с явной тенденцией смаковать отдельные недостатки, превращать их в типичные, определяющие явления. Но китайские журналисты стараются зря: при помощи туши и кисточки невозможно создать «класс» хулиганов или «класс» казнокрадов.

Принципиальная ошибка китайских оппортунистов состоит в том, что они вместо изучения советской действительности механически переносят закономерности развития общества в период перехода от капитализма к социализму на период перехода от социализма к коммунизму. Когда общество переходит от капитализма к социализму, тогда существуют остатки враждебных классов, существует и классовая борьба. Когда же социализм построен, когда ликвидированы в корне эксплуататорские классы, тогда

исчезает почва для борьбы классов: враждебных классов нет, а дружественным не из-за чего бороться.

Для чего же понадобились китайским деятелям все эти рассуждения о враждебных классах и классовой борьбе в СССР? Оказывается, для того, чтобы поставить под сомнение вывод нашей партии о превращении государства диктатуры пролетариата в государство всего народа, о превращении партии рабочего класса в партию всего народа.

Всякая свежая мысль, всякий новый вывод, подсказываемые социалистической практикой, приводят в священное негодование начетчиков от марксизма. Какое такое общенародное государство?! — возмущаются они. Ведь еще Энгельс писал, что это бессмыслица! Какая такая общенародная партия — да это отказ от классовых позиций, отказ от марксизма! Этим людям и невдомек, что отказывается от марксизма и ленинизма тот, кто канонизирует теорию, отвергает развитие теории, не желает и слышать о замене одних положений другими, соответствующими новым условиям.

ДОГМАТИЗМ ВМЕСТО ЛЕНИНИЗМА

Пренебрежение к революционному опыту масс, партий, склонность к общим формулировкам — суть проявление начетнического, талмудистского отношения к марксизму-ленинизму, проявление догматизма, который пронизывает собой полемические документы КПК и составляет характернейшую черту современного «левого» оппортунизма в коммунистическом движении. Правильно пишет товарищ П. Тольятти: «Применяемый ими метод совершенно чужд марксизму и ленинизму. Это — метод, согласно которому верно лишь то, что уже неоднократно говорилось и бесчисленное множество раз повторилось. Если вы отклоняете это схоластическое повторение, то вы — «ревизионисты».

«Ревизионисты», «реформисты», «социал-демократы», «правые оппортунисты» — такие определения, обращенные в адрес большинства коммунистических партий мира, обильно рассыпаны по страницам китайских материалов. И это не вызывает удивления. Слева все кажется «правым». Для догматика — все «ревизионисты». Удивительно другое: как могла партия, проявившая столько гибкости в годы гражданской войны, настойчиво борющаяся с шаблонами в первые годы революции, — как могла такая партия умертвить до неузнаваемости революционную теорию!

Большинство критических работ китайских теоретиков, направленных против КПСС и других братских партий, — это пасьянс из цитат, зачастую вырванных из контекста, неверно толкуемых, применяемых совершенно произвольно. Не изучение социальной-политической реальности, реальности сложной, динамичной, противоречивой, не — если можно так сказать — комментарий к жизни, чем и должен быть серьезный марксистский анализ, а комментарий к цитатам — таково содержание китайской критики. Причем китайские теоретики ставят это себе в заслугу. Они удивляются: ведь «цитирование классиков марксизма-ленинизма не является каким-то «преступлением», как это утверждают некоторые люди. Все дело в том, нужно ли цитировать? как цитировать? правильно ли приводятся цитаты?» («Хунци», 1963, № 3—4).

Да, верно! Все дело именно в этом. И потому представляет известный интерес анализ нескольких случаев цитирования — тех случаев, которые с точки зрения китайских «теоретиков цитирования» должны были бы удовлетворять всем критериям научности.

Случай № 1. Излагая свои взгляды на проблемы войны и мира, китайские теоретики цитируют В. И. Ленина: «Социал-демократия никогда не смотрела и не смотрит на войну с сентиментальной точки зрения. Бесповоротно осуждая войны, как зверские способы решения споров человечества, социал-демократия знает, что войны неизбежны, пока общество делится на классы, пока существует эксплуатация человека человеком. А для уничтожения этой эксплуатации нам не обойтись без войны, которую начинают всегда и повсюду сами эксплуатирующие, господствующие и угнетающие классы». И еще: «Социалисты всегда осуждали войны между народами, как варварское и зверское дело. Но наше отношение к войне принципиально иное, чем буржуазных паци-

фистов...» От пацифистов, продолжает В. И. Ленин, «мы отличаемся тем, что понимаем неизбежную связь войн с борьбой классов внутри страны, понимаем невозможность уничтожить войны без уничтожения классов и создания социализма, а также тем, что мы вполне признаем законность, прогрессивность и необходимость гражданских войн...»

Опираясь на эти высказывания, китайские теоретики считают, что с точки зрения ленинизма, во-первых, нельзя уничтожить войны без (или — до) уничтожения эксплуатации и, во-вторых, нельзя уничтожить эксплуатацию, не прибегая к войнам.

Но они словно не хотят знать, что конкретный анализ конкретной ситуации — вот душа марксизма, об этом любил говорить Ленин. Конкретный анализ конкретной ситуации — это душа ленинизма, могут снова и снова повторить ученики Ленина. «Не обращать внимания на изменившиеся с тех пор условия,— писал В. И. Ленин,— отстаивать старые решения марксизма, значит быть верным букве, а не духу учения, значит повторять по памяти прежние выводы, не умея воспользоваться приемами марксистского исследования для анализа новой политической ситуации».

А такой анализ показывает, что при современной расстановке классовых сил на международной арене, при росте сил социализма и ослаблении буржуазии в ряде стран появляется возможность уничтожить эксплуатацию, не прибегая к гражданской войне. «Опираясь на большинство народа и давая решительный отпор оппортунистическим элементам, не способным отказаться от политики соглашательства с капиталистами и помещиками,— говорится в Декларации 1957 года,— рабочий класс имеет возможность нанести поражение реакционным, антинародным силам, завоевать прочное большинство в парламенте, превратить парламент из орудия, служашего классовым интересам буржуазии, в орудие, служашее трудовому народу, развертывать внепарламентскую широкую массовую борьбу, сломить сопротивление реакционных сил и создать необходимые условия для мирного осуществления социалистической революции». Это отнюдь не означает какого-то «запрета», налагаемого на гражданские, освободительные войны. Они остаются необходимыми и законными там и тогда, где и когда иной путь развития революции оказывается невозможным.

Далее. Упрочение социалистической системы, нарастание массовой борьбы за мир изменяют и отношение ленинизма к проблеме уничтожения войн между государствами. Появилась реальная возможность предотвратить мировую войну. Иными словами: мировая война перестала быть неизбежной, хотя угроза такой войны остается, пока существует вооруженный до зубов лагерь империализма. Китайские деятели, если верить их словам, не возражают против такого понимания существа проблемы, они тоже говорят, что мировую войну можно предотвратить. Но, к сожалению, этим заявлениям трудно верить: внешнеполитический курс КНР, вся совокупность взглядов руководства КПК свидетельствуют о неверии в возможность предотвратить мировую войну, о желании бороться за реализацию этой гуманной цели.

Китайские теоретики решительно не согласны с тем, что еще при сохранении империализма можно создать «мир без войн». То есть, с их точки зрения, если и можно (а скорее всего нельзя) предотвратить мировую войну, то локальные войны между отдельными империалистическими странами будут всегда неизбежны.

Такая постановка вопроса страдает непоследовательностью. Если народы могут предотвратить мировую войну, то почему не могут быть предотвращены локальные войны между империалистами? Ведь силы мира и социализма непрерывно крепнут, а империализм год от года слабеет. Конечно, ныне империалисты еще могут развязывать локальные войны. Но эта возможность все более ограничивается. И разве на определенном этапе истории, когда еще кое-где сохранится капитализм, он не может быть связан по рукам и ногам действиями масс, давлением стран социализма? Отрицать такую перспективу — значит не верить в силы социализма, не верить в силы народов, не руководить событиями, а идти на поводу у событий. Это ли ленинизм? Нет, это начетническое, буквоедское понимание отдельных высказываний Ленина, относящихся к иной исторической эпохе.

Случай № 2 В июне 1956 года, выступая с докладом на пленуме ЦК ИКП, товарищ Гольятти высказал мнение, что известный тезис марксизма о необходимости слома

буржуазной государственной машины нуждается в дополнительном обсуждении. «Останется ли эта позиция полностью верной (*valida*) и сегодня? — спрашивал П. Тольятти. — Вот тема для дискуссии. Действительно, когда мы утверждаем, что возможен путь к социализму не только на демократической основе, но даже и с использованием парламентских форм, то очевидно, что мы что-то исправляем в этой позиции, учитывая преобразования, которые имели место и которые продолжают свершаться в мире» (P. Togliatti. *Problemi del movimento operaio internazionale* (1956—1961). Ed. Riuniti. 1962, p. 149—150). Об этом же пишет и Луиджи Лонго: вновь просто-напросто подтверждать необходимость слома буржуазного государственного аппарата — значит исключать, что завоевание власти со стороны рабочего класса может произойти мирным путем, легальными средствами» («*Critica marxista*», 1963, № 3, p. 104).

Китайские критики, объявляя реформизмом и оппортунизмом уже самое обсуждение этой проблемы, ссылаются на В. И. Ленина, который писал, что вывод Маркса о необходимости слома буржуазной государственной машины — «главное, основное в учении марксизма о государстве». Не ясно ли, что люди, осмеливающиеся не только обсуждать, но даже и вносить поправки в этот вывод, отходят от марксизма? Такова логика догматического мышления. Но как она ни «проста», как она ни привычна, все-таки, думается, итальянские товарищи ближе к истине, чем их китайские критики.

Итальянские товарищи полагают, что вывод марксизма о необходимости слома буржуазной государственной машины был сделан главным образом в предвидении неминуемого развития революции. Вряд ли можно доказательно возражать против того, что и Маркс и Ленин разрабатывали стратегию и тактику революционного движения тогда, когда вероятность мирного развития революции была весьма малой величиной. Как основной и практически единственный реальный путь рассматривался путь вооруженного восстания и ожесточенной гражданской войны. В таких условиях слом государственной машины диктуется логикой борьбы, навязывается вооруженным сопротивлением эксплуататорских классов. Но даже и в такой ситуации характер слома, количество и качество «осколков» не всегда предполагались одинаковыми — это зависело от многих факторов (наличие демократических традиций, характер представительной системы и т. д.).

К середине XX века положение существенно изменилось. Мирный и даже парламентский путь развития революции стал реальной возможностью. В ряде стран в результате упорной борьбы масс сложились относительно прогрессивные, демократические традиции политической жизни. Народ получил возможность действовать не только вне, но и внутри государственной машины. Означает ли констатация этих фактов, как думают китайские теоретики, что ЦК ИКП стирает принципиальную грань между диктатурой буржуазии и диктатурой пролетариата? Нет, не означает. Речь идет о другом: в условиях мирного — особенно парламентского — развития революции появляется возможность ликвидировать диктатуру буржуазии, не ликвидируя всю государственную машину, а переделывая ее, ставя на службу революции многие ее звенья, наполняя новым, революционным содержанием старые, традиционные политические формы. «Задача создания государственного аппарата, отвечающего новым требованиям, требованиям строительства социалистического общества, — говорит М. Скоччичарро, — которая в прошлом могла быть решена лишь путем разрушения и ликвидации старого аппарата и создания нового, в новой обстановке может быть решена путем реформы и преобразования государственного аппарата в направлении демократизации его, в направлении развития органов прямой демократии и народного контроля».

Апеллировать к Ленину против Тольятти вряд ли в данном случае целесообразно. Не кто иной, как Ленин указывал, что Маркс и Энгельс справедливо издевались «над заучиванием и простым повторением «формул», способных в лучшем случае лишь намечать общие задачи, необходимо видоизменяемые конкретной экономической и политической обстановкой каждой особой полосы исторического процесса».

Можно быть уверенным, что приведенные выше соображения о сломах государственной машины не удовлетворят китайских критиков. Дело в том, что они, не отрицая на словах возможности мирного перехода к социализму, решительно возражают против того, что ныне такая возможность существует. Делая акцент на немилые методы

и формы борьбы, китайские руководители считают, что всякие конкретные разговоры о мирном пути революции, разработка методов такого пути (структурные реформы и т. п.) — это реформизм, ревизионизм, социал-демократизм, повторение иллюзий Каутского и Бернштейна.

Разберемся в этом.

РЕВИЗИОНИЗМ И ДОГМАТИЗМ

Вопрос о том, где проходит грань, которая отделяет жизненно необходимое развитие, дополнение марксизма-ленинизма от той ревизии, которая с полным основанием считается извращением революционной теории, — не простой вопрос. Подчас требуется серьезный анализ, чтобы распознать истинную природу тех или иных подделок под марксизм. На этой трудности и спекулируют как ревизионисты, так и догматики. Первые под предлогом «развития» марксизма готовы «дополнить», а точнее, заменить его всяким буржуазным хламом. Вторые же под предлогом заботы о «чистоте» марксизма отворачиваются от всего нового, боятся изменить хоть букву в тех или иных высказываниях. Это особенно хорошо видно на отношении к такому принципиальному вопросу, как характер и методы революционного переворота.

Еще в конце XIX века один из лидеров германской социал-демократии Э. Бернштейн, ссылаясь на численный рост рядов социал-демократии и на большие успехи немецких социал-демократов в ходе избирательных кампаний, стал пропагандировать идею о мирном, парламентском переходе от капитализма к социализму. И, конечно же, это отступление от революционных позиций выдавалось за «новое слово» в теории, за «развитие» марксизма. Подлинные революционеры, и прежде всего большевики во главе с Лениным, решительно выступили против концепции Бернштейна, справедливо указывая, что она означает подмену марксистской тактики либеральными иллюзиями, измену делу рабочего класса, отступление перед капитализмом.

Прошло более полувека. XX съезд Коммунистической партии Советского Союза, поддержанный всем мировым коммунистическим движением, провозгласил возможность мирного, парламентского пути к социализму. В связи с этим со стороны китайских руководителей посыпались заявления о том, что, дескать, советские коммунисты перешли на позиции реформизма, что якобы коммунисты, высказываясь за возможность мирного и даже парламентского перехода к социализму, тем самым отказались от своих прежних позиций и признали, что прав был Бернштейн, а не Ленин.

Так может рассуждать лишь тот, кто за словами не видит сути дела.

Во-первых, условия, сложившиеся в середине XX века, коренным образом отличаются от той обстановки, в которой действовали социал-демократы конца XIX века. Когда империализм был всеохватывающей мировой системой, когда в большинстве стран силы реакции явно превосходили силы прогресса и революции, настаивать на мирном переходе к социализму означало дезориентировать трудящихся, вселять в них несбыточные надежды, разоружать рабочий класс буквально накануне жесточайших классовых битв.

Коммунисты никогда в принципе не отрицали возможность и желательность мирного, бескровного перехода к новому общественному строю. Однако они всегда подчеркивали, что решающим для определения той или иной тактики являются не желания, не стремления, а факты реальной исторической действительности. И только тот, кто закрывал глаза на факты в угоду своим концепциям, мог не видеть того, что в тех условиях, если не говорить о редчайших исключениях, не было реальной возможности мирного перехода власти в руки пролетариата. История социалистической революции в России утвердила правоту ленинизма и доказала несостоятельность оппортунизма. Но когда наступила новая полоса исторического развития, изгнать старые выводы, молиться на старые формулы — значит изменять ленинизму, не верить в революционные возможности пролетариата, преувеличивать силу и прочность империализма.

Во-вторых, когда лидеры и теоретики социал-демократии пишут о переходе к социализму, они имеют в виду вовсе не социализм, а лишь улучшенный, подкрашенный капитализм. То обстоятельство, что в современных программах социал-демократических партий Европы отсутствуют требования об уничтожении частной собственности, об

экспроприации экспроприаторов, диктатуре пролетариата, яснее ясно говорит о том, что правые социалисты, эти столпы международного оппортунизма, изменили рабочему классу и перешли на позицию капитализма. В этом суть, это главное.

В-третьих, признавая возможность мирного перехода от капитализма к социализму, марксисты-ленинцы всегда подчеркивали и подчеркивают, что революционный рабочий класс, трудящиеся массы должны быть готовы и к другому ходу событий, не забывать о том, что вполне вероятно и такая ситуация, когда даже в самых демократических странах капитализма борьба за власть вызовет ожесточенные классовые сражения и необходимость применить вооруженное насилие. Что же касается реформистов, ревизионистов, то они в принципе отрицают возможность и необходимость революционного насилия, прикрывая свой отказ от марксизма красивыми фразами о гуманизме, человеколюбии, о стихийном «вползании» капитализма в социализм.

Наконец, в-четвертых, марксисты-ленинцы не сводят мирный переход к социализму к различного рода парламентарным комбинациям. Не бюллетенями решаются великие исторические вопросы. Массовая внепарламентская борьба, широкое движение народных масс за коренные социальные преобразования, консолидация всех прогрессивных сил на антимонаполистической платформе — таковы неперемennые предпосылки мирного продвижения к социализму.

Подлинно творческий подход к марксизму-ленинизму отличается от подхода ревизионистского тем, что настоящие марксисты-ленинцы, совершенствуя, развивая науку о революционной борьбе и преобразовании общества, исходят из всей совокупности фактов, учитывают всю сложность, противоречивость современной эпохи, тогда как ревизионисты (которые много говорят о связи с жизнью, с практикой) опираются в своих извращениях марксизма лишь на отдельные факты, вырванные из всей цепи событий и произвольно ими толкуемые.

Творческий марксизм отличается от ревизионизма также и тем, что те изменения теории, которые происходят в рамках марксизма-ленинизма, всегда и обязательно ведут к укреплению сил социализма, увеличивают влияние коммунистической идеологии на трудящиеся массы, ослабляют силы капитализма и реакции. В противоположность этому правооппортунистическое «обновление» марксизма приводит к тому, что он теряет свою революционную направленность, становится тихим, мирным, вполне приемлемым для врагов социализма и коммунизма.

Развитие творческого марксизма означает совершенствование тех основных принципов революционной теории и революционной борьбы, которые были созданы классиками марксизма-ленинизма, и именно поэтому творческий марксизм-ленинизм остается могучим оружием в руках рабочего класса и всех трудящихся. Ревизионизм же под видом развития марксизма-ленинизма пересматривает его основы, отбрасывает революционные принципы, испытанные в огне классовых битв, скатывается на позиции узколобного практицизма, мелкого политиканства, демагогического заигрывания с отсталыми слоями трудящихся.

Выступая против явного или замаскированного отрицания основных принципов революционной борьбы, теоретического наследства классиков марксизма-ленинизма, коммунисты вместе с тем непримиримы и к догматическому окостенению мысли. Догматизм отрывает теорию от практики, превращает ее в набор готовых формул, рецептов, годных везде и всегда. Цитата — вот альфа и омега догматика, символ его веры, слепой веры в непогрешимость авторитета.

Так же как ревизионист никогда не признает себя ревизионистом, так и догматик с возмущением отвергает обвинение в догматизме. Он будет клясться в верности Марксу, в верности Ленину, ссылаться на те или иные положения, освященные традицией. Но это мнимая, фальшивая верность, верность букве, измена духу марксизма. Именно так обстоит дело с китайскими догматиками. Выдавая себя за подлинных продолжателей дела Ленина, они активно борются против всех творческих начинаний КПСС и других братских партий. Не будучи в силах преодолеть заскорузло-догматический способ мышления, они не могут согласиться с теми смелыми выводами, которые сделаны международным коммунистическим движением. Там, где коммунисты видят развитие и продолжение ленинских традиций, догматикам мерещится отступление от ленинизма.

Ревизиониста захлестывает волна новых фактов, явлений. Барахтаясь в бурном потоке событий, он не видит главного, существенного, основного. Приспосабливая теорию к делящейся понимаемой практике, ревизионист неизбежно приходит к отрицанию главного, к забвению узловых и принципиальных положений. За деревьями он не видит леса. У догматика иной подход. Усвоив однажды и накрепко ту или иную теоретическую схему, он уже не ее изменяет в соответствии с изменениями в жизни, а, наоборот, старается подогнать факты под эту схему. Теория превращается в фетиш, в догму, далекую от требований реального положения вещей.

Теоретически китайские пропагандисты не прочь «вскрыть» сущность и вред догматизма. В статье «Еще раз о разногласиях товарища Тольятти с нами» они пишут: «Ошибка догматиков заключается именно в том, что они превращают всеобщую истину марксизма-ленинизма, то есть его основные положения, в нечто окостенелое и мертвое.

Догматики... оторваны от действительности, выдумывают какие-то отвлеченные и бессодержательные формулы («острие против острия», например, или те же «бумажные тигры!» — А. Б.) или же без разбору перенимают опыт других стран, навязывают его массам, ограничивая тем самым борьбу масс и лишая их возможности добиться в своей борьбе должных результатов. Не считаясь со временем, местом и условиями, догматики упорно цепляются только за одну форму борьбы. Они не понимают, что революционное движение народных масс в любой стране может принимать самые различные формы (и выступают, скажем, против мирного развития революции.— А. Б.). Они не понимают, что следует одновременно применять различные надлежащие формы, дополняя одну форму другой (и отстаивают только один — вооруженный путь борьбы за национальное освобождение.— А. Б.). Они не понимают, что в случае изменения обстановки следует заменять старые формы новыми (и критикуют общенародное государство и общенародную партию.— А. Б.) или использовать старые формы, пополняя их новым содержанием (и настаивают на непрерывном сломе всей буржуазной государственной машины.— А. Б.). Поэтому они зачастую отрываются от масс, отрываются от возможных союзников и совершают сектантские ошибки (оставаясь почти в полной изоляции в случае с Московским договором.— А. Б.); они зачастую действуют наобум и совершают авантюристические ошибки (впугываясь в бесполезный конфликт с соседней державой.— А. Б.)».

Можно сказать, написано с натуры! Жаль только, что осуждение догматизма на словах сопровождается догматизмом на деле.

На первый взгляд ревизионизм кажется прямой противоположностью догматизму. Но в сущности своей они едины. Догматизм ревизует, отбрасывает один из основных принципов марксистско-ленинского мировоззрения — единство теории и практики. Ревизионизм абсолютизирует, превращает в догму относительность, изменчивость теоретических построений и концепций. И ревизионизм и догматизм искажают, опощляют марксизм-ленинизм, лишают его действенной силы, оставляют лишь словесную, терминологическую оболочку революционного учения. И ревизионизм и догматизм ведут к ослаблению коммунистического и рабочего движения, подрывают его социальную базу, способствуют развитию фракционной борьбы, нарушают единство действий сил социализма. Вот почему борьба как с ревизионизмом, так и с догматизмом остается одной из важнейших задач коммунистов.

Коммунистическое движение успешно преодолело ревизионистскую опасность. Можно быть уверенным, что и догматизм, который ныне стал главной опасностью, будет побежден творческим марксизмом-ленинизмом.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Возникает вопрос: как могло случиться, что руководство КПК, которое прошло сложную и суровую школу гражданской войны и революции, которое во многих случаях показало умение творчески применять принципы марксизма-ленинизма в специфических условиях китайской действительности, перешло на позиции левого оппортунизма, сомкнулось по ряду принципиальных вопросов с троцкистами, с «бешеными» из лагеря

империалистов? Как могло произойти, что официальная идеологическая и политическая платформа КПК превратилась в пеструю смесь догматически понимаемого марксизма с «левым» оппортунизмом и авантюризмом?

Ответить на эти вопросы можно, лишь рассматривая совокупность теоретических концепций и политических решений китайского руководства как специфическое отражение особенностей китайской революции.

Известно, что Китай вступил в полосу социалистических преобразований, будучи типичной аграрной страной, страной с абсолютным преобладанием крестьянского, мелкобуржуазного уклада жизни. Необходимы были гибкость, сочетаемая с твердостью и принципиальностью, выдержка и терпение, сопровождаемые активной и повседневной работой в массах, революционная смелость и политическая мудрость, чтобы направить эту мелкобуржуазную стихию в русло социалистических преобразований. И первые годы революции позволяли надеяться, что политические деятели КПК обладают этими качествами. Но дальнейшее развитие событий показало, что эти надежды не оправдались. Начиная с конца пятидесятых годов руководство КПК повело, если воспользоваться ленинским выражением, «штурмовую атаку» на океан мелких крестьянских хозяйств, попыталось одним невероятным усилием вырвать страну из отсталости. Была провозглашена политика «народных коммун» и «большого скачка».

Основной целью установления народных коммун, говорилось в резолюции ЦК КПК, является «ускорение темпов социалистического строительства, а цель осуществления социализма заключается в активной подготовке перехода к коммунизму. По-видимому, осуществление коммунизма не является больше в Китае делом далекого будущего. Нужно самым активным образом пользоваться формой народных коммун в целях установления практических возможностей для перехода к коммунизму». Был выдвинут лозунг: «Коммунизм — это рай. А народные коммуны — мост в рай». О некоторых параметрах этого «райского моста» дает представление следующая выдержка из газеты «Жэньминь жибао» от 1 октября 1958 года: «В народных коммунах организация труда милитаризируется, вся деятельность проходит в боевом духе, проводится коллективный образ жизни, что отвечает требованиям нынешнего положения, когда делается большой скачок». В соответствии с указанным «боевым духом» члены коммун были переведены на казарменное положение, оплата по труду объявлена принципом, который «противоречит дальнейшему развитию социалистических» сил, гуманизм и демократия третируются как буржуазные предрассудки.

Не надо быть знатоком научного социализма, чтобы понять, что мы имеем дело с попыткой «впрыгнуть» в коммунизм на волне голого энтузиазма. Можно понять чувства миллионов, которые готовы на максимум жертв, чтобы в кратчайший срок достичь коммунизма, но трудно понять руководителей партии, которые игнорируют опыт истории, пренебрегают дружескими советами, отмахиваются от законов общественного развития, ни во что не ставят интересы человека, права и достоинства личности.

В данной связи нет нужды вдаваться в детальный анализ практики народных коммун и «большого скачка». Достаточно указать на то, что «штурмовая атака» на мелкобуржуазность и отсталость захлебнулась недалеко от исходных рубежей. Милитаризация труда не дала желаемых результатов. За «большим скачком» последовали немалые провалы. Китай оказался перед лицом серьезных экономических и политических трудностей.

Что ж, строительство социализма — не простое дело. Вряд ли можно найти революционеров, засграхованных от неудач и ошибок. Важно правильно относиться к своим ошибкам, не скрывать их от масс, видеть их причины, уметь менять тактику, менять политику. Так поступал В. И. Ленин. Так делает ЦК КПСС. Но у китайских деятелей не хватило мужества посмотреть правде в глаза, не хватило смелости открыто отказаться от ошибочных лозунгов, от которых, кстати, фактически уже почти ничего не осталось.

Пытаясь отвлечь внимание масс от тех действительных причин, которые привели к неудачам в осуществлении внутривнутриполитической линии ЦК КПК, руководители этой партии стараются создать впечатление, что выход из создавшегося положения лежит на пути ускорения, подталкивания мировой революции. Этот тезис не формулируется

явно, но он просвечивает сквозь все ультралиберальные, левацкие высказывания китайских товарищей, отражая растущее давление мелкобуржуазной стихии на идеологию КПК.

Опыт истории учит, что именно мелкобуржуазные элементы являются классовой основой правого и левого оппортунизма. Накормите мелкого буржуа, дайте ему сносный доход, продайте в рассрочку дом и холодильник, и он скажет: зачем революция? К чему борьба? Капитализм не так уж плох, его надо только чуть-чуть «улучшить». Такие настроения стали опорой современной социал-демократии, ревизионизма. Но если мелкому буржуа нечего есть, если нищета и нужда каждодневно дают о себе знать, он становится сверхреволюционным, превращается в социальную опору для экстремистских, авантюристических сил. Тут уж не до трезвого политического расчета, не до научного анализа обстановки. В ход идут псевдореволюционные фразы, прикрывающие растерянность перед трудностями, неуверенность и колебания при определении политического курса. Расцветает раскольническая, сектантская деятельность, от марксизма, от революции отлучаются все инакомыслящие, все, кто восстает против левацкого авантюризма.

Есть все основания сделать вывод, что теоретическая и политическая платформа ЦК КПК отражает капитуляцию перед давлением мелкобуржуазной стихии, ожесточенной десятилетиями нужды и лишений. Не случайно такие «классические» компоненты мелкобуржуазных взглядов, как национализм, проповедь национальной, а затем и расовой исключительности все чаще встречаются в китайских документах. Чего стоят, например, фразы о «гнилом» и «бессильном» Западе (или Севере) и «молодом» и «могучем» Востоке?! Здесь и не пахнет идеологией марксизма-ленинизма, идеологией пролетариата.

Не случайно и то, что именно руководители КПК открыто выступили в защиту культа личности. Создается впечатление, что китайские деятели хотят повернуть мировое коммунистическое движение к таким порядкам, чтобы один человек, подобно божееству, возвышался над народами и по своему произволу решал важнейшие теоретические и политические вопросы. Подобная обстановка, по-видимому, складывается внутри самого Китая, сковывая творческую мысль, догматизируя истину и выхолащивая ее. Там провозглашен «новый этап» в развитии марксизма. Один из деятелей компартии Китая говорил: «Опыт Китая и международного коммунистического движения подтверждает, что революция и дело строительства одерживают победу только тогда, когда они руководствуются идеями Мао Цзэ-дуна...» Не так давно в передовой статье газеты «Цзефан цзюань бао» утверждалось: «Если мы в любой обстановке, в любое время будем действовать в соответствии с идеями Мао Цзэ-дуна, то мы будем иметь правильное направление; если же мы чуть-чуть отступим от идей Мао Цзэ-дуна, то потереем направление и потерпим поражение». Эту же тему развивает и президент Академии наук КНР Го Мо-жо: «Зачитал произведения Мао до дыр, наполовину добился успеха».

Да, история повторяется! Но, как в свое время заметил Маркс, то, что в первый раз является трагедией, вторично выступает в виде фарса...

Видимо, китайские критики творческого марксизма-ленинизма даже и «чуть-чуть» не отклоняются от указанных идей, но то, что они серьезно отклонились от идей, от метода ленинизма — это ясно каждому мыслящему марксисту.

Надо думать, что китайские теоретики с негодованием отвергнут указание на мелкобуржуазный источник их представлений и будут убеждать нас в своей искренней приверженности марксизму-ленинизму. Это вполне естественно. «...подобно тому как в обыденной жизни проводят различие между тем, что человек думает и говорит о себе, и тем, что он есть и что он делает на самом деле,— писал К. Маркс,— так тем более в исторических битвах следует проводить различие между фразами и иллюзиями партий и их действительной природой, их действительными интересами, между их представлением о себе и их реальной сущностью». В том-то и сложность положения, что идеолог далеко не всегда сознает сам, чьи классовые интересы нашли выражение в его взглядах. Тем более что цепь отношений и опосредствований, связывающая теоретиков с теми, чьи интересы в предрассудки он формулирует, как правило, состоит из множества звеньев, соединенных зачастую самым причудливым образом. Вот почему научный анализ идеологии не может остаться на поверхности лозунгов и прокламаций, а должен идти

вглубь, добираться до той материальной, социальной почвы, на которой эти лозунги произрастают.

Следует, конечно, иметь в виду, что указание на классовые корни, на объективную основу «левого» оппортунизма китайского руководства никомм образом этот оппортунизм не оправдывает. В политике понять — не значит простить. Преобладание мелкобуржуазных отношений, трудности борьбы с ними вовсе не делают неизбежным появление левого уклона. Они лишь создают благоприятные условия для левацкого искажения марксизма. И здесь в полной мере выступает роль субъективного фактора, роль коммунистической партии, роль людей, которые ходом событий поставлены у руководства строительством социализма. Если эти люди обладают подлинно марксистско-ленинской закалкой, если они способны к творческому применению и развитию революционной теории, если они не пасуют перед трудностями, то такая партия, такие люди смогут противостоять давлению несоциалистических элементов, смогут руководить событиями, а не плестись в хвосте у отсталых мелкобуржуазных настроений. Об этом свидетельствует, в частности, опыт КПСС, сумевшей победить мелкобуржуазную стихию и привести народ к победе социализма. Но если руководство партии и страны само оказывается в плену отсталых настроений, если марксизм-ленинизм сводится к набору цитат, раскладываемых каждый раз в порядке, выгодном тем, кто этими цитатами оперирует, то партия сползает с правильных позиций, противопоставляет себя мировому коммунистическому движению, мешая общей борьбе против империализма, против сил реакции и войны. Горько говорить и писать об этом, но именно в такое положение ставят свою партию и страну руководители КПК.

Что же дальше? Об этом думают все, кто размышляет над создавшимся положением. И вряд ли кто-нибудь возьмет на себя смелость конкретно ответить на этот вопрос. Во всяком случае можно предположить, что если китайские руководители найдут в себе силы внимательно выслушать и продумать то, что говорят коммунисты почти всех стран мира, то рано или поздно они излечатся от детской болезни «левизны» в коммунизме. Правда, «детские болезни» в недетском возрасте протекают, как правило, тяжело и могут привести к осложнениям. Но все-таки они излечимы. Особенно когда лечат такие врачи, как жизнь, практика, требования масс.

Но есть и другой вариант развития событий. Складывается впечатление, что разговоры о «чистоте» марксизма-ленинизма, громкие обвинения КПК и других братских партий во всех смертных грехах преследуют цель, лежащую далеко от социалистической идеологии, да и вообще от социализма. Настораживает стремление во что бы то ни стало иметь «свою» атомную бомбу. Настораживает менторский тон и почти неприкрытое стремление к гегемонии, по крайней мере среди афро-азиатских стран. Настораживают, наконец, нотки расового превосходства, намеки на грядущий «век Китая» и т. п.

Все это уже не оттенки в понимании ленинизма. Все это находится за пределами ленинизма и враждебно последнему. Хочется думать, что это не так, что великодержавные, националистические тенденции в идеологии и политике КПК — лишь временный зигзаг на пути этой партии...

При всех возможных вариантах развития существующей ситуации ясно одно: творческий марксизм-ленинизм, подлинная революционная теория выдержат испытание историей, временем. Истина победит догму. Научный коммунизм, как это уже неоднократно подтверждено историей рабочего движения, преодолеет все и всяческие отклонения от выдержанной пролетарской линии и приведет человечество к высшей, коммунистической цивилизации.



Т Р И Б У Н А Ч И Т А Т Е Л Я

О СЛОВАРЕ ЯЗЫКА ЛЕНИНА

Темно-синие тома под цвет пятидесяти пяти томов Полного собрания сочинений. Золотом: «Словарь языка В. И. Ленина». На титульном листе гриф «Институт русского языка АН СССР. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС».

В четырехтомном «Словаре языка Пушкина» — 21 290 отдельных слов. Это активный словарный запас Пушкина. В многотомном «Словаре языка Ленина» их больше. Это активный словарный запас Ленина.

Однако время сделать уточнение. «Словарь языка Пушкина» существует. «Словаря языка Ленина» еще нет. И работа над ним даже не начиналась.

Но он будет. Он должен быть.

Ленина переводят на многие языки мира. Сейчас начали переводить на африканские. Наступит день, когда он будет переведен на все языки планеты. И переводить будут не с какого-нибудь «языка-посредника» (например, английского), как это иногда делают сейчас, а прямо с русского.

Перевод ленинских произведений — дело трудное, тонкое: надо сохранить полную идейную идентичность оригиналу, надо передать «мускулатуру» ленинского стиля, надо донести до читателя ленинский юмор, надо дать ему почувствовать колорит и атмосферу эпохи и страны, надо... Много, очень много надо сделать переводчику. И если у него при отличном знании русского языка и русской истории будут под рукой еще и все наши толковые словари, то и тогда он не перестанет испытывать «мук перевода».

У такого-то слова много значений и оттенков значений, в каком из них именно употреблено слово Лениным? А вот этого слова вообще нет в словарях русского языка. Как понимать его у Ленина?

Случается, что слова на время приобретают в речи определенного слоя общества

новый смысл, ни в каких словарях не отмеченный (стоит вспомнить, например, историю слова «почва» в русской публицистической речи шестидесятых—семидесятых годов XIX века). А что, если такие слова, смысл которых окрашен эпохой, обстановкой, есть и у Ленина? Кто поможет переводчику?

Слова у Ленина часто одеты в кавычки. А кавычки в письменной речи вообще и у Ленина в частности не однозначны и потому по-разному окрашивают слова. Ленин мастерски пользовался этой кавычной многозначностью: мы знаем ленинские цитирующие кавычки, ленинские гневные кавычки, ленинские отрицающие кавычки, ленинские иронизирующие кавычки — всех не перечислять. И эту работу кавычек в ленинской строке тоже надо учесть и правильно истолковать. Приведу один пример. В статье «О журнале «Свобода» Владимир Ильич писал: «Журнальчик «Свобода» совсем плохой. Автор его — журнал производит именно такое впечатление, как будто бы он весь от начала до конца был писан одним лицом — претендует на популярное писанье «для рабочих». Но это не популярность, а дурного тона популярничанье. Словечка нет простого, все с ужимкой... Без выкрутас, без «народных» сравнений и «народных» словечек — вроде «ихний» — автор не скажет ни одной фразы. И этим уродливым языком разжевываются без новых данных, без новых примеров, без новой обработки избитые социалистические мысли, умышленно вульгаризируемые. Популяризация, сказали бы мы автору, очень далека от вульгаризации, от популярничанья».

Как видим, Ленин назвал «ихний» «народным» словечком. Что означают эти кавычки? Отрицание народности этого слова? Признание его псевдонародным, выдуманым, скажем, людьми, желающими говорить «под мужика»?

Некоторые языковеды так их и толкуют. И, опираясь на это толкование, третируют «ихний» как псевдонародное, уродливое слово.

Однако такое толкование мне кажется неверным. Ведь мы же знаем историю этого слова. Мы же знаем, что его не выдумали «господа». Мы же знаем, что оно подлинно народное по своему происхождению. И где у нас основания считать, что этого не знал Ленин?

Так что же значат эти кавычки?

Вспомним пресловутые афишки графа Растопчина в 1812 году. Мало ли там было слов, рожденных и бытовавших в народе? Но афишки были псевдонародными по духу, по складу мысли, по взгляду на вещи. Эта общая их псевдонародность, их общая поддельность неизбежно бросала тень и на истинно народные слова, там стоявшие. Все казалось лживым, наrumяненным, грубо подмалеванным, псевдонародным, насквозь фальшивым.

Журнал, о котором писал Ленин, не художественную литературу предлагал рабочему, а политическую публицистику, популярное изложение основ социологии. А разве можно почти растопчиноским стилем, почти рашникоком это делать? Это, конечно, не популяризаторство, а игра в популяризаторство, популяричанье. Это ведет к вульгаризации мысли. И это Ленин высмеял.

Кавычки Ленина здесь — не отрицание народности слова, а иронизирующее, издевающееся над неуместным употреблением его, над потугами писать «по-народному».

Я видел, как человек, родным языком которого был русский, бился над редакцией перевода Ленина на китайский. И я могу себе представить, что испытывает переводчик с языков народов Африки.

«Словарь языка Ленина» даст научное толкование каждого слова Ильича. Это будет бесценный подарок всем переводчикам Ленина.

Это позволит им как можно полнее передать не только ленинскую мысль, но и ленинский стиль, ленинскую интонацию, ленинское чувство слова. И Ленин станет еще ближе иноязычному читателю.

Но значение словаря этим не исчерпывается.

Словарь позволит указать, насколько часто употреблял те или иные слова Влади-

мир Ильича. А значит, писатели, сценаристы, создавая ленинский образ, будут знать, каких слов Ильич вовсе избегал, а какие употреблял мало, часто или очень часто.

Словарь покажет, какие слова созданы самим Лениным и какие из них вошли в язык, стали общим достоянием.

Словарь поможет в ряде случаев установить авторство Ленина и таким образом уточнить списки «работ, возможно принадлежащих В. И. Ленину», в томах Полного собрания сочинений.

Но и это не все.

Язык развивается. Особенно быстро изменяется словарный состав языка. Одни слова исчезают, другие теряют свои прежние значения и получают новые. Сто тридцать семь лет назад Пушкин написал стихотворение «Пророк». Мало кто из теперешних читателей понимает, что значит «дольней лозы прозябанье». Некоторые читают даже «дальней». Еще хуже с «прозябаньем». Все знают современное значение этого слова. А более старое — «прорастание» (первичное, древнее — «прогрызание») — большинству неизвестно. И таких слов у Пушкина можно назвать не один десяток. А после смерти поэта прошло сто двадцать шесть лет.

Ленина будут читать и через сто, и через двести лет. И через тысячу. Вот почему так важно оставить потомкам точное, научное толкование каждого слова ленинского словаря, толкование, сделанное его современниками, например, нашими крупнейшими лексикографами: академиком В. В. Виноградовым, членом-корреспондентом С. Г. Бархударовым, профессорами С. И. Ожеговым, Б. А. Лариным и другими, и почти современниками (среднее поколение советских лексикографов).

Однако значение словаря не исчерпывается и этим.

Положим, вы хотите освежить в памяти забытое место из какой-либо ленинской работы. Вы запомнили название и год. Вы помните всего несколько слов. Попробуйте найти это место в пятидесяти пяти томах, каждый из которых имеет несколько сот страниц! Конечно, есть предметный указатель к собранию сочинений. Но иной раз и он не может помочь. И вот тогда на выручку вам придет словарь. Например, вы хотите разыскать место, где Ленин призвал «учиться у уроков истории». Понятно, что из этих четырех слов предлог «у» и су-

ществительное «история» встречаются чаще. Поэтому следует для ускорения поиска взять либо «учиться», либо «урок». В словарной статье «Урок» вы найдете все случаи употребления этого слова с ссылкой на том и страницу. Или вот захотите вы узнать, где, по какому поводу и когда именно было Лениным сказано, что никто не может нас погубить, кроме наших собственных ошибок. Тут нет ни одного философского или политического термина. Предметный указатель здесь не поможет. Только словарь назовет вам том и страницу.

Все знают, какое значение придает наша общественность культуре речи. Все знают, с каким интересом встречает наш читатель популярные работы на эту тему. «Словарь языка Ленина» будет настольной книгой для всех пишущих и выступающих о культуре речи. Он обогатит их выступления и уберезит от поспешных выводов.

Ленин был чужд догматизма и нигилизма не только в политике и идеологии, но и в речи. Язык Ленина — могучий союзник в борьбе за подлинную, а не пуристически понятую культуру речи. Нередко мы слышим или читаем запреты чересчур ретивых ревнителей чистоты речи, налагаемые на многие слова и обороты: не говорите «целый ряд», «более или менее», «извиняюсь», «черкните письмо», «сдается» (в смысле «кажется») и проч. И вот тогда мы ссылаемся на эти слова и обороты у классиков русской литературы и у Ленина. «Словарь языка Ленина» поможет избежать выступления о культуре речи от излишнего запретительства, от пуризма.

Очень верно говорил К. Федин в речи на IV Всесоюзном совещании молодых писателей: «Мы знаем Ленина, как ученого, как вождя пролетариата. Знаем его, как политика. Знаем его и как писателя, но знаем не так основательно, как следовало бы.

Обратите внимание на рукописи Ленина. Он был прирожденным писателем, он обладал страстью писателя, без которой нельзя было бы нам так хорошо понимать его книги, ибо без страсти они не доходили бы столь непосредственно до чувств и мыслей человека. Его рукописи учат тому, как надо работать над книгами».

Ленин оставил нам богатейшее идейное наследство. Оно бережно хранится, изучается, распространяется и приумножается.

Ленин оставил нам и богатейшее словесное наследие. Пришла пора приступить к его серьезному учету и изучению.

Предстоит огромная и кропотливая работа. Силами одних языковедов словаря не поднять. Потребуется помощь историков, философов, политэкономов, юристов, биографов Ленина, людей, лично знавших его. Возможно, потребуется помощь и специалистов по электронным вычислительным машинам: машины возьмут на себя часть механической работы.

Мысль о «Словаре языка Ленина» — мысль не новая.

Но теперь, как никогда раньше, она кажется осуществимой.

Создание «Словаря языка Ленина» — интернациональный долг советских ученых.

Эр. Ханпира, языковед.

О РАССКАЗЕ А. СОЛЖЕНИЦЫНА «ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА»

УДАЧА АВТОРА

Мы, старые пропагандисты, всегда считали, что очень важно поддерживать все правдивое и справедливое, как этому нас учит партия.

И особенно это важно сейчас, когда весь наш народ строит коммунизм — самое справедливое общество на земле.

А. Солженицын совершенно прав. подчер-

кивая в рассказе «Для пользы дела» эту сторону вопроса, когда речь идет о деле жизненно важном для такого большого и прекрасного коллектива, как девятьсот юношей и девушек, стоящих на пороге жизни. Это не абстрактная постановка вопроса о справедливости, как неправильно представляет себе Ю. Барабаш — автор статьи «Что есть справедливость?» («Литературная га-

зета», 31 августа 1963 г.), а очень важная задача воспитания молодежи в духе указаний партии. Таких вещей не полагается забывать, особенно литературному критику.

Ю. Барабаш напрасно иронизирует по поводу названия рассказа «Для пользы дела». Автор рассказа прав. Действительно, часто чиновники (а они еще не перевелись у нас) свои бюрократические планы и действия прикрывают надуманными «государственными» соображениями «для пользы дела». И в данном случае А. Солженицын раскрывает именно такую ситуацию.

Передача здания, построенного для техникума, научно-исследовательскому институту означала не только грубое забвение прав молодежи на новое помещение (справедливых прав, ибо здание-то в значительной части было построено руками этой молодежи), но и связано было с дополнительной затратой государством полутора миллионов рублей на перестройку только что построенного здания. И все это «для пользы дела», а по существу во имя местничества одного и карьеризма другого.

Поистине непонятно, зачем понадобилось Ю. Барабашу взять под защиту подобного рода «государственные интересы».

Что касается двух разных стилей партийного руководства, то мы против «железного» стиля Кнорозова, от которого так и разит стилем времен культа Сталина. И мы за стиль Грачикова и не боимся его «излишней» доброты и подлинно ленинской любви к людям, заботы о них, потому что в партийной работе это главное. Доброта не исключает принципиальности и волевой целеустремленности в руководстве. Незабвенный облик и вся деятельность Владимира Ильича Ленина достаточно подтверждают это.

Мы, старые коммунисты, считаем, что такие статьи, как статья Ю. Барабаша «Что есть справедливость?», дезориентируют широкого читателя и прежде всего нашу молодежь.

Вот и выходит на поверку, что «неудачи»-то А. Солженицына, о которой пишет Ю. Барабаш, совсем и нет. Наоборот, «Для пользы дела» — новая удача автора и наша — читателей.

Е. Ямпольская, член КПСС с 1917 г.

И. Окунева, член КПСС с 1919 г.

М. Гольдберг, член КПСС с 1920 г.

г. Москва.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Ю. БАРАБАШУ

Уважаемый товарищ Ю. Барабаш!

Вы первый откликнулись в «Литературной газете» (31 августа 1963 г.) на рассказ А. Солженицына «Для пользы дела» и статья Ваша в общем плане справедливо требует от художника, чтобы тот толковал острые нравственные проблемы конкретно-исторически, не растворял их, так сказать, в благородных абстракциях. Это требование вызвало бы сочувствие и поддержку, если бы некоторые Ваши доводы сами не страдали абстрактностью и если бы не были они весьма спорны.

«Что есть справедливость?» — так Вы назвали свою статью, но ответа на вопрос сами так и не дали. Неужто Вы всерьез считаете, что это совершенно оправданно — передать построенный коллективом студентов и преподавателей техникума учебный корпус научно-исследовательскому институту, передать только на том основании, что НИИ должен иметь некое важное значение? (А пока ведь этот НИИ еще не открыт и еще только ищет место, где ему обосноваться.)

Вопрос, конечно, не прост. Впрочем, в былые времена подобный вопрос вовсе и не был вопросом: когда действовала деспотическая воля одного человека, тогда зачастую интересы страны, интересы многих людей и даже их судьбы не принимались в расчет. Но времена изменились. Давайте же разберемся в этом вопросе, вдумываясь прежде всего в рассказ художника.

Вы, товарищ Ю. Барабаш, упрекаете А. Солженицына в абстрактности. И даже цитируя писателя, Вы не замечаете сугубой точности его мысли. Ну, право же, судите сами: так ли уж абстрактен А. Солженицын? Вот директор техникума Федор Михеевич говорит Грачикову: «Ну, скажи. Иван Капитонович... ну разве это не глупо? Я уже не говорю — для техникума, но с государственной точки зрения — разве не глупо?»

Именно с государственной точки зрения (а не абстрактно) стремится А. Солженицын решать острые нравственные проблемы. Вы же этого, тов. Ю. Барабаш, стараетесь словно не замечать. Из рассказа предельно ясно, что означает государственная точка зрения: учебный корпус был рассчитан именно на техникум: были построены светлые и просторные аудитории

для нескольких сотен студентов (занимавшихся в тесном, непригодном для учебы помещении); были сооружены в новом корпусе специальные помещения для лабораторий и учебных кабинетов техникума; специальные мастерские с цементным полом для тяжелых станков, необходимых техникуму, спортзал, студенческая раздевалка и т. п. В рассказе точно и весьма подробно говорится об этом. Для того чтобы переделать для НИИ уже построенное для техникума, не приспособленное для НИИ, слишком громоздкое для него здание, потребовалось бы затратить большие средства, и эти средства потратились бы на разрушение того, что было сделано, то есть антигосударственно. Государственная точка зрения у А. Солженицына — это прежде всего точка зрения конкретная, экономическая; это борьба против той бесхозяйственности, которую отличались иные «хозяйственники», процветавшие в атмосфере культа личности.

Но этим не ограничивается государственная точка зрения писателя. Он смотрит и вглубь, и вширь, устанавливает прямую связь вопросов экономики с вопросами идеологии и нравственности. Он ведет нас к мысли о том, что антигосударственная «деятельность» в области экономики (в данном конкретном случае — в капитальном строительстве и его использовании) есть прямое прикрытие карьеризма, беспринципности, безответственного отношения к людям, к их труду, учебе, к их настоящему и будущему.

Вы вот, товарищ Барабаш, удивлены тем, что ни директор техникума, ни секретарь горкома не поторопились поговорить со студентами, откровенно поговорить с «ребятами», а такой разговор, по Вашему мнению, «был бы способен» в значительной мере снять остроту конфликта. Но позвольте, Вы предлагаете очень странное, спорное (если не сказать антипедагогическое) разрешение коллизии. А. Солженицыну не нужно снимать остроту конфликта, потому что для его персонажей невозможно примирение справедливости и несправедливости. Лидочка говорит, что оставить студентов без корпуса, который они строили, означает обмануть их. Не могут в этом обмане принять участие такие честные люди, как Лидочка, Федор Михеевич и Грачиков. В данном случае «объяснить» студентам «необходимость» передачи их здания НИИ

можно, только прибегнув к демагогии, ложли. И если такая передача — дело антигосударственное, то примиряющая ложь была бы идеологическим «закреплением» этой антигосударственной акции. А что сотворилось бы в душах дважды обманутых ребят? Молодые души были бы надломлены несправедливостью, тем более для них жестокой, что эту несправедливость, это антигосударственное дело совершают люди, от которых молодежь зависит и которым она подчиняется.

В том-то и реальность, и конкретность, и глубина нравственной проблемы рассказа, что в нем устанавливается непосредственная связь бесхозяйственного администрирования с демагогией, ложью, которые могут обернуться (и оборачиваются) самым пагубным унижением молодых душ.

Вы, товарищ Барабаш, односторонне и несправедливо заявляете: «Фраза «для пользы дела», вынесенная А. Солженицыным в название рассказа, имеет явный саркастический подтекст, — эти слова скомпрометированы демагогом Хабалыгиным. Между тем есть в них не только спекулятивный, есть подлинный — главный! — смысл, но он писателем игнорируется начисто». Подчеркнутые мною Ваши слова особенно странны, парадоксальны. Ведь весь рассказ написан именно для того, чтобы демагогии, делячеству, карьеризму, укрытым высокими словами, противопоставить тот мир идей и чувств, которые существуют и должны развиваться, должны торжествовать поистине для пользы дела, страны, людей. Весь рассказ служит этой цели. Он написан для пользы Вашей, моей, для всех нас. Писателем не «игнорируется начисто» важнейшее, а всей системой образов и конфликтов это важнейшее утверждается, утверждается как благородство нелегкой борьбы за высшие государственные интересы, за торжество общего дела.

Вы не увидели в рассказе «реальные жизненные связи», зато увидели некий «условный мир, где честные, благородные, но слабые правдолюбы оказываются беспомощными... перед некоей равнодушной, тупой силой...». Почему же это «честные, благородные правдолюбы» в Вашей системе понятий отнесены к миру нереальному и почему весьма конкретные проходимцы, равнодушные деятели и вконец переродившиеся бюрократы аморфно охарактеризованы как «некая ту-

пая сила»? Можно ли так вольно перетолковывать вполне конкретные образы и мысли художника? И почему Вы относите Грачкова, Лиду и Федора Михеевича к «маленьким людям», которые будто бы «расшибли себе лбы в бесплодных попытках ответить на поставленный... вопрос, что есть справедливость»? Снова Вы не точны, снова вольно перетолковываете реальный смысл характеров и ситуаций. Рассказ А. Солженицына не средневековый трактат на тему о добре и зле, а очень конкретное произведение, о сути которого уже говорилось. Федор Михеевич вовсе не занят решением «вопроса», что есть справедливость и несправедливость (помните, он даже не произносит этих слов?). Совершенно земной человек, бескорыстно увлеченный своим делом, он меньше всего говорит — он действует, борется. И как могли Вы его и Грачкова зачислить в ряд «маленьких людей»?

Да помилуйте: не забыли ли Вы конец рассказа? Федор Михеевич там грозит Хабалыгину («Ну, подожди. хряк!» — говорит он), и совершенно ясно, что «маленький» директор техникума совсем не «маленький», а настоящий, большой человек, что он не сломлен, лба вовсе не расшиб (времена иные), а наоборот, просветленный праведным гневом, борется и будет бороться до тех пор, пока не победит.

Вы зачислили Грачкова в разряд «маленьких людей», между тем Вы справедливо пишете, что сцена в кабинете секретаря обкома (спор Грачкова с Кнорозовым) трактуется А. Солженицыным как конфликт между двумя стилями партийной работы, между двумя политическими линиями — ленинской и той, что была решительно осуждена еще XX съездом.

Как же можно Грачкова, представляющего в рассказе как раз ленинский стиль партийной работы, характеризовать как «маленького человека»? По существу Вы становитесь на сторону Кнорозова: ведь это он, Кнорозов, непререкаемо и жестоко сам решил, что должно быть «на пользу дела».

Он сам решил (уже распорядился) передать новое здание техникума еще не существующему НИИ, и Вы, товарищ Барабаш, согласились с этим. Не вижу я тут логики. Если действительно осуждать культ личности и все, что с ним связано, тогда нужно «смотреть в корень» и недвусмысленно ра-

зоблачать те негодные средства, поступки, действия, к которым прибегают Кнорозовы, дискредитируя великое наше дело и нанося ему вред.

Впрочем, замечая карьеризм и деспотизм Кнорозова, Вы считаете, что писатель мало позаботился «о живых чертах его облика». Да ведь живых (в идейно-эстетическом плане) черт у Кнорозовых нет, это окаменевшие бюрократы. Зато действительно живой Грачков Вам не понравился. Вы не увидели в нем настоящего «партийного работника». Странно такое читать... Душевность, сердечность, умение смело (не заботясь о собственном покое и благополучии) «врасти в землю», встать насмерть за правое дело, вступить в жестокую — и ой какую нелегкую — борьбу с Кнорозовыми — это Вы не заметили? Вы почти не прибегаете к тексту рассказа, когда критикуете Грачкова. Я тоже не буду цитировать — письмо мое и без того затянулось. Но мне верится: если Вы еще раз прочтаете рассказ А. Солженицына (произведение большого и сложного писателя приходится даже очень опытным читателям перечитывать не один раз), Вы увидите, как сквозь удивительную, неповторимую индивидуальность Грачкова просвечивает подлинно типичный, принципиальный и бесстрашный коммунист-ленинец.

Вы правы, называя талант А. Солженицына и крупным и честным. Бесспорно, любой талант нуждается в серьезной критике. Но согласитесь, что большой талант заслуживает прежде всего позитивного истолкования.

Крупный талант — это почти всегда талант сложный, требующий от критика особой осторожности, я бы сказал особой бережливости. И менее всего, как представляется, следует судить о произведении, созданном таким талантом, с той «прокурорской» категоричностью, как это сделали Вы, заявив, что «Для пользы дела» — это «неудача» писателя.

«Для пользы дела» — вещь «солженицынская», трепетно напряженная, трагедийная и в то же время понстине оптимистическая. Рассказ А. Солженицына — свидетельство возросшей активности нашей литературы, глубокого вторжения ее в жизнь, в острейшие явления действительности, свидетельство роста нашего общественного сознания, в условиях которого все труднее удержаться «на поверхности» всяким перерожденцам

и карьеристам, догматикам и демагогам, потому что все сильнее становятся Грачиковы, Лиды и Федоры Михеевичи. Уверен, что для пользы дела и ради торжества справедливости (то есть ради государственных интересов) следует всячески поддерживать появившегося у нас талантливого писателя, растолковывать силу его таланта — силу его произведений, а не дезориентировать читателей категорической и по существу неточной и несправедливой критикой. Потому я написал это письмо и надеюсь, что Вы поймете меня и согласитесь со мною.

Л. Резников, доцент Петрозаводского университета.

г. Петрозаводск.

«ТАК НАДО?»

В «Литературной газете» опубликована большая статья заместителя главного редактора Ю. Барабаша «Что есть справедливость?», представляющая развернутую рецензию на новый рассказ А. Солженицына «Для пользы дела». На взгляд рецензента, центральный вопрос рассказа — что есть справедливость? — поставлен вне времени и пространства, вне реальных жизненных связей и конкретного социального содержания, схоластически, и именно поэтому положительные герои рассказа (а следовательно, и автор) будто бы не сумели дать на него вразумительный ответ, «расшибли себе лбы». Новый рассказ, резюмирует Ю. Барабаш, — неудача писателя.

Думается, однако, что в оценке конкретной ситуации, рассказанной писателем, Ю. Барабаш пал жертвой демагогии хабалыгиных, хорошо владеющих искусством прикрывать собственные корыстные цели имитацией борьбы за общегосударственные интересы.

На наш взгляд, именно Грачиков и директор техникума Федор Михеевич отстаивают общенародные интересы в прогивоположность хабалыгинскому хищническому методу хозяйствования. К сожалению, приходится еще сталкиваться с явлениями, когда во имя выполнения плана на том или ином участке производственной деятельности и, конечно же, «для пользы дела» кнорозовы и хабалыгинны вырубают леса, отравляют водоемы ядовитыми сточными водами или крушат дорогие приборы, извлекая из них лишь небольшую, надобную им часть:

словом, «добывают» изюм, выковыривая его из булки.

Попытка Хабалыгина и его влиятельных покровителей огнять у техникума здание — вполне под стать подобным «подвигам». В решениях XXII съезда КПСС, в выступлениях Н. С. Хрущева красной нитью проходит мысль: мы вышли из того периода, когда успехов в хозяйственном строительстве приходилось добиваться любой ценой. Партия ведет решительную борьбу против нерационального, незаконного расходования народных средств, концентрирует внимание на экономической стороне производства и строительства.

Трудно поэтому уяснить, как можно всерьез говорить о пользе того «дела», во имя которого требуется немедленно производить внутреннюю перепланировку едва построенного здания и увеличивать тем самым стоимость строительства чуть ли не в полтора раза: с четырех до пяти с половиной — шести миллионов рублей! При индустриальных методах строительства дешевле — и едва ли не быстрее — построить новое здание, специально предназначенное для «важного» института, чем производить сложные перестройки в доме, уже подведенном под крышу (не говоря уже о том, что государство должно будет при втором варианте строить новое здание для техникума, — но что до этого хабалыгиным?).

Едва ли не большее возмущение, чем несправедливость нависшего вдруг грозовой тучей решения, вызывают обстоятельства, при которых оно подготавливается. Хотя мотивы организаторов этой операции до поры остаются неизвестными героям рассказа — что, по мнению Ю. Барабаша, делает менее обоснованной их отрицательную реакцию, — методы действий говорят сами за себя.

Характерной приметой нашего времени является твердая линия партии на развертывание широкой инициативы трудящихся и их организаций. Самые важные решения, затрагивающие судьбы всей нашей страны, выносятся на всенародное обсуждение. Общественные организации, коллективы трудящихся приобретают все более важное значение в решении различных государственных дел. В истории же, рассказанной нам А. Солженицыным, никому из тех, кто готовил передачу здания новому владельцу, и в голову не пришло предварительно посоветоваться с заинтересованными сторонами,

решить вопрос этот «советно», гласно. Ю. Барабаш почему-то прошел мимо весьма показательных обстоятельств: за два дня до того, как должно появиться окончательное решение, о нем не знают ни работники местного совнархоза, ни секретарь горкома партии, который слышал что-то еще весной лишь в самой общей форме, ни даже пришедший с комиссией инструктор обкома партии, который чистосердечно сообщает: «Виктор Вавилыч мне велел сопровождать, я и сам не знаю».

Налицо, таким образом, столкновение административного, бюрократического подхода, методов вчерашнего дня, которые были столь обычны в период культа личности, с демократическими основами сегодняшней советской жизни. Поэтому утверждение Ю. Барабаша, что справедливость, за которую бьются положительные герои А. Солженицына, носит вневременной, абстрактный характер, глубоко ложно.

В глазах рецензента те, кто противостоят захватным попыткам Хабалыгина и Кюрозова, — лишь «персонажи... которые представляются автору положительными героями», люди, склонные легкомысленно, с кондачка решать сложные вопросы. С этим никак нельзя согласиться. Да, Грачиков и Федор Михеевич без колебаний становятся на защиту здания от посягательств Хабалыгина, потому что им с самого начала очевидна вопиющая иррациональность, несправедливость подготавливаемого решения. Грачиков, утверждает Ю. Барабаш, «не пытается спокойно разобраться в сути дела». Но ведь дело-то ему отлично известно, какого же дополнительного разбирательства требует от него рецензент?

Ю. Барабаш рекомендует секретарю горкома идти к студентам техникума и разъяснить им, что произошло. По его мнению, это «естественное... решение, способное в значительной мере снять остроту конфликта». Но ведь совершенно очевидно, что пока решение еще не принято и возможность как-то изменить его представляется неисчерпанной, ни педагоги техникума, ни признающий их правоту Грачиков действовать подобным образом никак не могут. Остается неясным, чего же хочет рецензент: то ли Грачиков и педагоги должны покривить душой и отстаивать решение, с которым они — по весьма веским причинам — внутренне не соглас-

ны и целесообразность которого никто даже и не пытался им доказать, то ли они должны апеллировать против готовящейся акции к юношескому коллективу. Достаточно поставить такой вопрос, чтобы увидеть, сколь неосновательны здесь претензии Ю. Барабаша.

Характерно, что как только положение определилось окончательно, директор техникума приходит, без какой бы то ни было подсказки рецензента, именно к такому решению: «Соберем всех девятьсот и объясним: здания у нас, ребята, нет. Надо строить. Поможем — будет быстрее... Поверят. И построят».

Быть может, нам возразят, что вопрос о том, где и в какие сроки организовывать новый НИИ, находится вне компетенции преподавателей и тем более студентов техникума, у которых отбирают здание. Разумеется, это нельзя решать всеобщим голосованием. Но при данных обстоятельствах, когда новое здание сооружалось методом народной стройки, когда в большой степени именно вокруг этого общего дела оплотился дружный коллектив, включивший и комсомольцев, и преподавателей, непреложным требованием и этического и политического порядка было решать вопрос при участии этого коллектива, а не за спиной его.

Предположим все-таки на какой-то момент, что весьма веские основания диктуют необходимость лишить техникум нового здания, заставить его работать еще год или два в ненормальных условиях. У нас нет никаких сомнений, что любой советский, комсомольский коллектив понял бы и принял правильное решение. Но никому нельзя позволить осквернять чистый энтузиазм славных ребят и девушек, их светлую веру в справедливость, их законную гордость своим трудом.

— Так не надо. Так нельзя, — говорит А. Солженицын своим рассказом, отстаивающим нашу советскую, коммунистическую справедливость, этические нормы морального кодекса, демократические основы нашей жизни.

В. Шейнис, *рабочник Кировского завода, ударник коммунистического труда.*
Р. Цимерин, *машинист башенного крана.*

г. Ленинград.

МОЕ МНЕНИЕ

Мне хотелось бы высказаться по поводу документального повествования Льва Никулина «Маршал Тухачевский», опубликованного в журнале «Октябрь» (№ 2—5, 1963).

В годы гражданской войны я служил в войсках, которыми командовал М. Н. Тухачевский. Он был моим старшим начальником в мирное время, товарищем — в последние годы жизни. По так называемому «делу Тухачевского» я был репрессирован и около семнадцати лет пробыл в заключении.

Близкое знакомство с Тухачевским дает мне право и обязывает меня выразить свое отношение к повествованию Л. Никулина.

Почти четверть века имя Тухачевского было под строгим запретом. А до запрета, несмотря на любовь к Тухачевскому партии и народа, оно не популяризировалось в силу личной скромности его самого и в силу недоброжелательного отношения к нему Сталина.

Немало дискредитировала Тухачевского и падкая на сенсацию зарубежная печать, разжигавшая нездоровый интерес к его незаурядной личности. Нарочито подчеркивалась знатность его происхождения, низменными побуждениями объяснялся сказочный взлет его военной карьеры. Ему даже приписывали бонапартистские замыслы. Родились крикливые произведения о «красном Наполеоне». Тут было все: и развесистое генеалогическое древо старинного дворянского рода, наследственная «военная жилка» (с XVII столетия!), увлечение с раннего детства битвами и походами Юлия Цезаря и генералиссимуса Суворова, мечта о гвардейском мундире, честолюбие, жажда славы. Вот, оказывается, почему блестящий гвардейский офицер петербургского гарнизона так легко променял кивер на скромную буденовку. Вот в чем, оказывается, причина причин перехода аристократа Тухачевского в коммунистический стан и объяснение его блистательных побед в гражданской войне.

Буржуазия не прочь присвоить своему классу любую славу. Когда в конце 1853 года в американской газете появились блестящие военные статьи Энгельса, в Нью-Йорке прошел слух, что их написал генерал Скотт — главнокомандующий армией США. Когда Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет, немедленным резо-

нансом за рубежом был слух, что герой легендарного подвига не простой гжатский парень, а потомок князей Гагаринных. И славу Тухачевского буржуазия также стремилась поставить в заслугу своему классу.

Совершенно непонятно, для чего Льву Никулину понадобилось в повести о Тухачевском акцентировать внимание на второстепенном. Тут и выписки из старых энциклопедий: «Тухачевские — дворянский род, происходящий, по сказаниям старинных родословцев, от выехавшего в Чернигов из цесарской земли при великом князе Мстиславе Владимировиче Графа Индриса, в крещении Константина»; и не всегда проверенные свидетельства вроде таких: «С детских лет Михаил Тухачевский много читал, особенно увлекался военной литературой. Его не очень интересовал латинский язык, но ради того, чтобы прочитать в подлиннике «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря, он добросовестно его изучал. Вместо полагающихся в гимназическом курсе трех глав он прочитал Юлиа Цезаря полностью. В юные годы Тухачевский прочел все, что мог найти о Суворове». «Во время русско-японской войны... Миша Тухачевский... следил по карте за военными действиями... «В гимназии основные и параллельные классы объявляли друг другу «войну». Миша был начальником отряда и. как пишет В. Г. Украинский, организовывал подготовку к игре «тщательно и обдуманно». Миша Тухачевский создал штаб, придумал ловушки, засады, обходы, охваты противной стороны, разведку и использование рельефа местности».

Было ли это? Отчасти, может быть, и было. Но разве можно с помощью подобных экскурсов установить тот базис, на котором зиждется военное мастерство Тухачевского? Такая трактовка биографии М. Н. Тухачевского избавляет автора от серьезной работы — от обязанности объяснить читателю подлинные истоки полководческого искусства славного советского маршала. А ведь как ни странно, Л. Никулин по существу обходит вопрос о становлении полководца-коммуниста вопреки своему обещанию, данному в самом начале повествования.

Советских полководцев, в их числе и Тухачевского, создала революция, Коммунистическая партия. Она выдвинула их из ар-

мейских рядов. Вот о чем следовало полно и ярко рассказать. Л. Никулин же пишет об этом бледно. Такому, например, важному периоду в жизни М. Н. Тухачевского, как пребывание в Москве в 1918 году, автор отводит всего-навсего два десятка строк. Можно ли такой скороговоркой писать об одном из самых решающих моментов в жизни Тухачевского: «Начал работать в военном отделе ВЦИК. В апреле 1918 года он вступил в партию большевиков: молодой «военспец» был лично известен Свердлову, Дзержинскому, Подвойскому». И это все, что сказано о важнейших обстоятельствах становления замечательного полководца-коммуниста!

Пятого апреля 1918 года — двойная дата в жизни Тухачевского: дата вступления в ленинскую партию и в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Московская партийная организация, передовые московские рабочие были первыми большевистскими воспитателями и руководителями Тухачевского. Очень характерно, что уже с первых шагов Тухачевский стал активным членом партии. Он глубоко осознал личную ответственность за дело защиты завоеваний Октября, за всю судьбу социалистической республики. Трудно переоценить огромное значение этой партийной школы, способствовавшей быстрому развитию молодого коммуниста.

Огромное счастье Тухачевского заключалось в том, что в Москве он, командир-коммунист, имел возможность непосредственно учиться ленинскому стилю работы у самого Ленина. В Москве Тухачевский много раз видел и слышал Владимира Ильича. Партийный поручитель Тухачевского — член ВЦИК Н. Н. Кулябко — при встрече с В. И. Лениным в Кремле докладывал ему о Тухачевском. Известно гакже, что перед отъездом Тухачевского на Восточный фронт с ним беседовал Владимир Ильич.

Военным отделом ВЦИК, где Тухачевский работал в 1918 году, заведовал верный соратник Ленина А. С. Енукидзе. С военным отделом соприкасались многие старые большевики, революционеры, изучавшие военное дело еще в подполье. Тухачевский уже тогда знал по работе в военном отделе Ф. Э. Дзержинского, Н. И. Подвойского, Н. В. Крыленко, В. А. Антонова-Овсеенко, М. С. Кедрова, Е. М. Ярославского, К. А. Механюшина, П. Е. Дыбенко.

Военный отдел ВЦИК был связующим звеном между центральной властью и ар-

мейскими организациями. Непрерывным потоком шли сюда делегаты воинских частей Отдел снабжал их политической и военнотехнической литературой, отвечал на злободневные вопросы о мире, земле, организации советской власти, самоопределении национальностей, борьбе с контрреволюцией. В функции отдела входила подготовка законодательных актов по вопросам военного строительства и общее руководство военной деятельностью Советов.

Вот к каким государственно важным делам был сразу же привлечен молодой военный работник! Вот на какой важный командный пункт сразу же направила его партия! Такая исключительная по важности военно-государственная работа уже сама по себе расширяла теоретический и практический кругозор способного командира. Именно тогда он начал складываться как тип советского военного работника, не сравнимого с офицерами любой капиталистической армии по глубине политической ориентировки, по творческой инициативе и деловитости.

Эта сердцевина военной биографии Тухачевского с трудом улавливается в повествовании Л. Никулина, загроможденном калейдоскопом событий и цитат. Тухачевский слабо показан как один из ярких представителей ленинской науки побеждать.

Я не писатель, а солдат, и не мне давать Льву Никулину советы в области литературной работы. Думаю, однако, что следует всем нам помнить справедливое указание А. А. Фадеева о том, что «...в наше время нельзя показать ученого без непосредственного вхождения в сферу его научной деятельности, стахановца — без его труда, полководца — без вхождения в сферу его стратегического и тактического разума и опыта...»

Создается впечатление, что именно без соблюдения этого правила попытался Л. Никулин показать маршала Тухачевского. Очевидно, потому и не проходит в повествовании красной нитью (опять-таки вопреки обещанию автора) отображение того, как партия неизменно посылала своего верного сына и испытанного полководца на главные фронты, и в них поручала командование войсками на главных направлениях. Разве можно тут ограничиваться выписками из послужного списка, выдержками из приказов, цитатами, как это делает

Л. Никулин? Думаю, что это следовало показать обстоятельней.

Описание боевых действий у Л. Никулина — это чаще всего подборка цитат. Чувствуется, что автор не изволнован по-настоящему тем материалом, который положил в основу своего повествования. Оттого он пишет сухо, невыразительно. Даже цитаты из воспоминаний самого Тухачевского не улучшают качества произведения, так как читатели, не имеющие перед глазами военно-топографической карты, не могут разобраться в специфической военной обстановке. Для доказательства возьму один пример:

«Третья белая армия,— пишет Л. Никулин,— 2 сентября перешла в наступление, атаковав 27-ю дивизию. В это же время 26-я дивизия получила удар от 2-го конного уральского корпуса и группы генерала Доможирова.

В создавшейся опасной ситуации Тухачевский задумал неожиданную для противника контроперацию. Вот что он пишет в своих воспоминаниях:

«На свой страх и риск 5-я армия решила выдвинуть на фронт 5-ю стрелковую дивизию... Кроме того, решено было оставить Троицкий укрепленный район на попечение местных крепостных частей и партизанских отрядов, благодаря чему явилась возможность привлечь к операции бригаду 35-й дивизии. Из этих частей решено было создать новый фланг группировки, уступом за правым флангом 26-й дивизии, с тем, чтобы в кратчайший срок, произведя эту перегруппировку, атаковать во фланг обходную группу противника... Этот контрманевр... мог бы нанести противнику очень сильное поражение. Однако этого не случилось».

Глядя правде в глаза, командарм объясняет эту неудачу так: «Штаб 5-й армии в течение всей этой операции оставался в Челябинске, в то время как ему следовало бы быть от фронта не далее как в Кургане...

Однако, несмотря на целый ряд организационных неудач, наша ударная группа все-таки перешла в наступление и значительно потеснила обходную группу противника, но ненадолго».

Начались ожесточенные встречные бои. Армия была отведена за реку Тобол, сохранив активный плацдарм на правом берегу реки в районе станции Звериноголовская».

Что может представить читатель, прочитав этот длинный отрывок? Ничего!

А в других случаях Л. Никулин вообще отделяется отписками. Так, о ликвидации Кронштадтского мятежа и кулацко-эсеровской антоновщины на Тамбовщине упомянуто лишь в нескольких строках. И это о последних боевых операциях Михаила Николаевича, в которых также проявились его славные полководческие качества!

С первого и до последнего выстрела в гражданской войне полководец-коммунист Тухачевский вел красные войска от победы к победе. Показано ли это по-настоящему в повествовании Л. Никулина? Сумел ли он создать яркий образ блистательного советского полководца? Смею утверждать, что он не сумел этого сделать потому, что не захотел или не смог войти «в сферу стратегического и тактического разума и опыта» Михаила Николаевича Тухачевского.

Заметим, кстати, что и боевой службе Тухачевского в годы мировой войны отведено в повествовании буквально несколько строк. А ведь он участвовал в знаменитой Галицийской битве и в трех известных сражениях: Варшавско-Ивангородском, Ченстохово-Краковском и Праснышском. Маневренные действия, участие в упорных встречах боях являлись для него неоценимой школой боевой подготовки, благотворно сказавшейся на его последующей полководческой деятельности в Красной Армии. Свидетельством же того, что он с зоркой наблюдательностью воспринимал тогдашнюю действительность и правильно оценивал ее, является характеристика офицерского состава царской армии, которую он дал в докладе о военных специалистах, составленном 19 декабря 1919 года специально для В. И. Ленина.

Как у каждого человека и каждого полководца, у Тухачевского были ошибки и неудачи. Те исторические годы были временем становления молодого советского военного искусства, когда Красная Армия и все мы в ней только учились воевать по-настоящему. И учились на своем собственном боевом опыте, на своих собственных ошибках. Считаю, что и этот момент надо было подчеркнуть отчетливее и сильнее.

Думаю, что в таком документальном повествовании недопустимы исторические неточности. А они, к сожалению, есть. Вот, например, одна из них. Л. Никулин пишет, что в 1928 году Тухачевский был назначен командующим Ленинградским военным округом и что помощником у него был

В. И. Шорин. На самом же деле Василий Иванович Шорин еще в 1925 году был по возрасту освобожден от действительной военной службы и за особые заслуги пожизненно оставлен в списках Красной Армии. В. И. Шорин действительно был заместителем командующего войсками Ленинградского военного округа, но это было за долго до назначения Тухачевского в Ленинград.

Надо полагать, что критики еще скажут свое слово о литературных достоинствах произведения Льва Никулина. Лично мне его повествование и в литературно-художественном отношении представляется невыразительным.

«Мое мнение» — так я назвал этот отклик на произведение Льва Никулина. Могу добавить, что, как видно из полученных мною писем, это мнение разделяют многие товарищи — сверстники Тухачевского. Старый большевик, полковник в отставке А. В. Голубев пишет: «Л. Никулин попытался сделать из него (Тухачевского.— А. Т.) гения, созревшего вполне еще во чреве матери.

Но это же ложная и, если хотите, иконописная картина». Вдова погибшего в годы культа личности командарма второго ранга И. Н. Дубового, тоже старый член партии, Н. Д. Дубовая пишет из Киева о повествовании Л. Никулина: «Ведь там нет живого Тухачевского, очень принципиального, всесторонне развитого человека... Это бледная, малоинтересная и неубедительная повесть. Такая яркая жизнь, такой большой человек и такой обедненный образ!» «Весьма посредственным» считает произведение Л. Никулина также пенсионер Л. А. Меерсон, приславший мне письмо из Гомеля.

Замечательные военачальники Тухачевский, Егоров, Якир, Уборевич, Блюхер, Корж, Эйдеман и многие другие достойны того, чтобы о них были написаны книги. И мне хочется сказать нашим уважаемым писателям: «Дорогие товарищи! Мы ждем от вас правдивых, ярких, высокохудожественных произведений о славных советских полководцах».

А. Годорский,
генерал-лейтенант запаса.



ПИСЬМА ЛАРИСЫ РЕЙСНЕР

В 1913 году в альманахе символистов «Шиповник» была напечатана драма «Атлантида». Это абстрактно-аллегорическое произведение не привлекло бы к себе особого внимания, если бы не стало известно, что автору его всего восемнадцать лет!

Автором «Атлантиды» была Лариса Михайловна Рейснер.

В 1915 году юная Лариса Рейснер вместе со своим отцом, профессором М. А. Рейснером, большевиком, создает прогрессивный антимилитаристский журнал «Рудин», в котором с воинственным запалом борется с обывательщиной и мешанством, шовинизмом и ренегатством, за международную солидарность пролетариата.

Сложен и временами противоречив был путь Ларисы Рейснер. Нелегко ей было преодолеть в себе эстетизм, ложные пристрастия и увлечения ее времени и среды. Но она с честью вышла из этой борьбы. Об этом ярко говорят ее статьи «Через Ал. Блока и Северянина — к Маяковскому», «Против литературного бандитизма» и другие.

Лариса Рейснер обладала острым чувством истории. В 1916 году она совершила небольшое путешествие по Волге и, как бы предчувствуя надвигающуюся революционную бурю, писала оттуда родным: «За Россию бояться не надо; в маленьких сторожевых будках, в торговых селах, по всем причалам этой великой реки — все уже бесспорно решено. Здесь всё знают, ничего не простят и никогда не забудут. И именно тогда, когда будет нужно, приговор будет произнесен, и совершится казнь, какой еще никогда не было».

Как видим, Ларисе Рейснер был органически присущ тот особый дар видения, который истинному художнику помогает осмысливать не только вчерашний и сегодняшний день, но и грядущее.

В героические часы штурма Зимнего дворца Лариса Рейснер пришла к большевикам; ей поручили охранять культурные и исторические ценности Зимнего. Из ее очерков «В Зимнем дворце», «Чем они жили» и других видно, с какой гордостью выполняла она это задание партии. Лариса Рейснер вошла в революцию как в родную стихию и вскоре стала сама ее живым воплощением.

Первая женщина-комиссар Главного Морского штаба в Москве и Волжско-Камской флотилии, образ которой вдохновлял Вс. Вишневского, когда он создавал «Оптимистическую трагедию», и Б. Лавренева, писавшего свою пьесу «Волга горит», Лариса Рейснер сохранилась в благодарной памяти современников как преданный и мужественный солдат гражданской войны. Она не мыслила себе жизни без борьбы, без жгучей ненависти к врагам Великого Октября. Ее книга «Фронт» — памятник героической эпохи рождения нового, социалистического общества.

В 1921 году Лариса Рейснер поехала в Афганистан как жена полпреда Ф. Ф. Раскольникова. В это время она была уже коммунисткой (в партию вступила в 1918 году). Попав в раздираемый противоречиями экзотический Афганистан, жаждущий вырваться из векового колониального порабощения, Лариса Рейснер чувствовала себя там не праздной наблюдательницей. Она делала все, чтобы афганцы увидели в молодом Советском государстве, провозгласившем новые принципы международных отношений, свою опору и защитника.

Ее книга «Афганистан», щедрая и красочная, вводит в сложные перипетии жизни на Востоке; нарисованные в ней картины быта и нравов страны обогащают и читателя и исследователя.

В Афганистане Ларисе Рейснер очень пригодился ее широкий кругозор, знание языков (она основательно изучила и фарси) и всестороннее образование. Но главное было не в этом: как коммунист она чувствовала свою ответственность за победу миролюбивой советской политики и работала на этом участке фронта самоотверженно, со всем напряжением душевных сил.

В 1923 году Лариса Рейснер уже в Германии, где в ту пору, казалось, близка была революция. Сколько суровой правды и пафоса в ее строго эпических и сатирических очерках, написанных очевидцем по свежим следам разыгравшихся трагических событий. Мы имеем в виду ее книгу «Гамбурге на баррикадах», которая по решению германского имперского суда была запрещена и предана сожжению, а также «В стране Гинденбурга», «Берлин в октябре 1923 года», очерк «Молоко» и другие.

После возвращения из Германии Лариса Рейснер совершила большую поездку по родной стране, побывала на Урале, в Донбассе, познакомилась с текстильными районами. Написанная на основе этих впечатлений книга «Уголь, железо и живые люди» показывает героичку борьбы советских людей за восстановление народного хозяйства страны, передает неповторимую атмосферу тех лет.

Нами публикуется лишь небольшая часть эпистолярного наследия писательницы¹, отражающая важнейшие этапы ее жизни и творчества: борьбу с белогвардейщиной (период «Фронта»), деятельность в Афганистане (эти письма значительно дополняют ее книгу об этой стране) и несколько писем из Германии, наиболее характерных для настроений писательницы-коммунистки.

В этих письмах тонкая лирика (Лариса Рейснер начинала свою литературную деятельность как поэт) сочетается с острыми публицистическими зарисовками и пронзительным анализом международных событий.

Пребывание Ларисы Рейснер в Афганистане совпало с введением новой экономической политики. Она не совсем поняла, не разобралась в целесообразности этого шага советской власти. Ее тяжелые переживания и сомнения этой поры отразились в некоторых письмах. Но здесь же она выражает глубочайшую веру в идеалы Октября, в способность партии преодолеть все и всякие временные трудности.

Ларисе Рейснер шел тридцать первый год, когда ее сразила смерть. Простой перечень созданных ею книг, множество очерков, рассказов, памфлетов, фельетонов и статей — а к этому можно присоединить ныне и ее письма — яркое свидетельство одаренности, исключительной творческой и политической активности писательницы. Она по праву занимает одно из почетных мест в славной плеяде литераторов первого десятилетия Октября.

А. Наумова.

1

1918

Мои радости, дело было так: Вы, наверное, уже знаете, что из проклятой Казани¹ мы ушли вполне благополучно. Я — с печатями и важными бумагами в 6 ч. (со мной были оба Миши), и Федя² в 9 ч., уже с боем, в последние минуты, пробился к шоссе. Через три дня мы были в Свяжске (в штабе) — о Феде стало известно, что он попался в плен и сидит в Казани. Тогда мы с Мишей взяли лошадей и пробрались в Казань вторично. Поселились у пристава-черносотенца, и все шло хорошо. Часами (с забинтованной головой) торчала в их штабе и очень скоро выяснила, что Федя спасся. К сожалению, Мишу по доносу соседа из гостиницы узнали и арестовали где-то в городе. Нет его день, нет два, а без гроша денег, без паспорта. Пристав настоятельно предлагает проводить меня в штаб «для справок». Пришлось пойти. В штабе, где я часами справлялась о мифических родственниках, меня сразу узнали. Сравнили фамилии — не сходятся. Ваш паспорт? Нету. Начался ужасающий, серый, долгий допрос. Допрашивал японец — офицер. Никогда не забыть канцелярию, грязный пол и вещи уже «оконченных» людей на полу по углам. Целые кучи.

На минуту мой палач ушел в соседнюю комнату, направо, за прокурором. У часового потухла папироска, он вышел закурить — налево. Осталась большая, заколоченная войлоком, зимняя дверь посередине. Я ее рванула, вырвала с гвоздями и оказалась на лестнице, тихонько сошла вниз, сорвала с головы бинты, попала на улицу. Тихим шагом до угла, потом на извозчика. Куда же, боже мой, ехать? И вспомнила Булыгина, белогвардейца, с которым ехала когда-то в Казань³. Застала дома — они дали мне платье кухарки, 5 р. денег, и я скоренько побежала к предместью. В четырех верстах, отшутившись неприличными шутками от двух патрулей, набрела на нашу цепь. Так, чудом, и спаслась, а бедный Миша погиб. В Свяжске узнала, что Раскольников жив...

...Я назначена приказом по армии комиссаром разведывательного отдела при штабе (прошу не смешивать с шпионской контрразведкой), набрала и вооружила для смелых поручений тридцать мадьяр. достала им лошадей, оружие и от времени до времени кожу с ними на разведки. Говорим мы по-немецки. Между прочим, поймали одного офицера — чеха.

¹ Основная переписка Л. М. Рейснер хранится в рукописном отделе Государственной библиотеки имени В. И. Ленина.

Жизнь спешит безумно, через три-четыре дня берем Казань, войска много, пушек тоже. Сильно страдаем от грязи и насекомых. Бесконечно благодарна за ножнички и остальное. Вышлите с первой оказией шляпу и мое осеннее пальто. Хожу в невообразимом виде и мерзну. Все вещи остались в Казани.

Целую всех, Ваша одичалая и бесконечно озлобленная на интеллигенцию дочь Лариса. В Казани видела расстрелы — я им их припомню, когда возьмем город...

Адрес: Свяжск, штаб 5-й армии, политкому отдела разведки Раскольниковой.

¹ См. главу «Казань» и «Казань — Сарапуль» в книге Л. Рейснер «Фронт».

² Федор Федорович Раскольников (Ильин) — в 1918 году — замнаркома по морским делам; командовал Красной Волжской и Волжско-Каспийской флотилией; в 1921—1923 годах — полпред Советского правительства в Афганистане.

³ Описание этого эпизода в книге «Фронт» носит совершенно иной характер.

2

[1918—1919]

Дорогие мои, пишу Вам по дороге в Саратов... Мой Фед. Фед. сейчас ведет еще два миноносца к Царицыну, сейчас он, верно, уже в переделке, и мое сердце стынет, т. к. операции под Царицыном страшно серьезные, пришлось вместо Ф. Ф. ехать мне по жел. дороге с нашим нач. оперативного отдела. Все, что белые пытались учинить под Астраханью и в устье Волги, — разбито вдребезги, но Царицын — наша вторая Казань. Передам для Вас Беренсу кипу старой китайско-персидской живописи, а себе оставляю на счастье только дивного будду, взятого в глиняном храме посреди выжженных калмыцких степей. Я ему молюсь, когда Ф. Ф. идет в гиблые места. Как скучно без Вас, особенно последнюю неделю. Не случилось ли что-нибудь, милые? Не притесняют ли Вас дома? Такие мысли травят мой покой. У нас кончилось затишье. Если сдадим Царицын, то Астрахань окажется отрезана, и будем в ней держаться до последнего. При всем том, невзирая даже на падение Харькова, — мы с Федей бесконечно счастливы. Ну, об этом трудно писать. А главное, это не случайная вспышка «добрых» чувств, но неизменная прямая. Англия сделала из него мужчину¹...

Прелестен Калинин Михаил Николаевич; это храбрец, сейчас начальник авиации, летает сам на дрянных аппаратах и дрянной смеси, бог его милует — и сколько он бомб сбросил на головы белых. Поплевин тоже себя оправдал — он начальник обороны устья Волги, истребляет казаков, когда они ладятся с берега на берег, водит «тещу» в бой, сбивает десанты...

Офицеры вокруг нас — не то, что было на Каме. В порту — воры, в штабе — пара белогвардейцев. Безупречен, конечно, приехавший с нами Кунель, начальник штаба. И он, и его жена воистину свои, и до конца свои. Ну, пока, бегу на станцию, хочу Вам послать яичек. Получаете ли Вы мои периодические посылки?..

¹ Будучи членом Реввоенсовета республики, Раскольников во время одной разведки в Балтийском море в декабре 1918 года попал в плен к англичанам и просидел пять месяцев в лондонской Брикстонской тюрьме; был освобожден в обмен на английских офицеров.

3

5 апреля [1921]

...Вчера вечером Федя был у эмира. Все налаживается... Помог нам новый английский посол¹ (его уже ненавидит весь Кабул). Держится, как хам с хлыстом в колониях. Спасибо ему (но как Федя хорошо ведет свою линию). Шик. Ну, теперь все. Мама, я все-таки не перестаю мечтать о твоём приезде. Кто знает? Или это немислимо? Простите за эту «деловую записочку»...

Я.

¹ Генри Доббс, английский посол; прибыл в Афганистан в январе 1921 года.

28 мая [1921]

С этой почтой от Вас не было писем. Или что-нибудь случилось с матерью, или нелепость, которую за 900 000 верст не разъяснить, мешает Вам писать, как прежде. Пишу Вам — точно стучусь в захлопнутые двери. Ну, не хотите, не насильуйте себя, хуже всего в таких случаях неискренность. А теперь, мои милые, мои потерянные на два года,— раз уж почта посвящена характеристикам, я Вам опишу нечто безобразное и противоестественное, без чего не будет полон мой «Восток»¹. Этот психологический блеф, эта гофманская химера, пустившая корни под горячим афганским небом, — «русские в Кабуле», мы сами, наша миссия, рассмотренная не в целом, как нечто официально-безличное, а как живое общежитие, кстати, ближе всего по духу подходящее к балаевской гимназии. Милая мама, тебе эти воспоминания особенно памятливы...

Когда в апреле первое тепло наливает вечные снега блеском, почти нестерпимым для глаз; когда они переполнены солнцем, прозрачны, пенны, как неземное вино в белом хрустале, — в долинах сады утопают в цветочной метели. Снег сменяется лиловыми лунными сумерками, навстречу им разгорается сирень, фиолетовые лилии кадят Маю чистым и головокружительным фимиамом.

Выходят изумрудные озими, рожь после зрелых гроз подымается до плеча, и начинается время безумных маков, роз, клевера — всего красного, торжествующего, совершенного.

Вот опять впала в лирический тон. «Рейснер, не выставляйтесь». Но, дорогой Николай Васильевич, еще два слова о гармонии, два слова. Мой козлик облинял, сделался серым, гладким, с мшисто-коричневыми оттенками. Облака, облака, когда бегут по солнечному небу, ведут за собой по дорогам, по склонам мертвых гор, по пескам караваны своих бархатисто-золотых, темно-прозрачных, неустойчиво быстрых теней. Наконец в раю, да в грубом раю, горячем, как пустыня, тесном, как палатка кочевника после долгого, серого дня, курящегося от жары в раю Магомета, гурии покоятся на зеленых, на изумрудно-зеленых подушках — вот и всякий видевший Восток хоть одним глазом скажет Вам, что они не могут быть другого цвета. Почему? Счастье всего свежее, всего легче в конце мая; цвет насыщения, благодарности, нагибающий к земле ветки с неспелыми, но уже наливыми плодами: колосья высокие и еще пустые — их цвет зеленый. Вода не сошла с залитых лугов. Старые крепости в изумрудной дымке, все крылья, все чешуи, все панцири насекомых отливают листом, травой, свежим стеблем. Любви это время. зеленой, несущей легкое бремя завязей и пернатых цветов.

Наконец кто смеет отрицать, что на базаре, в глиняных улицах без дверей, над подвалами, где, сгорбясь, слепые от вечной тени, мастера вышивают золотом туфли; в длинной, безнадежной глиняной стене, поднятой до самого неба... в этой стене, обдающей душным дыханием усталых, перегруженных всякой кладью ослов и верблюдов, — в этой утомительной и безжалостной стене есть еще окно — зеленое окно, зеленое окно. Возможно, что из этого окна виден сад — спрятанный от всех глаз, как камень на кольце, обернутом внутрь.

Что делала бы в этих тусклых песках береза? Невозможно — она подняла бы вверх плакучие ветки, утончила вершину, вошла в жгучее небо более стройной, более летучей иглой. Уже не березой — тополем. К сожалению, европейцы не меняют тембра своей листвы, внутреннего шелеста, переступая эти отдаленные границы, затерянные в песке. И особенно русские сохраняют психический запах, окраску, весь быт, ничего не принимая из червонного потока, которым солнце поливает все — крупницы пыли и мозговые клетки...

¹ Конец письма отсутствует; имеется в виду будущая книга Л. Рейснер «Афганистан».

5

[1922]

Мои милые, пишу Вам под грохот отправляемой почты... Я кончаю невероятную статью для Коминтерна — воображаю, с каким нескрываемым восторгом... прочтут описание всех калибры гарема, цветов, облаков, закатов и восходов, без которых, Вы знаете, такой старый партийный работник, как я, не могу описать ни революции, ни реакции...

Я посылаю Вам копию моей первой работы, подписанной громким титулом «Информатора Коминтерна», т. е. те главы, на которых не написано «очень секретно», — все, кроме главы «Правительницы Афганистана» и «Праздник просвещения», может быть напечатано в качестве очень большого фельетона — я бы, признаться, предпочла «Правду», но если почему-нибудь возникнут препятствия... тогда — в «Известия».

Если б Вы знали, каким режущим холодом, каким желчным отчаянием Ваше разочарование сказывается на мне и Феде — Вы бы достали из волшебного ящичка творчества — или иллюзии — нового духа, нового гения, чтобы он вдруг выступил на сцену вечного кукольного театра — и разогнал марионеток, бледных, как страдание, черных, как одиночество, с закрытыми от усталости глазами. Ах, я не то говорю, что надо. Вы никогда не лгали ни себе, ни другим, ни ради себя, ни ради других — но просто за Вашей зимой всегда приходила весна. В этом привилегия творчества. Там, где у ~~не~~ крылатых итог, точка и самоубийство — у крылатых новая идея, форма — новые слова. А Вы так крылаты, так устроены для вечной метаморфозы духа. Ваши ветки немислимы без новых, будущих листьев, все Ваши снега, самые мертвые, шумят ручьями. И, наверно, к тому времени, когда придет это запоздалое письмо, Ваши возрождающие итоги будут радостно смеяться над вытянутыми физиономиями своих слагаемых — обманутых, глупых рациональных слагаемых.

У нас все по-прежнему — вчера были опять на женском празднике, видели удивительных женщин в роскошных бальных платьях — они сидели на ковре и играли дикие и печальные вещи на старинных барабанчиках, и фисгармонии, и на бубнах — и были сами собой. Потом танцевали хороводом — я тоже к ним присоединилась и, танцуя рядом с эмиршей, живо выучила простые, ритмичные фигуры. Ну, они были в восторге. Пока все, мои единственные.

Что мой «роман»¹ — жду Вашей рецензии с трепетом...

¹ Автобиографическая повесть, не оконченная Л. Рейснер.

6

22 апреля [1922]

Мои милые маленькие жители Знаменского переулочка... В нашем К.-Ф.¹ — белые, розовые, мелово-желтые метели цветения. Начали самые молодые яблони — отгорели в душистом снегу быстро, на заре весны. Потом, совсем особо, не спеша, не смешиваясь с юньями — старые яблони, могучие шатры благословенного белого цвета, с такими широкими объятиями, что для них не хватало солнца и пчел. И наконец персики. Розовые одинокие деревца, которые выглядят искусственными — так много на их сухих коричневых ветках ярко-розовых пахучих цветов. Этим мы поклоняемся, они — искусство среди всех обычных способов любить, благоухать и распускаться. Они — шедевр, символ простой весенней религии, еще не познанной людьми. Они — сродни лотосу Индии и хризантеме Хокусаи.

Под этими навесами из живых цветов я устроила сборище всего нашего кабульского дипкорпуса, которое Наль усердно крутил и прятал в безобразный ящик своего кино. Вы это, вероятно, увидите. Боюсь, не много ли я смелась, но соседи потихоньку острили с серьезными лицами, и некому было, взглянувши сурово, сказать: «Ляля, не раскрывай рот до ушей», «Ляля Упутъевна, воздержись»...

С какой радостью прочла в «Нови» свои записки². А когда встанется все

ныне пропущенные письма и все мои доклады «Коминтерну» — ведь это будет книга, папа, да? Сейчас срочно пишу начало для записок с фронта — Свияжск³. К этой почте, верно, кончу.

Мои родители, мой отец и мать, мой очаг, мое творчество, если бы Вы знали, с какими нежными слезами я о Вас сейчас думаю...

¹ Кала и Фату — резиденция советских послов в Афганистане.

² В журнале «Красная новь» печатались отдельные главы будущей книги «Фронт».

³ «Свияжск» — одна из глав книги «Фронт».

7

В ночь под первое мая [1922]

...Бывает очень неприятно видеть, как враги употребляют заимствованное у нас оружие, как их наука, очень старая и очень умная, овладевает методами мышления, идеями, глубоко ей чуждыми...

У нас качания маятника, взлетающего между Антантой и РСФСР, сказываются в том, что английский аристократ, лиса, вежливый убийца в маске подлого презрения к людям, ласково жмет руку некоего маленького мигчмана Феди и лебзит перед его женой. Море крови пролито за эту его искательную улыбочку, за полу-признание, за то, чтобы вообще мог начаться между им и нами — между раком, жрущим грудь Индии, и нами, которым рано или поздно придется оторвать его окровавленные щупальцы, — сей невинный дипломатический флирт¹.

Ну, пока все. Люблю Вас, как всегда

Ваша Лара.

¹ Автор имеет в виду сложные взаимоотношения, возникшие между Англией, Афганистаном и Советской Россией в этот период; в войне с Англией за национальную независимость, начавшейся под влиянием Октябрьской революции, Афганистан получил решительную и дружественную поддержку Советского государства. Это вынудило Англию признать наконец свою бывшую колонию Афганистан независимым государством.

Двадцать восьмого февраля 1921 года по инициативе В. И. Ленина был заключен договор Афганистана с Советской Россией об установлении дружественных отношений, явившийся первым равноправным договором Афганистана с великой державой.

3

7 мая [1922]

Мои милые, прежде всего должна Вас поблагодарить за «Записки мечтателей»¹. Так много интересного. Странный роман Белого², который нельзя читать про себя, но очень созвучный и неприятно музыкальный «вслух»...

Признаюсь, я тоже немножко обижена, как-то не примирилась с забракованием своего романа. Ни папа, ни мать не пишет ничего по существу. Что, по-Вашему, плохо, почему первые главы, которые мне казались такими удачными, не получили даже мотивированного приговора? Неужели все так отвратительно?

Еще два слова о петербургских изданиях. Упивалась Гершензоном, стихи Ахматовой еще раз, с болью и слезами, раскрыли старые раны и тоже навсегда их закрыли. Она вылила в искусство все мои противоречия, которым столько лет не было исхода. Теперь они — мрамор, им дана жизнь вне меня, их гнет и соблазн перешел в пантеон. Как я ей благодарна. А, в общем, эти книги и радуют и беспокоят — точно после долгой разлуки возвращаешься на минуту и случайно в когда-то милый, но опостылевший, брошенный дом. На полу, на полках находятся листы хороших книг, разрозненные страницы когда-то читанных писем — удобные, красивые вещи, особенный запах культурной, стройной — теперь одичалой интеллигентской жизни. И щемяще — и м[ожет] б[ыть] нездорово. Нет ничего вреднее кладбищ, воспоминаний и несколько сентиментального блуждания по собственным развалинам. Развалины цепки, пахнут мертвым и причиняют гибельные слабости. А петерб[ургские] книги — это саше из «Привала». «Аполлона» и «Вех», которым теперь разбогатевшие мещане учатся душить свое тонкое, бог знает где наворованное белье. Теперь о нашем Кабуле. Сумасшедшая зелень, сирень, фиолетовые лилии, хлеб выше аршина от земли. А весна все еще медлит, длится,

разгорается. Нигде я не видела природы так долго пирующей, так медленно испивающей пору наслаждений. Это горы — они задерживают обычно короткий период цветения, удерживают и шадят снега, умиротворяют солнце. Затворничеству снега пришел конец, третьего дня и вчера были во дворце, у матери, потом у жены эмира. Мать принимала, сама фиолетовая, на красных диванах, и холодный перед заходом солнца ветерок бросал чистые капли от фонтана на ее жемчуга, парчовые цветы и темные руки. Приехал эмир с женой и любовницей; дамы — целый букет перекрашенных цветов, потерявших свой запах от электричества и европейской лжи. Эмирша за ужином предложила мне свою собственную тарелку — по-кабульски большая честь.

С балкона смотрели зарницы, взрезывающие все темное весеннее небо. Зарницы, розы, дикая музыка, фонарики, плеск фонтана. Начались танцы — женский хорозод. Конечно, я не удержалась, плясала со всем присущим мне увлечением. Величество все это наблюдал со вниманием... Только в эти неправдоподобные праздничные ночи рамазана, когда не спят до утра, от зари до зари — сказывается великое искусство Востока безболно, бессмысленно и великолепно терять время. Вечность течет у них, как роса, как дым, как жемчуг с разорванной нитки. На моем ломаном фарси постаралась напакостить англичанкам... Матери должна была изобразить в лицах всю английскую миссию, после чего старуха меня чуть не расцеловала, назвала шайтани³, и напоила из наперстка чудным чаем, и обещала не принимать этих англ[ийских] «ханум бессиар хараб»⁴. Между тем англичане при первом же знакомстве навели у меня справочку — часто ли я бываю у «их величеств»?

Ваша фантастическая посольша Л. Р.

¹ «Записки мечтателей» — журнал символистов, выходивший в Петербурге с 1919 по 1922 год.

² В 1921 году в № 2—3 журнала печаталось продолжение романа Андрея Белого «Я». Эпопея»; в № 4 — его же «Преступление Николая Летаева»; очевидно, Рейснер имела в виду последнее произведение.

³ Дьявол; здесь «дьяволенок» (араб.).

⁴ Очень злых дам (перс.).

9

20 мая [1922]

Лапушки, лапки, надо... написать характеристики всех кабульских послов. Знаю, никому мое писание не нужно. никто его и читать не станет, а потому представляю себе, что я уже дома, сижу с Вами и рассказываю странные, смешные и еще чаще безобразные пустяки, которым суждено еще в течение года наполнять мою жизнь.

Между прочим, жарко, легко, уповательно зелено. Под деревьями — одеяло, на одеяле лежу я и читаю очень толстую, самодовольную книгу о папе Иннокентии Третьем. Вижу, как Запад идет на Восток крестоносной бандой, режет греков и мусульман без разбора и стране, такой же невыразимо пустынной и прекрасной, как эта, прививает латинство, феодализм, юриспруденцию. Лен, Ахейн, вассалы Пелопоннеса, рыцари города Лариссы, никейские графы, константинопольские бароны... странное, чудовищное смешение феодального — и чуть не библейского, или аттического. И как похоже на нас — мы тоже какие-то наместники коммуны при дворе не то Александра Македонского, не то Чингисхана. Голубые над нами, дымчатые, жаркие небеса: они... белят... каждые две недели по одному красному флагу над нашим посольством. А мы поднимаем все новые... Вокруг тишина... Отон надувает папу, папа — Гогенштауфенов. История развертывает свои смрадные страницы, и все-таки это стройно, вечно, мудро, как страшные ломаные хребты гор вокруг. Крохотные птички, воздушные мыши, шелестят в густых листьях и с любопытством наблюдают меня, книгу, Мэри, которая сидит рядом, переводя газеты с плохого английского на ужасный русский язык. Да, тихо и хорошо — лето, мои милые.

[Весна 1922]

Сегодня устроили себе «тамашу» — литературный вечер. Федя достал все Ваши письма за этот год, и мы их прочли вслух. Одно, даже два письма никогда не утоляют жажды: их ждешь с таким бешеным нетерпением, так проглатываешь каждую строку, что просмотренная, уже опустошенная почта оставляет желание с Вами говорить, Вас видеть все таким же раскаленным докрасна. И только все Ваши письма вместе накормили нас досыта. Вот он, целый год, прожитый в чужой стране, год прекрасный и жутко быстрый. Мы его не заметили. Кажется, только вчера встретили на перевале милого Гогу, только вчера пахло на нас, измученных, райским благоуханием роз и вербены...

Ваши письма как будто надломлены в середине зимы. Сперва в них так много надежд, радости, почти оптимизма. Потом... крушение Мейерхольда¹, мамина болезнь, реакция — дрова, холод, квартира, бесконечное ожидание Гоги. М[ожет] б[ыть], еще какая-нибудь психическая трещина, о которой Вы не пишете? Словом, зима на каждой странице, зима в папиной театральной работе, зима настроений, зима полного одиночества... Ах, попасть бы мне к Вам на три дня — я бы сорвала паутину с Ваших лиц, которые не могу никак увидеть ясно за этой далью, за грустью, за успокоительным обманом букв и слов. М[ожет] б[ыть], с солнцем вернется к Вам что-то, потерянное в холодные, страшные месяцы? Мы так близко живем сами к небу и горам, так подвержены магической игре природы, от которой не отгораживают ни города, ни идеи, ни люди, — что склонны преувеличивать ее влияние. Здесь весна — это мистика, могучее заклинание, которому повинуются и жизнь и смерть. Еще днем весна милостива — голубое ее небо полно цветущих яблонь, старики поют песни у края полей, засеянных нарциссами, женщины вдруг поднимают чадры, стоя среди полей, среди бархатных озимых, — и улыбаются. Но ночи страшны, так они могучи в своем возрождении, неотвратимы в любви камней, вод, ветров. Пристальный свет луны льется белыми потоками на снег гор и снег цветущих садов, на камень и веки спящих людей, на кладбища и ковры хлебов. Все линии отточены, все тени ясны в прозрачной черноте. Кричит ночная птица монотонно, печально, остро. Благоухают тополя, и живое просит пощады, просит жалости у беспощадного и безжалостного бога счастья. Да поразит Вас его блаженный, воспламеняющий к жизни гнев.

У Феи новая идея, которую я приветствовала неистовыми криками радости, неприличными для посольши прыжками и плачем. «А отчего бы, — сказал Ф. Ф., опуская на колени, ставшие весьма пухленькими за последнее время, толстый словарь, изучаемый с пылом и любовью, вслух и про себя, в разное время дня и ночи, — а отчего бы Гогоше² не приехать еще раз в Кабул первым секретарем, в сопровождении наших обоих родителей, т. е. отца и матери?» Все это при условии, что мы останемся здесь еще на год... Вместо того, чтобы вышибаться из квартиры, рубить дрова, читать лекции до депрессии, не лучше ли один год посвятить живому Востоку? Папе — бесконечный материал для театра, Гоге — продолжение всех ныне начатых работ, с выпиской из книг Индии, с Кречетом и всем, что может дать наша любовь. А мама — я смеюсь от радости, представляя себе, как отразился бы в ее глазах стрекозы с 10 000 ячеек, — Кабул, сад в К. Ф., весь Восток средних веков, в котором мы живем. Единственное — это дорога. Хотя осенью малярии нет, и от Мазара не лошади, а автомобили. Милые, обдумайте этот план совершенно серьезно; право, он не так безумен, как кажется...

Ваша Лара.

¹ В 1922 году театр, которым руководил Мейерхольд, претерпевал репертуарный кризис, поэтому встал вопрос о закрытии театра.

² Игорь Михайлович Рейснер, брат Ларисы Михайловны; в 1919--1921 годах -- работник советского посольства в Афганистане; профессор-востоковед; умер в 1958 году.

11

6 июня [1922]

Мои, мои, о чем Вам еще написать? Вы оба у меня висите в столовой, должны поэтому знать все, что было в эти дни, месяцы, недели. Хотя и тут, за тысячи и тысячи верст, на краю мира, Вы больше заняты друг другом, чем всем остальным. Как всю жизнь — смотрите и любите, и на мертвом поле фото между Вами все-таки таинственный ток настоящей жизни. Как я знаю этот Ваш поворот головы, это отсвечивание, фосфоресценция друг другом, в котором нет ни атома лжи. Здесь вокруг Вас прекрасный и чужой край — видите ли Вы из Вашей рамки алмазные зигзаги гор, сияние луны, розы, вокруг которых трепещут и роятся пепельно-голубым дымком ночные бабочки, странные существа, искательницы ночного меда, собирающие нектар в остывших уже курильницах. — видите ли это время, которое с вечной усмешкой бросает на землю день за днем, как червонец, — нет, мои, мои, Вы с этим всем не связаны, Вы то величавое «само по себе», благодаря которому Ваш странный фатум плывет через революции, годы нищеты и страданий, как краткосрочная комета, как в себе замкнутый мир, как пылинка астрономически круглая и цельная, родная золоту, рассыпанному над нашими головами. Почему-то сегодня мне хочется взять шитый коврик правозверных и поклониться Вашему Единству, Вашей милой жизни, богу и тому, что нас когда-то разлучит смерть.

Вот как и где пишется это письмо — за спиной сидит глупый и хороший Налетный, играет не то кусочки изуродованного Моцарта, не то шантаный экивок — мне это нравится. Через эту музыкальную смесь сияют огни большого города, слышу шаги поздних пешеходов по громкому, ночью светлому, чистому тротуару. Справа дверь в сад — там страшное, пустынное, до смерти прекрасное — лунная ночь и лето. Там почти грозными волнами колышется зеленая высокая рожь, победоносно зреет и пахнет, пахнет сыростью, садами, лунной дорогой.

В кабинете сидит Федя и колдует с книгами — ему так весело — а я в этот его мир не хожу — он не мой — там истоки его партии, его Закона, его революционного щита. Там, где это переходит в науку и в живую РСФСР. — я понимаю, я с ним, — но есть странное святая святых, где только годы и месяцы тюрем, заглавия подпольных брошюр, псевдонимы тех, кто сейчас умерли или стали большими... Войны меж нами нет и никогда не будет — они прощают А. Франса, обложка которого касается их переплета, а мы с Франсом тихонько говорим им в ответ, что в случае чего сумеем опять пойти на Волгу — и примем ее волны, ее свинцовое тягучее дно, как высшую правду, как апофеоз нашей «чужой» им жизни. Вот и кончила Вам письмо, из которого Вы должны взять то неизреченное, то, что и нельзя сказать словами, и должно.

Ваша.

12

18—19 июня [1922]

...Ничего серьезного с этой случайной оказией писать не хочется; ну вот несерьезное: у нас друзья — постоянные и непрменные посетители Кала и Фату, итальянцы. Уже ездим верхом, совместно вырабатывается ритуал дипломатического корпуса, старшиной коего, по настоянию маркиза di Paterno, через голову полутставленного и, кстати, окончательно оподлевшего... Абдурахмана, признан Федя — вообще милые южане создали «единый фронт». действуют дружно, есть с кем поговорить на те звучные темы с примесью золота и звездной пыли, без коих не может жить Ваша негодная и беззаботная дочь. Милая и прозрачная маркиза зовет меня mia saga и ласкает какими-то смешными, золотисто-седыми лучами своего существа.

Ваша я.

1—2 июля [1922]

Курьеры едут только через десять дней, но надо Вам ответить сейчас же, после длинной бессонной ночи, которую причинили Ваши жестокие и любящие письма. Победил ли меня Великий Мертвец, в середине которого стоит наш сад и дом? Были и не могли не быть поражения. Всякая депрессия — а я ими страдаю с печальной правильностью, которая, по-видимому, крепнет с годами, — всякая депрессия здесь значит: сложенные весла, и лодку сносит вниз бесшумным потоком мертвого времени, пассивного созерцания. И еще другое. Из горячего песка вдруг брызжет фонтан «радости жить», бессмысленной, дивной, античной, если хотите, животной радости, которая довлеет себе. Тогда депрессия превращается уже в опьянение, в настоящее пьянство, оргию, курение опиума. Очень большим усилием воли можно зажать рот серебряному источнику «жизни» in sich¹, и тогда оказывается, что это мираж, и я в ужасе стою над двумя-тремя, иногда, увы, и четырьмя потерянными неделями. Но даю Вам слово, которому Вы можете верить, что все эти гашиши чистой природы я честно перебалываю, реакция за олимпийскую жизнь — это моральные болезни. Надо сказать это слово — нестерпимые иногда страдания. Время, к которому относятся Ваши последние письма, как раз совпадает с приливом горьких дней, с расчетом по счетам — за потерянные годы, за ненаписанное, за несовершенное. Но все-таки — я пишу много. Каждый месяц регулярно отсылаю Вам копии моих восточных писем — все главы большой книги, которую можно будет печатать, когда Афганская граница останется за мной. Потом — каковы бы ни были всякие внутренние состояния — каждый день я читаю «настоящее» — теперь нарочно, чтобы не отстать от Вас, — Маркса III том, историю классовой борьбы во Франции, собственно его «политику», и могу сказать, что не чувствую на своем мозгу никакой жировой пленки, которая мешала бы понимать и спорить с каждой страницей. Моя духовная машина не ржавеет, и как только приеду домой, пушу ее с места хорошим ходом. Какое может быть сравнение с Гогой? Я живу в любви, которая с Фединой стороны только здесь, под этим воистину святым небом стала любовью, живу в радости этого страшного, немислимого, прекрасного края — правда, в условиях поганой сытости. Но сытость не перейдет в духовное ожирение, это неправда.

Единственное мое горе, Вы знаете, нечего повторять: без Вас. За остальное — за цветы, горы, «Кречета» — поверьте, будет заплачено. За каждый безоблачный день — процентами нищеты и страдания... Все сейчас реализовано — мое личное влияние в гареме (так удалось ликвидировать и уравновесить неофициального французского посла) и мой старый теннис — играем с эмиром страстно, азартно часа до 1½, почему, вероятно, на месяц поедем в Пагман с итальянцами, принявшими нашу сторону, — завязаны дружеские отношения, устроили им два феерических вечера, один у нас, один в горах, на развалинах крепости, и между холодным цыпленком и баркаролой натравили их на друзей — англичан. Все это вздор, мелочи, то нелепое и влиятельное, называемое «представительством», без чего оружие и урожай РСФСР не помешает ей съехать ниже бухарцев по лестнице «престижа» — и личного влияния. Все это внешнее. Еще немного о своем. Прочитав Маркса, я поймала секрет... Бухарина! Эта хлесткость, социологический каламбур, ригурнель пролетарского кокетства — это все кусочки марксовского грима! Оригинальный, часто смело фехтующий Бух[арин] — боже мой, какая вульгаризация великого Маркса... Кого еще расколупала «до косточки» после Маркса — это Покровского. Что сделал Маркс? Уничтожил старую профессорскую науку — историю, превратил ее в историю идеологий, в летопись идеологической классовой борьбы. Его книга, по существу социальная пьеса, в которой у каждого класса — своя роль, свое актерство, проверенное во всех деталях, во всех своих фарсовых и трагических репликах. Под общей сценой — экономический базис, но, если можно так выразиться, очень стилизованный, взятый в его классовой бутафории — плуг, денежный мешок, передник и станок ремесла. Может быть,

это ужасная ересь, но смею утверждать, что в этой гениальнейшей книге социальная символика, игра и виртуозность идеологии, идеи превалируют над статистикой и цифрой. Что делает М. Н. Покровский? Пишет историю политической борьбы в России за девятнадцать столетий по методу, которым Маркс писал историю одного века, и притом под абсолютно неверным названием российской истории! Дальше: политику заменяет экономикой, и там, где нет точных экономических данных, высасывает их из пальца. Заметьте, блистательны у Покровского Петр, Грозный, Смутное и Новое время, т. е. эпохи, где классовые интересы уже вылились в кристаллически-чистые идеологические формы и где М. Н., сам того не замечая, пишет классовую политику русского средневековья. Теперь у него же период древний: цены на хлеб до Адама, щедринская история Глупова, на базисе недоказанных колебаний хлебного «рынка» при Иване Темном, недорода подсолнухов и ввоза из Царьграда огуречного рассола — причем вся эта свирепая экономика сплошь фантастична! Пока они не научатся ценить идеологию, пока не осмелятся ее отличать (не отрывать, не изолировать), а просто отличать от экономической грядки, на которой она растет, превращая навоз цен и цифр в чистую политическую диалектику, — будут вечные нелепости даже у таких талантливейших людей, как Покровский. Может быть, Вы с Гогой посмеетесь над моими глупостями — пишу Вам подробно обо всем этом, чтобы Вы видели, что я вовсе не думаю гнить заживо в розовом варенье.

Пока все — до другого письма.

Лара.

¹ В себе (нем.).

[Лето 1922]

Мои Кизотные и радостные, кажется, написала я Вам какие-то невеселые письма, это Stimmung ¹, конечно. Ведь часто бывает грустно от избытка, особенно от избытка формы, от красоты внешнего мира. Между прочим, теперь я понимаю классицизм — это божественное отражение, великая бедность, простота и всегда повторяющееся в искусстве «зеркало», «зеркальное» начало.

Совершенно неожиданно пришло мамино письмо. Я не могла, конечно, писать дальше роман, пока она мне не сказала именно то и именно о том, о чем было надо. Все дивно в Афганистане, но ведь нет «атмосферы» того, что окисляет и выедаёт ржавчиной слабые места. И все, что я пишу, — посылаю Вам на проверку сильными реактивами. Теперь передо мной и страницы почерневшие, выпавшие из рукописи как мертвое — и точки, от которых можно строиться дальше. О «примитивности» Ваших двух фигур Вы абсолютно правы — но ведь это никогда не будете Вы вполне — это первый профиль, тень, обведенная на стене чем-то почти смешным, не то гвоздем, не то углем. Только уж очень меня закрутило последние две недели. Во-первых, прибыл в Кабул «un professeur français» ², академик и профессор Сорбонны с супругой — не посол, но с сильными секретными полномочиями, со всей злобой Барту и с твердым намерением явив азиатам свет истинной цивилизации, раз навсегда покончить со зловредным и, конечно, непрочным влиянием большевиков-бандитов. Так и начали работу, сделали визиты милейшим англичанам, всем, что хоть отдаленно пахнет Антантой, — нам показали четыре фиги и... через недели две мы встретились с м-ме Фуше во дворце. Мать эмира при всем дворе и перед самыми мутно-голубыми, непрестанно улыбающимися глазами француженки — обняла меня и поцеловала. Посадили нас рядом — профессорше, которая приехала последней, очень хотелось меня выманить на первый шаг знакомства. Неожиданно поворачивая в мою сторону мучнистое лицо с белокурыми волосами, прикрытыми клякс-папиром-шляпой, она мутно улыбалась куда-то мимо меня в пространство, но я, припомнив тактику балаевской гимназии, ничего не видела, не слышала, не замечала. И тут жирная буржуазка сделала бестактность — нечто, впрочем,

прямо и непосредственно вытекающее из «Vogel, mach ein Komplimentchen»³, из великого пресмыкательства перед всяким, хоть монахским, хоть каледонским титулом, живущим в душе всякого французского буржуа-республиканца. М-ме Фуше распласталась, растеклась в сладости, заулыбалась обширным студенистым задом, сочно облепленным кисеей модного платья-рубашки, до того, что мать эмира смеялась за ее спиной, подмигивала тихонько на все ужимки «de se degrieger-souffiant»⁴. Дама не учла, что эти королевы слишком привыкли видеть угодливость в рабах, в побежденных, в тех, кто нуждается, чтобы найти что-нибудь приятное в пресмыкательстве европейки, у которой они привыкли или сиею заимствовать, или, в худшем случае, намеренно не замечать чуждых приемов, ненужных им манер и слов. Получился несомненный провал ученого купляка (она окончила университет), о котором через три дня говорил весь дипломатический Кабул. И хотя в день первой встречи нас и познакомил эмир — и были самые любезные разговоры о литературе. Завтра я буду иметь удовольствие принять м-ме и м-е Фуше, пожелавших нанести визит К. Фату. Это здесь учитывается как решительная победа.

Затем приехали итальянцы. Глупый и многозначительный маркиз, прозрачная, стареющая, бесконечно тактичная маркиза, куча молодых (верно обнищавших) и титулованных хлыщей à la Аннунцио, с верховой ездой, тустепом и искренним желанием развлечь себя и других — une princesse⁵ — богатая, свободная, приехавшая как путешественница, пикантная, как демон, очень податливая с людьми своего круга, абсолютно недоступная вне интернациональных отелей Каира и Турции, вне салонного распутства и ледяных шаблонов каких-нибудь Альп. Женщина восхитительная, со знанием искусства и со страшной холодностью истерзанных уже нервов, которая через три года состарит ее глаза, улыбку и дыхание.

К нам они отнесли удивительно просто и мило, и за то им была устроена в К. Ф. итальянская ночь с фонариками и розами, музыкой и бесстыдно хорошим ужином. И среди хлыщей оказался аристократ настоящий, очень образованный человек, завязавший в Риме дружеские отношения с Воровским. С ним и с маркизой di Raterpo, женой посла, мы очень хорошо проговорили за маленьким отдельным столиком, и, видно, будем друзьями. Федя вел себя чудно — говорил на двух языках и водил маркиза за собой по дебрям политики, как крепенький ледокол тащит тяжелую, легко разворачивающуюся по течению баржу.

.....

Ваша Лара.

¹ Настроение (нем.).

² Французский профессор (франц.).

³ Птица, сделай реверансик (нем.).

⁴ Улыбки со спины (франц.).

⁵ Принцесса (франц.).

12 июля [1922]

Судя по календарю — новый день, а кажется, солнце стоит на том же месте, так же кричат птицы — ласточки учат летать мохнатых белогрудых детей, дымятся от жара цветы — словом, не было вчера, не будет и завтра. А у меня сейчас такое чувство, точно после долгого ожидания я соединилась с Вами по прямому проводу, щелкнуло нечто в темноте, сказано «готово», говорите, только недолго занимайте аппарат — и вот я перед этой жадной пустотой, перед обостренным, вибрирующим слухом должна с Вами говорить. И не могу, как в дурном сне, а Вы сердитесь.

Крошечные мои, крошечные — все у нас, как всегда. Очередной кризис миновал после того, как Главкома приветствовали в Кушке все старинные фузии на форгах и в Бухаре началось настоящее правильное наступление¹. Еще раз мы с Федей почувствовали эту блаженную дрожь, этот пробегающий по спине холодок

победы, когда по зыбучим мертвым пескам прошли шишаки РСФСР под развернутыми знаменами. Кажется, с Энвером² кончено, а с ним выдохнутся и тайные вожделья Высокого Независимого. После «мордокола» в Бухаре все, было, пошло, как по маслу. Федя тиснул сердитую ноту на тему о гарантиях и компенсациях, ее приняли и изъявили полную готовность прогуляться в Канюосу³. Остался еще один деликатный вопрос: «даешь?».

И тут повезло... Наконец Москва... решила выполнить свои обязательства... и вдруг в разгар этих переговоров лавиной откуда-то рухнуло подлое английское золото — и у нас отобрали радио. Опять месяцы нот, недоразумений, конфликтов. Может быть, поможет новый турецкий посол, Фахри-паша, а в общем — скучно это все, безобразно и глупо.

Несчастный эмир — с каждым годом он все дальше уходит от своей инстинктивной первобытно-правильной политики и залезает в дебри неуклюжего, малограмотного политиканства. И все ближе к нему жалкое болото его семьи, двора, «министерства», великодержавных фикций, которые все больше становятся самоцелью, вместо того чтобы быть простым противоядием английской надменности.

И во всей этой комедии, которую разыгрывает на краю мира лукавец История, действуем и мы — господа, сколь великолепен «Остров пингвинов», на котором только еще приступают к изобретению фигового листка и венерических болезней, где все так свежо, ново и простодушно. Пастушеская идиллия в исполнении столетних обезьян, самой вечности, переряженной в европейское платье, прикрывшей каменные рытвины своего страшного лица дымом первой национальной фабрики.

Да здравствует прогресс и вообще *égalité, fraternité, liberté!*⁴

Лара.

20 июля

Мои милые, почта еще не уехала, т. к. афганцы снова отобрали радио. И хотя их телеграфисты (ученики, только что вернувшиеся из России, и передают нам, и от нас кое-какие крохи), но очень все это скверно — договора мы не выполняем, английское золото льется рекой, новый министр — не следует этого забывать — ехал через Индию... Федя с утра уехал в министерство «на решительный бой», потрясая последней афганской нотой на тему о том, что у нас-де в посольстве стреляют из пистолетов по кошкам, а кошки — животные священные и т. д. Я сижу дома одна, готовлю какие-то тряпочки на сегодняшний чай в министерстве, имеющий быть в честь Фахри-паши, волосы мои шевелит июльский ветер, коза «Дон-диль», блестя прозрачно-зелеными глазами, таскает со стола сахар, пользуясь тем, что Григорич мирно уснул с очками на носу над «Островом пингвинов»; вчера был маркиз, в воскресенье у нас киносеанс для всего дипломатического корпуса, еще через несколько дней банкет у турок, на котором старый солдат, наивный, как ребенок, Фахри-паша, просил меня быть хозяйкой. И так изо дня в день, из месяца в месяц. Одно спасенье — мой упорно преодолеваемый Маркс... Кстати, знаете ли Вы, что у нас опять комендантом Ермошенко? Пресек пьянство, карты и сплетни, крепко подобрал все вожжи и, не поддаваясь на всеобщие маленькие провокации, наводит тот романтический престиж, с каретой посланника, всадниками, скачущими возле нее в облаке пыли, и мрачным великолешием черных галифе, которому он фанатически привержен...

22-го

Ну вот: Федя прижал вельможу, на днях длинные искры опять полетят к Вам беспрепятственно. Совсем розовый от волнения и боевого задора, он устремился со мной на «министерский чай». Там, на зеленом лужку, паслись все *excellent's* и *excellent's*⁵ Кабула. Был и дядя Гемфриз, кислый, как простокваша, злой, как кнутовище. Последние недели его жизни отравлены милейшим Фахри-пашой. Старик внес в кабульскую дипломатию некую «мальтийскую» струю (на острове Мальте старика продержали около года в одиночке) и вообще сразу дал понять, что из своей сабли, защищавшей Медину, не намерен делать мягкого сидения для

Гемфриза. Старик не бывает нигде, где есть риск встретить англичан, и т. к. здесь, на Востоке, с Турцией очень считаются, то благосклонный дядя попал почти что под бойкот. Его принимают только итальянцы (с глазу на глаз) да Фуше. Вообще какое-то возобновление доисторических сурицовских времен кабульской дипломатии.

При сем прилагаю отвратную карточку, снятую старым колдуном-индусом во время знаменитого «чая», на коем был Г[емфриз], но не был Паша, почему на следующий день министру пришлось сервировать чай — с Пашой, но без Дяди.

Итак, на № 1, налево первый, в белом шлеме, это и есть Гемфриз. Он очень нежно беседует с незначительным итальянским инженером, ибо больше к Дяде никто не подсаживается, — и оба вместе имеют счастливый вид людей, наконец-то нашедших друг друга в мирской суете. За инженером — министерский чиновник, и с ним рядом хорошенькая-прехорошенькая Princesse, танцующая вечный уанстеп на министерских паркетах; кокотка для известного круга, для остальных — высьество, и не очень умная, но изящная женщина.

Затем, посредине стола, точно продавец фруктов, в модном цилиндре гробового факельщика, итальянский маркиз, настолько глупый, хорошо воспитанный и общительный, что весь Кабул в восторге от его огромного ума, такта и клейкости, помогающей ему склеивать все битые русско-турецко-английские черепки.

За маленьким столиком справа — я с новым министром инодел, причем комментарии излишни. Совсем справа — милая увядшая маркиза, очень странное, прозрачное и не давящее землю и людей существо. Ее заслоняют Мэричкины ноги, но самой невесты не видно. На фото № 2, под № 1, спиной, один из самых опасных, интересных и умных английских военных шпионов, Фрэзер, раньше бывший военным атташе в Персии, теперь — здесь. Имеет за собой несколько скандалов со злостно скомпрометированными иностранными дамами. На меня смотрит по сорок минут, не мигая; нагл и великолепен. С ним рядом (2) сильно персюка, и № 3 Пушин в своей афганской шапочке, к сожалению, спиной. Справа крайняя, в белом, со шляпой, на которую хочется поставить пару пустых чашек, — п-те Рикс, насмерть перепуганная, застывшая и затянута. Семья ее почти голодает, и все сбережения просаживаются на туалеты, на это немое, бессмысленное и ненужное представительство. Но любит «выезды», как пьяница водку...

Ну вот, пока действительно все. Целую маму нежно-нежно в щечки мягкие от «крем Симон» и от многих слез.

Ваша.

¹ В сентябре 1920 года в Бухаре (бывшей царской колонии) была свергнута власть эмира; в октябре 1920 года была провозглашена Бухарская народная советская республика в результате победы антифеодальной, антибуржуазной народно-демократической революции, поддержанной частями Красной Армии. Англичане продолжали происки на Востоке, поддерживали движение басмачества, инспирировали известный «ультиматум» Керзона и т. д.

² Энвер-паша — один из руководителей «младотурок»; проводил пантюркистскую политику. С 1921 года активно участвовал в антисоветском басмаческом движении. Был убит в стычке с отрядом Красной Армии в Средней Азии.

³ Каносса — в данном случае -- в смысле признать себя виновным, публично покаяться.

⁴ Свобода, равенство и братство (франц.).

⁵ Высочества и превосходительства (франц.).

Мои милые, пишу Вам, сидя на теплом от солнца камне, со скалистого островка, вокруг которого с рокотом бегут горные ручьи. Давно мне не было так хорошо, а запах горных трав, вся эта дикость и высота напоминают что-то из времен детства. Особенно зеленые гладкие хвощи, «Vinsen», такие росли, если не ошибаюсь, в Schwarzwalde. Но там не было, конечно, таких гор. Справа и слева скалы висят сталактитами, их голые бока не покрыты ничем, кроме ручьев и бегущих

мимо теней. Совсем недалеко, в глубине ущелья (над нашей крышей), вечный снег. Очень трудно описать такой однотонный, тяжелый, древний кусок природы. Ну вот, протягиваю руку и бросаю в ручей пестрый, с коричневыми жилками, камень. До меня он лежал спокойно целую вечность — и теперь, на новом месте, пролежит столетие или больше. Вот почему трудно писать — кругом прохладный, кипучий, седой шум — мысли, как ящерицы, прячутся в камнях, убегают ручьями, разлетаются седым пухом ароматных, поздно цветущих, обветренных горных растений. Что писать, когда среди камней цветет фиолетовая мята — ни для кого, а для себя, для своего одиночества, для слепых и глухих камней. Как мы попали сюда? Начиная по порядку. Почты нет уже два месяца. Радио опять открыли, из Москвы пришла радио, подписанная Гогой; мы ликуем...

В честь нового мининдела Мухамед-Вали-хана² дается в Кала-и-Фату торжественный обед. Я заказываю нашим телеграфистам две модели радиостанций, одну — под нашим, другую — под афганским флагом. Станции, сделанные с артистической точностью, фигурируют на обеденном столе. В картонный домик, изображающий кабульскую ст[анцию], поставлена электрическая батарея, от нее к моему прибору — провод под скатертью. Получается полная иллюзия работающего телеграфа. Во время обеда «передаются» ругательные телеграммы сэру Гемфризу (он же английский дядя) и приветственные — эмиру. Эффект потрясающий, тем более что только утром наши телеграфисты в первый раз пошли на станцию работать.

¹ Пагман — местная резиденция эмиров.

² Мухамед-Вали-хан в октябре 1919 г. возглавлял афганскую миссию, прибывшую для переговоров о соглашении в Советский Союз.

17

Наступил праздник, и на все восемь дней мы переехали в Пагман, в домик, где раньше жил Абдурахман, а еще раньше кутил «папаша». С утра мы уезжаем на бега, состязания, парады и т. д.

Устали очень и, конечно, не так от «тамаши», которая очень забавна, как от сильного нервного напряжения, с которым сопряжена азартная игра в Россию и Англию. Пока эмир дает перевес нашей чашке весов; с одного из парадов, закончившегося пением и речами сирот, отцы которых убиты на войне с англичанами, Дядя даже уехал, ни с кем не простившись. — но все-таки мы все время чувствуем, как мыши скребут и грызут нашу красную ниточку...

Если договор не будет исполнен этим летом — нам придется уехать с позором¹. Неужели это никому не ясно, неужели никто не читал ни одного из Фединых докладов? Кроме того, наши внешние, официальные отношения еще осложнились тактикой, которую повели здесь итальянцы. Когда они увидели, что здесь ведется крупная политическая игра; что турецкий посол, чудный, безусловно честный старик, не подает руки Дяде: что борьба между Федей и Дядей ведется на рапирах без всяких дипломатических наконечников, они решили вмешаться и обуздать неистовых варваров при помощи «международной дипломатической вежливости», устава, который должен сгладить все углы, т. е., попросту говоря, поставить на одну паркетную линию нас, турок и Дядю, которым пока приходится довольствоваться третьими местами и получать всевозможные щелчки. Устав и должен его оградить от всех внешних неприятностей, а нас и турок лишить привилегии доверия и дружбы во имя дипломатических тонкостей, правил и этикета. Была даже попытка мои визиты к эмирше подчинить этому совершенно самозванному «международному» приличию!

Дело в том, что во время скачек я заметила визави палатку эмирши и, попросив разрешения, поехала к ней «pour féliciter»². Других посольств не было, а принцессу, которая не является никаким официальным лицом, я не сочла нужным везти с собой. Патерно был вне себя и без приглашения отвез свою принцессу

к дамам, где были ей рады, но и несколько изумлены. Через пашу было сказано о том, что я сделала ошибку, что есть международный устав и т. д.

Мы дали хороший отпор, ибо если я, как жена старшины диккорпуса, начну возить во дворец всех дам, то мне придется везти и м-ме Гемфриз, которая приедет через месяц! Явно, что за всеми этими «уравнительными» претензиями милейшего маркиза сидит желчное нетерпение оплеванного Дяди.

Вчера я обедала у эмирши, завтра, вероятно, поеду с ней кататься верхом. Посмотрим, что будет дальше. Пока делаю перерыв, после очередной тамашы снова возьмусь за письмо. Милые, милые, скоро ли я поеду домой?

Вот и еще один день прошел. Был официальный чай у матери эмира. Танцевали в хороводе, болтали, скучали. В гареме начинает отражаться отчаянная англофильская атака, предпринятая подкупленными сердарами³ и за его парусиновыми стенами. М-те почти не говорит с дочерью и вовсе не говорит с матерью. Жены некоторых видных англофилов едва ответили на поклон эмирши. К этому прибавилось еще жгучее недоброжелательство той сестры эмирши, которая замужем за старшим братом Амануллы, законным наследником, три года просидевшим в тюрьме. Сейчас он получил прощение, показывается народу во время празднеств рядом с эмиром, принят во дворе. Кто внушил эмиру эту сентиментальность, которая может кончиться его собственным падением, — неизвестно.

¹ Лариса Рейснер, живя вдали от родины, не знала всех трудностей и сложностей международной дипломатической работы и взаимоотношений, в частности связанных со среднеазиатской проблемой и происками англичан.

² Чтобы поздравить, приветствовать (*франц.*).

³ Афганские феодалы, должностные лица.

5 сентября

Это письмо, начатое в Пагмане две недели тому назад, дописываю уже дома, в К.-Фату, после окончания всех «тамашей», после десятидневной болезни и приезда долгожданной... майской почты.

Итак, во время чая у эмирши я успела ее предупредить насчет возможности покушения на жизнь ее мужа. На следующий день, еще не подозревая, какие этот разговор возымеет последствия, я действительно проехала на Кречетуне (о породистый, о поскакивающий на месте, о пламенный, добрый, несравненный) через весь Пагман с эмиршей, ее сестрой и м-ме Шах-Вали-хан. Народ дивился, а что делалось с милыми иностранцами, которые были уверены, что с приездом «настоящих» титулованных дам нас вовсе перестанут приглашать.

После прогулки эмирша пригласила меня на чай — каждую минуту ждали эмира. Но он приехал только через 1½ часа взволнованный, бледный, бешеный. Через всю комнату подошел ко мне, пожал руку и благодарил за сделанное накануне предупреждение.

— Оказывается, я в куст, а в кусте — громадная английская птица. В городе объявили народу, что эмир — убит, лавки закрылись, начали строить баррикады... Я должен был поехать в Кабул, чтобы показаться народу...

Этим слухам предшествовал, как мы уже после узнали, целый ряд интриг против эмира и его реформ, личных против него выпадов со стороны контрреволюционных стариков, частью лишившихся власти и замененных единомышленниками Амануллы или стесненных в своем доисторическом самодурстве рамками «просвещенного абсолютизма». А за всем этим, кажется, удалось поймать с личным и руки Дяди, во всяком случае его первому советнику (индусу, бывшему при Доббсе) пришлось срочно вынестись за границу.

Что тут поднялось! Эмирша со слезами бросилась мне на шею, мы целовались, и я тоже уронила некую дипломатическую слезу на ее розовое, персиковое плечо. Эмир часа полтора болтал со мной по-французски, я ему бранила англичан и вообще была «большая политика». Он в конце концов подарил мне свою военную шапочку (гвардейского образца) и велел ее носить во время верховых прогулок. Тарзи сидел в уголке, зеленый и бледный, как побитая собака.

Все дяди и зятя, все дамы решили, что нужно меня хорошенько приласкать, — я от них вышла сладкая, как плов с апельсиновыми корками, разнеженная, как финик, сваренный в меду. Об этой сцене говорил весь двор и город. Вот Вам, милые зайцы, наши внешние новости. Но, увы, если здесь прочтут мой фельетон, напечатанный в «Правде» 28 мая, где есть несколько неосторожных слов о войске Высокого Государства, — не сняли бы с меня шапку с кисточкой и не учинили бы какой-нибудь пакости. Теперь о почте. Привезли ее ночью, в 1/2 третьего.

Несмотря на инфлуэнцу, я, конечно, выскочила из постели, и знаете, Ваши письма, несмотря на весь свой пессимизм, меня смертно обрадовали. Гога учится и включил свой милый мозг в сеть наркомина; Лева учится и написал мне мужественное, твердое, здоровое ясьмо. Папа уже стоит, уперевшись крепко, с надутыми жилами и мускулами и ломает рога реакции. Нэп, по-моему, и вся реакция нам не страшны. Если нэп останется и победит — никакой медленно удушающей реакции, которой нэп так отвратительна, — все равно не будет. Будет тогда уже не реакция, а переворот. Его же наша семья пережить не собирается. Но насколько весь спекулятивно-кофейный нэп далек от настоящего капитализма, а следовательно и настоящей реакции, можно видеть хотя бы из лебединых песен матерых финансовых волков школы Витте и т. п. Прочли ли Вы, например, замечательную статью нашего старого «друга» Озерова на тему о бреним денежном курсе? Это восторг (№ 3 «Экономиста»). Разбирая все компромиссы нэпа, Озеров всем своим научно-мародерским аппаратом доказывает, что честной, настоящей торговли нет, добропорядочных банков — этой почки надежды на древе нации, частной собственности и контрреволюции — нет; истинного «рабочего законодательства» — нет; доверия — нет, и вообще — никакого неокпитализма нет, а есть одно только жульничество большевничков.

Но статья интереснейшая, при всей своей старой, зубатовско-виттевской подлости. А уж если такая опытная акула, как Озеров, свидетельствует, что наша временная реакция по существу не подмыла ни одного корня рабочего государства, если он доходит до лирики, завывая над прахом старого «рабочего законодательства», без коего честь кредита, доверия и общественной безопасности — ему, право же, можно поверить.

Теперь, мои крошечные, о Вас, вернее — о маме. Если Вы самым честным и прямым образом не напишете мне сейчас же, сколько золотых нужно, чтобы ее избавить от работы, переутомления и холода, — я, честное слово, не напишу Вам больше ни строчки...

18

19 сентября [1922]

Какое томление, мои милые. Майская почта приплелась в июле... Июньская и июльская должны быть завтра...

Что принесут Ваши письма?

А вот Вам пока наше житье. Лето переломилось. Пышный июль пошел на убыль, по вечернему небу поплыли белые паруса северных облаков, деревья отдыхают от снятого с них груза плодов, как родители, у которых дети выросли и разбрелись, и они «для себя» доживают последние золотые недели. Словом, началось лучшее в Кабуле время года. Мы его особенно ценим, т. к. с первыми холодами переезжаем в Кабул. Там мне пристраивают отличную новую спальню (рядом с комнатой быв. Я. З.), все чистят, красят и исправляют. Что делать? При нашем теперешнем представительстве совершенно невозможно похорониться на 1/2 года в снегу и грязи. Да, кроме того, я не в силах второй год жить в К.-Ф. — дождь, который часами будет стучать в легкую крышу; пустой сад, где ветер свишет в голых деревьях, унылый рожок на заре, в час бессонницы, все это заставляет меня дрожать. К тому же весной мы все равно уедем — так уж лучше это сделать из города. Жизнь наша бежит пестро и все-таки однообразно. Мы устроили у Фахри-паши банкет в честь ангорских побед. Старик пригласил меня быть

хозяйкой его вечера, все это отблестало третьего дня при помощи Арацкого, сидевшего в первобытной кухне — пещере, с красными от дыма глазами, в поту и саже; при помощи моих ухищрений и Феединой речи, настолько поразившей французов и итальянцев, что эти последние позабыли сделать нам визит при отъезде своем в Индию (на две недели к вице-королю). Затем я завязала нежные отношения с женой Мухамед-Вали-хана, мининдела, сделала ей подарки и пригласила на торжественный «женский обед», на который постараюсь заполучить сестер эмира и эмирши, вообще всех кабульских аристократок. Это пока еще в проекте до переезда в Кабул. В общем, скажу без хвастовства, что, несмотря на долги, взносы на голод, халифу и вообще благородную бедность и благородное незнакомство с «хайф-ляйфами», — «театр для себя», разыгрываемый нашей любительской труппой, выдерживает соперничество титулованных дам с их тысячными туалетами, глупостью и шиком. Вчера потеряли мы, и особенно я, единственного друга из иностранцев — Скарпу. Он уехал через Индию в Рим докладывать своему неумному министру о положении дел на Востоке и говорить ему те небрежные дерзости, на которые социалисты-любители из *oberer 10 Tausend*² такие мастера. Удивительный человек интеллигент, *très raffiné*³, со свирепым презрением к буржуазному парламенту, буржуазной этике, политике и реакции. Потомок патрициев, полюбивший воздух предместий, и папиросный дым, и крикливый спор рабочих митингов, Карла Маркса и большевиков с их волевым обновлением жизни... Все это вперемешку с невозможными философскими компромиссами, патриотизмом и национализмом *à d'Annunzio*, с плутовством и дипломатическим цинизмом. Но что этого человека делало очаровательным, несмотря на нелепость идеологии, это та злоба, которую он пожинал в кругу своих в посольстве и, по-видимому, у себя дома «*dans la bonne société*»⁴.

Его не переваривали за пренебрежение этикета, за собственные мнения, за язык, за атеизм, за анархизм. Очень многое из его трагически-насмешливых рассказов ● вечном одиночестве в стаде напомнили мне Зеленину⁵.

В общем, мы расстались друзьями, проспориив несколько вечеров почти до драки. Если Scarpa попадет как-нибудь в Москву и отыщет Вас — примите его как друга.

Ну, пока кончаю, ибо сейчас еду в Кабул и на чашку чая к Паше. Конечно, верхом на Кречетуне, в эмирской шапочке, с кисточкой на боку, на зависть друзьям и «друзьям наших друзей». Вот Вам четыре страницы пустяков — «о душе» напишу в другой раз. Да, через два дня едем на авто провожать Минлоса и графа де Бамьяна, снимать идолов, дышать воздухом, не зараженным кабульской тоской.

Все. Целую.

Лара.

¹ Яков Захарович Суриц, советский дипломат; работал в Афганистане полпредом с 1919 по 1921 год; вел там переговоры, подготовившие заключение советско-афганского договора.

² Верхних десяти тысяч (*нем.*).

³ Весьма рафинированный (*франц.*).

⁴ В хорошем обществе (*франц.*)

⁵ Улица Зеленина в Петербурге, где жила семья Рейснеров и провела юность Лариса Михайловна.

[Конец 1922]

Мои милые, примите дружески предъявителей сего, индусских товарищей т. Бенарджи и Зафар-Хассан.

К сожалению, мы с ними познакомились только перед самым их отъездом. Я надеюсь на Вашу любовь ко всему революционному и индийскому.

Лери.

20

[Конец 1922]

...Ермошенко едет завтра на север, а мы опять полетим на юг, запороженный вьюгой, перевалами, дикими цепями — в замороженный Джелалабад, к розам, к теплу.

А через месяц — моя очередь.

Эти два года. Ну, по-честному, положи руку на сердце. Вместо дико выпирающего наверх мешанства я видела Восток, верблюдов, средние века, гаремную дичь, танцы племен, зори на вечных снегах, вьюги цветения и вьюги снежные. Бесконечное богатство. Я знаю, отсвет этих лет будет жив всю жизнь, взойдет еще многими урожаями. Я о них не жалею. Что было плохо, иногда очень плохо: два года без Вас — это засуха. Но, милая мама, я выходила не за буржуа с этикой и гладко вылизанной прямой, как Leusen-Alle, линией поведения, а за сумасшедшего революционера. И в моей душе есть черные провалы, что тут врать.

И наша жизнь, как наша эпоха, как мы сами. От Балтики — до Новороссийска, от Намы — к апельсиновым аллеям Джелалабада. Нас судить нельзя и самим нечего отчаиваться... Мы — долгие годы, предшествовавшие 18 году, и мы Великий, навеки незабываемый 18 год... Мы — счастливые, мы видели великую Красную чистой, голой, ликующей навстречу смерти.

Еду в первых числах марта.

На границе пожар. Англичане, связав Афганистан договором, жгут и режут, бросают бомбы на стада, маленькие поля племен, устроенные в скалах.

РСФСР, откликнись, великая, могучая и щедрая, помоги им. Все это нетерпение, надежды, стыд за свои глупости — Федя укладывает столбиками в шифровки — доходят ли они куда-нибудь?

...Мои милые, я так ясно и весело предчувствую, окошко мы еще с Вами вместе наделаем. О, нэп, ведь мы не какой-нибудь, а восемнадцатый год.

Ну все.

Ярмош — хороший чарень, ему помогите, конечно, но откровенностей не надо. Обуюн жаждой устроить свое пролетарское гнездо на хребте всех роскошей, взятых у прошлого новым классом — господином, будет рвать горло жизни зубами, или его задавят, или он будет жрать конкурентов из интеллигенции и «красных купцов».

Вот и все. Ждите легко еще месяц — это немного.

Ваша и Ваши.

Даст бог вылезем отсюда ранней весной или поздней осенью. Ни одного дня после 15 апреля я здесь не останусь — если до этого срока не удастся вынестись домой. Ничего тебе, моя милая, не пишу о своих чувствах. Целую тебя, матушка, ласточка домовитая: так, видно, всю жизнь не вылезть тебе из работы и всяческих божеских благоденствий...

Твоя Лара.

21

11 декабря [1922]

Мои милые, доживаем с превеликой мукой последние времена в Кабуле. Дней через семь-восемь придет из Пешауера наш новый великолепный автомобиль, через месяц, судя по шифровкам, будет назад Минлос или другой I секретарь, и тогда еще через полтора месяца мы будем дома.

Сперва о внешнем. По-видимому, миссия неистового Бруно увенчалась успехом, в воздухе опять запахло договором, мы вздохнули легче. афганцы гихи и терпеливы, как кот перед мышинной норкой... Если б Вы знали, какие мужи мы

с Федей претерпели, беспомощные, одуроченные и ясно сознающие, что каждую минуту натянутая кабульская струна может лопнуть и дать катастрофу. Были очень скверные, очень томительные месяцы. Мы дошли до настоящей неврастении. Кстати, хорошо, что вынеслись из Кала-и-Фату. Недели за две до переезда мною овладело беспокойство, близкое к психозу: вскакивала по ночам, пугалась собственной тени, из всех сил торопила переезд в Кабул — куда меня не скажу, чтобы очень тянуло раньше. Наконец перебрались со всеми к.-фатинскими зеркалами, коврами и т. д. Гога бы не узнал мрачное логово в Кабуле. Пристроили спальню, починили, вычистили — у нас тепло, как в ухе, и адски уютно. Так вот: за день до нашего переселения у ворот К.-Фату ограбили и дочиста вырезали мельницу. Через неделю ограбили до нитки Чельсутуи, причем вывозили всю ночь. Это любимый эмирский дворец, заметьте (на полпути между городом и К.-Фату)!

Теперь наша жизнь в Кабуле. Я провела полную свою изоляцию. Никто не лазит, никто не знает, что у нас делается! Изредка чашку чая у Рижсов и Мэке — остальное — чернильница, Кречетуня и книги. Все мои страхи насчет *collaborateur'ов*¹, могущих украсть мой покой и чистый воздух, слава богу, не оправдались.

Уроки балаевской гимназии не прошли даром — китайская заградительная стена из прозрачных психических кирпичиков стоит крепко. А когда мне скучно, пусто и особенно страшно за Вас, за подлые штуки, благодаря которым я не имею писем ни от мамы, ни от Вас всех, то вместо кино — этой блаженной пустоты в сознании на несколько часов — есть тут куча иностранных людей, воспитанных, а главное — с таким самоотвержением и страстью играющих свои нелепые, старомодные роли, что и я, смягченная стуком чайных ложечек и тонких, трогательно-глупых сорочьих язычков, беру какую-то ласку и изображаю *l'Ambassadrissse Russe*². Так вот с пашой у нас не ладится последнее время. Старик старорежимен и упрям, верит в бога и... независимость... Бухары. Требуется, честно положи руку на свое генеральское сердце, чтобы Ф. Ф. и я «вывели из Бухары свою противную Красную Армию и не смели угнетать добрых мусульман».

Информация у него насчет Бухары — скверная, вонючая, белогвардейская. Да и в Азербайджане он собрал немало муссаватистских «хось». Нестерпимо! Впрочем, постараюсь устроить примирение, хороший все-таки, милый старик. Пошлю папе подаренную им мантию — в ней хорошо будет работать или ходить в Комиссию по очистке РКП от нашего реввоенсемейства! И на плечах мантия восточных деспотов, тканная золотом...

Затем прилагается мой «Свияжск» — между нами будь сказано, моя «Казань» мне очень не нравится. Приеду — почеркаю ее хорошенько. Но дело в том, что мне раз навсегда хочется кончить с прошлым. Выпущу книжку — и конец.

Теперь надо еще выправить «Кучек-хана»³ — тогда все для книжки будет готово. Приеду и прославлюсь.

Теперь кончаю; особенный привет Левушке — 1 января мы выходим из долга, в первый раз за два года получим жалованье, и тогда я смогу и ему помочь как следует.

Отчего он мне не пишет — так скучно, так страшно без писем.

Всем, кто меня помнит, — привет.

Если к Вам придет тов. Желтиков — дипкурьер, сопровождающий Тельякова, — примите его тепло. Чудный человек — да Вы и сами увидите.

Ну, прощайте, мои бедные, милые. Скоро (тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сгладить) увидимся.

Мамси-Упутьевна
Упесовна-Лапдиевна.

Итин прислал хорошие стихи, напечатанные в Сибири. Они все — о нашей общей юности. Я не знала, что это так серьезно.

Всем верным палладинам, всем вздыхающим о Дульцинее, посреди развратных столлов столицы, — привет.

¹ Сотрудников (франц.).

² Русская посольша (франц.).

³ Кучек-хан — иранский буржуазный националист; одно время был вождем революционных повстанцев, затем предал их и был использован англичанами. Лариса Рейснер написала о нем очерк.

22

27 января [1923]. Джелалабад

...Милая мама, чуть-чуть не выехала из Бомбея 1 февраля. Вот мамси, мамси, как все произошло. Фитюля, она же итальянская принципесса, завела со мной отчаянную борьбу за влияние при дворе. Стоило мне поехать к жене какого-нибудь министра, к матери эмира, которая постоянно в присутствии итальянских дам целовала «шайтана», и притом не раз, не два, а пять, шесть нежнейших объятий подряд, — Фитюля старалась сделать то же, засела за персидский язык, забегала, проскакивала и втиралась — в общем, создала атмосферу самого противного соперничества, зависти и проч. Переплюнуть титулованным дамам никого не удалось, но когда из Италии получилась резкая телеграмма от Фитюлиных родителей, она решила уехать и меня во что бы то ни стало увезти с собой. К этому времени и английская амбассадрисса дошла до точки кипения: подумайте, какой скандал! Мать эмира приняла ее на 1/2 часа, а потом изображала перед русскими ее надутый, злобный и оскорбительно холодный вид. Весь город смеялся, черт возьми! В общем, антанта сговорилась, и мне через маркиза предложили отъезд *Via India*¹ — я согласилась. Гемфриз дал неофициальные гарантии, «что отказа не будет», мы послали *Note Verbale*² по Лозанне, но вице-король не пожелал понять, что м-ме Гемфриз не жизнь, а мученье, пока эта большевичка торчит в Кабуле, и, несмотря на отчаянные протесты своего посла, британское правительство отказало. Завтра на рассвете Фитюля уезжает одна — я провела северную, длинную, длинную ночь. Но т. к. атмосфера вокруг договора все более сгущается; т. к. англичане свои обещания уже выполнили и через Кабульский базар протянулась телеграфная сеть индо-английского кабеля — но в то же время, пользуясь зимой, т. е. временем, когда строптивые племена не могут никуда уйти из своих селений, — перешли в бешеное наступление и при помощи аэропланов бомб, газа, пушек и поджогов истребляют, поголовно истребляют вазиров и махсудов³, последнюю живую преграду между своими штыками и независимостью эмирата; т. к. эмир мечется, опутанный щедрыми и быстрыми подачками, отлично зная, что за племенами — его очередь; мечется от русского посла к представителям племен, взывающим о помощи.

¹ Через Индию (лат.).

² Устная нота (лат.).

³ Вазирь и махсуды — афганские (пуштунские) племена Северо-Западной Индии: в 1919—1923 годах вместе с другими племенами подняли восстание против британского владычества.

22

(Продолжение)

29 января [1923]

...Все это напоминает мне немецкую сказочку: „Der Bauer schickt den Teufel aus, er soll den Hafer dreschen; der Teufel drescht den Hafer nicht — und kommt nicht nach Hause“¹.

Ваша телеграмма пришла за день до отказа англичанами в моем отъезде. Вы видите, я сижу, но никакие силы в мире меня не удержат после 1 марта.

Откуда я Вам сегодня пишу? Из Джелалабада, куда эмир спасся от зимы. Невероятно! Наш автомобиль еле вползал на перевалы, где метет бешеная вьюга,

шесть часов цилиндры пели от науги, преодолевая снежную бурю, скалистые подьемы, бесконечные пространства Средней Азии. Под вечер, когда от усталости мы уже ничего не понимали, а у Астафьева руки стали деревянными, начался спуск, мы все падали и падали в темноте, и вдруг в аллее, прямой, как линейка, и над головой трепещут акации, и ветер пахнет цветами, и мы в раю. Ночью я со свечой бегала по саду смотреть чайные розы, которых тысячи тысяч... Ведь январь, а в этой чаще из сахарных гор — розы, кипарисы, минмозы, которые не сегодня-завтра брызнут золотом, кактусы, перец, все, что прекрасно и никогда не теряет листьев.

Конечно, Джелалабад не Афганистан, а Индия. Настоящий колониальный городок с белыми, как снег, дворцами, садами, полными апельсинов и роз, прямыми улицами, обожженными кипарисами и нищим населением, ненавидящим англичан...

Этот последний месяц под небом Афганистана хочу жить радостно и в цвету, как все вокруг меня. Ходим с Ф. часами и не можем надышаться, пьяные этой неестественной, упоительной, вечной весной. Вот он, сон человечества, «далекой Индии сады». Но странно: в Кабуле писала очень много — а здесь не могу. Лежит масса черновиков — но, вероятно, нужен север, чтобы все эти экзотические негативы «проявились». И не надо себя принуждать — бог с ним. Я Вам не пишу о своем настроении, вернее, «неврастениях»; все это скоро кончится. Передайте, как хотите, Карахану². Если сейчас, когда Афганистан фактически воюет с Англией, когда на границе хлещет кровь племен и ни на кого, кроме нас, эмир не надеется, когда все поставлено на карту, когда рабочая Россия не смеет отказать в помощи племенам, сто лет истребляемым, сто лет осажденным, — если мы этот момент пропустим, здесь больше нечего делать. Пора закрывать лавочку. А между тем сейчас, после Лозанны, как бы полезно было напомнить Британии о ее больном месте на Востоке.

Ваша Лара.

Это последняя почта, рыбки. Со следующей уеду я.

Маме бесконечно благодарна за духи и приписку. Я ее поняла как-то очень глубоко, как индугенцию.

¹ Крестьянин прогнал черта молотить овес; но черт не промолот овес и не вернулся домой (нем.).

² Лев Михайлович Карахан (1889—1937) — советский дипломат; в 1923 году — замнаркома иностранных дел СССР.

23

Берлин [1923]

Зайцы милые, конечно, жива, здорова, въедаюсь в эту новую страну, которая мне знакома только в те минуты, когда какая-нибудь улица похожа на Фозанек или люди из другого народа поют «Интернационал». Не пишу еще, ибо мой шеф на десять дней еще не велел трогать пера, а заставляет изучать Германию и все, что в ней живого и мертвого. Самочувствие — блистательно.

Будьте очень, очень спокойны.

Ваша Лара.

24

20 октября [1923]

Мои милые.

Пользуюсь случаем, царапаю куриной лапкой несколько слов. Здорова, чиню свои паруса, посвистываю, как старый матрос, сосуший трубку над давнишними, много лет под спудом пролежавшими картами. Мягкая европейская осень так напоминает воздух теплых приморских городов. Думаю о Вас — странная, ни на что

не похожая семья, где огромное прошлое — «отец, мать», эти родовые комплексы, обычно лежащие грузом на всякое движение, на всякий прыжок вдаль — вписаны в герб трагической, неверной, беспощадной музыки борьбы. Так люблю Вас. Чтобы мама не горевала. Чтобы ежедневно в комнате, оглушаемой пилой и солдатской «пойдем, пойдем, Дуня», стучала машинка и делалась книга¹. Моя тоже делается.

А теперь, как в цирке, как в наших вольных театрах — как на всех великих и малых тропах и дорогах революции — Allons, camarade!

¹ Имеется в виду книга М. А. Рейснера «Государство буржуазии и РСФСР». М. 1923.

25

19/XI [1923]

Милые мои, милые! Все в порядке. Учусь, вижу, слышу, пишу. Никогда еще столько не работала. С этой почтой второй фельетон, и третий, лучший¹, который сейчас печатать нельзя, — пойдет в книгу.

Боюсь напыщенных фраз, но камень, лежавший на моей душе, кажется, отвалился. Не судите по первым статьям, будет лучше. Не пишу так, как писала с фронта — ибо фронта этого пока нет. Начнется буря, я ее смогу встретить во всеоружии, зная Германию сверху донизу.

Мои единственные, вся моя любовь, как я Вам бесконечно благодарна за то, что помогли уйти от компромисса, от полной интеллектуальной гибели, это-то я теперь вижу. Что с моим «Фронтом»? Здесь уже есть издатель — дело только за книгой. Ради бога, но торопите «Новь». Почта идет каждые три-четыре дня, пишете же чаще. Вам это много легче, чем мне. На моем столе Каутский, Меринг, все лучшее, что есть о Германии. Меня заставляют читать и думать. Заржавленные мозги сперва скрипели, теперь легче. Плюс огромный практический опыт. — Нация на дыбе. — Смотрю и запоминаю. Помнишь, мама, чайку перед миноносцем в бою — она все со мной, пролетает, белая, над пропастями. О, жизнь, благословенная и великая, превыше всего, зашумит над головой кипящий вал революции. Нет лучшей жизни. Вас люблю бесконечно. Прошу Вас, живите там — бестревожно, Вашей всегдашней творческой жизнью. Если б я знала, что это так...

¹ Все эти фельетоны вошли в книгу «Гамбург на баррикадах».

26

[1923]

Милые мои, опять несколько Вам нежных слов. Не волнуйтесь, живите совершенно спокойно. Я на своем месте и — «наблюдаю крыл державных возрастающую тень»...

...О, милые, перед этими событиями-небоскребами я наскоро, судорожно вооружаю свои потускневшие мозги. Моментами готова прийти в отчаяние — хватит ли меня? Если бы теперь не ушла в большую революционную бурю — застоялась бы и обмельчала окончательно.

...Так много надо узнать, так размахнуться — что рада этой крохотной отсрочке, которую угодно пожаловать истории, этому Случаю, помноженному на глупость.

Ваша одиночка, которая хочет быть сильной.

Мама, милая, не тужи.

Пишет ли отец книгу?

27

[1923]

Милые мои все, старшие и младшие!

Пишу из восхитительного приморского Гамбурга. Уже в течение двух недель — в Берлине и здесь собираю материал для большого очерка о гамб[ургском] восстании. В Берлине, во всяких трущобах, ущучила целый ряд беглецов, записала их личные рассказы. Теперь сижу у нашего Consul и пожираю литературу о славном и вольном городе Ham[bur]g[e]. Затем дней на десять перекочую в рабочие кварталы, собирать сведения о боях, о том, как умирали и убивали. Милая мама, никогда еще с 18 года не жила чище, никогда столько не читала и не думала в полном, молчаливом одиночестве. Снег мне на душу падает, стою, как дерево зимой. Очень иногда без Вас и милой единственной России скучаю. Боже, какое счастье, что есть РСФСР. Ну, приеду (тук-тук-тук) — расскажу Вам уже про проклятую Европу.

Ваша.

Если это письмо отдаст тот, кому его даю, — примите его, как величайшего друга.

Это герой моей хроники, собираемой по потухшим разрозненным уголькам. Еще раз люблю Вас.

28

Германия [1923]

Милые, милые, жива, очень много работаю, кажется мне, право, что-то вроде воли и интеллектуальной жизни отрастает.

Завтра пойду искать папины книги...

Миры рушатся, классы целые платят по просроченным столетним векселям. Если бы Вы знали, что это такое гибель и разложение целой нации. Вонь, как из слохшего вулкана¹. Плыву на поверхности всего этого, стараюсь, чтобы не заливало мертвечиной рот...

Ваша.

¹ Автор имел в виду оппортунистическую политику немецкой социал-демократии, погубившей революцию в Германии.

29

Германия [1923]

Мои Мушки и родители! Во-первых, о творчестве, как о важнейшем. Написала нечто: „Ullstein Verlag“¹ — агипроп немецкой пошлости. Кажется, одна из лучших моих будет вещей. Начала «Рур». Привезу домой полный груз. Во-вторых, мои письма относились к периоду кризиса, который пережит и кончен раз и навсегда. Мне не хочется об этом писать — но как люблю маму: никто не хотел меня поломать и никто бы этого не позволил. Если я чего-нибудь сегодня боюсь, то не мелочных напастей, а большого солнечного света, тяжести, которую, быть может, тяжелее всего нести человекам: тяжести безоблачного и полного счастья.

Мы умели быть легкими и счастливыми, будучи придавлены злым дубовым комодом. Теперь вопрос в том, сумеем ли сохранить эту ясность и вечную свежесть на вольном воздухе. Я не боюсь и не сомневаюсь. Кто проиграет в этой большой игре — прав и богат перед собой и «святым духом»... Я еще три недели напишу.

Получила очаровательное письмо от новых «Известий». Пишу и для них. Из намеков видно, что поставлен вопрос о посылке меня в Китай. Вот тебе и Скворцов. Кажется, редактор с чутьем. Еще больше вошла в немецкую grosse Presse².

Вчера ужинали у Бернхарда (Tageblatt), который тебя, папа, помнит. Ничего, эти вечера в бесплодном, как электричество, свете интеллектуальных солнц тоже

не пропадут даром. Хорошо знать, как роятся песчинки мозга у людей тонкой и враждебной культуры. Ненавижу и очень понимаю. Очень интересный круг возле «Квершнитта» — они показали галереи, библиотеки, несколько садов и фасадов — лучшее, что осталось от старопрусской культуры — Мeringa, Фейербаха, Тома и Ронера. Но это все, когда приеду. Целую Вас очень. Не надо за меня бояться. Ни разу еще, даже в худшие дни, не сожалела ни о чем. «Вот он, от века назначенный, наш путь в Дамаск»... Но по большой любви — большие будут и жгучие слезы. Мушки, а главное, насчет творчества — нет никаких причин для недовольства. Есмь и буду.

Затем: у меня оказалось в Германии большое имя. Оно звучит гордо и ношу его с честью и не как привесок к кому-то, а сама по себе; бываю, дружу и вражду. Сжоро увидимся (через двадцать дней).

¹ В конце концов глава была названа по имени основного акционера этого концерна «Ульштейн».

² Большая пресса (нем.).

30

Германия [1923]

Милая мать... Сперва должна Вам очень подробно рассказать о своей жизни.

Во-первых, почему с этой почтой отсылаю только четвертый, а не десятый фельетон. Потому что в Германии нет еще революции, нет девятого вала, пеной и трепетом которого пишутся такие книги, какую я хотела вывезти из Берлина.

Во-вторых, — революция эта, которая должна быть сделана не порывом (всякий, всякий порыв влипнет, утонет, захлебнется в теплой грязи проклятого мещанства), но каторжным, многомесячным трудом. Значит, революционного сопе-реживания у меня пока нет. А писать о Германии этого «кануна» — одним чувством, одними зрительными ощущениями — нельзя. Нужны обширные знания, которых у меня нет... В своей работе я и начала с этого, с самого главного: с вонючего мещанства, которым дышит и сочится немецкий пролетариат. У Германии уже есть гений ненависти, Гросс, которого бешенство по отношению к мещанству почти лишает рассудка. К сожалению, все, что я видела, я писать по тактическим соображениям не могла. Теперь, когда я остаюсь одна — уже не такой дикой, уже очень присмотревшейся к политическому бульону, круг моих связей расширяется. Еду в два путешествия, получаю кучу писем к Зомбарту и Гардену, в круг крупной промышленной буржуазии, словом — не к богеме, а серьезной немецкой интеллигенции. Но над всем будет все-таки господствовать длинный список очень серьезных фоллангов. Причем, па, слово моей лени, никто не поверит — буду учиться, давать отчеты, прирастать к великому чужому народу и его истории и писать — не под давлением денежной необходимости, но по строгим велениям своей литературной совести¹. Я не могу врать, что уже все хорошо, что уже я чего-то большого добилась — неправда. Будет очень трудно, одиноко и опасно. Но живу, хочу жить — отхлынуло окаянное неверие, и делаю все, чтобы оправдать безграничное доверие, мне оказанное...

¹ Обо всем этом Л. Рейснер написала в своей книге «В стране Гинденбурга».



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. АРУТЮНОВ

★

САЯТ-НОВА

К 250-летию со дня рождения

Саят-Новá — такое имя взял себе Арутин Саядян, молодой ткач, когда стал первым ашугом и любимцем города Тбилиси, столицы Картли. Это было в начале XVIII века.

Судьба Саят-Новы овеяна легендой. Простолудин, он стал придворным ашугом и советником грузинского царя: в его свите, когда он был еще наследником престола, Саят-Нова участвовал в походе на Индию и побывал во многих странах; его слышали в Иране и Сирии; он знал арабский и персидский языки, одинаково свободно слагал свои песни на армянском, грузинском, азербайджанском. За свою гордую независимость, недопустимую при дворцах, и дерзновенную любовь к царевне поэт был насильственно пострижен в монахи и заточен в монастырь, где протомился около сорока лет. Когда Саят-Нову посвящали в сан, он сохранил на груди под черной рясой струны саза и продолжал петь и в церковном застенке. Песни его год от году становились все более печальными и мрачными. Но когда в Тбилиси объявлялся какой-нибудь знаменитый поэт из Персии, старый монах передевался бродячим ашугом и тайно являлся на состязание, неизменно побеждая всех...

Судьба Саят-Новы была связана с царем и церковью, а песни его распевались всюду вольным людом: на тифлисских майданах и караванных дорогах, идущих на Шушу, Баку, Тебриз, за скудной крестьянской трапезой в Араратской долине и в мастерских ремесленников, в духанах, кабачках и караван-сараях всего Кавказа. Не для Ираклия II слагал свои песни — страстные, горестные, мудрые — Саят-Нова; через головы

царей он говорил с народом, и народ принял и понес его песни из поколения в поколение.

Творчество Саят-Новы вмещает в себя весь XVIII век. Оно — связующее звено между искусством средневековья и нового времени. Совершенство формы и драматизм духовных исканий — его основная черта. Три источника питают его: армянская средневековая лирика, народная поэзия, а также новое мироощущение, рожденное свободной жизнью города, не зависящее от деспотической власти церкви и царей.

Средневековое армянское искусство (X—XVI вв.), давшее блистательные образцы национального гения, особенно в области архитектуры и поэзии, в эпоху нашествий кочевников с востока постепенно приходило в упадок. Гибли некогда цветущие города, сжигались и грабились библиотеки и храмы, бережно хранившие веками пергаментные фолианты древних философов и поэтов, рассеивался по миру мастерской люд. Дольше всех держались монастыри, затерянные в неприступных горах. Там престарелые епископы продолжали тайком слагать на древнем и уже непонятном многим языке звучные строфы своих меднокованых гимнов и элегий, а черноризцы вели скорбную лепетпись гибнущего народа, предсказывая еще более мрачные беды за прегрешенья против бога и за пагубную страсть простого люда к мирским заботам и утехам.

Но вокруг гибнущего острова монастырской — утонченной, но уже мертвой — лирики бушевал океан живой народной поэзии. Порабощенный, лишенный государственности, просвещения и литературы, которую мы бы сейчас назвали профессиональной, простой

народ взял на себя продолжение национальной культуры. Творчество самого народа — поэзия гусанов и ашугов, — особенно в XVII—XVIII вв., не только сохранило лучшие достижения средневекового искусства, но, используя собственные силы и традиции, уходящие в языческую древность, подняло на новую высоту идеи гуманизма и свободной личности.

Поэзия покинула монастыри и замки и вернулась вновь в свое родное лоно. Но в отличие от безымянности и безыскусственности фольклорного творчества она стала более индивидуальной и усложненной. В отличие от утонченности монастырской лирики — более демократической и свободной. На этот раз ее обиталищем и почвой стали свободные города.

Старый Тбилиси в те времена — один из важных пунктов оживленного караванного пути между Востоком и Западом. Усвоивший на протяжении веков традиции и влияния многих народов, этот город являлся чрезвычайно своеобразным и по-своему поэтическим миром. Саят-Нова — детище этого города.

Тбилиси был столицей феодальной Грузии; царский двор, известный своей пышностью, был полон представителей княжеских родов, оспаривавших друг у друга власть и славу. Ираклий II старался привлечь к себе поэтов и художников, способствовал просвещению и строительству. Его усилия, однако, наталкивались на чванство и сепаратизм феодалов.

И был другой Тбилиси, там царствовали иные цари и законы. На его горбатых и узких улочках — пестрое смешение рас, племен, наречий, одеяний. Суровые горцы, идущие сквозь гам, как по кромке пропасти, не замечая ничего. Парии города — курды-носильщики и «фигаро» этого города — вездесущие кинто, балансирующие с корзинной фруктов на голове среди невообразимой толчеи. Эмиссары католического Рима и огнепоклонники из Персии...

От Армянского базара до Майдана — бесчисленные лавки и мастерские. Все на улице, на виду: подходи, смотри, щупай. Горы фруктов и бочки вина. Персидские ковры. Хорасанские шали. Золотое и серебряное оружие. Керамическая глазированная посуда, кубки и чаши из цветного стекла, сверкающие всеми цветами радуги. Мастерские ювелиров, шорников, лудиль-

щиков, оружейников, ткачей и многих других умельцев, которые тут же на улице мастерили все, что так нужно городу и народу.

И над всей этой толчеей и гамом — знойное солнце, трижды усиливающее яркую роспись красок, шум и крики толпы.

Церквей и религий было много в Тбилиси, но веротерпимости больше. Разноплеменный люд жил в мире и дружбе. Шумный и веселый, он жил открыто и свободно, предпочитая молитвам застольные тосты.

Он знал цену себе и жизни. Превыше всего он ценил свое дело и свой труд, который давал независимость.

По вечерам, когда утихали базары и мастерские, в Орточальских садах, в тенистых рощах Дидубе у берегов Куры возникали пирушки с песнями и музыкой, переполнялись духаны и караван-сарай. Здесь собирался бывалый люд, много повидавший и знавший, здесь рассказывались захватывающие истории и были, здесь толкся народ из Шемахи и Хорезма, из Ширака и Астрахани, из Карса и Венеции. Настоящий старый тифлисец («мокалаки») имел два родных языка — грузинский и армянский, а из иностранных владел персидским или арабским.

Царями этой пестрой и разноликой толпы, любимцами города, были ашуги. Менестрели и трубадуры Востока, они слагали и пели свои песни под аккомпанемент саза или каманчи на площадях и базарах, услаждая слушателей своей музыкальностью и находчивостью, смелым сарказмом по адресу феодалов и тихой нежностью, обращенной к любимой. Ашуг был поэтом, композитором, музыкантом, певцом одновременно и в одном лице; он обязан был быть ярким, щедрым, мудрым, человечным, свободным. Он должен был трогать сердца и мудростью своих дум, и горечью своих раздумий, роскошью фантазии и богатством ярких красок. В его песнях был сосредоточен весь любовный мир простого крестьянского и ремесленного люда, лишенного грамоты и книг, все его чаяния и надежды, обиды и скорби. Голос ашуга был голосом народа. Лучшие из них становились кумирами толпы, их привечали князья и даже цари. Легкость и внешняя бездумность города, разумеется, не могли скрыть социальных конфликтов, заложенных в природе феодального общества. Талантливые ашуги-поэты стремились, и ча-

сто небезуспешно. вскрыть их в формах своего традиционного искусства или вопреки ему.

Саят-Нова родился и погиб в этом городе. Когда в 1795 году полчища персидского деспота Ага-Мохаммед-хана двинулись на Грузию, Саят-Нова (ему было тогда 83 года) поспешил в столицу. Он успел отправить семью и рукопись своих песен в Россию, в Моздок, сам же остался. «Я родился здесь,— сказал он Ираклию,—здесь же хочу и умереть в бою против врага». Горсточка грузинских воинов и ополчение горожан, подбадриваемых ашугами, стойко сопротивлялась, однако силы были слишком неравными. Отряды хана ворвались в город, грабя и сжигая все на своем пути. Саят-Нова был и в эту последнюю минуту вместе с народом. Он отказался отречься от веры и сдаться победителям и был зарублен янычарами хана у входа в церковь. Похоронен на том же месте у ее стен.

* * *

Саят-Нова — ашуг, а всякий ашуг прежде всего певец любви. (Ашуг — буквально означает влюбленный.) Его лирика совершенно необозрима в грациях бесчисленных оттенков чувства: от горечи обиженных жалоб до неистовых признаний страсти, от тихой нежности до бурь иступленной ревности, от раздумий о тщете и мимолетности счастья до упоения им. Любимую поэт одаряет всей роскошью своей безграничной фантазии, его уподобления сверкают всеми цветами радуги, споря со всем прекрасным, что есть или было на свете:

Я в жизни вздоха не издам, доколе джан ты
для меня!
Наполненный живой водой златой пинджан
ты для меня!
Я сяду, ты мне бросишь тень, в пустыне —
стан ты для меня!
Узнав мой грех, меня убей: султан и хан ты
для меня!

Любовью опьянен, не сплю, но сердце спит,
тобой полно:
Всем миром пусть пресыщен мир, но алчет
лишь тебя оно!
С чем, милая, сравню тебя? — Все, все
исчерпано давно.
Конь-Раш из огненных зыбей, степная лань
ты для меня!

(Перевел В. Брюсов)

Любовь Саят-Новы вся живет в мире уподоблений:

Ты — узоры парчи, ты как золото ткани, о
джан!
Каламкар ты, что с Инда везли в караване,
о джан!
Вожделенный алмаз, чьи бесчисленны грани,
о джан!
Многоводных глубин жемчужовые дани, о
джан!

(Перевел К. Липскеров)

Эти уподобления многолики и разнообразны: «Мой храм молитв — твои дверные плиты». Они сложны и опосредствованы: любимая не просто «живая вода», но «наполненный живой водой златой пинджан». Они грандиозны: «Славословий моих только слон мог бы книгу нести», и метафорически неожиданны: «Плыви ко мне! Что в море ты стоишь, ладья английская!..»

Мир уподоблений бесконечен, он лишь приближается к совершенству прекрасного, но даже «бессилие слов» Саят-Новы превращает в гимн любви:

Скажу — ты шелк, но ткань года погубят;
Скажу — ты тополь,— тополь люди срубят;
Скажу — ты лань,— про лань все песни
трубят.
Как петь? Слова со мной в раздоре, прелесть.

Скажу — цветок,— гора взрастила, скажут;
Скажу — алмаз,— земная жила, скажут;
Скажу — луна,— ночей светило, скажут.
Ты солнца свет таишь во взоре, прелесть.

(Перевел М. Лозинский)

Поэт стремится утвердить связь с миром. «Мой мир — моя любовь» — радостный, ликующий мотив лирических образов Саят-Новы.

Он с языческой страстностью, подобной древней «Песни песней», концентрирует силу чувства на облике своей любимой, воспевая ее чувственную, земную красоту: «Твоих грудей гранат — что меч! Самшит твоих бесценен плеч!», и в то же время почитывает возлюбленную на огромном пьедестале, сложенный из восхвалений, обожествления и покорности, пьедестале недостижимости, где в основании лежит высокое нравственное чувство.

Поэт расширяет границы своих уподоблений и своих чувств до границ мира.

Образ мира-моря, любви-моря — этот светлый, могучий образ стихии и свободы — частый гость в поэзии Саят-Новы первого периода. С годами он сменится трагическим образом «убитой», оборванной любви,

любви, которой положены границы и препоны.

В пределах одного стихотворения Саят-Нове дано вместить всю гармонию и всю смятенную дисгармонию любви, создать ее «микрокосмос».

Чужбина — мука соловья: год — сада он
родного ждет!
Чтоб подала рука твоя вина мне, сердце
снова ждет!
С другими ты, и мучусь я: так раб царя
земного ждет!
Созрел грудей твоих шамам,— сосуда
золотого ждет!
(Перевел В. Брюсов)

Эмоционально-многоплановые образы идут нарастанием. От чистого созерцания и любования: «И только стан прекрасный твой овалу плеч твоих под стать!.. Рука—самшит, а пальцы—воск: хрустальных спиц он снова ждет», переходя ко все более глубоким чувствам, осмысленным то как творческая жажда и тоска, то как единственная, неизлечимая мука души:

Нет, я не полюблю другой! сдается: ты мне
суждена!
Лишь я неделю не с тобой, как рвется
каманчи струна!
Сам царь иль врач-Лохман со мной, а мне
поется: «Где она?»
Им раны не понять моей: она клинка
стального ждет!
(Перевел В. Брюсов)

Мир любовной поэзии Саят-Новы невероятно красочен. Он населен разнообразно, многолико, неожиданно и разумно — как сама природа. Он почти перенасыщен невиданными, звенящими сравнениями, ярчайшими, пряными, как сам воздух Востока, уподоблениями. Целый «ковер» красок и звуков расстилает и рассыпает перед своими слушателями поэт, и нет предела фантазии и изобретательности этого редкого по напряженности и благородству чувства, влюбленности, щедрой и жадной одновременно. Этот мир движется, трепещет, дышит, подчиненный, однако, величайшему мастерству. Недаром, раскрывая в одной из песен красочность своей палитры, великий ашуг одновременно просит оценить ювелирную тонкость исполнения поэтического замысла, своей «кладви», которую он несет людям:

В морях любви на дне есть жемчуг, и вот,
оттуда кладь моя,
Шелка цветов рубина, перла, иль
изумруда — кладь моя.

Неведомые благовоныя в стекле сосуда.—
кладь моя.
Ты — всех не видевших приманка, души
причуда — кладь моя.
Имбирь, гвоздика, мир, терпенье и прелесть
чуда — кладь моя.

Художники со всей вселенной пускай
сберутся вокруг меня,
Индийский резчик пусть рассмотрит узоры,
тонкость оценя.
Любуйтесь яхонтом, рубином, игрой их
тайного огня.
Заворожат вас шелк, и бархат, и златоткань,
к себе маня.
Искусно убрана, с умением,— не сыщешь
худя — кладь моя.

(Перевела В. Звягинцева)

Незаурядное поэтическое мастерство было^{*} первым требованием слушателей к искусству ашугов. Кто не обладал им в полной мере, не мог рассчитывать на успех. Ашуги до Саят-Новы целиком переняли и поэтическую образность, и манеру исполнения из персидских источников, да и пели они на персидском языке. Тема «меджнунства», образы розы и соловья, пышные, но заставившие сравнения все более становились ремесленными штампами. Саят-Нова запел на родном языке своих слушателей. Более того, он порою, чтобы сделать приятное разноязычной толпе, «посвящал» каждому по строке на его родном языке. Таким образом, одна строфа могла звучать сразу по-грузински, армянски, азербайджански. Но обыкновенно Саят-Нова слагал свои песни на одном из них. «Мошью своего гения,— как писал Брюсов,— он превратил ремесло народного певца в высокое призвание поэта». Ни от одного из традиционных фольклорных приемов ашугов он не отказался; он вобрал в свою поэзию и заставил сверкать по-новому «старое золото», «киноварь», «лал» и «синь» восточной лирики — весь разветвленный кодекс пышных устойчивых сравнений,— но уже не декоративно, а одухотворенно, изысканно, неистово.

Статичность изображения чувства, олеографическая неподвижность переживания взорваны им изнутри. Пружина поэтической строфы Саят-Новы в движении и развитии чувства, в его внутреннем развитии. Волнообразный песенный размер не сдерживает этого движения. Он раскрывает его не только в красочности, но и мелодичности, звучащей в переливах аллитераций и ассонансов, в звукописи и богатейших рифмах.

Обычно песня Саят-Новы состоит из пяти четверостиший, в которых рифмуются первые три строки. Первая строфа имеет одну рифму, которая повторяется в последних строках каждого четверостишия. Помимо этого, каждая строфа имеет свой рефрен, созвучие, следующее за коренной рифмой. Рефрен придает напевность песне и в то же время усиливает эмоциональную и смысловую напряженность каждой строки. Этот рефрен повторяется не всегда буквально, но каждый вариант, даже отличаясь по смыслу, должен быть однотипен по звучанию. К вершинам мастерства Саят-Новы относятся песни с тройными рифмами. В этом случае созвучия обнимают три строки по вертикали и горизонтали, образуя как бы звучащий квадрат. К сожалению, именно эти песни чрезвычайно трудны для перевода, — эффект звучания строф зачастую достигается за счет потери образности, живописности. Однако есть и удачные примеры:

Свой оставим дом и уйдем вдвоем! В ветках
капли рос.
В рифму запоем! С ярым лепестком мак
цветы вознес,
А в саду немом — роза с соловьем; лилии —
меж роз.
Выйди в сад со мной! Жду тебя с хвалой,
сазом и мольбой.

Сроду ты была, милая, мила, словно та
Лейла!
Я сожжен дотла! — прядь волос легла, где
шипов игла.
Роза зацвела, и в дремоту мгла соловья
ввела.
Выйди в сад со мной! Жду тебя с хвалой,
сазом и мольбой.

(Перевел С. Шервинский)

Недаром Брюсов в восхищении писал о высоком мастерстве Саят-Новы: «Понистине Саят-Нову можно назвать «поэтом оттенков»... Истинный поэт дает читателю или слушателю перечувствовать все — лишь силою едва заметных переходов одного цвета к другому. Но как, в то же время, остры, глубоки и сочны в песнях Саят-Новы эти «оттенки»: их воспринимаем мы как самые яркие цвета, с которыми не могут соперничать никакие мазки менее удачливых (скажем прямо: менее гениальных) поэтов, накладывающих краски слишком густо. Тонкой и нежной кистью живописал Саят-Нова, и тем больше очарования в его всегда пленительных стихах».

Но только ли в этой великолепной красочности и звучности значение искусства Саят-Новы? Ведь подобное мастерство встречалось и в лучших образцах средневековой армянской лирики, обладавшей богатейшим арсеналом изобразительных художественных средств.

Стенания поздней средневековой лирики весьма близки образной стихии Саят-Новы по красочности и силе страсти. Так, например, у монаха-поэта XV—XVI веков Ованнеса может прозвучать:

Жестокая! Глаза твои — учить могли бы
палачей,
Ты всех влечешь в тюрьму любви, и бойня —
камни перед ней!

О! сердце ты мое сожгла, чтоб углем брови
подвести.
О! кровь мою ты пролила, чтоб алый сок
для ног найти.

(Перевел В. Брюсов)

Но лирика Саят-Новы гораздо шире и разнообразнее. Поэт не остановился на декоративности однолинейной страсти. Он раскрыл внутренний мир человека, сделал его чувства более реальными, лирическими, человеческими, наконец. Он мог, например, обратиться к любимой с иронической, полужутливой-полусерьезной укоризной:

То, что бархат я, что шелк я, что парча, —
ты разве знаешь?
Что как легкий ветер к розе льну, журча, —
ты разве знаешь?
Что тебе пою, на сазе все бренча, — ты разве
знаешь?
Что с тобой обручены мы, два луча, — ты
разве знаешь?
Обо всем, о чем бренчу я, бормоча, — ты
разве знаешь?

(Перевел К. Липскеров)

Он гораздо свободнее владеет своим поэтическим «я». Он может просто начать: «Ты спросишь о своем рабе, а я отвечу: о камне бьется головой Саят-Нова».

Понятие о поэзии как искусстве магическом и условном, как о чем-то таком, что стоит вне конкретного человека, меняется. Средневековая лирика создавала прекрасные статуи страсти. У Саят-Новы человек и его чувства обретают единство и реальность в самом поэте. Он может быть естественным и безыскусственным, смыкаясь уже с народной, фольклорной поэзией:

Говорю с тобой затем я,
 Что твой стан я нынче видел.
 Светлолицую на ложе
 Я, томаясь в кручине, видел...

Ты — огонь огня ты строже,
 Но сжигать меня за что же?
 Поутру тебя я схожей
 С солнцем в синем небе видел.

(Перевел К. Липскеров)

Вместе с тем — и это, пожалуй, самое главное — лирика Саят-Новы в состоянии раскрыть мироощущение личности в широком диапазоне: от философии любви как полноты бытия до проповеди добра и свободы как его естественного следствия.

Образ любви развивался в творчестве Саят-Новы с возмужанием поэта. Он начался с декоративно-чувственной мозаики, но уже вскоре, разбив условные рамки ашугской поэзии и ее обязательных канонов, Саят-Нова напоил его полнотой чувств, глубоко личных и общественных. «Личными» для Саят-Новы стали не только несчастная любовь, но и сословное неравенство, классовая ненависть. Но именно с любовной лирики, с образа любви начинается трагический путь поэта во внутрь своей эпохи.

Новизна искусства Саят-Новы в своем веке рождается вместе с рождением нового человека, осознающей себя — и общественно и нравственно — личности.

Для него любовь — это высшее проявление совершенства. Она мерило истинной сущности — и человеческой и общественной, она ведет к добру и свободе. Все, что противостоит любви, — враждебно человеку, его естественной природе. Через любовь происходит постижение бытия. Именно поэтому любовная драма превращается в драму социальную. Если действительность противоположна любви — значит, преступна действительность, лирика становится трагичной, сосредоточивая в себе драматическую коллизию человека и общества, ощущение неудовлетворенности и разлада с миром. Горестный мотив возникает часто независимо от смысла слов, неизъяснимо, но непреложно:

Подстреленный олень я, — скал не вижу.
 Где кравчий? Я вина искал, не вижу.
 Сад соловьиный темен стал — не вижу.
 Бутону червь — могила, пожалей!

(Перевела В. Звягинцева)

Глубина лирики Саят-Новы не просто в том, что он воспел «несчастную» любовь, но в том, что за ее стенаниями слушатели улавливали в какой-то мере общий трагизм человеческого бытия, отсутствие счастья и добра на земле. Лирическая коллизия заключала в себе общественное содержание, полное социального драматизма.

Я в Грузии, среди князей, напрасно жизнь
 растрочу.
 У яр душа темна, как ночь, — и вот —
 я кровью плачу.
 Сберег я честь народную, клеймо бесчестья
 прячу. —
 Из-за любви — Саят-Нова — в расцвете
 дней — погибну.

(Перевел А. Тарковский)

Многозначность лирики Саят-Новы не только расширяет ее эмоциональный диапазон, но и создает глубокую душевную сосредоточенность, объединяющую поэзию и человечность в единстве, в поисках высоких гуманистических целей. Эта роль стража любви и добра высока и трагична.

По целеустремленности и интенсивности чувствования любви, по общественному содержанию, в нее заключенному, поэзию Саят-Новы можно сравнить, пожалуй, только с лирикой Петрарки. Единственность, трагичность и универсальность высшего человеческого чувства, которое становится связью и мерлом общества и личности, сближает этих, казалось бы, далеких друг от друга поэтов.

Ведь творческая индивидуальность Саят-Новы определяется особенностями переходной эпохи — от феодальной к новой. И хотя Брюсов высоко и справедливо превознес лирическую вдохновенность средневековой армянской поэзии, однако лишь в творчестве Саят-Новы ее ренессансная стихия, как и у Петрарки, приобретает всеобъемлющий идейно-общественный смысл, став выражением свободной личности, чувства человеческого достоинства и духовной независимости, направленных против смиренного мудрия и отречения от себя.

Гордое осознание своего высокого назначения как поэта — одна из сильнейших страниц творчества Саят-Новы. Мир любви и человечности оказался абсолютно несовместимым с миром феодальной и религиозной власти, он предстал первым врагом деспотизма, раскрыв такие стороны личности, которые подрывали мертвенный покой подчинения. Гуманизм лирики Саят-

Новы не просто возвеличивал человека, но раскрывал общественный характер личности, утверждавшей свою независимость по отношению к религиозной власти и свое высокое назначение в мире.

Первый среди ашугов, не говоря уже о средневековых поэтах, Саят-Нова провозгласил независимость своего искусства, осознав высокую роль гражданского служения его перед лицом народа:

Язык ашуга — соловей: он славит, не клянет
с плеча!
Пред шахом он поет смелей, и для него нет
палача.
Нет правил, судей и царей, он сам спасает
всех, звуча...

(Перевел В. Брюсов)

Он раскрывает миссию поэзии как миссию правды и добра. Зависеть от царей, обычно прикрывающихся в этом случае именем народа, Саят-Нова не хочет, его муза не может быть рабыней, если даже ей грозит опасность быть закиданной камнями «черни».

Не сразу получало надлежащий отзвук его самозабвенное и свободное служение искусству, рождалось чувство одиночества. Но гордая уверенность в своем призвании, в необходимости творческого подвига побеждала минутную слабость: тогда он отвечал (поистине по-пушкински) презренной дворцовой «черни»:

Не всем мой ключ гремучий пить: особый
вкус ручьев моих!
Не всем мон писанья чтить: особый смысл
у слов моих!
Не верь: меня легко свалит! гранитна
твердь основ моих!
(Перевел В. Брюсов)

«Твердь гранита» — это мнение и честь народные. Отстаивая независимость своего творчества, Саят-Нова отстаивал надежду народа на свободу — социальную и духовную. Именно поэтому его изгнали в уединенные монастыря. Но поэт оставался непреклонным. Все его творчество — это полное отрицание феодального деспотизма, это утверждение естественного и законного права «простого смерда» («Князем быть, смерд простой, не хочу совсем!») на жизнь, правду, независимость.

За внешней романтичностью драмы Саят-Новы, за биографическими приметами, как будто относившимися целиком к феодальной эпохе, стоял в огромной степени и преж-

де всего характер исторически новый, остро-конфликтный, трагический смысл которого целиком принадлежал новому времени.

Социальное осмысление мира, эмоциональный накал общественных «страстей» Саят-Новы последнего периода ничуть не уступают его любовным страданиям.

Поэт начинает свою тяжбу с миром и богом, с неправдой, злом, деспотизмом. Мир обнаруживается как зло, он — с «червоточинкой». Ощущение социальной природы этого зла иногда готово раствориться во вселенской скорби, иногда же удивительно отчетливо:

Наш мир — раскрытое окно; тяжелый свод
мне в тягость.
Кто смотрит — стрелами пронзен; их злой
полет мне в тягость.
Сегодня хуже, чем вчера: зари восход мне
в тягость.
Неверно все; пустой игры круговорот мне
в тягость...
Себе ты властен ли сказать, что ты до ночи
доживешь?
В руках господних — суета, придешь ли ты
или уйдешь.
Нет хода истине моей, в народе
расплодилось ложь.
На двадцать бар — один слуга; толпа господ
мне в тягость.

(Перевел М. Лозинский)

Саят-Нова порою смыкается с ранней средневековой армянской лирикой, которая, пытаясь представить природу человека в гармонии совершенства и красоты и всякий раз убеждаясь в невозможности ее на земле, отрицала затем реальный мир, не в силах совместить в себе его противоречия.

Однако поэзия Саят-Новы не ограничивается ни всеотрицанием мира средневековой лирики, ни поэтическим самоуглублением, сосредоточенностью в себе Петрарки. Она принимает и заключает в себе мир со всеми его скорбями и радостями, с его достоинствами и недостатками, но возносит, противопоставляя ему, свободную личность, наделенную чувством человеческой активности.

Ни примиренности с роком, ни отчуждения от жизни нет в поэзии Саят-Новы. Его личность всюду противостоит силам разрушения и насилия, побеждая их часто ценой собственного разочарования и печали: «Вся жизнь прошла, как сон, плодов лоза не подарила, — знай!» Прощаясь с миром, он не проклинает его и не растворяется в мисти-

ческой потусторонности, он принимает его и оставляет. как благо, далекое от совершенства, но целиком находящееся во власти человека:

Саят-Нова, твой караван пошел — идет куда
невесть,
Живите в благе! Ухожу, — и ног не поверну
я вспять.

(Перевел К. Липскеров)

Философия жизни Саят-Новы гуманистична. Ее оптимизм горек, но нестребим, — ведь это оптимизм народной мудрости. Итоги — поэтические, гражданские, жизненные — Саят Новы покоятся на подлинно гранитной тверди народных основ.

Творчество Саят-Новы стоит на рубеже средневекового и современного времени и мышления. Народный поэт, ашуг — он завершил великое течение Ренессанса, зародившееся в армянской поэзии еще в глухую ночь церковной схоластики. Глубоко символично, что именно народный поэт, певец городского демоса, поднял на новую высоту национальное искусство и определил его развитие надолго вперед.

* * *

В одной из своих песен Саят-Нова выразил надежду на признательность и благодарность потомков:

Благословен строитель, возведший мост!
С ним камень свой прохожий в лад положит.
Народу жизнь я отдал, — за это мне
Могильную плиту мой брат положит.

(Перевел А. Тарковский)

Лучшие песни любимых ашугов долго хранятся в народной памяти. Но не бесконечно. Превратности истории и новые вкусы неизбежно отсеивают даже ценное в их наследии. Не все ашуги владели грамотой, чтобы записывать свои произведения, тем более не все могли оставить нотную запись. Кто знает, сколько великолепных строф и напевов исчезли навсегда. Но и тогда, когда песни собирались в рукописные тетради — «давары», им грозила опасность. После смерти ашуга жена часто сжигала заветную рукопись, дабы сыновья не пошли по стопам отца. Нелегко и горек был хлеб поэта, а слава — скоротечна.

Поэтическая личность Саят-Новы была слишком грандиозна, потомки сохранили его давар, как драгоценную семейную ре-

ликвию. Но рукопись не была расшифрована и не имела хождения. Саят-Нова стал легендой.

Внук Саят-Новы, священник Тер-Мовсес, передал в начале шестидесятых годов XIX века эту рукопись Геворку Ахвердян, который был для своего времени весьма примечательной личностью. Он рос в семье, связанной с передовыми литературными кругами тридцатых—сороковых годов в Тифлисе. (Кстати, в салоне Прасковыи Александровны Ахвердовой, где бывали видные поэты и писатели, А. С. Грибоедов впервые встретился со своей будущей женой Ниной Чавчавадзе.)

Питомец Лазаревского института, он сразу оценил роль и значение случая, ему выпавшего. Заручившись поддержкой своего учителя — профессора М. Эмина, который обещал также содействие известного французского ориентолога Дюлорье, он принялся за кропотливую работу. Нужно было расшифровать и прокомментировать объемистую, сшитую из разных частей тетрадь, не везде хорошо сохранившуюся, с разными письменами (часть армянских и азербайджанских песен была записана грузинскими буквами и т. д.), с неясными или уже забытыми словами и речениями, выявить руку самого автора и переписчиков и т. д. В 1852 году книга армянских песен Саят-Новы с обширным предисловием и комментарием впервые увидела свет, будучи изданной в Москве. Это был действительно великолепный и грандиозный труд.

В те же годы, когда Г. Ахвердян работал над рукописью Саят-Новы, в Тбилиси жил поэт Я. Полонский. Он живо интересовался творчеством великого ашуга, перевел несколько песен на русский язык и написал по их мотивам стихотворение «Саят-Нова». В газете «Кавказ» появилось небольшое эссе, уловившее трагический смысл его судьбы и его творчества: «Чувствуешь невольное, как этот человек должен был страдать, потому что был выше своих современников».

Сборник, выпущенный Г. Ахвердяном, к началу XX века стал библиографической редкостью. Передовая демократическая общественность, которая к этому времени стала многочисленной и организованной, прилагала усилия, чтобы не только сохранить, но и популяризировать творчество Саят-Новы. Поэт Ованес Туманян, тогда председатель Кавказского товарищества армян-

ских писателей, много сделал в этом направлении, особенно в связи с работой Брюсова над антологией армянской поэзии. По инициативе и проекту художника Геворка Башинджагяна был поставлен памятник на могиле поэта.

Когда 15 июля 1914 года демократическая общественность торжественно праздновала открытие памятника Саят-Нове, приуроченное к двухсотлетию со дня рождения поэта, в громадной процессии шли тбилиссские амкары, ремесленные цехи со своими штандартами и знаменами, ашуги и гусаны со всего Кавказа, исполнявшие лучшие песни поэта, шли писатели, художники, учителя. Саят-Нова был и остался поэтом народа, более того — трех братских народов. И братья исполнили просьбу своего ашуга.

В 1889 году академик Н. Марр обнаружил в Петербурге в библиотеке Азиатского музея Академии наук второй давтар Саят-Новы, в котором были грузинские песни (первый, «ахвердовский», давтар включал в себя только армянские и азербайджанские). На нем надпись по-грузински: «Эта рукопись принадлежит сыну грузинского царя Теймуразу, которая написана сыном Саят-Новы Оганом. Песни его отца Саят-Нова в его памяти». Записаны они в 1823 году. В 1918 году поэт Иосиф Гришашвили издал их после кропотливой расшифровки, сопроводив подробным комментарием. Многие ученые и исследователи: Г. Асатур, З. Мтацминдели, Л. Меликсетбек, Г. Ле-

вомян, Г. Леонидзе, М. Асратян, С. Арутюнян, Г. Мурадян, А. Барамидзе, Г. Абов, С. Гайсарьян и другие — трудились над тем, чтобы раскрыть «белые пятна» биографии и поэтического наследия поэта. Слава о Саят-Нове стала переходить границы Кавказа. Его песни были переведены на русский, французский, английский, немецкий, украинский языки. Ныне по решению Всемирного Совета Мира торжественно отмечается двухсотпятидесятилетие со дня его рождения.

Отдельно должен быть отмечен и помянут благородный подвиг Валерия Яковлевича Брюсова, автора великолепного очерка об армянской поэзии, воссоздавшего в своих замечательных переводах всю неповторимую красочность лирики Саят-Новы. «Такими поэтами, как Саят-Нова, — писал Брюсов, — может и должен гордиться весь народ; это — великие дары неба, посылаемые не всем и не часто; это — избранники провидения, кладущие благословение на свой век и на свою родину... которые силой своего гения уже перестают быть достоянием отдельного народа, но становятся любимцами всего человечества».

Поэзия Саят-Новы — это поэзия добра и братства, и сегодня, в век столь отличный от времени, когда он жил, страдал и творил, его песни так же дороги и близки народу, как и двести с лишним лет тому назад. Ибо это песни о счастье и горечи душевных исканий, о величии человека и его страстей.



В. СУРВИЛЛО

★

В ЕДИНОЕ СЛОВО

Хотел бы в единое слово...»
«Если б мог я,— восклицает рисовальщик Ферхад в «Легенде о любви» Назыма Хикмета,— в один тюльпан вместить этот мир — и все его цвета и все сиянья, все радости его и все печали и все надежды,— если бы я мог вместить весь мир — то есть тебя, Ширин!»

Неустанно стремится, ищет образа наибольшей емкости, такой, о какой мечтал Ферхад, и создатель «Легенды о любви» Назым Хикмет на протяжении всего своего творчества.

В лирике эти его поиски вели к образам, которые выражают слитность чувства природы, чувства любви, социального чувства.

Вот осторожная, неуверенная попытка взглядывания в возникающий образ, раздумье:

Прошлой ночью ты вошла в мой сон.
Опустилась у моих колен.
На меня твой взгляд был устремлен,
твои влажные губы сжимались и вновь
разжимались,
но не слышал я слов.
Вдруг откуда-то чистые звуки примчались,
словно светлая весть,— бой часов.
Шелест-шепот вокруг без конца,
без начала...
Слышу — в клетке моя канарейка поет,
слышу — с песней сквозь землю в полях
пробиваются всходы,
справедливый, победный откуда-то
слышится гул,
словно движутся толпы народа.
А горячие губы твои что-то шепчут
и шепчут.
но с них не слетает ни звука.

Я проснулся как будто от боли.
Оказалось, над книгою я продремал
с пол часа.

А сейчас я в раздумье:

не твой ли, не твой ли
голос был —
эти все голоса?

(Перевел Н. Разговоров)

А вот природа, любовь, борьба; их неразрывная слитность в сердце человека:

Ночью, в поле зажег костер,
до огня дотрагиваюсь,
до воды дотрагиваюсь,
до ткани дотрагиваюсь,
до серебра дотрагиваюсь,
ты — как костер,
разожженный под звездным небом,
любимая.— до тебя дотрагиваюсь.
Я с людьми,

я людей люблю,
движенье люблю,
мысль люблю,
борьбу мою люблю;
ты — человек в борьбе моей, любимая.—
тебя люблю.

(Перевела М. Павлова)

Эта слитность чувств — живая, трепетная, подвижная. Вот одно чувство вспыхивает с особой силой, другие на время отступают, как в образе, созданном поэтом в одном из «Писем из тюрьмы»:

Сегодня воскресенье.
В первый раз
меня на солнце вывели сегодня.
И я впервые в жизни удивился,
какое это небо голубое
и как оно далеко от меня.
И я стоял под солнцем неподвижно,
потом на землю опустился с уважением
и прислонился к каменной стене...
И вот забыто все —
мечты,
свобода
и даже ты, жена моя...
Я, солнце и земля.
Как счастлив я!

(Перевела М. Павлова)

Я оставил свой класс,
встал в ряды коммунистов.

(Перевел П. Железнов)

Ахмед тоже оставил свой класс и встал в ряды коммунистов. В Измир он приехал по партийному делу. Он зашел к мужу своей тетки Шюкрю-бею по настоянию партийных товарищей. По их мнению, следовало попытаться устроиться через него на работу, использовать легальные возможности. Шюкрю-бей смертельно перепуган. В стране террор, газеты коммунистов закрыты, и если коммунистов еще не арестовывают, то будут арестовывать, предсказывает Шюкрю-бей, а заодно укунут и его. Он сообщает, что восстановлены действовавшие в годы национально-освободительной борьбы Трибуналы Независимости. Восстановлены под предлогом восстания курдов.

Посещение Шюкрю-бея ничего не дало. Лишь увеличилась опасность — он может позвонить в полицию.

Тревога и страх в стране. Тревога в душе героя. Каждый встречный может оказаться шпином. Тревога, тоска и одиночество. Он зашел в кофейню, закурил наргиле, закрыл глаза. «Но вместо темноты перед ним возникла солнечная соломенная желтизна. Здравствуй, Аннушка! Он почувствовал острую боль, словно его ударили ножом в левый бок. Открыл глаза. До свидания, Аннушка!»

С наступлением темноты в условленном месте он встретился с человеком по имени Исмаил. Тот привел его по безлюдному шоссе за город, в свою каменную, без окон хижину. «Исмаил, ты уверен, что за нами не было хвоста?»

Как разительно не похож этот образ коммуниста на созданный Хикметом ранее, в 1929 году:

Идет —
и лицо его дышит отвагой.
Идет пряником на врага,
шаг за шагом,
ступая твердо и тяжело...
Идет!

(Перевел П. Железнов)

Но, может быть, на этого коммуниста похож Исмаил. От него веет силой, уверенностью, спокойствием. «Не было, — отвечает он Ахмеду. — Они же не духи, эти сволочи. Неужели бы мы их не засекали?»

Повествование во вступлении отличается большой плотностью. Ахмед поселился в этой хижине с земляным полом, чтобы вы-

рывать в ней подвал для подпольной типографии. Исмаил с утра уходил и возвращался вечером, он — рабочий фабрики, расположенной в часе ходьбы от дома. Вечерами они вдвоем выносят в корзине нарытую землю. За месяц Ахмед закончил работу. Теперь нужно было ехать в Стамбул за шрифтом, бумагой, станком. Но к этому времени стало известно из газет, что начались аресты коммунистов, что разыскивают и Ахмеда. «Как ты думаешь, Ахмед, что будет нашим?» — «Кто знает? Ведь это не просто суд, а Трибунал Независимости». — «Не повесят же, братишка?» Подпольная группа не разрешила Ахмеду ехать в Стамбул. Еще месяц он прожил, не выходя из хижины. Но однажды не выдержал и вышел на шоссе. В этот день его укусила в ногу собака. Через четыре дня он прочитал в газете, что кругом бродят бешеные собаки. На следующее утро Исмаил выяснил, что собаку, укусившую Ахмеда, раздавил автобус. Не исключено, что хозяйка ее, боясь штрафа, выдумала это, и собака была бешеной. Прививка от бешенства возможна только в Стамбуле. Но врач в Стамбуле знает Ахмеда, и Ахмед «на все сто» уверен, что он его выдаст. И по пути его могут схватить. В то же время «пятьдесят шансов из ста», что собака не бешеная. Ахмед решил не сдаваться полиции и ждать. Он не поехал в Стамбул.

Все это — «Вступление». Роман начинается, когда изолированный от общества, выключенный из потока жизни, подавленный страшной неизвестностью герой погружается в самого себя. Возникает, следовательно, ситуация, излюбленная модернистами.

Приостанавливается развитие сюжета. Настоящее героя бессюжетно. События были только в прошлом, сейчас — пассивное ожидание. Лихорадочна, беспокойна композиция, построенная по принципу кинематографического монтажа. Постоянно и резко смешаются временные планы. Этот прием смещения временных планов также широко применяется в модернистской литературе, настолько широко, что приобрел довольно прочную репутацию типично модернистского, какие бы историко-литературные справки ни опровергали это. У модернистов он служит ниспровержению историзма, утверждению хаоса, отрицанию логики и смысла жизни, отрицанию цельности мира. Как он будет служить утверждению единства?

Выбор такой сюжетной ситуации, таких приемов построения романа, такой композиции — это вызов? Вызов модернизму? Или тем, кто отдает эти формы в монопольное его пользование? Тем, кто отрицает поиски новых форм художественного воплощения?

Во вступлении композиционного хаоса не возникает, хотя неожиданные, резкие, немотивированные переходы от настоящего к прошлому происходят. Прошлое возникает теперь уже не так, как на миг вспыхивающий и тотчас же гаснущий образ Аннушки в процитированных выше строчках, а как хотя и короткая, но развернутая картина, по своей изобразительной силе совершенно тождественная с картинами настоящего. Ощутимых черт воспоминания тут нет, разве только рассказ ведется от первого лица без прямого пока что вмешательства автора. Стоит уже здесь, во вступлении, присмотреться, устанавливаются ли между картинами прошлого и настоящего связи и какие — только ли на данный случай рассчитанные или уходящие куда-то в глубь романа.

Ахмед, войдя впервые в хижину, обращает внимание на вторую койку, словно бы для него предназначенную. Исмаил поясняет, что она осталась от Зии, прежнего его «жильца». Зию Ахмед, по-видимому, знает; возможно, что именно Зия выбрал место для типографии, так как сам Ахмед здесь не бывал прежде. В этот вечер Исмаил непрерывно произносит имя Зии: лопата и кирка «от Зии остались», будильник «от Зии остался», корзина, в которой они будут выносить землю, «от Зии осталась». Похоже, что Исмаилу очень нравится произносить имя Зии, что он влюблен в этого Зию.

Вечером, когда они легли и Исмаил уснул, Ахмед встал со своей койки, койки Зии, и сел на порог. Закурив, стал смотреть на убегающее вдаль шоссе, будто вздрагивающее от шума движка, работающего где-то в часе ходьбы отсюда.

...Университетская кухня, Ахмед, Аннушка, китайский студент Си Я-у, секретарь партийной ячейки Петросян и еще трое сидят вокруг ведра, чистят картошку. Очередь Ахмеда и Аннушки отнести ведро с очищенной картошкой к лохани. Они, по-видимому, только что познакомились. Отойдя в сторону, он спрашивает у нее: «Ты работаешь в канцелярии?» Она с Си Я-у на

«ты», он только что слышал. Ахмеду она говорит: «Почему вы со мной на «ты»?» Ахмед разозлился: «Как видно, ты из бывших аристократок». — «Вы же не очень похожи на пролетария». Вечером, когда Ахмед вернулся в общежитие, все спали, пустовала лишь кровать Си Я-у. Когда Си Я-у пришел, Ахмед спросил у него о родителях Аннушки. «Отец, кажется, был инженером. Колчак его расстрелял. Мать умерла от тифа».

Шум движка. Ахмед поплелся к койке, лег. Утром, проснувшись, выпил чаю из тонкого стакана. «Должно быть, тоже остался от Зии». Он приступает к рытью ямы.

Пустующая койка Зии за спиной Ахмеда в хижине, пустующая койка Си Я-у в общежитии — через эту деталь, по-видимому, осуществляется связь. Но это ассоциативная, то есть бедная, скудная связь. Вы ищете за ней смысловой. Связаны ли в нашем восприятии владельцы коек Си Я-у и Зия? Как? В сцене между Аннушкой и Ахмедом скользнула легкая тень ревности Ахмеда к Си Я-у. В хижине в этой мысленно произнесенной фразе «должно быть, тоже остался от Зии» улавливается некоторая ирония и, может быть, легкий укол ревности. Исмаил уши прожужжал этим Зией. Аристократическое происхождение заставляет Ахмеда быть очень чувствительным к тому, как относится к нему, Ахмеду, пролетарий Исмаил. Только что его упрекнули в том, что он явно не пролетарий. «Только что» — это два-три года назад, это вы знаете, но для восприятия это не имеет значения: то, что было одновременно, вы восприняли одновременно. Итак, ревность к Си Я-у и ревность к Зие. Там — это ревность в любви, здесь — это ревность к товарищам по революционной работе, ревность в деле. Не создается ли этими близкими по характеру чувствами, общими чувствами, легкой, почти неуловимая связь, не связь, а предчувствие связи, связь в форме вопроса «а нет ли связи?» — между чувством любви и чувством приверженности делу? Все это только предчувствие, не более. Но ведь и прочитано всего только вступление. А задача всех вступлений — заронить предчувствия.

Но во вступлении зарождается не только предчувствие. Будущее врывается в него непосредственно и самолично. Это происходит в первую ночь в хижине. Исмаил и

Ахмед легли спать. Жесткое одеяло колет подбородок Исмаилу. Внезапно:

«...Через тринадцать лет, зимой 1938 года, в Анкаре Исманла шесть месяцев продержат в одиночке военной тюрьмы. Одиночка — это каменная комната. Окно не застеклено, довольно и решетки. Снег будет сыпать в комнату, на цементный пол. Какие там подушки, матрац — тонкого одеяла и то не дадут, стержцы. Тогда Исманл вспомнит нынешнюю ночь, вспомнит, как одеяло кололо ему подбородок, как Ахмед дул, дул и все никак не мог погасить лампу».

Что в этом внедрении будущего в сегодняшнее — ободрение, угроза? Ободрение: плоховато сейчас, ничего, бывает и хуже. Угроза: не бывает, а будет, неизбежно будет. Однако в тоне размышления Исманла о «стервецах» нет отчаяния, он не сломен. Это читателю важно: нет уверенности в Ахмеду — он хрупок, импульсивен, душевно уязвим, не сломится ли? Он эгоцентричен, ему не чужда склонность ставить себя в центр мироздания. Когда в пятую ночь после укуса собаки они засыпали, Ахмед потревожил Исманла: «О чем думаешь, Исманл?» — «Ни о чем...» На самом деле он думал. Ахмеду хотелось, чтобы весь мир думал о его беде, а Исманл думал о своей матери.

Вступление закончилось. Начинается роман.

Его первая глава «Шестая черточка». Из медицинской книги, добытой Исмаилом, Ахмед узнал о ходе заболевания бешенством. Сначала головные боли, общее недомогание, ломота в суставах, беспричинный страх, потом боязнь воды, огня, потом желание бросаться на людей, кусаться, выть, на сороковой день — паралич. Ахмед начертил на двери мелом шесть черточек. «Что это, Ахмед?» — «Сегодня шестой день, Исманл». «Может, и не взбесится, — думает Исманл, — но дойдет до ручки за эти сорок дней».

Черточки Ахмед ставит, оказывается, не впервые, он ставит их не только здесь, под Измиром, он ставил их ранее под Москвой... Это «оказывается» совершенно меняет характер повествования. Без всякого перехода, без пояснений о том, что это воспоминание, возникает картина. По тому же поводу, что и Исмаил, и в тех же самых словах Аннушка спрашивает Ахмеда: «Что это, Ахмед?» Он только что провел сельскую черту на двери подмосковной дачи:

«седьмой день их жизни на даче, через тринадцать дней им возвращаться в Москву.

И без всякого мостика — переход к настоящему. Ахмед, накануне отдавший свой пистолет Исмаилу с просьбой застрелить его, когда он начнет выть, теперь просит его уходя уносить пистолет. Следовательно, Ахмеда преследует мысль о самоубийстве.

Снова переход в прошлое, только еще более давнее, чем московское.

Лето 1922 года, Батуми. Что-то очень важное, самое сокровенное, самое заветное хочет рассказать — или вспомнить — об этом времени Ахмед. Несколько раз начинает и обрывает себя. «В Батуме, в номере гостиницы «Франция», сажусь я за стол...» Не выговаривается, он отвлекается в сторону, говорит о батумском Ботаническом саде, о пляже. Опять: «В Батуме, в номере гостиницы «Франция», сажусь я за стол». Теперь его отвлекает проходящая по батумской улице красная конница. «Утомленные, полуголодные конники, зато мир принадлежит им...» В третий раз: «В гостинице «Франция» сажусь я за стол». Снова прерывает себя рассказом о том, как он тогда голодал. И вновь начинает: «В Батуме, в номере гостиницы «Франция», сажусь я за стол». На какое-то мгновение его отвлекает этот стол в стиле рококо, такой же, как у его деда в скутарийском ялы — приморской вилле. Наконец, прорывается то, что так долго сдерживалось, и бурным потоком несет взволнованная исповедь.

Можно изложить ее так: тридцать пять дней, по переживаниям и событиям равные тридцати пяти годам, шел он по Анатолии, и теперь мысль об Анатолии мучает его. Такое изложение совершенно убьет страстность исповеди, силу его волнения. Вот как начинается исповедь: «Тридцать пять дней — тридцать пять лет — путешествовал я, стамбульский отпрыск, точнее, внук паши, с берегов Черного моря в Анкару, потом в Болу, городок, где пришлось учительствовать. Так я познакомился с Анатолией, и вот теперь все это — все, что я там видел и пережил, — лежит передо мной в Батуме, в номере гостиницы «Франция», словно рваный, окровавленный платок на столе рококо...

Смотрю, и мне хочется плакать. Смотрю, и опять кровь ударяет мне в голову от гнева. Смотрю, и опять стыжусь скутарийского ялы». Он отрекся от всех своих при-

страстей, от желаний путешествовать по Европе, Азии, Африке, от женщин, яств, сытого существования, вина, карьеры, искусства, тюрьма не страшит его. «Но если ты станешь коммунистом, тебя могут повесить, убить, утопить... Об этом ты себя спрашивал? Спрашивал. Я спросил себя: не боишься ли ты, что тебя убьют? Не боюсь, ответил я. Сразу, не думая? Нет. Сначала я понял, что боюсь, а потом, что не боюсь. Я спросил себя: согласен ли ты на увечье, готов ли ты погерять ради злого ногу, руку, оглохнуть? Заболеть чахоткой, сердечной болезнью, ослепнуть? Ослепнуть? Ослепнуть... Положди, я не подумал, что ради этого можно и ослепнуть. Я встал. Крепко зажмурил глаза. Походил по комнате. Ощупывая руками вещи, обошел комнату. Споткнувшись, растянулся на полу. Но глаз не открыл... Потом встал у стола. Открыл глаза. Готов и ослепнуть! Немного по-детски, может быть, немного смешно... Но так!

Не книги, не уговоры, не мое социальное положение привело меня туда, куда я пришел. Меня привела туда Анатолия. Анатолия, которую я разглядел еще так плохо, с одного только краешка. Мое сердце привело меня туда, куда я пришел... Вот так...»

Это ответ на мысль о самоубийстве. Это схватка между отчаянием и мужеством. Это клятва в верности.

Читателю совершенно необходимо знать, что же было в Анатолии. Создалось неравенство между изображением того, что привело к отчаянию, и изображением того, что вооружает мужеством. Узнать это надо неотложно, этого требует цельность образа. Нет, это отложено. Между клятвой в верности и зарождением чувства верности создан разрыв, и в этот разрыв хлынули другие события, лица и чувства.

Как осуществляется ввод этих новых событий и лиц? Как осуществляется сцепление?

После исповеди — переход к пробуждению Ахмеда в измирской хижине. Ахмед некоторое время неподвижен. Вдруг он почувствовал, что здесь, в хижине, на шоссе, в доме Шюкря-бея, в Измире, на Тверском бульваре, в море, в мире чего-то не хватает, что-то пропало. Когда? Пока он спал? Он не спит уже три часа, а чувство возникло только что, вдруг, сию минуту. «Только что, вдруг, сию минуту внезапно прекратился

шум движка». Ахмед вслушивается в тишину.

Это описание душевного состояния или формальный прием изображения явлений в их слитности?.. Но как это разделить?

Далее. Четырежды был упомянут во время внутреннего монолога стол в гостинице — такой же, как в приморской вилле деда. Теперь, когда Ахмед вслушивается в тишину, всплывает сцена: Си Я-у на цыпочках входит в комнату общежития (Ахмед знает, что он пришел со свидания с Аннушкой). Си Я-у садится на стол.

Внезапный обрыв:

стол в измирской хижине больше двух метров в длину и около метра в ширину. Под ним — закрытое отверстие вырытой ямы. «Выходит, я выкопал себе могилу собственными руками...»;

стол в приморской вилле, стол в батумской гостинице, стол в общежитии, стол в хижине. Внук паши — эмигрант — студент — подпольщик. Столы — как ступени лестницы. Шаги по этой лестнице, слитный гул этих шагов.

Еще мелькают кадры. Общежитие. Хижина. Общежитие. Тверской бульвар, собака на нем, черная, не рыжая (Ахмеда укусила рыжая). Библиотека. Далее следует тот поток событий и лиц, который врывается между началом рассказа об Анатолии и продолжением его (рассказ перевернутый: сначала и то г того, что было в Анатолии, потом то, что было в Анатолии).

Ахмед в университетской библиотеке перелистывает подшивку «Правды» за прошлый, 1922 год, перед его мысленным взором встают события этого страшного года — года голода в Поволжье, ужасного народного бедствия. В библиотеке рядом с ним сидит юноша, который перелистывает книгу палочкой, зажатой в зубах, — он потерял руки в гражданской войне. В библиотеку приходит секретарь университетской партиячейки Петросян, которому нужны материалы по сельскому хозяйству: он готовит исследование и рассчитывает закончить его года через три, а у него рак, и он знает, что жить ему осталось полгода, самое большее год. Затем — рассказ о встрече с Аннушкой, во время которой она вспоминает о том, как белые расстреляли на ее глазах отца. Постучали в комнату, мать открыла, вошли два офицера и тремя выстрелами в голову убили его.

Полные трагизма события и лица. Но вот что происходит: не эта, трагическая, сторона прежде всего западает в душу читателя, он видит теперь, всматривается в проявленную в этом трагизме стойкость — стойкость народа в бедствии, стойкость безрукого юноши, Петросяна, Аннушки, их несгибаемую волю, непокоренность, неодолимую жизненную силу. Это вызвано построением повествования, его композицией.

Здесь же, в этом же разрыве, автор через голову своего героя сообщает о таком испытании непоколебимости и верности, о котором герой не мог еще подозревать. В библиотеку, где сидел Ахмед, приходит турецкий коммунист Хасан. Он не здоровается с Ахмедом, он не любит его — может быть, оттого, что Ахмед был внуком паши, может, оттого, что Ахмед попал в университет, не сражаясь на фронтах, как сражался Хасан. Хасан же, бывший военнопленный, был едва ли не на всех фронтах, на каких пришлось давать отпор врагу молодой Советской республике — против Колчака, белополяков, Врангеля и в составе организованного Мустафой Субхи турецкого полка против дашнаков и грузинских меньшевиков. Теперь он в университетской библиотеке изучает философию, но мечтает стать инженером-электриком. Далее следует короткая справка в скобках — укол иглы в сердце: «В 1932 году Хасан стал инженером-электриком. В 1937 году был расстрелян. После XX съезда посмертно реабилитирован».

Здесь же, в этой главе, названной «Седьмая черточка», рассказывается и о начале любви Ахмеда к Аннушке, об их первом поцелуе. Голоса автора и героя сливаются в этом рассказе уже без помех курсива.

«Под аркой Аннушкиного двора, в темноте, Ахмед внезапно поцеловал девушку. Она не сопротивлялась. Отдалась моим губам. Светом, отразившимся от моего сердца, я осветился весь — с головы до ног».

(Страницей выше было создано препятствие на случай бесцеремонного отождествления образов автора и героя: Ахмед с интересом вглядывался на одном из клубных вечеров в девушку, которую звали Леной Юрченко; из биографии Назыма Хикмета известно, что Елена Юрченко была первой его женой, рано умершей¹. И тем не менее

¹ См. Радий Фиш. Назым Хикмет. Очерк жизни и творчества. М. 1960.

голоса Назыма Хикмета и Ахмеда Кадри сливаются.)

Это начало любви — дано ли оно здесь только как светлое пятно в темной картине? Не попадает ли в круг темы верности и эта любовь? Аннушка, стойкая и мужественная в социальной схватке Аннушка, будет ли верной в любви? Ее отношения с Си Я-у так странны...

Вот только теперь продолжится рассказ об Анатолии. О том, как герой увидел там своими глазами нищету, темноту, приниженность, бесправие народа. О жестоких карах, которым Трибуналы Независимости (внезапно: «Сколько дадут нашим?» — «Не повесят же, братишка», — сказал Исмаил. Повесить не повесят, но что дадут? А могут и повесить») подвергают простых людей, в то время как на анкарских чиновников и депутатов меджлиса законы не распространяются. О предложении Ахмеду заманчивой должности в Анкаре, об отказе от нее, об уходе в город Болу, о первой его незрелой, наивной, но искренней, полной энтузиазма попытке служения народу. О кровавой расправе над основателем коммунистической партии Мустафой Субхи. О том, как испугались и отреклись от революционной деятельности временные соратники Ахмеда и как гибель и борьба Мустафы Субхи зажгли в душе Ахмеда чувство горячей любви и уважения к нему, укрепили его. О переезде в Батум.

Круг сомкнут. Этот круг можно назвать кругом начал: начала революционной борьбы героя, начала любви к Аннушке, начала его мучительных переживаний в ожидании беды. И все эти начала слились в единстве. Благодаря смещению временных планов? Вряд ли это было смещение или тем более смешение их. Читатель безошибочно и без усилий ориентируется во времени всех событий. Время не смещалось, а совмещалось, сопоставлялось. Для выявления чего-то общего читатель разновременное воспринимал одновременно. В скрещенных временных планах, в мгновенных контактах возникло свечение, в отсверках мерцал ореол — вероятно, будущего единого и цельного образа.

А в хижине под Измиром все хуже и хуже. Начались головные боли — вероятно, первые признаки вирусной болезни. Чтобы не думать об этом, Ахмед затевает странную и страшную игру. «Надо думать

о другом. Поочередно думаю. О чем я думаю? О том, что думаю поочередно. О том, что думаю поочередно. Думаю: о чем я думаю? Думаю о том, какие же мысли сейчас у меня на уме? На уме у меня сейчас никаких мыслей, кроме мыслей о том, что у меня сейчас на уме».

Незаинтересованно принимает он сообщение о приезде в Измир матери Исмаила, он равнодушен к радости и восторгу Исмаила, к его совершенно необычной для него экспансивности: «Такие, как моя мать, встречаются только в книгах. Измоталась, как тряпка, работала прачкой, шила солдатское белье. Лишь бы я кончил ремесленную школу». Исмаил ушел в город к матери, а когда вернулся, Ахмед спал. Исмаилу, видимо, очень хотелось поделиться своей радостью. Ему не хватало Зии. Он вспоминает: «Эх, Исмаил,— говорил Зия,— твоя мать не женщина, а сила природы. Не такая огромная и не такая заметная, как море, ветер, огонь, а крошечная, вроде атома, но все равно — основа всех основ».

И сейчас же короткая оправка:

«...Мать Исмаила умрет в 1940 году». Умрет в тюрьме при свидании с Исмаилом, у ног надзирателя, болельщика за немцев. Этот надзиратель подойдет к волчку камеры Исмаила, подзовет его: «А ну подойди-ка, уста, подойди-ка, Гитлер снова поджег Лондон... Выиграет немец войну. Не упрямысь, скажи, что выиграет». У ног этого надзирателя и умрет мать Исмаила, крохотная, сморщенная старушка. Скажет: «Я привезла тебе голубцы в оливковом масле, Исмаил. Пока везла сюда из Манисы, немного помялись. Угости и эфенди-надзирателя, сыночек», — и рухнет замертво.

Зачем нужно было светлое чувство сыновней любви тут же немедля сокрушить перед читателем рассказом о событии, которое произойдет через пятнадцать лет? Зачем нужна была эта злая весть из будущего? Автор словно бы проверяет, не малодушен ли... Кто? Герой? Он ничего не знает. Читатель? Значит, это перед читателем ставится вопрос, скажем, такой: что было бы с ним, если бы он принимал участие в борьбе, какую ведет герой, и знал, какое личное горе она причинит? Эту мысль он хочет внушить читателю? Он дрощупывает силу его социальных чувств?

Сила социальных чувств — какова она, каков ее состав? Входит ли в ее состав нежность Исмаила к матери, не шадившей себя ради сына, входит ли преклонение Зии перед матерью Исмаила, его душевность? Входит ли в состав социального чувства душевность?

Вспоминается эпизод в Батуме, который тогда лишь слегка задел внимание, а теперь зовет к себе вернуться. Ахмеда там вызвали в ЧК по поводу пропажи печати из стола редакции, в которой Ахмед работал. В разговоре с чекистом Ахмед сказал ему, что он очень похож по внешности на Мустафу Субхи. Чекист улыбнулся: «Оказывается, я похож на хорошего человека». Ахмед размышляет: «Если бы он сказал: на великого революционера, геройски погибшего товарища, большевика-богатыря, я бы понял, но просто на хорошего человека — это меня удивило».

Обстоятельства, связанные с этим ранее прочитанным эпизодом, продолжают привлекать наше внимание. Печать пропала у Ахмеда вскоре после посещения редакции Рашидом, турком, которого Ахмед знал ранее и снова встретил в Батуме. Рашид редактировал в Батуме газету, издававшуюся на турецком языке. Позже, после отъезда Ахмеда в Москву, он стал наркомом просвещения в Аджарии. В этом качестве он приезжал в Москву и посетил Ахмеда в общезитии. Ахмед познакомил его с Аннушкой. Когда Рашид ушел, Аннушка сказала: «Аджарский нарком мне не понравился. Нехороший человек». — «Почему?» Аннушка очень любила кошек. Теперь она отшутилась: «Не знаю. Просто так. Кошкам один человек нравится с первого взгляда, а другой не нравится. Таково уж кошачье сердце». Ахмед резонно возразил: «Ты же не кошка. У человека есть ум, сознание. Особенно у коммунистов. Будь я поэтом, я бы не употреблял слова «сердце». — «А ты любишь меня умом?»

Два месяца спустя Рашида арестовали как английского шпиона. Его сослали в Сибирь. Об этом Ахмед не сказал Аннушке. Это-то он знал, но он не знал, что Рашид бежал из Сибири, в 1929 году вернулся в Стамбул и опубликовал серию статей «Как я стал большевистским комиссаром просвещения», работал в охране.

Читатель возвращается к эпизоду в имирской хижине. Связи, им упущенные, заставили вернуться к прочитанному. Связи

не оборвались здесь. Впереди, где-то в «Конце двадцать четвертой черточке» (так называется глава), зайдет разговор о родителях Ахмеда. Ахмед рассказывает Исмаилу о трусливом характере своего отца. Вмешивается автор: «Ахмед не знает, что его отца в Стамбуле вызывали в полицейское управление на допрос, били и истязали, требуя сообщить, где сын. Не знает, что отец ни слова не сказал об отъезде сына в Измир, хотя это было ему прекрасно известно». Ахмеду недостает душевной зоркости. Надо тут же отметить, что эта некоторая черствость в герое, его малая душевная зоркость все же не могут лишить нас симпатии к нему. Виновата ли в этом Аннушка, ее любовь к нему? Виноват ли Исмаил, его дружба с ним? Вероятнее всего, что в этом виноват тот взрыв социальных чувств в его исповеди, который так осветил его.

С наибольшей полнотой сила социальных чувств проявит себя в главе двадцать второй, названной «Двадцать вторая черточка».

Двадцать второй день ожидания. Герой явно болен. Его обступили образы друзей. Видится Аннушка — она входит и выходит, не открывая и не закрывая дверей, она проходит сквозь стены, возникает из вырытой Ахмедом ямы, проникает через огонь лампы. С ним только друзья, врагов у Ахмеда нет. «Я никому не враг, кроме тех, кто велел убить Мустафу Субхи и его товарищей и кто убил их. Ну и еще кроме эксплуататорских классов, и не только наших, а всех эксплуататорских классов на земле. Кроме фашистов, империалистов, кроме этой Каплан, ранившей Ленина». Перечень длинен. В конце его выплывает лицо подльца в желтой чалме. Это знакомый Ахмеда по Стамбулу. Он каким-то образом попал в Россию и проник в органы ЧК. Потом еще один знакомый по Турции...

Кошмар рассеивается. Перед читателем возникают четкие эпизоды московской жизни героя.

Он с Керимом, лучшим своим другом, тоже турецким студентом, идет по Тверской. Мороз — тридцать семь градусов. Все очень буднично, они идут из бани, заглядывают в покрасневшее лицо встречной девушки, обмениваются мнениями. Никто ничего не подозревает, Москва не знает, не знает

Нью-Йорк, Париж, Стамбул, какое страшное бедствие обрушится сейчас на мир. Ахмеда и Керима оно настигло около кино «Шануар». «Из ворот хлынули грузовики, люди, толпы людей. И я услышал крик. В этот миг наверняка кричало много людей, но мне показалось, что это только один человек. Только один человек, подавивший своей мощью освещенную, суетящуюся, бесконечную улицу, ночь, мороз, прокричал: Ленин умер!» Выскакивают из домов люди. Люди плачут. Остановился трамвай, плачет вагоножатый, присев на ступеньки трамвая, плачет Керим. Один человек упал, другой. Люди плачут, обнявшись, на плече друг у друга. Маленькая старушка спросила: «Умер Ленин?», и когда Ахмед кивнул, сказала: «Беда нам! Беда нам!» «Беда нам! Голос крепнет, растет, расширяется... Я слышал, как плакали навзрыд десять, а может быть, и двадцать человек, когда хоронили моего деда. Можно представить себе, как одновременно плачут сто человек, но рыданье целого города, этот голос, — ты не в силах слышать этот голос больше пяти — десяти минут. То есть ты его слышишь, но, инстинктивно стремясь защитить свои нервы, спастись от сумасшествия, ты перестаешь его слышать, и справа, слева, спереди, сзади до тебя доносится уже не этот голос, а рыдания отдельных людей».

Ахмед стоял в карауле у гроба Ленина. Он был подле Крупской. Она широко раскрытыми глазами неотрывно смотрела на Ленина. Текла лавина людей. Вошли моряки. Их старшина, поравнявшись с гробом, приостановился, закричал: «Ах, мамочка!» — и рухнул на пол. «Порядок не был нарушен. Матросы подняли старшину и прошли с влажными синими глазами. Мне показалось, что они расстаются с морем, чтобы никогда больше к нему не вернуться... Я смотрю на Ленина, и мне хочется плакать. Аннушка, мне нет дела до того, плачут или нет, стоя в карауле. Я хочу плакать, но не могу».

Назым Хикмет в своем творчестве много раз обращался к образу Ленина, вновь и вновь стремясь выразить чувства благоговения перед ним, благодарности к нему, к человеку, которому он обязан всем светлым, что было в его жизни:

В жизнь нырнуть.

точно в летний солнечный свет,
зачем явился,

зачем живу.

на все получить ответ,

оставаться всегда молодым,
как наступающий день,
оставаться всегда молодым..
Вот земля зеленая,
эная алое,

голубь белый.

Быть с Лениным
вместе —
с одной стройки,
из одного окопа,
из одной реки.
из одной песни...

(Перевела М. Павлова)

Страницы, в которых выражены чувства величайшего потрясения, какое произвела смерть Ленина, чувства безмерной любви к нему, проявившейся в этом горе, самые яркие и в последнем романе писателя.

Социальные чувства нашли выражение в романе не только в картине горя, но и в переживании всенародной радости — здесь же, в этой вершинной и центральной главе. Здесь изображена первомайская демонстрация. Чувство, которое изображено здесь с наибольшей выразительностью, — это чувство международного братства. В демонстрации участвуют туркестанцы, кавказцы, турки, китайцы, японцы. «Как это замечательно, мать честная, как это замечательно, Аннушка! Попасть в страну, не зная ее языка, традиций, обычаев и не чувствовать, что ты на чужбине...»

Аннушка и Ахмед были счастливы своей любовью. Но продолжалась и тесная дружба Аннушки и Си Я-у. Они гуляли вместе, ходили без Ахмеда в театр. Ахмеда мучила ревность.

Есть в этой главе эпизод, восполняющий пробел в биографии героя. Известно, что он из Москвы приехал в Стамбул, потом в Измир. Известно, что делал он в Москве и Измире, но что делал он в Стамбуле? В главу врывается эпизод из этой жизни. Он и Керим на стамбульском мосту. Они пришли сюда продавать газету турецких коммунистов «Орак Чекич». Нужно кричать «Свежий номер «Орак Чекич», а Ахмед не может. «Отпрыск пашин, сын мой», — сердится Керим. «Отпрыск пашин!» Ахмед пересиливает себя, кричит. Но газету не берут. Вдруг на его глаза попала строчка под заголовком газеты, и он изо всей силы выкрикивает ее: «Пролетарии всех стран, соединитесь!.. «Орак Чекич». — «А ну, посмотрим, как соединяются пролетарии всех стран», — слышит он голос. У него берут газету. В этот раз он продал сорок шесть номеров.

Глава «Двадцать вторая черточка» является центральной и по своему местоположению в середине романа, и по накалу социальных страстей, в ней выраженных. Но она является центральной еще и потому, что в ней начинается рассказ о будущем, том будущем, к которому повествование уже прорывалось мгновенными рывками. Настоящее время романа — это, как теперь почти полностью определилось, три месяца жизни в измирской хижине в 1925 году. Под каким же предлогом, с какой мотивировкой в это настоящее входят события тридцатых и начала сороковых годов? Каковы сцепления, обеспечивающие связность повествования? Сцеплениями служат воспоминания об Ахмеди участников событий будущего. Исмаил вспомнит, например, шагая в холодной одиночке с незастекленным окном, в которое сыплется снег, о том, как кололо ему подбородок одеяло в измирской хижине, вспомнит, как Ахмед дул, дул и никак не мог погасить лампу. Он будет вспоминать об Ахмеди, когда однажды он окажется в тюрьме вместе с Керимом. Иногда при воспоминаниях об Ахмеди Исмаил почувствует непонятную грусть. Эти связи, сцепления каждый раз болью отзываются в душе читателя, заставляя предполагать худшее об исходе того настоящего, которое еще не завершилось.

Лучи, падавшие иногда из настоящего на будущее, лучи, теперь падающие из будущего на пережитое в настоящем, встречаются, пересекаются. Ходят они по окоему романа, ищут что-то, что-то нащупывают. Тот елиный и цельный образ, что творится романом?

В повествовании о будущем, о тридцатых и сороковых годах, обращает на себя внимание такая особенность. В рассказе о прошлом Назым Хикмет щедро делился своей биографией с Ахмедом. Да и в рассказе о настоящем. Известно, что Назым Хикмет участвовал в организации подпольной типографии под Измиром. Теперь же в рассказе о будущем он делится своей биографией с Исмаилом. В жизни Назыма Хикмета было однажды так, что его, уже приговоренного к пятнадцати годам, перевезли из тюрьмы на корабль, там держали в гальюне, угрозами расстрела добивались — тщетно, конечно, — признаний (закопчилилось это новым приговором на двадцать лет). Но и Исмаила в одну из его отсидок перевели на военный корабль и посадили в

галюн с задраенными иллюминаторами. Там стояло нестерпимое зловоние, было невыносимо жарко, и он стоял в моче по шиколожку. Вот как он при этом держался: некоторое время стоял, посытывая, вдруг увидел, что за ним через дверной иллюминатор наблюдают офицеры. Тогда он сел прямо в мочу, закурил и затянул песню. Потом его пытались сломить инсценировками расстрела. В другую отсидку на руках Исмаила умер в тюремном госпитале заключенный, смертельно раненный в драке, возникшей в камере. Этот человек перед смертью признался, что он должен был убить Исмаила, что для этого и была организована драка. Но так же умер признавшийся в таком же замысле заключенный на руках у Назыма Хикмета.

Автор щедро делится с героем своей биографией. При этом происходит великолепная отдача. Герой с меньшей щедростью отдаривает произведение и его автора богатствами своей души, души сильного, безгранично преданного народу и партии простого рабочего человека. Необыкновенно крепнет мускулатура романа от присутствия этого мужественного человека с его душевным здоровьем, простыми страстями, с его целеустремленностью.

Рассказано и о любви Исмаила к Нериман. Этот рассказ пересекается с рассказом о любви Ахмеда и Аннушки. Две любви, разделенные во времени более чем десятилетним промежутком, сближены, сопоставлены. Для противопоставления? Следует к этому присмотреться.

Исмаил познакомился с Нериман в тюрьме, когда она пришла на свидание со своим братом, сидевшим вместе с Исмаилом. Потом были короткие встречи и на воле — в короткие промежутки между отсидками. Она делилась с ним своими мечтами. Ей хотелось бы, чтобы у них был маленький домик с зелеными ставнями. «Полная мелкобуржуазная идиллия...» — ворчал он. «Если уж я такая, значит, такая», — отвечала она. Он говорил ей о борьбе: «Это классовая борьба, братишка. Придется и в тюрьмах посидеть». — «А нельзя ли не так часто?» Они целовались. Он берег ее. Очередной арест разлучил их. Нериман настояла на том, чтобы им пожениться: ей легче будет наводить о нем справки при переводах из тюрьмы в тюрьму. Для совершения бракосочетания Исмаилу даже сняли на момент наручники. В виде исключения им

даже разрешили встретиться в кабинете начальника тюрьмы — в его присутствии, конечно. Лишь через несколько лет выпало на долю Исмаила несколько месяцев свободы. На втором месяце беременности Нериман его вновь схватили.

В измирской избушке Ахмед, совсем разболевшийся, боясь, что его лихорадочная речь уже непонятна, торопливо, волнуясь, рассказывает о своей любви Исмаилу. Уезжал в Китай Си Я-у. Его там, возможно, ожидала смерть: предшествующую группу китайских студентов, уехавших на родину, казнили. Накануне отъезда Аннушка сказала Ахмеду, что она проведет вечер с Си Я-у. На следующий день Ахмед пришел к ней. Она была печальна и встревожена. Не подумав, Ахмед спросил у нее, гуляли ли они с Си Я-у опять по бульварам. От этого ревнивого выпытывания в ее потемневших глазах появилось жесткое выражение. Она сказала, что изменила ему с Си Я-у. Сказала, что спала с ним. Ахмед убежал от Аннушки. (Исмаил, слушающий рассказ Ахмеда, воскликнул в этом месте: «Вай, мать ее куда-сюда... Трудное положение, Ахмед».)

Через две недели Аннушка пришла к Ахмеду, вконец истерзанному ревностью, как ни в чем не бывало. На его настойчивые взволнованные расспросы она отвечала: «Разве это такое преступление, если я однуединственную ночь проспала с Си Я-у? На одну ночь сделала счастливым человека, который, быть может, идет на смерть и который так меня любит?» В конце концов она сказала: «Хочешь, считай — да, хочешь, считай — нет. Разве это имеет какое-нибудь отношение к тому, что я тебя люблю?» — «А как же?» — «Тогда не спала». — «Врешь!» — «Тогда спала». — «Не своди меня с ума!» — «Тогда не спала».

Тайна так и останется нераскрытой. Если, конечно, здесь есть тайна. Но ее нет. Для читателя ее нет.

Читателю к этому времени уже известна другая загадочная история — история гибели Петросяна. Петросян был в гостях у Ахмеда и Си Я-у. Тут же были Керим и Аннушка. Говорили на самые разнообразные темы, в том числе о смерти. При расставании все проводили Петросяна до лестницы. Петросян, как всегда, сел на перила, но вдруг, махнув рукой, соскользнул вниз с четвертого этажа. Аннушка вскрикнула. Перескакивая через ступеньки, все бросились

вниз: В вестибюле, немного в стороне, лежал Петросян с разбитой головой.

Несколько дней спустя Ахмед сказал: «Петросян кончил самоубийством». — «Нет! — воскликнула Аннушка, как будто я ее страшно оскорбил. Потом с ненавистью повторила: — Нет. Ты врешь...» Через некоторое время она сказала Ахмеду плачущим голосом: «Почему ты так сказал?.. По отношению ко мне ты ведешь себя, как садист. Тебе доставляет удовольствие портишь все самое лучшее, что во мне есть».

Почему же так страстно она отвергает мысль о самоубийстве человека, который за несколько минут до гибели сказал, что думает о смерти, что в его положении странно было бы не думать о ней? В чем заключается то самое лучшее, что оскорбил Ахмед? Вера в человека.

Своими допытываниями о Си Я-у, своими ревнивыми подозрениями он, Ахмед, также оскорбил веру в человека — веру в Аннушку, в своего друга Си Я-у, с которым они обнялись при прощании.

Что же побуждало Аннушку мучить любимого неизвестностью? Вера в человека. Вера в Ахмеда, в то, что он сумеет избавиться от своей подозрительности, от своего неверия, от ревности. И должен он это сделать сам.

Предположение о том, что история любви Ахмеда и Аннушки начинается и продолжится в кругу темы верности, оправдывается. И не оправдывается предположение о том, что истории их любви и любви Исмаила и Нериман друг другу противопоставлены. Нет, эти две любви сближены. Образы Аннушки и Нериман сближены общей участью — подруг участников социальной схватки. Постоянные разлуки с Исмаилом — участь Нериман, разлука с Ахмедом — предстоящая участь Аннушки (близок отъезд Ахмеда из Москвы в Турцию по указанию партии). Он не может сказать об этом Аннушке, ему это не разрешено, он не может сказать, что черточками на двери дачи он отмечает не приближение конца каникул, а приближение разлуки, быть может, навсегда.

В дни, когда Исмаилу доводилось быть на свободе, он не раз в своих встречах с Нериман заговаривал с ней о политике — Нериман пропускала это мимо ушей. Рассказы же о жизни революционеров она слушала с волнением. Особенно взволновал ее рассказ о Крупской. «Верная, преданная женщина. Всю жизнь отдала мужу». — «Де-

ло не в этом, братишка. Всю жизнь отдала революции». — «Конечно, конечно. Но как она была привязана к Ленину! И жена, и мать, и друг. Ты смотри, на какую любовь женщина была способна!» После смерти матери Исмаила (рассказ о ее смерти, уже известный читателю, повторяется снова) Нериман на одном из тюремных свиданий с Исмаилом, убитым горем, сказала ему: «Теперь я по-настоящему стала тебе и матерью...»

Это был ее путь в стан борцов.

В день, когда Ахмед вывел десятую черточку на двери подмосковной дачи, он узнал, что Аннушка была партизанкой. Он спросил, умеет ли она стрелять, и она рассказала, отвечая на его вопрос, где она научилась стрелять: «После того, как отца убили на моих глазах, я решила, что должна научиться... Когда мать умерла от тифа, в Сибири... Я пошла в партизаны».

Это был ее путь. Обе они в одном стане.

В конце романа все более убыстряется смена планов: измирская хижина — подмосковная дача — тюремная камера в Стамбуле. И уже проводит черточки — ногтем по штукатурке одиночки — и Исмаил.

Его втокнули в холодную одиночку. Допрос уже был. Добивались признания в том, что он получил от Зин пишущую машинку и восковку. Он заявил, что не знает никого по имени Зия. «Ты передал их Кериму». — «Я не знаю никого по имени Керим». «Ум его работал, как сумасшедший двигатель». Где Зия, где Керим? — думал он. Кто мог проболтаться? Приносят палки, ему велят ложиться. Но Исмаил, собрав все свои силы, бросается на полицейских. Он знает, что его моментально собьют с ног, но не в его натуре покорно ложиться под палки. Он знает, что на его долю придется еще больше побоев, но он нападает первым, и это прибавляет ему сил выдержать побои. Его валят на пол, пинают, бьют, он бьется, как рыба, пытающаяся вырваться из сети, на его ноги надевают специальное приспособление — фалаку и долго-долго бьют палкой по голым подошвам.

В этом месте повествования нет обрыва и переключения его в другой план. Читатель это сделает сам. Его мысль переносится к решению Ахмеда не ехать в Стамбул делать уколы от бешенства. В сущности, он тогда добровольно лег бы под палки. Он не поехал потому, что почти неизбежно попал бы в руки жандармов, а он не хотел сдаваться.

Тут вспоминаются строчки из стихотворения Назыма Хикмета:

...дело не в том,
 чтоб узником не стать,
 а в том,
 чтобы не сдаться.

Осуждение героя? Его уже поздно осуждать и невозможно. Ему очень худо. В день двадцать четвертой черточки Исмаил не пошел на работу: Ахмед совсем разболелся. У него высокая температура. Он не сказал об этом Исмаилу. Воздержался. Но Исмаил потрогал его лоб. Не сказал: «Пылаешь, как огонь». Воздержался. Сейчас он пойдет за лекарствами. Ахмед не сказал: «Какая польза будет от лекарств?» Воздержался.

В дальнейшем повествовании в восприятии читателя возникают как бы два Ахмеда: один с Аннушкой там, в Москве, другой — здесь, в Измире, и этот уже почти мертвец. Как в стихотворении Назыма Хикмета, в котором поэт рассказал о тяжелом душевном состоянии, пережитом им в тюрьме:

Шел двенадцатый год моего заключенья.
 Третий месяц, как был я живым
 мертвецом.
 Я мертвый
 лежал на полу без движенья,
 я живой
 глядел на него с отвращеньем,
 наблюдая за мертвым, неподвижным
 лицом.
 Ничего другого я сделать не мог...
 А мертвец истязал сам себя
 и был одинок,
 как все мертвецы.

(Перевела М. Павлова)

Это очень похоже на состояние Ахмеда. И вот в это душевное состояние включены, им окружены все картины прошлого и будущего, заключены, как в оболочку, как в кольцо. Ведь это состояние и есть основное, главенствующее, именно это — настоящее время романа. Как в кольце, заключены в нем и борьба Исмаила, и счастье Аннушки. И чем ближе намечающийся трагический исход, тем туже сжимается кольцо и тем больше сопротивление эпизодов, им окруженных. Эпизоды, включенные в кольцо, таранят его изнутри. Странная композиция: она сама хочет быть взорванной.

Исмаила привели на очную ставку с Керимом. Керима после избияния двадцать шесть дней держали в гробнице — бетонной камере, в которой мог поместиться лишь

один человек и то стоя — спина упирается в стену, колени в дверь. Все эти дни над его головой то вспыхивала, то гасла невыносимой яркости лампа. И теперь Керим стоит перед Исмаилом и то закрывает, то открывает глаза, закрывает и открывает. «Знаешь этого?» — спросили Исмаила. «Не знаю». — «Он тебя знает». — «Ложь». Спросили Керима. Керим молчит, глаза его и лицо то сжимаются, то разжимаются. Его поддерживают двое полицейских. Керим попал в «гробницу», потому что ничего не сказал под пытками. Через десять дней Керима отвезли в сумасшедший дом.

Мужество, которое проявлено здесь, сверхчеловеческая воля, стойкость, никакими пытками не сломленная преданность революции — разве не достанет этой силы для прорыва кольца безысходности?

Кольцо сжимается все туже. Двадцать восьмая черточка в Измире. Ахмед уже боится огня! Началось...

Будет ли кольцо разорвано? Оно должно быть разорвано, чтобы предстал во всей своей силе творимый художником образ.

И вот последние скрещения времен. И более яркие вспышки на гранях этих скрещений.

Четырнадцатая черточка на даче у Аннушки. В этот день к ней и Ахмеду приехали Керим и Маруся, девушка, которую Керим любит. Они разложили костер в лесу.

«Такой красоты, когда люди разводят костер в русском лесу, рассаживаются вокруг него, нет, не красоты — сейчас я скажу очень нескладное слово, к тому же по-русски, — а такой романтики, когда люди, глядя на пылающие сосновые ветви, мечтают каждый о своем, такой романтики не найдешь, я думаю, ни в каком другом лесу, ни в какой другой стране».

Ахмед держит руку Аннушки в своей руке.

«Черт побери, — думаю я, глядя на Аннушку. — Самое большее через двадцать дней я уже никогда не увижу этот лоб, эти волосы, этот рот, этот нос, эти глаза. Никогда. До конца своей жизни ни разу не прикоснусь к этой руке. Мы умрем друг для друга. Даже в постели я не был так близок с ней, как сейчас. Этой близости, такой близости одного человека к другому, человека ко мне, этой вызывающей слезы на глазах близости я не испытаю больше ни разу. Все эти мои мысли, я знаю, все они — романтика. Сколько уже лет вся моя жизнь — роман-

тика. И жизнь Керима, и множества других людей, которых я еще не знаю, но которых мне предстоит узнать, и жизнь Субхи, Петросяна, Маруси, Аннушки — тоже романтика. Что ждет меня и Керима на родине? Романтика!.. Кто знает, быть может, очень мучительная, кровавая. Та же романтика, что и у красного партизана, во весь опор скачущего на коне. Куда мчится всадник? Чаще всего к смерти. Но для того, чтобы жить еще лучше, еще справедливее, еще полнее».

Нет, в душе, которая может так распахнуться, не прижиться надолго ревности, черствости, эгонзму; стать этой душе душевнее.

Романтика — не это ли слово, в котором отлились чувства, события, жизнь романа? Не это ли образ, который произведение создает? Нет, это еще не то слово, не тот образ. Это лишь излучение того образа.

Глава кончается такими строчками:

«Керим запел турецкую песню. Голос у него грустный-грустный: «Возьми кинжал, убей меня, любимая...»

Когда он поет, лицо у него меняется, становится важным. Желтые глаза его полны красных отблесков костра, как у молодого волка. В них страсть к жизни, к жизни без конца и без края».

И сразу же после этих строчек, славящих жизнь без конца и без края, следует глава «Черточки в полицейском управлении».

Исмаила ведут на очную ставку с Зией. Наконец-то читатель видит Зию воочию. Какое страшное зрелище. Зия подвешен на веревках, пропущенных под мышками. Руки его скованы за спиной, закованы ноги, он голый, через окно без стекол на него хлещет дождь, мышцы его натянуты, как струны, на запястьях запеклась кровь. Полицейский начальник Исманлу: «Узнаешь?» — «Не узнаю». Начальник к Зие, показывая на Исмаила: «Узнаешь?» — «Я его не знаю».

Нет, их не сломить.

Страстная жажда жизни, восхищение и упоение ею, острое переживание ее поэзии, ее красоты, ее счастья — и вот эта сцена, рисующая несокрушимую волю в борьбе за то же самое — за счастье, за свободную и просторную и прекрасную жизнь, эта ненюкоренность, безграничная самоотверженность в борьбе — в слиянии этих чувств, в скрещении двух эпизодов, в соприкосновении двух контрастных воплощений рож-

дается энергия, разрывающая кольцо.

Назыма Хикмета из того тяжелого состояния, какое отражено в приведенном выше стихотворении, вывело посещение матери, сообщившей ему о победе китайского народа.

Звякнул замок.

Старая женщина вошла

и встала в дверях —

моя мать...

Мать и сын подняли труп.

Я за ноги взял,

за плечи она взяла,

начали медленно поднимать

и бросили в реку Янцзы.

А с севера китайской земли

сверкающие армии текли.

(Перевела М. Павлова)

У Ахмеда Кадри этого не было.

Коротенькая, в несколько строчек, глава рассказывает о том, что было с Ахмедом, очень просто, очень буднично. Он пьет маленькими глотками воду. Открыл кран умывальника — «Зия сделал». Вчера, умываясь, он почувствовал странную боязнь воды. Сегодня спокойно напился. Поставил градусник: 36,8. Подсчитал черточки на двери: тридцать. Взял мел и крест-накрест перечеркнул их мелом. Перечеркнул еще раз. Улыбнулся. Кольцо само распалось, сожженное энергией, рожденной в скрещении повествовательных планов.

Он не стал ждать сорокового дня.

Что бы ни говорила теперь элементарная, примитивная рассудительность, как бы ни убедительно казалось простое соображение о том, что бешенство и не угрожало герою, что заболевание, которое он принимал за ужасную болезнь, было всего только лихорадкой и он, убедившись в этом, воспрянул духом, а о стойкости, мужестве и преданности Исмаила, Керима, Зии, проявленных ими в борьбе, он попросту не мог знать, так как произошло все это позднее, — все это совершенно бессильно перед правдой, которую вы знаете. Вы знаете правду исцеления. Знаете правду Исмаила, Керима, Зии, Ахмеда, Аннушки, Нериман, Назыма Хикмета. Правду социальной борьбы.

Ахмед в поезде. Кто тот человек, который сидит напротив него? Ахмед его где-то встречал. Не тот ли это шпик, что дежурил у дверей партийной редакции... Шпик? Нет, он вышел на станции... Нет, вернулся... Следит. «Гад сидит напротив меня. Дремлет. На самом деле дремлет или притворяется?»

Ахмед снова в борьбе.
 Что же, и теперь он не похож на идущего человека из стихотворения Назыма Хикмета, написанного в 1929 году? Ни он, ни Зия, ни Исмаил, ни Керим? Помните:

Ветер бушует, как море,
 море бушует, как ветер.
 Грозою насыщен воздух.
 Текут с двух сторон блики света,
 словно падают звезды.
 Звучат голоса из глубин.
 из сердца углов отдаленных;
 — Куда ты идешь, мой ребенок?
 — Вернись, мой сын!
 — Вернись, мой любимый!
 — Вернись, мой брат!
 — Кормилец семьи,
 вернись назад!..

А он все идет,
 бодрый и злой,
 идет, смерти марш напевая.

(Перевел П. Железнов)

Ахмед снова в борьбе. И с ним, рядом с ним, за ним, впереди него — Исмаил, Керим, Зия... Нет, Керима нет, он не сошел с ума, его вылечили, но он умер от чахотки. Борьба продолжается.

Ахмед теперь может сказать вслед за Назымом Хикметом:

Не ношусь я по белому свету, как листок,
 подгоняемый ветром.
 Нет, я сам направляю вперед свой полет!
 И вы...

вы, которые вынесли то,
 чего бы в мире не вынес никто,
 вы можете прямо глядеть мне в глаза
 и руку мою пожать...

(Перевел П. Железнов)

Торжество социальной темы. Время не расколото, не раздроблено на куски — воссоздано его стремительное движение, то единое и общее в нем, что началось с Великого Октября. Это длящееся ныне время, это — современность. Клокочет на земном шаре борьба, все новые борцы вливаются в нее. И вот этот призыв — произведение художника, созданное незадолго до смерти.

Торжество художника — вопреки смерти. Вот он стоит вместе со своими героями: «Я, Назым Хикмет, начал писать эту книгу в 1960 году по просьбе Ахмеда, Исмаила, Зии, Аннушки, Нериман». Они — вместе.

Образ создан. И есть слово, единое слово, в котором выражены все радости и печали мира, все его сияния и надежды — высокое слово, рожденное человечеством на своем историческом пути. Это слово — коммунист.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Абрамов. Деловито, честно, всерьез — **М. Роцин.** Преодолевая банальное.— **Б. Яранцев.** Уроки «карманной школы».— **М. Бойно.** Новая книга о Достоевском.— **М. Злобина.** Герои Стейнбена.

ПОЛИТИКА И НАУКА

И. Ермашев. Мечтатели нашей эпохи.— **Ю. Рубинский.** Судьбы французской демократии.— **В. Азерников.** Эмоции и факты.— **Ю. Яхонтов.** Неопровержимые цифры.

Литература и искусство

ДЕЛОВИТО, ЧЕСТНО, ВСЕРЬЕЗ

Анатолий Жигулин. Рельсы. Стихи. «Молодая гвардия». М. 1963. 104 стр.

Уже первая книга стихов А. Жигулина, вышедшая несколько лет назад, показала, что в литературу пришел поэт со своей, выстраданной им темой. Но только в книге «Рельсы» она выразилась со всей определенностью. Лирический герой поэта — человек, пострадавший в годы культа личности, но выдержавший главное испытание — испытание на прочность своих убеждений, на верность своим идеалам.

Не надо быть особенно догадливым, чтобы увидеть, что лирический герой книги рожден нашей действительностью, в нем отразился опыт всей трудной жизни поэта. Может быть, поэтому он обладает таким важным достоинством — имеет свою биографию и ярко выраженную драматическую судьбу. Детство поэта, прошлое его края, война, первые дни восстановления, работа юности в Сибири, раздумья о жизни, о большой любви живут в стихах А. Жигулина в единстве.

Поэт рисует своего героя без дешевой сенсационности. Более того, чита-

теля, узнавшего из стихотворения «Родина» о подлинных причинах, приведших автора на Крайний Север, может удивить скупость его рассказа о своих личных болях и бедах. И только вчитываясь в стихи снова и снова, мы ощутим особое, проникающее в сердце чувство, с которым поэт говорит о работе, о товарищах, о дружбе, о любви и которое раскрывает самые глубокие его переживания. Читатель может не знать точного времени написания тех или иных стихотворений поэта, конкретных обстоятельств их появления, но он хорошо расслышит в них волнение, даже тревогу, с которой автор ищет ответы на большие вопросы жизни.

Я помню, как четыре года назад меня поразило простенькое стихотворение А. Жигулина «Сосны на скалах», напечатанное в его первой книге стихов «Огни моего города». Человек слышит по утрам, как на голой каменной скале, споря с ветром, шумят сосны. «Непонятно, странно, — думает он. — Здесь даже травы не растут». Откуда бе-

рут силы «деревья гордые»? И не ботаник, не мудрый книжник — простой пастух отвечает ему:

Они в гранит вросли корнями,
И зной и холод с ним деля.
Суровый, твердый этот камень
Для них —
Родимая земля.

Как часто в поэзии на важные вопросы даются если не пустяковые, то искусственно усложненные ответы, в которых человек тешит себя игрой в поиски истины. В серьезных обстоятельствах жизни человеку не до пустяков, хотя бы и искусно раскрашенных. Ему нужен «самый точный, простой ответ». Этого-то и доискивается А. Жигулин в своем творчестве. В стихотворении «Рельсы», рассказывая о тяжелейшей работе по прокладке в тайге железнодорожной магистрали, поэт говорит о своей гордости тем, что он не только причастен к такому труду, но что он вынес его на собственных плечах. А вот что стоит, показывает поэт, за дневной нормой хлеба: «Кто больше в день валил деревьев, тот больше хлеба получал». И вот почему он так остро вглядывается не только в усталые лица своих товарищей, но и в то, как несут хлеб из хлебобрезки, как его очень точно взвешивают — «и каждый маленький довесок был щепкой к пайке прикреплен».

Прошли года.
Теперь, быть может,
Жесток тот принцип и нелеп.
Но сердце до сих пор тревожит
Прямая связь:
Работа — хлеб.

До сих пор его волнует также товарищество, родившееся в большом труде («О дружбе»); вера в молодость, закалившуюся в испытаниях и прошедшую сквозь пламя, как те «костыли», о которых поэт рассказал в стихотворении одноименного названия; вера в «отъявленных мечтателей», способных породнить Заполярье с субтропиками («Страна Лимония»); в откатчиков, машинистов, бурильщиков, которые никогда не сдаются («Обвал»); в любовь, которая, верит он, поможет ему выжить в жестокой борьбе со смертью («Сила любви»).

Труд в стихах А. Жигулина неразрывно связан с темой душевных испытаний, и оттого выводы поэта оказываются выстраданными. Много может забыться: тяжесть

труда, холод, голод, даже горечь обид, но то, как рождается настоящая человеческая гордость, как связаны между собой работа и хлеб, что такое дружба, рожденная в труде, что такое привязанность к земле, на которой «оставлены частицы сердца флажками красными во мгле», — такое не забыть никогда. И понстине быть пусто тому человеку, который не сможет по праву сказать о себе:

Не на ватмане строил я фермы бетонные.
Но своею работой горжусь я вдвойне:
Я пронес на плечах
Магистраль многотонную!
Вот на этих плечах!
Позавидуйте мне!

Убеденный в своей правоте перед родной землей («Родина»), поэт хочет прежде всего укрепиться в главном: как жить, во что верить. А в этом случае помогает только одно — правда.

Если воспользоваться словами самого Жигулина из стихотворения «Шутка», о характере его стихов лучше всего сказать: «Деловито, честно, всерьез!» Именно честно. И именно деловито. И действительно всерьез.

Даже в названиях наиболее характерных стихотворений поэта — «Треска», «Рельсы», «Флажки», «Костыли», «Хлеб» — нет ничего условно-поэтического, ничего специально приподнятого. Слова взяты из разговорного языка или как бы из наставления по горному или путевскому делу. Но даже когда перед нами название не такое прозаическое, а приближающееся к высокому слогу, например, «О дружбе», то и в этом случае, читая А. Жигулина, не надейтесь на встречу с «красивыми», «поэтическими» словами. Автор сразу ведет разговор о деле, о сути дела. Стихотворение «О дружбе» он так и начинается:

Электровоз — это там, в квершлагае.
А здесь, под блоком на дальней ветке,
Под каплями едкой, холодной влаги
Надо вручную катать вагонетки.

И главное, читая стихотворение дальше, убеждаешься, что все эти прозаические, деловые слова: «электровоз», «квершлаг», «под блоком», «на дальней ветке» и т. д. — сама жизнь поэзии А. Жигулина, основа его поэтического мышления. Труд, отвагу в преодолении трудностей он описывает очень конкретно, вполне предметно и, кстати, очень доверительно:

Одна вагонетка — стало быть, тонна.
Катить ее надо вдоль узкого штрека.
Конечно, это поменьше вагона,
Но это немало на два человека...

Всего труднее на поворотах.
Здесь нажимать посильнее надо,
Здесь вполсилы нельзя работать:
Застрянешь —
Не вытащит вся бригада...

И вот из такого рассказа как бы неожиданно и вырастает мысль о дружбе, которой «нет на земле сильнее», и о самих друзьях, что рядом «не стояли на вахте и не ходили вдвоем в разведку». С явным вызовом поэт говорит: «Гораздо проще: в обычной шахте мы вместе катали одну вагонетку».

Конкретность, простота поэзии А. Жигулина — вовсе не синоним приземленности. Скорее это выражение подлинности героя. Ему, например, совсем не надо как-то искусственно делать себя собранным, цельным. Ему достаточно быть самим собой. Когда он говорит «мы вместе», «я с вами» — он говорит о счастье. Тем же представлением о хорошем освещена в стихах А. Жигулина и природа. Разные мысли приходят на ум его друзьям, когда они вдруг в Заполярье с одного перевала увидели море цветов. Но главную мысль выражает автор:

Цветы, цветы...
Они — как люди:
Им легче, если много их.

И цветам, оказывается, лучше, когда они «вместе». Таких психологических переключек, а также переключек, говорящих о подлинности, «несочиненности» самих фактов жизни героя лирики А. Жигулина, в его стихах очень много.

Условия и характер работы, орудия тру-

да, одежда, обувь, погода, даже температура и другие конкретные жизненные приметы со всей естественностью вошли в его стихи. Вошли и привели с собой в ямбы, амфибрахи, анапесты, дактили массу не бывших в поэтическом употреблении слов. Известные стихотворные размеры в поэзии А. Жигулина приобрели свою характерность. Они немножко неуклюжи. Они сродни облику героя стихов, у которого «ноги — пара сапог резиновых. Руки — две рукавицы брезентовые», но у которого честное и мужественное сердце. Говоря об огромности своей любви и успокаивая любимую, он, серьезно больной, не без юмора прибавляет:

Такая любовь, конечно,
Сильнее палочек Коха.
И будет просто нечестно,
Если я вдруг умру!

Жаль только, что иногда в стихах А. Жигулина встречаются прозаизмы, канцелярская стилистика («хотела песня подчеркнуть», «жизненные силы» и т. д.). Едва ли лучше и та не обогащающая лирический характер риторика, те дописки к живой картине (например, «А люди какие были! Где еще встретишь таких ты?!»), которые совершенно противопоставлены его поэзии, но порой все же прорываются в нее.

Своеобразный человеческий характер, живущий в лучших стихах А. Жигулина, в конечном счете и определил все особенности его стиха. Решающим в становлении молодого поэта явился его собственный жизненный опыт — основной материал его творчества, его умение писать живыми, незахвачанными словами.

А. АБРАМОВ.

г. Воронеж.

★

ПРЕОДОЛЕВАЯ БАНАЛЬНОЕ

Владимир Краковский. Возвращение к горизонту. Повесть. «Звезда», № 7, 1963.

Перед нами как бы дневник, хотя в нем и не проставлены даты. Причем нетрудно угадать, что дневник ведется в наши дни; автор не обозначает время известными общественными событиями, и тем не менее по всему строю повести, по деталям, мироощущению мы легко узнаем время действия: это 1962—1963 годы. Желание создать иллюзию непосредственности, подлинности, живого впечатления текущего по-

тока дней чувствуется во всем: в некоторой разорванности повествования, длинных отступлениях, множестве размышлений, порою по самым незначительным поводам, и, главное, по той искренности, с которой стремится говорить о себе юный герой.

В. Краковский решил познакомить нас с очень живым, честным и чистым пареньком, и мы рады этому знакомству, ибо Сева сразу же вызывает симпатию: его оценки лю-

дей, его отношение к жизни, чувство юмора, что и как он думает — все это нам симпатично, хотя мы сразу же попадаем в уже знакомую отчасти ситуацию: юноша, впервые пришедший на завод, взаимоотношения его с семьей, поиски своего места в жизни и т. п. Знаком и прием: рассказ от первого лица с нередкой в этом случае «стенографической записью» речи героя, его интонации, лексики, жаргона.

Взяв определенный тон, в данном случае тон несколько легкомысленно-проницательский, писатель накладывает на себя определенные обязательства; приходится выдерживать этот тон до конца, и в этом есть своя трудность, опасность стилевого однообразия. А кроме того, сам тип нынешнего молодого паренька, вчерашнего школьника, — тип уже достаточно знакомый нам по литературе, и не очень легко сказать здесь что-то новое.

В. Краковский, мы чувствуем это с первых страниц, знает об этих трудностях и всячески стремится уйти от тривиального, знакомого, хочет все сделать по-своему. Видимо, поэтому Сева и его злоключения с самого начала вызывают у нас интерес и симпатию, и мы охотно следуем за автором.

Всяких неожиданных событий, конфликтов, стычек, переживаний в повести довольно много. Папа и мама Севы работают на Северном полюсе, он живет у тети и дяди, причем постепенно начинает ненавидеть и дядю-изобретателя, «ученого-надомника», и тетю, у которой «взгляд перегоревшей лампочки» и которая только и знает что смотреть телевизор, и даже сестру Зойку; Зойка сначала вроде была ничего, девчонка как девчонка, а потом собралась замуж, совсем подпала под тетино влияние, и у нее сделались «кухонные глаза».

В. Краковскому удалось точно и смешно изобразить эту тетю, заразить нас Севиной яростью к ее ограниченности: «На экране люди тычутся губами друг в друга, а она спрашивает: «Это они что — целуются?» Тетя без конца задает свои глупые вопросы, без конца смотрит телевизор — однако, что бы там ни показывали, она никогда не забывает о том, что делается на кухне. «Не было еще ни одного случая, чтоб на кухне у нее что-нибудь выкипело, сбежало или подгорело. Пусть люди разлетаются на куски, тетя в нужный момент всегда вспоминает о своей кастрюле».

Скоро читатель понимает, что Сева с молодой бескомпромиссностью, непримиримостью относится ко всему, в чем видит рутину, банальность, приспособленчество, мешанское самодовольство.

На заводе Сева работает учеником слесаря, работает хорошо, здесь он находит и тут же едва не теряет друга Леську: вышло недоразумение — говорили, что Сева украл у своего товарища рационализаторское предложение. Из-за этого недоразумения Севу едва не выгоняют из комсомола, он уходит от дяди с тетей, разбив напоследок ненавистный телевизор (кстати, совсем как Олег в известной пьесе Розова, только там рублили мебель саблей).

Потом Севе надо уезжать на Северный полюс, ему приходится расстаться со всеми, кого он узнал и полюбил, и только в день отъезда чувствует он по-настоящему, как он все полюбил на заводе, и, уезжая, он уже словно бы возвращается, потому что горизонт, к которому летишь и стремишься во сне, горизонт — мечта, — это, оказывается, и есть вся эта жизнь, эти люди, этот завод. Отсюда и название повести «Возвращение к горизонту».

Писатель использует злоключения героя, перипетии сюжета именно с тем, чтобы раскрыть нам мироощущение Севы, его натуру, его учебу в школе жизни, но в целом, несмотря ни на что, наука эта, как оказывается, нетрудная, и вообще жизнь веселая штука, а Сева тоже добрый и веселый паренек. Он немного легкомыслен и неусидчив, и талантов тоже никаких не обнаружил, вожак или передовиком не стал, но это, конечно, не беда — главное, что с самим собой он был честным или во всяком случае очень хотел быть таким. И главное, он вместе с В. Краковским очень не хотел быть похожим на примелькавшихся героев, стремился бежать от банального.

Вот несколько примеров из его исповеди: «Стемнело. Я снова смотрел на Луну. На ее тени. И хотя она опять взошла над окнами, где живут раздевающиеся девушки, я не боялся, что меня и на этот раз потянет опустить бинокль ниже Луны. Теперь не было такого желания. Раньше я был какой-то гадкий. Ничего не мог поделывать с неприятными мыслями, которые возникали в моей голове, будто это голова не человека, а шимпанзе. Я читал у французского писателя Ренара: «Мы не ответственны за все

выходки нашего мозга. Мы можем изгонять безнравственность, но не можем помешать ее возникновению». Что-то в этом роде. Почему он не переставил слова: «Мы не можем помешать возникновению безнравственности, но можем изгонять ее»? Смысл настолько изменяется, что можно считать автором уже меня».

Хочется обратить внимание на это рассуждение, симпатичная наивность которого и его лексический и интонационный строй очень характерны для нашего героя.

Или вот еще: Сева нашел в цеху пачку денег и вернул ее кассирше. О нем написали в многотиражке: «Так поступают советские люди». Сева думает: «Тут что-то неправильно. По-моему, Галилей тоже отдал бы чужие деньги, хотя он жил еще при феодализме».

Это лишь два небольших примера, но можно было бы цитировать и цитировать, показывая, как автор изо всех сил стремится победить банальщину острым замечанием, шуткой, неожиданным поворотом мысли, гротескной черточкой.

Афоризмы Севы нарочито наивны. В. Краковский как бы говорит нам: вот, устами младенца глаголет истина. Но здесь-то и хочется спросить: не слишком ли ходячи эти изрекаемые Севой истины? Не встречался ли нам уже ранее телевизор как символ мещанского уюта (когда-то были таким стертым символом семь слоников на диванной полочке), не стал ли тривиально-анекдотическим случай с возвращением найденного кошелька и чувствованием нашедшего? Неожиданно обнаруживаешь, что уровень понимания вещей героем — чаще всего та же банальность, он и не замечает, что сам остается в той же системе мышления, лишь несколько освеженной легким остроумием.

Антимещанская направленность повести могла бы быть гораздо более сильной, если бы автор, сражаясь с банальностью, не пытался победить ее с помощью средств, которые по мере чтения повести все более и более походят на нечто литературно испробованное и заношенное.

В повести, например, очень много звезд, обыкновенных звезд. Сева не только смотрит на луну в бинокль, но еще очень часто глядит на звезды. Правда, писатель порою как бы иронизирует за это над самим собой и над героем. Сева думает о том, как, дескать, он станет стариком и будет гово-

рить подрастающему поколению: «Теперь тех звезд нету... Погасли уж. Нынче таких не делают. Нынче разве звезда?» и т. д. Но все-таки звезд много. И вот в конце повести мы вдруг видим, что и тетя глядит в небо. «По вечерам она теперь читает книжки, которые я ношу ей из библиотеки, или сидит у окошка и смотрит в небо...» И тете даже удается «сделать открытие», что звезды, оказывается, на разной высоте.

С дядей тоже все не так просто, и хотя неприязнь к дяде доходит до открытого конфликта и дядя дает Севе по физиономии, в дальнейшем Сева все-таки постепенно понимает, что дядя — незаурядный человек, и проникается уважением к дядиному труду и упорству и даже с обычным юмором думает, что их с дядей когда-нибудь забальзамируют и выставят в музее как «редчайший в истории человечества случай, чтоб родственники и вдруг — друзья».

Угрюмый «ученый-надомник» делает в конце концов гениальное открытие, окончательно спасая себя в глазах Севы.

Тетю и Зойку с «кухонными глазами» герой вместе с автором воспринимает как нечто очень банальное, но вот зато «удивительную» девушку Сашу и академика Щеглова, который приезжает сообщить дяде, что Академия наук присваивает ему «гонорис кауза», то есть без диссертации, степень доктора, автор изо всех сил хочет представить нам персонажами поэтическими и необычными. Академик попадает на Зойкину свадьбу, поет, веселится, выпивает с Севой и рассказывает ему про жизнь — словом, автор изо всех сил «оживляет» академика, но даже если бы академик пошел еще вприсядку, он не стал бы от этого менее условным и знакомым до предела, как, впрочем, и «удивительная» Саша.

Автор полегоньку уводит Севу от сложного и серьезного ко все более облегченному рассуждению, легким развязкам, испробованным концам, изменяя своему замыслу и вступая на тот путь, который вначале самим же им был отвергнут.

Мы ни в коем случае не против радостного, веселого, чуть по-мальчишески легкомысленного тона повести — пусть Сева такой, читатель может этому поверить. Хотелось бы обратить внимание лишь еще на одно обстоятельство.

В последнее время у многих героев «молодежных» повестей, романов, рассказов

что-то странное происходит с возрастом: думаешь, к примеру, что Пете или Володе пятнадцать лет, а автор, рисуя необъяснимо инфантильного молодого человека, утверждает, что двадцать. Может быть, виноваты в этом не одни писатели, а и та житейская практика, когда восемнадцатилетних все еще считают детьми и опекают на каждом шагу, где надо и где не надо.

Кстати, сколько лет было Онегину, Печорину, Чацкому, Базарову, Рудину? Да почти столько же, сколько теперь нашему «среднему» герою «средней» юношеской повести. «Философы в осьмнадцать лет» и наши Мишки, Сереги и доморожденные Джо-зы! Да неужели и в самой жизни все у нас в этом возрасте недоросли, маменькины сынки или мальчики хоть и с усами, но в коротких штанишках?

Герою повести В. Краковского девятнадцать лет. Просто не веришь, когда автор исподволь, задним числом, сам, видимо, чувствуя натяжку, сообщает нам об этом. Все, что Сева говорит, делает, думает, как он думает (приведенные цитаты дают, на мой взгляд, ясное представление об этом), сви-

детельствует о том, что Севе никак не больше шестнадцати. Достаточно прочесть десять первых страниц, чтобы и понять и привыкнуть к тому, что Сева еще совсем мальчишка. (Кстати, это относится и к его сестре Зойке: сначала написана как бы одна Зойка — большеротая девчонка с челкой, а затем вдруг становится известно, что ей двадцать лет и она выходит замуж). Эта путаница в возрасте в общем ничем не оправдана: в шестнадцать тоже можно работать на заводе, смотреть в бинокль на луну, философствовать, а уж не уметь сварить кашу и разбивать телевизоры даже как-то лучше в шестнадцать — во всяком случае правдивее.

Думается, и эта натяжка не случайна: у автора не хватило серьезного, глубокого, исследовательского внимания к психологии своих героев.

Очень жаль, но слишком много знакомого оказалось в умело, легко написанной повести молодого писателя и слишком мало открытого вновь, впервые, оригинального и неподдельного.

М. РОЩИН.

★

УРОКИ «КАРМАННОЙ ШКОЛЫ»

Ф. Кривин. Карманная школа. Закарпатское областное книжно-газетное издательство. Ужгород. 1962. 208 стр.

Первая книга молодого ужгородского писателя Феликса Кривина «В стране вещей», выпущенная два года назад «Советским писателем», привлекла к себе внимание и своей необычной — полубасенной-полусказочной — формой, и живым юмором, чуткостью к жизни слова.

И вот теперь перед нами новая книга писателя — «Карманная школа». О чем она?

«Вы покидаете многих друзей и среди них — своих верных товарищей: грамматику, математику, физику. Им очень жаль расставаться с вами, и на прощанье они хотят сказать вам несколько слов. Нет, нет, — совсем не о том, как спрягаются глаголы, как извлекается корень или в чем разница между постоянным и переменным током. В этой книжке Грамматика, Математика и Физика расскажут о жизни».

Чему же хочет научить нас автор, знакомя с самодовольным Безличным Глаголом, с атаманом разбойников — кровожадным Минусом, с Белой Тучкой, «которая

выплакала себя, потому что связалась с легкомысленным Ветром»?

Прочтем одну из новелл первого раздела — «Черточка». Перед нами повесть о скромной Черточке, которая «с большим искусством разделяла самые сложные слова, присоединяла нераспространенные предложения, даже принимала участие в образовании некоторых частей речи» — словом, «знала свое дело», и «все любили Черточку за ее скромность». Но вот однажды ее «вызвали»:

«— Думаем перевести вас на место Тире. Там — больше простора, сможете развернуться...»

— Но я не справлюсь, — замылась Черточка.

— Ничего, справитесь. В случае чего — поможем».

И что же? В предложении наступила теперь полная неразбериха, и если бы только это! Получив права Тире, «шумит Черточка, скандалит, не поймешь, что с ней произо-

шло. Такая была скромная Черточка, такая воспитанная и с работой справлялась неплохо,— а вот повысили ее, назначили на место Тире...»

О такой «выдвинутой» Черточке Ф. Кривин прямо говорит, заканчивая эту новеллу: «Да, конечно, это была ошибка!»

А ведь это относится и к Нолю, который всегда норовил встать перед другими цифрами — «что ему их многозначность? Он сам Ноль — не кто-нибудь!», и к Единиче, которую за многолетнюю безупречную службу стали возводить в степень, даже тысячную! «А что изменилось от этого? Ничего — ровным счетом. Ведь Единича в тысячной степени — та же Единича!»

Это не констатация какого-то ясного каждому жизненного случая и не традиционная лобовая дидактичность, опасность которой всегда так сильна в иносказательных жанрах. Благодаря чувству меры, ненавязчивости своих аллегорий Ф. Кривину удается в непритязательной, шутливой форме сказать нечто важное о месте человека, о его долге.

Из приведенных выше примеров видно, как умело, даже изобретательно обращается Ф. Кривин со словом. Об этом же может свидетельствовать и рассказ о войне математических знаков, о действиях ловкого, умеющего устроиться Знака Умножения, «философия» которого отлично выражена в его песенке:

...Умножить — значит, умно жить,
А умно жить — умножить!

Ф. Кривин не использует ни одного «придуманного» слова. Лексика его «Школы» совершенно обыкновенна. Но оказывается, что хорошо известные слова и словосочетания на определенных смысловых «стыках» обнаруживают множество оттенков, которые позволяют заметить новые свойства в известных вещах.

Вот, например, известная похвальба «Всегда режу правду!» А что, если этому выражению вернуть его первоначальное, никогда не существовавшее прямое значение? Что получится, если попробовать по-настоящему разрезать правду? Две половинки, две «полуправды», каждая из которых с одного боку вполне может сойти за настоящую. Слабому правда не под силу: «большая она, Правда, тяжелая». И вот ловкачи купили на базаре «одну Правду на двоих».

Разрезали Правду на две части. Получились две полуправды, каждая и полегче, и поудобнее, чем целая была... Теперь им куда легче разговаривать между собой.

Там, где надо бы сказать: «Вы подлец!» — можно сказать: «У вас трудный характер». Нахала можно назвать шалуном, обманщика — фантазером.

И даже нашего Дурака теперь никто дураком не назовет.

О дураке скажут: «Человек, по-своему мыслящий».

Вот как режут Правду!» («Цена деления»)

Как видим, и изобретательность, и даже игра словами у Ф. Кривина тут не самоцель. Он учит ненавидеть хвастунов, ловкачей, приспособленцев.

Осваивая новый жанр, которому и название-то точное подобрать трудно, Кривин как бы «внутри» этого жанра находит свои, так сказать, подвиды, уже известные, освоенные читателем. Тут и лирические миниатюры («Служебные слова», «Треугольник»), и злой, непримиримый памфлет («Костер в лесу», «Цена деления»), и собственная басня с ее традиционными персонажами из мира зверей («Тепловая энергия»), и сказка с сугубо волшебными атрибутами и со сказочной верой в реальность невозможного («Три сказки вместо предисловия») — словом, это разнообразная остроумная книга.

Тем обиднее, когда автор начинает изменять самому себе и место тонкости и глубины занимает заурадное назидание («Масса», «Состояние покоя», «Гроза») или унылое философствование («О тренинги»); к сожалению, третий раздел книги «Живая физика» в целом слабее первых двух, посвященных Грамматике и Математике.

Еще хуже, когда сам автор, обычно чутко вслушивающийся в смысловые оттенки слова, не учитывает возможных ассоциаций. Вряд ли хороший семейный союз — даже Угла со своей Прямой — стоит называть дружным и счастливым, «хорошим треугольником» («Треугольник»). Небрежное обращение со словом мстит за себя, в такой книге мстит вдвойне.

Закрывается книжка, «Школа» окончена. И думается, что Ф. Кривин, продолжая путь, начатый его первыми сборниками, может пойти по новым дорогам — неизведанным и еще более интересным.

Б. ЯРАНЦЕВ.

НОВАЯ КНИГА О ДОСТОЕВСКОМ

М. Гус. Идеи и образы Ф. М. Достоевского. Гослитиздат. М. 1962. 512 стр.

Говорить об «идеях» и «образах» гениального писателя — значит, на наш взгляд, не отрывая друг от друга эти два понятия, сделать видимой скрытую, отнюдь не прямолинейную связь между объективным содержанием эпохи, мировосприятием художника и его творчеством — задача, требующая от исследователя неуклонного историзма и, разумеется, понимания специфики искусства.

Эту задачу и ставит перед собой М. Гус, пытаясь проследить на сложнейшем материале творчества Достоевского, «как его корни уходят в его современность».

Обширное исследование охватывает весь жизненный и творческий путь Достоевского. В книге рассматриваются — как правило, в тесной связи с идейной борьбой тех лет — важнейшие произведения писателя, от «Бедных людей» до «Братьев Карамазовых». Даются — правда, в значительной части беглые — сопоставления творчества Достоевского с творчеством его современников. Словом, в работе заметно стремление воссоздать единый и противоречивый облик Достоевского — как писателя, гражданина и человека.

Отрадным представляется и то обстоятельство, что М. Гус не уклоняется от ответа на спорные, нерешенные вопросы, возникающие при изучении наследия Достоевского. Но, к сожалению, чем дальше и подробнее знакомишься с книгой, тем чаще задумываешься: а не упрощает ли автор то, о чем пишет, и не облегчает ли тем самым поставленную перед собой задачу?

Взять хотя бы ведущую проблему работы — рассмотрение идейной эволюции, идейного кризиса Достоевского. Автору кажется, что ему удалось найти точную и все разъясняющую аналогию: идейное развитие Достоевского, утверждает М. Гус, «во многом повторило попятное движение Гоголя от «Мертвых душ» к «Выбранным местам из переписки с друзьями».

Достоевский — в сороковых годах петрашевец, утопист, «мечтатель» — после каторги «отказался от социалистических утопий и пришел к утопиям «почвенничества», к утопиям «православно-монархического народничества». Исследователь делает вывод, что закончил свой путь Достоевский как мы-

слитель и художник, автор «Братьев Карамазовых» «заодно с... Победоносцевым». Не слишком ли категорично звучит это «заодно»? Более того: уместно ли оно вообще?

Бесспорно, что Достоевский «разуверился в возможности и целесообразности революции» в России. Однако, нам думается, было бы крайне опрометчиво ставить знак равенства между его утопией и «православно-монархическими» воззрениями и провозглашать писателя «пылким паладином бога и царя», как это делает М. Гус уже в предисловии.

Известно, что шестидесятые—семидесятые годы прошлого века были временем глубокого и, как показало будущее, не бесплодного кризиса всей передовой русской мысли после поражения освободительного движения. Трагически-тревожно звучали в пореформенную пору в произведениях Некрасова, Чернышевского, Щедрина вопросы о революционных возможностях народа, и прежде всего русского крестьянства, о путях исторического развития России.

Занимавшего иные политические позиции Достоевского волновали и мучили «те же вопросы, только с другого конца», и едва ли можно согласиться с мнением М. Гуса, что жизнь и интересы русского крестьянства оставались неизвестны писателю.

Книга М. Гуса начинается с утверждения, что «пребывание в деревне в детские годы не дало Достоевскому подлинных реальных знаний о русском крестьянстве, составлявшем тогда основную массу трудового народа». Ребенком Достоевский приезжал в деревню «как на дачу», любил резвиться с братьями в лесу, гулять в тенистой липовой роще. Поэтому «безоблачное» представление о русской деревне и отразилось в «Бедных людях». Так бесхитростно прям, по мысли исследователя, путь от реальной действительности, детских наблюдений будущего писателя к их художественному воплощению. Стоит, например, брату Достоевского заметить в воспоминаниях, что их детские игры часто происходили «в липовой роще с перебегами через поле», как тут же следует комментарий М. Гуса: «О своей любви гулять в зеленой, тенистой роще повествует и Варенька Доброселова».

Далее автор с укоризной пишет, что «Достоевский... крестьянства не познал и на каторге».

И наконец: «Посетив через сорок лет Даровое, Достоевский не стал вникать в жизнь крестьянства, разбираться в сложных процессах пореформенной деревни».

А между тем именно в эти годы Достоевский высоко оценил только что вышедшую «Анну Каренину» как раз за то, что в этом романе выразилось все, «что есть неизлечимейшего в нашей злобе дня». Кстати сказать, об этом упоминает и М. Гус, но словно не замечает, что высказывания самого Достоевского приходят в противоречие с концепцией исследователя. Особенно поразил Достоевского разговор трех помещиков — Левина, Облонского и Весловского — о тех важнейших социальных процессах, которые начались в России. о хозяйственном укладе барина и мужика после крестьянской реформы. В этих вопросах и заключено «самое главное и самое тревожное» в современной жизни, не раз подчеркивает Достоевский. Тщетно. Исследователь знает свое: «Не стал вникать и разбираться» — и все тут.

Если же вы читаете в романах Достоевского страницы, на которых, кажется, выступает запекшаяся кровь безвинных жертв, — о мальчике, затравленном сворой собак помещика-генерала, или о том, как плачет присинившееся Мите Карамазову голодное крестьянское «дитё», то не думайте, что это говорит о знании писателем реальной жизни, о его мучительных раздумьях. «Картину этих страданий, — дает справку М. Гус, — Достоевский заимствовал не из своих личных наблюдений, а из материалов о страшном голоде 1873—1874 годов, которыми были полны тогдашние газеты и журналы». «Литературного происхождения, — добавляет М. Гус, — и рассказы Ивана Карамазова об истязаниях детей».

При таком подходе отражение эпохи в творчестве писателя выглядит удручающе эмпирично — из какой газетной или журнальной статьи могли быть «заимствованы» образы такой степени обобщения, порой образы-символы, характерные для Достоевского, называвшего себя «реалистом в высшем смысле»? Да и по существу неверно полагать, что Достоевский «увидел и воспринял трагическую сторону жизни русского народа только психологически, а не социальную». Такое противопоставление осо-

бенно неправомерно для русской литературы XIX века, предельно насытившей психологическое социальным и сделавшей «диалектику души» выражением социально-философских конфликтов времени. В творчестве таких писателей, как Достоевский и Толстой, психологическое всегда выступает как особое, часто самое острое и глубинное проявление социального.

Для Достоевского вопросы о революции и социализме неизменно оборачивались вопросами о внутренних возможностях человеческой личности, о вере и неверии, о свободе и деспотизме, о бунтарстве и рабстве в душе человека и в истории общества.

Неприятие Достоевским революции, неверие в нее тем не менее еще не делает великого писателя единомышленником Победоносцева. Какими бы неопровержимыми доказательствами идейного влияния Победоносцева на Достоевского ни казались их субботние «задушевные беседы» и широко известная переписка по поводу «Братьев Карамазовых», не следует преувеличивать значение этих биографических фактов.

«Реакционное влияние, — пишет М. Гус, — оказывалось на Достоевского и в домах Е. А. Штакеншнейдер и графини С. А. Толстой, вдовы поэта А. К. Толстого». Правда, с этими коварными влияниями спорило дружеское общение с Достоевским А. В. Корвин-Круковской и ее мужа — Жаклара — участников Парижской коммуны. Но, как мы узнаем, спорило безуспешно. «С одной стороны — Жаклары, с другой стороны — Победоносцев и Соловьев, — между этими полюсами металась мысль Достоевского... Разумеется, он был заодно с Соловьевым, с Победоносцевым и против Жакларов», — пишет М. Гус. В таком освещении писатель выглядит подвластным противоположным веяниям и течениям, плывущим «без руля и без ветрил».

Не говоря уже о том, что такое представление менее всего может быть связано с обликом Достоевского, невольно вопрос о разделяемых писателем политических доктринах сужается до вопроса о личных взаимоотношениях и дружеских связях. Здесь надо быть крайне осторожным в своих выводах.

В нашем изучении наследия Достоевского есть, однако, и иная точка зрения, внутренне спорящая с концепцией М. Гуса и в особенности с только что отмеченным сведением политических и философских воззре-

ний писателя к реакционности победоносцевского толка. В журнале «Вопросы мира и социализма» (№ 5, 1963) опубликована недавно статья Ю. Карякина «Антикоммунизм, Достоевский и «достоевщина», в которой дается социально острый, злободневный анализ мировоззрения Достоевского, в частности его отношения к революции и социализму.

Социализм так, как его видел и понимал Достоевский, был для него лишь выражением «буржуазности» и критиковался им именно за эту «буржуазность». Как показывает Ю. Карякин, Достоевский «знал лишь мелкобуржуазные формы социализма (причем почти всегда брал в них лишь наихудшее). Основным материалом для его общих суждений о революции была деятельность анархистов». «Отсюда объяснима и оправдана его борьба против «социалистов» — наследников буржуазного закона «всеобщего поедения» — и морали «все позволено», против тех, кто видел «в сечении голов самый простой способ» устроить всеобщее счастье. Объяснимо, но не оправдано то, что таких «социалистов» он выдает за образец социалистов вообще», — заключает Ю. Карякин. Не затушевывая противоречий мировоззрения и творчества Достоевского, опираясь на оценки Ленина и Горького, Ю. Карякин говорит о значении художественных прозрений великого писателя.

Нам следовало бы чаще вспоминать замечательную мысль Щедрина: Достоевский «не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества». Великий революционер-демократ видел в этом особую заслугу Достоевского

Самые драгоценные и долговечные открытия Достоевского надо искать не в отдельно выхваченных и поневеле односторонних «высказываниях», а в образном строе, в художественной структуре его произведений. Недаром Достоевский признавался: «Другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Ихним реализмом сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь, а мы пророчили даже факты: Случалось». Но такой Достоевский — писатель, устремленный в будущее, предвосхищавший в чем-то заботы отдаленнейших вре-

мен, — к глубокому огорчению, отсутствует в работе М. Гуса.

Хотя автор и декларирует необходимость проникновения во «внутреннюю природу характернейшей особенности творчества писателя», но как раз о выполнении этой задачи беспокоится меньше всего. М. Гус словно не замечает, что каждая цитируемая им строка Достоевского вопиет против узко эмпирического ее истолкования.

Действительность для Достоевского — это не только мир, который мы непосредственно наблюдаем. Писатель делает доступным нашему уму то, что порой скрыто от взора, — многомерность явления, его глубинные истоки. В его творчестве явление предстает перед читателем как бы в бесконечном множестве аспектов — то звуча высокой трагедией, то неожиданно взрываясь фарсом.

Стоит вспомнить хотя бы Легенду о Великом инквизиторе. Дерзновенная логика Легенды, утверждающая свободу и могущество человеческого духа, означала собой вызов деспотизму, взрывала победоносцевскую инквизиторскую святость. Еще раз прозвучало грозное «Не приемлю!», которое не уставал говорить Достоевский «эвклидовой дичи» окружающего мира.

Толкование Легенды, разумеется, может быть спорным, но в книге М. Гуса ее художественный смысл вообще ускользает от автора и она превращается в плоскую аллегорию, притом сугубо реакционного толка.

Автор исследования берет на себя также смелость утверждать, что в романе «Братья Карамазовы» «Достоевский потерпел и художественную неудачу». Как пишет М. Гус, «великий человеколюбец Достоевский далеко не всегда умел показать людям людей — реальных, живых, а не выдуманных. Так вышло и в «Братьях Карамазовых». Достоевскому не удалось создать полнокровные, правдивые, полнокровные образы положительных русских людей своего времени, ибо и старец Зосима и юноша Алеша — отвлеченные, надуманные схемы, а не живые люди во плоти. А сильно написанные карамазовцы — старик Карамазов, Дмитрий, Смердяков, воплощающие гниль и разложение барской, дворянской, крепостнической среды, особенно рельефно подчеркивают безжизненность положительных героев романа». И эти весьма спорные суждения — все, что сказано о художественной специфике романа.

Жаль, что среди литературоведов, внесших значительный вклад в изучение творчества Достоевского, даже не упомянут М. Гусом М. М. Бахтин — автор книги «Проблемы творчества Достоевского», сохранившей свой научный интерес и поныне. А между тем эта книга помогает понять внутреннюю природу художественности Достоевского, того, что пережило его философские и социально-политические воззрения в узком смысле слова. И тогда начинаешь видеть не «безжизненность положительных героев» и отсутствие «полнокровных образов», а нечто принципиально иное.

Образ у Достоевского — это прежде всего особое сознание, особая точка зрения на мир. Как художник Достоевский мыслит не отдельными «мыслями», «высказываниями», политическими или философскими «положениями», а целыми самостоятельными духовными «мирами», спорящими друг

с другом, утверждающими себя. В этом состоит одна из характернейших особенностей его творчества.

Книга М. Гуса, призванная показать органическую связь истории и творчества, как раз мало исторична; в ней смешаны пропорции и утеряны масштабы явлений. «Идеи» Достоевского чаще всего истолкованы упрощенно, «образы» же — то, что имеет непреходящую ценность — не раскрыты в их своеобразии, в их внутренней форме. Достоевский превращается под пером критика в писателя, то и дело терпящего «художественные неудачи». Поэтому, несмотря на свою обстоятельность, обширный историко-литературный фактический материал, книга рождает желание спорить с самим истолкованием, «сцеплением», освещением фактов, с самим внутренним пафосом работы.

М. БОЙКО.

★

ГЕРОИ СТЕЙНБЕКА

Джон Стейнбек. Зима тревоги нашей. Роман. Перевод с английского Н. Волжиной и Е. Калашниковой. Издательство иностранной литературы. М. 1962. 312 стр.
Джон Стейнбек. Жемчужина. Перевод Н. Волжиной. Квартал Тортилья-Флэт. Перевод И. Гуровой. Гослитиздат. М. 1963. 264 стр.

Стейнбек вступил в литературу с таким запасом оптимизма и юмора, что его, пожалуй, хватило бы с избытком на десятилетия. К сожалению, «Квартал Тортилья-Флэт» появился на русском языке с опозданием более чем в четверть века вслед за «Зимой тревоги нашей» и одновременно с последним очерком Стейнбека «Путешествие с Чарли в поисках Америки». Говорят, нет худа без добра — мы получили возможность убедиться, что «Квартал Тортилья-Флэт» с честью выдержал испытание временем, и заодно — измерить путь, пройденный Стейнбеком. Рассказывают, что в свое время «вся Америка» смеялась над похождениями Дэнни и его друзей, и в это легко поверить. Читать книгу — истинное удовольствие, и хотя известно, что писание даже самых веселых историй — тяжкий, мучительный труд, чувствуется, что Стейнбек писал с радостью и наслаждением, с легким сердцем и открытой душой, искренне упиваясь щедростью собственной фантазии.

Читателя, который захочет по этой книге познакомиться с Америкой, ждет разочарование: ни в 1935 году, когда вышла в свет повесть, ни в более отдаленные времена — словом, никогда не существовало страны,

изображенной Стейнбеком. Он сотворил ее из грубого материала действительности, но старательно перевернул все с ног на голову; он доверил так называемым подонкам общества почетную роль положительных — нет, идеальных героев. Известно, что Иванушка-дурачок, любимец народной сказки, день-деньской валялся на печи и вообще не отличался ни деловой смекалкой, ни трудовым энтузиазмом. Беспечный и удалой босяк Дэнни — из той же породы неисправимых бездельников.

Сказать, что Стейнбек сочувствует своему герою, — значит ничего не сказать. Стейнбек влюблен в него, хоть и прикрывает свою любовь насмешкой; он восхищается Дэнни, он не устает любоваться Дэнни, он славит Дэнни с веселым и озорным пафосом. Подивитесь и вы на Дэнни и его верных друзей — они стоят того. Бесшабашные пьянчужки, голь перекатная, драчуны, гуляки, беспардонные воришки и лихие бабники — вот они каковы, эти любимцы Стейнбека. Писатель не боится хватить через край, живописуя разнообразные пороки своих героев — чем больше, тем лучше: пусть никто не упрекает их в буржуазных добродетелях. Для Стейнбека они воплощение антибур-

жуазности в дурном и в хорошем — и тем ему и мило. Богатый и уважаемый Монтерей, на задворках которого они живут, в повести не показан — лишь изредка проплывают на автомобилях «жирные дамы с глазами скучающими и мудрыми, как глаза свиной», — но, оставшись за пределами книги, он присутствует в качестве подразумеваемого антимира.

У стейнбековских пайсано одно, но зато какое великое преимущество перед «нормальными» гражданами «нормальной» Америки: они, как с научной сухостью сообщает автор, «не стали рабами сложной системы американского бизнеса». У них не только нет никакой собственности, им чужд дух собственности, наживы, деловой предприимчивости, и за это редкое качество Стейнбек великодушно отпускает им все большие и малые грехи. Дэнни и его друзья бескорыстны и, стало быть, свободны — может ли быть участь завиднее и достойнее в мире жалких рабов чистогана! Разумеется, свобода — понятие относительное, как и все прочее. Монтерейскую тюрьму, с которой хорошо знакомы друзья, вы не назовете храмом свободы. Но для мудрого Дэнни — это нечто вроде постоянного двора, где голый и продрогший путник всегда может найти кров и пищу. К тому же надзиратель — из бывших преступников — то и дело забывает о своем новом положении и устраняет побег. Словом, тюрьма не представляет реальной угрозы для свободы Дэнни. Но угроза все же существует. Беда сваливается как снег на голову, а ничего не подозревавший Дэнни принимает ее с доверчивой радостью, как дар богов. Короче, Дэнни получает наследство и становится домовладельцем.

Комическая быль Стейнбека при всей своей парадоксальности наивна и назидательна, и в этом, как и во многом другом, явственна традиция народной сказки. Урок ее прозрачен, хорошее и дурное резко разграничено, хотя, на первый взгляд, это незаметно в силу полемического смещения нравственных критериев. Впрочем, если доброе начало, благородство, человечность принимают здесь самые причудливые формы, то зло выступает лишь в одном-единственном обличии собственности (как позднее, с той же сказочной прямолинейностью — в «Жемчужине»; даже в «Гроздьях гнева», романе очень конкретного социального содержания, бесчеловечная сила

собственности воплощена в образах почти мистических: Банк и Трест — абстрактные и вселикие божества). Этот мотив проходит через все творчество писателя, и, как бы ни менялись его политические взгляды, вкусы, идеалы, его представление о человеке, критерий зла остается неизблемым, его корень, первоисточник — всегда собственность. Даже если это две жалкие хибарки, которые получил в наследство Дэнни.

Неужели и Дэнни сойдет под тяжким бременем богатства? О, проклятие собственности! Что делать одному человеку с двумя домами? Дэнни сдает второй дом Пилону, а через несколько месяцев, нарушив святыню дружбы, просит у Пилона один-два доллара в счет квартплаты. Слава богу, что дом сгорел, а то неизвестно, что стало бы с Дэнни и его бессмертной душой. Дэнни испытал вполне понятное чувство облегчения — с одним домом, конечно, лучше, тем более что скоро здесь поселились все его друзья (и еще пять собак).

Немало подвигов совершили эти славные рыцари во имя дружбы, человеколюбия, ради бутылки веселящего кровь вина и просто так — от избытка жизненной энергии. Но черный день неотвратимо приближался, и Дэнни смертельно затосковал. Вы узнаете о том, как Дэнни взбунтовался и бежал из собственного дома, оставив друзей; как он воровал, озорничал, буйствовал — словом, яростно наслаждался свободой; как он все же припелся назад, обессиленный, побежденный и утративший всякий вкус к жизни; как верные друзья задумали спасти Дэнни и целый день работали на консервной фабрике, — вот какая неслыханная жертва была принесена на алтарь дружбы! — а на вырученные деньги закатали вечеринку для Дэнни; как воспрянувший духом Дэнни героически погиб, бросив вызов небесам (или аду), и как на его осиротевших друзей снизошло «озарение», в результате которого от дома Дэнни осталась лишь груда пепла. «А потом они медленно пошли прочь. И каждый шел один».

«Так и должно быть», — говорит Стейнбек, имея в виду, что иначе и не могло быть. Много лет спустя, выведя в «Зиме тревоги нашей» безнадежного пьяницу, пропадающего человека — Дэнни Тэйлора, Стейнбек сравнил его с ребенком, «которому достаточно зажмурить глаза, чтобы разделаться с внешним миром». В «Квартале Торталья-

Флэт» писатель открыто и увлеченно отдавался этой детской игре, но он не мог не чувствовать давления действительности и не случайно завершил свою веселую сказку крушением идиллического союза друзей Дэнни. Внешний мир, с которым Стейнбек так лихо и артистично «разделался», в финале напомнил о себе — осторожно, мягко, но все же достаточно настойчиво.

Прошло всего четыре года, после того как вышел в Америке «Квартал Тортилья-Флэт», и жизнь яростным потоком ворвалась в творчество Стейнбека. Патристическая эпопея народной жизни «Гроздь гнева» — одна из самых сильных книг современной американской литературы. Дальнейший путь Стейнбека не был простым. Многочисленные романы, написанные им, порой как бы опровергают друг друга. Стейнбек переходил от крайности к крайности — от откровенной идилличности и сентиментальности «Консервного ряда», где он сознательно отвлекался от пугавшей его действительности, к холодному отчаянию «Заблудившегося автобуса», в котором жестко констатировал безнадежность положения «заблудившегося» человечества. «Зима тревоги нашей» открывает нам нового Стейнбека и проясняет смысл и характер драмы, пережитой им. Тема романа, как ее определил сам автор, — аморальность.

Что может быть банальнее истории лавочника, который стремится разбогатеть и добивается своей цели, совершив ряд преступлений? Ситуация кажется предельно исчерпанной — все это уже тысячу раз было. Но Стейнбека это не смущает. Напротив. Во-первых, потому что неизменным условием задачи, которую он решает, является именно банальность, то есть распространенность. Во-вторых, он вообще чувствует себя уверенно в кругу банальных тем. Эта особенность таланта Стейнбека отнюдь не является его слабостью — как раз наоборот, я бы сказала, что в этом его сила.

Идея романа не нова и, если хотите, тоже банальна: для человека обязательны нравственные нормы, преступив их, он жестоко расплывается. Разумеется, во все времена человечество нарушало их, но XX век внес в это дело свойственную ему масштабность. В современной буржуазной литературе аморальность или во всяком случае растяжимость морали получила философское обоснование и оправдание Защищая человека, Стейнбек опирается на «вечные ценности».

Общезвестные истины и заповеди, пропущенные через его темперамент, талант, душу, возвращаются к нам в виде открытий.

Только большой художник может не бояться тривиальных тем, положений, идей — он защищен самобытностью, индивидуальностью своего таланта. Однако этот неблагодарный материал, с которым он имеет дело, требует или очень глубокой «вспашки», или особой изобретательности. В «Зиме тревоги нашей» Стейнбек показал себя мастером современного психологического анализа, а также блестящим профессионалом, виртуозно владеющим секретами занимательности, умеющим раскрыть привычное по-новому; ведущей формой при этом становится парадокс.

Почему Стейнбек выбрал на роль преступника, так сказать, лучшего из людей? (Хоули добр, честен, умен, способен на большое чувство, в любом положении сохраняет достоинство и независимость — и все это не показное, а истинное.) Прежде всего потому, что, испытывая на прочность человеческую нравственность, Стейнбек как добросовестный исследователь не хочет иметь дела с третьесортным материалом — в этом случае результат опыта легко поставить под сомнение. Чтобы вынести обвинительный приговор или оправдательный вердикт современнику, американцу середины XX века, Стейнбеку нужны доказательства самые неопровержимые.

Итен Хоули, рассуждающий о дозволенности преступления, — может ли он, смеет ли преступить нравственные законы? — заставляет вспомнить Раскольникова. Кстати, по словам Стейнбека, из всех книг, прочитанных им в молодости, самое сильное впечатление произвел на него роман Достоевского. В «Зиме тревоги нашей» много общего с «Преступлением и наказанием» — хотя бы уж в самой постановке вопроса; в том, что и там и тут преступление совершается не вынуждено, а по свободному выбору. Интересно однако, что мотивировки, к которым прибегают герои, прямо противоположны, и в этом различии — очень существенном — сказывается прежде всего расстояние во времени, разделяющее Раскольникова и Хоули, век XIX и век XX. Для героя Достоевского преступление — привилегия необыкновенных личностей; простым смертным, «толпе» в этом праве Раскольников отказывает. Иными словами, исключительность преступления не подлежит сом-

нению. В книге Стейнбека — обратное соотношение: исключением является честность героя, его старомодные выпревшие понятия. Хоули на голову выше окружающих его обывателей, но, собираясь ограбить банк, он прибегает к самой пошлой аргументации толпы — «все так делают»: жульничают, воруют, нарушают законы, лишь бы разбогатеть. И когда Хоули наконец вступает на путь преступлений, он, человек незаурядный, становится «как все».

Фон, на котором действует герой, написан рукой мастера. Стейнбек ничего не подчеркивает, он ровен, спокоен, почти мягок. Постепенно, исподволь извлекает он на свет божий все то, что скрывается за красивым фасадом Нью-Бэйтауна. Одна-две детали, намек, будто невзначай оброненное слово — и достаточно: весь город, вернее тот круг людей, который называется обществом, — как на ладони. Ничего особенно страшного, все, как говорится, в пределах нормы: торговцы обманывают покупателей, дельцы топят друг друга, отцы города берут взятки и вообще всячески используют выгоды своего положения. За их спиной готовится перемена декораций: придется им отказаться от государственного пирога, а кое-кому — сесть на скамью подсудимых, а кое-кому — выдать друзей, чтобы спасти себя, но зато мистер Бейкер и К° получат возможность заботиться о прогрессе и, разумеется, заодно приумножить свои богатства.

Мистер Бейкер привлекает особо пристальное внимание Стейнбека. Это олицетворение делового духа Нью-Бэйтауна, жутковатый образ, написанный со всей бытовой конкретностью и вместе с тем почти символический. Директор банка, в свое время, по-видимому, нажившийся на банкротстве Хоули-старшего, мистер Бейкер проявляет нежную заботу о его сыне Итене, и на это у него есть веские причины. Мистер Бейкер никогда ничего не делает без причины; он — сама предусмотрительность и мудрость, человек с безошибочным нюхом и железной хваткой. Впрочем, он не человек, а скорее идеальная машина для делания денег, машина с изысканными манерами джентльмена. И Итене, который ежедневно наблюдает, как мистер Бейкер шествует в храм Великого Бога Чистогана, чудится тиканье часового механизма, приводящего в движение директора банка.

На другом полюсе Нью-Бэйтауна, на самом дне общества, — Дэнни Тэйлор, последний представитель почтенного рода, жалкий алкоголик, униженно выпрашивающий у прохожих доллар-другой, чтобы «прополоскать мозги». Дэнни Тэйлор завершает обширную галерею стейнбековских босяков, в самом начале которой Дэнни-пайсано. Какая, однако, дистанция. У Стейнбека прочная приверженность к образу отщепенца, он упорно и разнообразно романтизировал его, противопоставляя буржуазному обществу. Конечно, он и раньше понимал, что это не более, чем иллюзия. Но в «Зиме тревоги нашей» он не хочет, не может прибегать к уловкам самообмана: слишком напряженно и серьезно ищет он правду. Стейнбек знает истинную цену таким, как Дэнни, — это человек никчемный и безвольный, потерявший себя и потерянный для жизни. При всем том — это единственный человек, сохранивший человечность: именно потому, что он вне общества, вне жизни, вне деятельности, что он не участвует в той жестокой и грязной игре, где можно выиграть деньги, положение, успех и проиграть себя. В романе тревожно и настойчиво звучит: нельзя сохранить себя, живя по тем волчьим законам, которые навязывает общество.

Задумав ограбить банк, Итен принял условия игры. Он разрешил себе одно крупное преступление, чтобы сразу вырваться вперед, а потом опять зажечь честной жизнью. Но, завертев это колесо, он не может уже его остановить. Итен доносит на Марулло (разумеется, анонимно), чтобы завладеть лавкой. Итен дает тысячу долларов Дэнни, почти наверняка зная, что тот сопьется, — чтобы завладеть имением Тэйлоров. Все эти поступки отнюдь не вытекают из первоначального замысла, но они являются его психологическим следствием, вытекают из готовности Итена к преступлению. Это очень существенный момент: для Стейнбека нет принципиальной разницы между большими и мелкими сделками с совестью, потому что совесть неделима, как неделим при всей своей сложности человек, и нельзя быть одновременно подонком и прекрасным мальком. Нравственное падение героя — процесс в чем-то необратимый. Здесь важен первый шаг — и дальше следует неизбежное перерождение личности. Видение Марджи, гадающей Итене на картах, — гремучая змея, меняющая кожу, — достаточно прозрачный символ, чтобы не сказать аллегория. Но не

надо обладать «колдовской» интуицией Марджи, чтобы заметить перемены, совершившиеся в Итене. (Обычная диалектика жизни: человек совершает определенные поступки, а потом эти поступки переделывают его.)

Итен так и не ограбил банк — еще один парадокс романа, — но это уже ничего не меняет. Ситуация предельно иронична. В тот момент, когда Итен с револьвером в кармане направляется к банку, его останавливает чиновник, специально приехавший из Нью-Йорка, и сообщает, что Марулло (тот самый Марулло, которого теперь высылают из Америки по доносу Итена) дарит ему лавку в знак уважения и в награду за исключительную честность («Ему хочется превратить вас в своего рода памятник тому, во что он когда-то верил»)...

Итак, Итен получил все, что хотел, даже более того — его уже прочат в мэры города. Он все предусмотрел, всех обманул, обвел вокруг пальца Марулло и даже хитроумного Бейкера. Лишь себя он не смог ни обмануть, ни перехитрить, лишь того не учел, что доносы, предательство и прочие деловые операции, столь успешно проведенные им, лягут на его плечи непосильным бременем, так что великолепное здание богатства и успеха, возведенное им, окажется просто ни к чему. От Марулло он еще пытается спастись уловками: Марулло жулик, к тому же на родине, в Сицилии, ему будет лучше. Но Дэнни, который был Итену «как брат», Дэнни, найденный в погребе старого дома Тэйлоров с лицом, объединенным кошками. — от него не отмахнешься. Почти непечатый ящик виски, пустая склянка снотворного, завешание и записка: «Дорогой Ит, вот то, чего ты хочешь», — Хоули знает, что он убийца. Последний удар — разоблачение сына, получившего жульническим способом приз телевидения, — Хоули принимает как расплату за собственные преступления. «Все это делают, и ты сам, наверно, когда-нибудь делал», — кричит Аллен, и не подозревающий даже, как точно он попал в цель. (Кстати, эта тема вообще характерна для современной западной литературы — отцы идут на сделки «ради детей», чтобы им было хорошо жить, а дети наследуют не только богатство, но и нравственность отцов.) Круг замкнулся — Стейнбек не оставляет герою никаких лазеек для самооправдания. И Итен выносит себе приговор и решает уйти из жизни.

Его спасает чудо — талисман, который

украдкой сунула ему в карман дочь Эллен и еще хранящий тепло ласкающих рук «той, что несет огонь». Здесь мы вступаем вслед за Стейнбеком в зыбкий мир сверхъестественного. Критики писали, что все, связанное с талисманом и Эллен, не очень убедительно и отдает дурной литературщиной, и это в общем справедливо. Но все же тайна требует отгадки, иначе нельзя понять ни идею романа, ни Стейнбека. Эллен — девчонка, переживающая трудную пору созревания, существо причудливое и странное, Стейнбек окружает ее неким мистическим сиянием. Кстати, и вполне земная Мэри, жена Итена, в меру практичная, добрая и рассудительная, тоже наделена особой, не совсем понятной герою силой и тревожит его своей загадочностью. Что это за сила? И какой «огонь» несет Эллен? Слово это Итен позаимствовал у Марулло. «Чтобы огонь не погас», — сказал он, посылая свой дар Итену. Огонь Марулло — огонь человечности, доброты, благородства. Но почему попал он в слабые руки капризной Эллен? Здесь нет никакой видимой связи, однако для Стейнбека она существует.

В эпоху «Гроздьев гнева» Стейнбек возлагал надежды на революционное движение масс и писал, что будущее начинается с простейшего сдвига от «я» до «мы». Теперь он изменился: «Это неправда, что есть содружество огней, единый мировой костер. Всяк из нас несет свой огонек, свой собственный одинокий огонек». Вряд ли стоит вступать в спор со Стейнбеком и доказывать, что его горький вывод неверен. Тем более что речь идет о большом художнике-гуманисте, честном и искреннем и в своих заблуждениях. Важно другое: даже утратив былые идеалы, Стейнбек в отличие от многих своих собратьев не капитулировал, он сохранил веру в человека, в жизнь, в ее могучую, животворную силу. И олицетворением этой силы для него является женщина — и потому, что она меньше связана с обществом и ближе, так сказать, к истокам, к природе, и прежде всего потому, что она — мать — реально творит это вечное чудо обновления.

В финале «Гроздьев гнева» — Роза Сарона, только что похоронившая ребенка, дает грудь умирающему от голода человеку. Так и Эллен в «Зиме тревоги нашей» спасает Итена (только символический план существует здесь как бы обособленно от реаль-

ного). Если воспользоваться словами Марулло и Итена, можно сказать, что эта книга (как и многие другие) написана Стейнбеком для того, «чтобы огонь не погас». Сквозь горечь, печаль и тревогу пробивается

простая и очень земная надежда, упрямая вера в возможность нравственного возрождения, которая существует, пока жив человек.

М. ЗЛОБИНА

★

Политика и наука

МЕЧТАТЕЛИ НАШЕЙ ЭПОХИ

Мир через 20 лет. 1000 писем о будущем. Госполитиздат. М. 1963. 192 стр.

В этой книге собраны мнения, высказывания, сокровенные мысли людей из пятидесяти одной страны. Разные это люди по своим профессиям, общественному положению, классовой принадлежности, убеждениям. И мечтают они также по-разному. Одним представляется, что через двадцать лет, точнее — в 1981 году, когда будет в основном осуществлена Программа построения коммунистического общества в СССР, — мир существенно изменится, социализм одержит новые важные победы в различных частях нашей планеты. Другие не заглядывают так далеко, им кажется, что самое важное в другом: просто людям будет легче и лучше жить в связи с большим размахом научных открытий, совершенствованием техники и т. д. Третьим уже предвидится новый обжитой очаг человеческий — там, в космических пространствах, на неведомых до сих пор планетах...

Но всех объединяет одна мечта, одно желание, одно стремление, одна надежда: через двадцать лет будет окончательно покончено с опасностью войны и исчезнет гнетущий страх, отравляющий жизнь. Именно так представляют себе будущее люди разных убеждений и положений, верующие и атеисты, бизнесмены и рабочие, ученые, писатели, общественные деятели и такие люди, как Леннарт Мауритц, который пишет о себе: «Я простой шведский парень, учусь в ремесленном училище в Эстерсунде». У каждого из них есть что сказать. Есть, оказывается, чем поделиться с согражданами вселенной! Вновь подтверждается, что каждый человек немного мечтатель, ибо каждый думает о будущем — своем и всеобщем, а в наше время — время бурного распространения идей коммунизма — всеобщее захватывает мечтателей гораздо сильнее, чем свое, маленькое, узкое, тесное.

Этим славна наша эпоха. Человек стал мыслить большими категориями — в масштабе планеты, вселенной, космоса. Быть может, самое главное достижение анкеты Агентства печати Новости в том и состоит, что она как бы сказала каждому, кто получил ее: подумай, каким будет мир через двадцать лет. И читая ответы на этот вопрос, чувствуешь, что люди нашей эпохи необычайно богаты способностью видеть внутренним зрением то, что их всех объединяет — мир и прогресс человечества. Читая многие из тысячи писем — ответов на международный опрос АПН, — воочию видишь, что мир, люди во всех концах планеты, народы умственно созрели для великих преобразований социального значения.

Способность мечтать — могучее оружие преобразования. На заре большевизма Ленин призывал своих последователей и соратников: «Надо мечтать!» Он призывал к этому в книге «Что делать?», увидевшей свет в 1902 году. Владимир Ильич приводит слова Д. И. Писарева о том, что мечта помогает человеку «изредка забегать вперед» и побуждает его «предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни». Важно, конечно, чтобы мечтающая личность серьезно верила в свою мечту и добросовестно работала над осуществлением своей фантазии...

Хорошо известно, что эксплуататоры всех времен старались лишь эксплуатировать желания мечтать, то есть думать о лучшем будущем, и вместо этого всеми средствами внушали им, что «богом установленный порядок» незыблем, неизменен, вечен.

Мечтать свойственно деятельной личности, тем более что в наше время миллионы, сотни миллионов людей на всех материках

знают, что вполне может быть осуществлено то, что еще вчера казалось фантазией.

Заглядывать в будущее, определить его на века пытались и недруги человечества. И они хотели поставить себе на службу способность человека воображать, мыслить, проникнуть в тайны природы. В гитлеровской Германии ученые в эсэсовских мундирах под контролем «авторитетов» из гестапо должны были создать «германскую атомную бомбу». Самые известные немецкие физики-ядерники и специалисты из смежных областей точных наук трудились над тем, чтобы дать гитлеровским убийцам миллионов средство для истребления сотен миллионов. Нетрудно представить себе, во что превратили бы нашу планету фашистские изверги, оказавшись обладателями атомного оружия! Эта жуткая глава истории минувшей войны известна еще далеко не полностью. Но то, что мы уже знаем о ней хотя бы из книжки Сэмюэля Гоудсмита «Миссия «Алсос», выпущенной в текущем году Госатомиздатом, позволяет нам представить себе весь ужас того, что замышлялось двадцать лет назад фашистскими людоедами. Добейся они своего — многим десяткам, сотням миллионов людей не пришлось бы ныне предаваться мечтам о том, что будет через двадцать лет.

Наша армия, вооруженный народ Советского Союза разбили гитлеровскую империю раньше, чем фашистская наука («германская физика!») смогла дать ей атомную бомбу. Мы не просим у человечества благодарности. Но этот факт — факт величайшего значения — нужно помнить: спасению от атомного фашистского террора человечество обязано стране, которая больше других вытерпела и вынесла во имя всех людей на земле, стране, которая спустя всего два десятилетия после завершения небывалой борьбы встает перед умственным взором народов как путеводная звезда для них на пути в светлое, счастливое будущее — в коммунизм.

Победа над силами войны, одержанная двадцать лет назад, вдохновляет до сих пор людей во всем мире, укрепляет их глубокую веру в то, что через двадцать лет с войной и связанными с нею ужасами и опустошениями будет покончено и на нашу многострадальную планету навсегда сойдет благодетельный покой мира.

Эту мысль высказал английский ученый, профессор Джон Бернал, президент-испол-

нитель Всемирного Совета Мира: «Через 20 лет призраки войны навсегда исчезнут из жизни человеческого общества. Это будет мир, в котором все достижения науки и техники, все способности человека будут служить только человеческому благосостоянию. Они сделают жизнь богаче и красивее».

Француз Эрве Базен, писатель, член Гонкуровской академии, полагает, что люди («коалиция передовых умов и сил») достаточно могущественны, чтобы «остановить безумие империализма, переживающего свой закат». Эрве Базен предлагает исходить из самого лучшего и предвидит «калитуляцию глупцов и всех сторонников политики силы».

Американский промышленник Сайрус Итон в свою очередь предсказывает, что «через 20 лет бомба будет изгнана из жизни общества, США и СССР будут самыми большими друзьями».

Советский писатель Николай Тихонов, председатель Советского Комитета защиты мира, напоминает о том, что в Программе КПСС твердо сказано: «Мирное сосуществование социалистических и капиталистических государств — объективная необходимость развития человеческого общества. Война не может и не должна служить способом решения международных споров».

Английский юрист Деннис Ноэль Притт считает, что через двадцать лет очень многие, если не все страны мира перейдут к социализму и среди них будет и его родная Великобритания, прекратится гонка вооружений, миру никто не будет угрожать.

Сильвэну Камара, журналисту из Гвинеи, представляется такое зрелище: в Белом доме, в Вашингтоне, место президента США займет... негр, который будет избран громадным большинством голосов!

Служащий из Югославии Иосип Миятович верит, что близко время, когда труд, а не заработок станет потребностью человека.

Французский общественный деятель Пьер Кот говорит, что через два десятилетия капитализм будет выглядеть анахронизмом благодаря успехам, одержанным социализмом во всех областях.

Известный ученый и негритянский общественный деятель Уильям Дюбуа, отвечая на анкету незадолго до своей кончины, заявил, что через двадцать лет коммунизм станет

реальностью: американцам придется выбирать между коммунизмом и капитализмом.

Валентина Гаганова, прославленная советская героиня труда, напоминает своим собеседникам, что будущее, каким бы ярким оно ни представлялось нам, не придет само собой. Будущее создаст, создает труд. Счастье невозможно без труда. «Радостно будет жить при коммунизме,— пишет она.— Но и строить его — великая радость».

Эта мысль тем более важна, что некоторые ответы, полученные АПН, свидетельствуют о наивности, присущей иным мечтателям, которые представляют себе мир будущего, им самим очень неясный, как некое царство «кнопок»: любое желание исполняется мгновенно, стоит только нажать соответствующую волшебную кнопку. Совсем как в сказке о лампе Алладина! Особенно увлекаются «кнопками» юные мечтатели.

Один из них видит будущее таким: «...Ты любишь снег, ледяные горы, каток (на земле лето.— И. Е.)? Что ж, пойдя на космодром, лети на Венеру, Нептун, Юпитер, там вдоволь снега и льда в любое время года. Тебе наскучил космос? Не беда: у тебя под рукой аппарат: стоит нажать кнопку, и вокруг тебя создается микроклимат — катайся на коньках...» А рядом люди будут купаться в море и загорать на золотистом песке. О том же пишет и другой мечтатель этого же возраста: «Нажал кнопку — очутился на Сириусе, нажал кнопку — на столе обед, нажал кнопку — решена алгебраическая задача. Да, кнопка — великое дело! И еще роботы: робот открывает дверь, убирает квартиру, играет в футбол...»

Скучным показался бы деятельной личности такой «мир кнопок» и ленивцев, бездельников, способных лишь потреблять, но негодных для созидания, для творчества. Одному великовозрастному мечтателю привиделось даже, что хлеб на полях убирают машины, одни машины, без участия людей, видимо, люди будут только есть этот хлеб, в который не вложено ни минуты их труда. Такой хлеб должен показаться человеку очень горьким. Прав Сергей Коненков, народный художник СССР, когда пишет в своем ответе: «Обидно слышать, как некоторые ждут того времени, когда «автомат включил на два часа, норму сработал — и иди гуляй на все четыре стороны». Счастье — не в безделье, не в ожирении, не в излишествах, а в борьбе, в труде, в горе-

нии и дерзании. Нормой будет увлеченность человека трудом, живой интерес к своему делу. Истинное счастье не имеет ничего общего с праздностью и пресыщением».

Каждый свой шаг вперед человечество совершает ценой большого труда — умственного и физического. И будущее также потребует большого труда. Прогресс немалым без неустанной работы всего общества. О том, как много человечеству предстоит сделать для будущего, чтобы оно было прекрасным, великолепно сказал в своем послании друзьям на всех континентах академик Н. Семенов. Невозможно пересказать его мысли и соображения. В них вложено много ума, в них — чувство масштаба, величия труда и борьбы за преобразование нашей планеты. Людей ждут на земле обширные и насущно важные задачи, ибо за тысячи лет существования эксплуататорских обществ на нашей планете, пожалуй, ничего толком не было сделано для освоения ее богатств и овладения ее огромными скрытыми ресурсами, без чего будущее немыслимо. Человек научится заставлять мертвую материю мыслить не взамен своего мозга, а в дополнение к нему, чтобы разгрузить его от «мелочей» и освободить живые мозговые клетки для высшей деятельности. Об этом хорошо, с задором пишет академик В. Трапезников,— пишет с увлечением юноши и убежденностью знатока. И Юрий Гагарин, первый космонавт мира, предсказывает дальнейшие вторжения человека в космос, но не при помощи волшебных «кнопок», а на основе кропотливого и смелого труда. Освоение Луны, предсказывает он, свершится в не очень отдаленном будущем, после чего наступит очередь других планет.

Да, много трудовых подвигов предстоит совершить человечеству за двадцать лет! И они, несомненно, будут совершены с превышением. Но когда думаешь об этом, когда окунаешься в это море человеческой мысли, устремленной в будущее, невольно задаешь себе вопрос: а как, при каких социальных отношениях станет это возможно? Во многих ответах говорится, что это произойдет в связи с дальнейшими победами идей социализма. Это правильная точка зрения. На основе капитализма человечество не сможет приступить к преобразованию мира. Да, в карете прошлого далеко не уедешь! А людям предстоит мчаться вперед, вперед и выше! Мечтатель нашего великого

времени не может не быть социальным преобразователем, революционером. И в борьбе за мир, за окончательную ликвидацию войны нельзя не быть революционером, по крайней мере не могут не быть революционерами те, кто возглавляет эту борьбу, вдохновляет ее, организует силы мира и ведет их на бой против сил зла.

Много еще и других мыслей, надежд, желаний и упований выражено в этой небольшой книге людьми, создавшими ее, людьми, объединенными одним желанием: принести человечеству добро, избавить его от страха, от горя, от черных ветров безнадежности, и вновь хочется подчеркнуть: человечество исключительно богато духовно, душевно, умственно. За прошедшие после Великого Октября сорок шесть лет, за годы нашей титанической работы и борьбы, transforma-

ция нашей страны накоплен колоссальный опыт для преобразования мира.

Уровень общественного сознания человечества необычайно поднялся, идеи коммунизма стали господствующими идеями нашего века, и люди впитывают идеи добра, каких мир еще не знал, новые поколения вбирают в себя все лучшее, что могла до них создать мысль, обогащенная опытом социализма и строительства коммунизма. И человечество делается лучше, богаче идейно, еще более великим и прекрасным, таким, каким только и должно быть человечество эпохи создания коммунистического общества. Такое человечество может и обязано мечтать о своем изумительном Завтра. А это Завтра уже близко — оно наступит через два десятилетия!

И. ЕРМАШЕВ.

★

СУДЬБЫ ФРАНЦУЗСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Жак Дюкло. Будущее демократии. Перевод с французского Б. С. Вайсмана и С. И. Долгошлюбова. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 200 стр.

За последние годы во Франции появились десятки работ, посвященных судьбам демократии. «Дебаты о демократии» стали центральным пунктом столкновения различных тенденций общественной мысли страны.

Во Франции всегда с особой четкостью давали о себе знать глубинные политические течения, потрясавшие впоследствии весь буржуазный мир. Если Англия была некогда «мастерской» этого мира, родиной капиталистического способа производства, то идейный арсенал буржуазии, с которым она отправилась на штурм прогнивших твердынь феодализма, впервые появился во Франции. Он был выкован великими французскими просветителями восемнадцатого века и закален в огне четырех революций — 1789, 1830, 1848 и 1870 годов. Пламенные лозунги Декларации прав человека и гражданина долгое время давали возможность буржуазии выступать под маской защитницы не только узкоклассовых, эгонистических интересов кучки собственников, но и «всегда страждущего человечества» (Энгельс).

Упадок буржуазной демократии во Франции, принявший сейчас исключительно тяжелые, болезненные формы, является на редкость красноречивым свидетельством всеобщего идейно-политического кризиса буржуазии как господствующего класса. Он служит

убедительным подтверждением вывода Программы КПСС, которая подчеркивает: «Неотвратимый процесс разложения охватил капитализм от основания до вершины: его экономический и государственный строй, политику и идеологию».

Одна из последних работ секретаря Центрального комитета Французской коммунистической партии Жака Дюкло — «Будущее демократии» призвана дать ответ с марксистско-ленинских позиций на обильный поток произведений теоретиков и трубадуров авторитарного режима генерала де Голля, захлестнувший полки книжных магазинов Франции.

Книги о демократии Максима Блок-Маскара и Раймона Арона, Рене Массингли и Жозефа Рована весьма различны по своей аргументации, их авторы принадлежат к самым разнообразным, порой резко враждебным политическим группировкам. Трудно сравнивать, например, взгляды Мишеля Дебрэ, одного из организаторов государственного переворота в мае 1958 года, автора реакционной конституции Пятой республики и главы ее первого кабинета, с концепциями Мориса Дюверже — видного левобуржуазного юриста, обозревателя либеральной газеты «Монд». Если, однако, вчитаться внимательно в бесчисленные опусы, памфлеты,

брошюры, вышедшие из-под их перьев за последнее время, то в глаза бросится общность очень многих принципиальных выводов.

Эти выводы сводятся к попыткам доказать, будто наша эпоха объективно требует «сильной власти», олицетворенной одним человеком. Подобная идея, отнюдь не блещущая новизной, подается под любым соусом — необходимости управления значительно усложнившейся экономикой, проведения в ядерный век оперативной и гибкой внешней политики, наконец, гарантии прав и свобод отдельного гражданина, нуждающегося в «прямом контакте» с носителем верховной исполнительной власти. Иными словами, само поправление основ демократии усилению примиряется в мнимодемократические тона.

«Со времени окончания второй мировой войны и победы над гитлеризмом, политическая философия которого основывалась на тоталитаризме и попрании демократии, разглагольствования о демократии, разумеется, вновь вошли в моду. Однако разговоры о демократии явно расходятся с делами, — пишет Жак Дюкло. — Несмотря на столь очевидный упадок и упразднение демократии, на этом магическом слове спекулируют по-прежнему. Следует даже ожидать, что наряду с проведением все более антидемократической политики разговоры о демократии не только не ослабнут, но, напротив, усилятся именно в связи с тем расцветом социалистической демократии, который имеет место в Советском Союзе, и теми перспективами, которые открыл в этой области XXII съезд КПСС».

Франция — страна с величественным прошлым, богатым классовыми битвами мирового значения, которые оставили в сознании широких масс неизгладимые следы. События и люди сегодняшнего дня особенно часто драпируются во Франции в одежды далекого прошлого. Известные слова Маркса в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта» — «трагедия всех мертвых поколений тяготеет, как кошмар, над умами живых» — относились прежде всего к французской истории.

Жак Дюкло построил свою книгу как широкую историческую фреску, эссе, охватывающее период от революции 1789 года до наших дней. Автор вовсе не стремился дать ни всестороннего исследования всей новой и новейшей истории Франции, ни даже по-

пулярного очерка ее. Каждое событие, факт или имя служат в книге лишь примером, иллюстрацией, помогающими глубже понять злободневные политические события современности, увидеть во тьме веков их корни, истоки или прецеденты.

Обращаясь к якобинской диктатуре, кульминационному пункту Великой французской буржуазной революции конца XVIII века, Дюкло показывает, как уже тогда мелкобуржуазные революционеры во главе с Робеспьером сами подготовили свое поражение и победу контрреволюционных термидорианцев попытками вести «борьбу на два фронта» — против монархической реакции с одной стороны и революционеров — с другой. «...Пресловутая борьба на два фронта, — замечает Дюкло, — фактически является всегда борьбой против народа и вместе с тем служит прикрытием для порочения реакционных сил и сообщничества с ними». Это прямо относится к современным лидерам буржуазно-центристских или реформистских партий, которые прикрываются лозунгами «третьей силы», чтобы вести антикоммунистическую политику, и играют тем самым на руку могильщикам демократии.

Империя Наполеона I, установленная на обломках Первой республики, долгое время опасалась окончательно отрешиваться от революционной фразеологии, пытаясь скрыть реальность бонапартистской тирании театральным декорумом республиканизма. На монетах того времени с одной стороны выбивалась надпись «Французская республика», а с другой — «Наполеон император». Эта нехитрая тактика была впоследствии взята на вооружение реакцией, изображавшей «сильную власть» покровительницей слабых, бедных и угнетенных, спекулировавшей на шовинизме, культе «человека, ниспосланного провидением». Уже разгул клерикального мракобесия в черные годы реставрации Бурбонов показал, что атаки против прав народа неизменно сопровождаются в истории Франции вмешательством церкви в политическую жизнь страны и колониальными авантюрами. В тот самый момент, когда король Карл X решился открыто посягнуть на последние конституционные гарантии, он затеял в качестве отвлекающего маневра поход на Алжир. Впоследствии — в период Июльской монархии Луи-Филиппа — военщина, которая набила руку на заморских экспедициях, выступила в роли палача рабочего класса Франции.

Революция 1848 года. Кровавая баня, устроенная буржуазией пролетариату, впервые самостоятельно выступившему на арену активной политической борьбы во время славных Июньских дней, оказалась не в состоянии ликвидировать важнейшее завоевание народа — всеобщее избирательное право, введение которого означало поворотный пункт в развитии французской демократии. Но реакционные силы попытались выхолостить и это право, лишить его всякого реального содержания, более того — превратить в орудие освящения мнимым «гласом народным» единоличной диктатуры.

Именно таков был излюбленный политический прием нового претендента на престол Франции — принца Луи-Наполеона Бонапарта. Используя громкое имя, окруженное ореолом легенды, практикуя самую беззастенчивую социальную демагогию, расточая направо и налево противоречивые обещания, «Наполеон-маленький» сумел завоевать определенную популярность в обывательских массах. Этому в немалой степени способствовала глубокая дискредитация Национального собрания Второй республики, сначала оттолкнувшего рабочий класс зверской расправой в Июньские дни, затем восстановившего против себя крестьянство и городские средние слои грабительской налоговой политикой, наконец поправшего основу собственного существования — демократическую конституцию.

Результатом оказалось триумфальное избрание «принца-президента» на пост главы государства, а вслед за тем — переворот 2 декабря 1851 года. Захватив власть с помощью военного заговора, Луи-Наполеон поспешил задним числом сфабриковать декорум «всенародного одобрения» путем организации плебисцита. Его положительный исход не вызывал никаких сомнений, поскольку в ход была пушена вся огромная административно-полицейская машина, официальная пропаганда, церковь.

Напоминание этих общеизвестных, казалось бы, исторических фактов звучит сегодня особенно актуально: удивительно, насколько широко черпают нынешние «князья» Пятой республики свои методы, приемы, даже лексикон из ветхого арсенала бонапартизма! Раздувание антипарламентских настроений, организация заговора с помощью колониальной военщины, опора на церковь, которая вознаграждается щедрыми субсидиями системе католических школ, разгово-

ры о «социальной прогрессивности» диктаторского режима и постепенная ликвидация демократических свобод, наконец превращение парламентских институтов в бессильное «охвостье» исполнительной власти, попытки притупить гражданское сознание французов, приучить их слепо полагаться на «вождя нации» — все это очень напоминает события вековой давности.

Разумеется, за сто лет немало воды утекло под мостами Сены. Французский народ многое испытал и многому научился. Фасад модернизированного бонапартизма скрывает сегодня совершенно иную картину расстановки политических и классовых сил в стране. Шаг за шагом подводя читателя к современной эпохе, Жак Дюкло раскрывает социальную сущность авторитарного режима Пятой республики как концентрированного выражения господства монополий над жизнью нации. Он остро, убедительно полемизирует с вольными или невольными адвокатами личной власти, которые пытаются раскрасить реакционную диктатуру финансовой олигархии в прогрессивные демократические или республиканские тона.

Один из излюбленных пропагандистских штампов правящих кругов Пятой республики — утверждение, будто лозунг восстановления и обновления демократии во Франции равнозначен призыву к простой реставрации прогнивших парламентских порядков Третьей и Четвертой республик с их беспринципными закулисными сделками, кулуарными комбинациями, министерской чехардой. В ответ на эти лицемерные доводы автор с предельной конкретностью и в то же время ярко, взволнованно рассказывает о богатейших перспективах, которые открывает перед страной подлинная демократия — строй, где кучка хозяев банков и трестов будет отстранена от влияния на государственные дела, а ведущие отрасли современной индустрии переданы в общее достояние, где парламентские нравы будут очищены строгой ответственностью депутата перед избирателями, местное самоуправление будет освобождено от бюрократической опеки, а государственный аппарат — решительно очищен от фашистской гангрены и приближен к трудящимся.

«Франция, познавшая тяжелые испытания, сможет обеспечить себе будущее, достойное ее лучших традиций, лишь встав на путь демократии, демократии молодой, сильной, умеющей распознавать те экономические и

политические силы, которые нужно разгромить, и не отступающей перед необходимостью борьбы против этих сил.

Другими словами можно сказать, что будущее демократии в нашей стране тесно связано с будущим самой Франции».

Такими словами, полными оптимизма и веры в победу прогресса, заканчивает свою книгу Жак Дюкло.

Ю. РУБИНСКИЙ,

кандидат исторических наук.

★

ЭМОЦИИ И ФАКТЫ

Л. Лубан. Чудеса входят в жизнь. «Советская Россия». М. 1963. 195 стр.
Л. П. Страхова. Химия и технический прогресс. Экономиздат. М. 1963. 83 стр.

Научно-популярная книга призвана нести информацию и будить мысль. Чтобы привлечь к информации внимание и интерес читателя, книга должна задеть его душу. Но если факты утоплены в туманных водах авторских рассуждений — эмоции остаются уделом самого автора; читатель — равнодушен.

Мы хотим подтвердить это не претендуящее на оригинальность положение сравнением двух недавно вышедших книг о химии: «Чудеса входят в жизнь» и «Химия и технический прогресс». Они отличаются по объему, тиражу и по манере подачи материала. Но обе они научно-популярные, обе о химии, и это позволяет объединить их в одной рецензии.

Цель книги Л. Лубана сформулирована автором так: познакомить читателя с тем, как растет и развивается большая советская химия, какой вклад в создание материально-технической базы коммунизма вносят труженики предприятий химической промышленности. Автор с увлечением рассказывает о многих важных проблемах современной химии. Наука в его рассказе показана в тесной связи с промышленностью, и это, безусловно, достоинство книги.

При всем том ее нельзя считать удачной. И, как это ни парадоксально звучит, неудачи книги чаще всего проистекают из благих намерений автора. Хорошо, когда он стремится показать все многообразие стоящих перед химиками проблем, но если это намерение выливается в торопливую скороговорку, если чтение книги напоминает путешествие по тематическому плану Академии наук, достоинство оборачивается своей противоположностью.

Когда в книге о химии присутствуют ее творцы — ученые, инженеры, рабочие, — это, безусловно, интересно. Но когда они появляются, как мимолетное видение, на не-

сколько строк, чтобы высказать «нечто» и тут же исчезнуть, они не становятся героями книги. Автор проводит читателей по многим лабораториям, но не дает им заглянуть в самую интересную — лабораторию мысли.

Научная проблема подается в книге уже готовой, в крайнем случае на ее решение уходит несколько строк. По схеме: «Немногим более года прошло с тех пор. А как далеко продвинулись к цели ученые...» А как они двигались? Ведь это самое интересное. Или: а нельзя ли синтезировать (или активизировать, или переделать) то-то и то-то? «Можно!» — всегда дружно и уверенно отвечают химики...

Но ведь в познании науки важно не только «что», но и «как» — не столько результат творчества, сколько его технология. Тогда к познавательной ценности книги добавится еще и педагогическая: она будет учить мыслить.

Каждая глава книги Лубана снабжена стихотворным эпиграфом. Здесь представлены Маяковский, Щипачев, Мартынов, Смеляков, Светлов... Но, вырванный из контекста, эпиграф в одну-две стихотворные строки выглядит очень туманным, а иногда слишком многозначительным. Например, в главе «Тугая струна», где рассказывается о конструктурах машин, эпиграфом взяты строки И. Эренбурга: «Но ты ответишь перед всеми не только за себя — за время!» Не слишком ли громко?

Есть неточности и в существе изложения. Не стоило, очевидно, преувеличивать заслуги химии, уверять читателя, что «первый искусственно полученный огонь рожден химией». Хотя бы потому, что нагревание при трении — процесс физический. А реакция горения — химический процесс — не связана со способом его получения: это следствие.

Автор пишет: «Наука и не подозревала, что высокомолекулярные вещества живых организмов, в частности нуклеиновые кислоты, обладают необычными магнитными свойствами. Опыты, поставленные в Институте химической физики под руководством доктора химических наук Л. А. Блюменфельда, доказали наличие таких свойств...» Так действительно считали года три-четыре назад. Но потом новые опытные данные показали, что здесь все не так просто... Может быть, автору имело смысл, выпуская книгу в 1963 году, проконсультироваться с учеными об их высказываниях, сделанных в 1960 году.

Наконец не стоит в азарте перечисления настоящих и будущих побед химии заверять читателя, что «...для химии... нет невозможного». К сожалению, есть. И определять границы возможного, отсекал несбыточное от реального — это тоже одна из задач науки, а значит, и популярной литературы.

И все же главный недостаток книги не в этих частностях. Основная беда в том, что книга лишена единого замысла. Трудно даже сказать, о чем эта книга. Немного о науке, немного о технологии, немного о проектировании. Но пропорция не кажется заранее рассчитанной, выбор фактов и их последовательность весьма случайны.

Повествование распадается на десятки эпизодов, связанных между собой только полиграфически. Кажется, разброшюруй книгу — и она развалится на отдельные очерки, репортажи, беседы. Неплохие очерки, неплохие репортажи, неплохие беседы. Но случайные. Допустимые в периодических изданиях, но не в книге.

Брошюра Л. Страховой «Химия и технический прогресс» и по форме и по содержанию совершенно отлична от книги Л. Лубана. Она деловита, лаконична. Рассказ о том, что дает химия сельскому хозяйству, промышленности, систематизирован. Быть может, даже чрезмерно — брошюра подчас становится похожей на учебник. Правда, в аннотации сказано без обиняков, что брошюра рассчитана на читателей, самостоятельно изучающих экономику социалистической промышленности, слушателей школ и семинаров по конкретной экономике.

И то, что брошюра обещает, она дает. Она насыщена конкретным материалом. Объем брошюры невелик, факты и выводы сконцентрированы. Отсюда — четкое и ясное

представление о значении химии в нашей сегодняшней жизни.

Конечно, никто не станет относить сухость изложения к литературным достоинствам брошюры. Но она на них и не претендует. Иногда даже кажется, что автор нарочито не позволяет себе никаких эмоций по поводу излагаемых фактов — он оставляет эту возможность читателю. Факты говорят сами за себя.

«Химия и технический прогресс» — полезная и нужная брошюра. И очень своевременная. Особые требования, которые предъявляются сегодня к химии, накладывают большую ответственность и на литературу, популяризирующую эту важнейшую область науки. Надо объяснить, почему мы многого ждем от химии. И при этом не рассчитывать, что читатель поверит автору на слово, пусть даже очень темпераментное, а писать так, чтобы он увидел это сам.

Несколько слов о том, с чего каждая книга начинается — о названиях. Название должно помогать книге находить своего читателя. Ориентировать его, а не дезориентировать. О чем брошюра Л. Страховой? Ясно о чем: о химии и техническом прогрессе. А книга Л. Лубана «Чудеса входят в жизнь»? С равным успехом — о химии, физике, кибернетике, биологии. Или обо всем вместе. Название слишком общо, его можно поставить к любой научно-популярной книге. Но не нужно. Зачислять научные достижения по ведомству чудес в 1963 году как-то уже неудобно. Читатель вырос. И нельзя автору удивляться тому, что знает каждый школьник.

Может быть, неправомерно ставить рядом книги заведомо разные по целям. Мы все же это сделали — чтобы сравнить, как решена одна и та же тема. В первой книге — парад имен, научных направлений и... восклицательных знаков. Во второй — парад цифр. В первой — калейдоскоп не связанных единым приемом зарисовок, набросков. Во второй — четкая поступь возможностей химии, нацеленных на единый стержень потребностей народного хозяйства. В первой — море эмоций. Во второй — суть фактов. Что лучше? Лучше, конечно, золотая середина. Но если выбирать между эмоциями и фактами, читатель предпочитает факты.

В. АЗЕРНИКОВ.

НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ЦИФРЫ

Милитаризм. Разоружение. Справочник. Госполитиздат. М. 1963. 190 стр.

Небольшого формата книжечка с черно-голубой обложкой. На черном фоне — вооруженные солдаты; на голубом — солнце мира и уничтожающие бомбу рабочие руки.

Основной материал этой книжки — цифры и факты. Вот некоторые из множества. Две мировые войны, полыхавшие в первой половине двадцатого века, унесли в общей сложности (с учетом потерь от болезней, голода и т. п.) более ста миллионов человеческих жизней. За счет тех средств, которые были поглощены милитаризмом за полстолетия (войны и подготовка к ним), все человечество могло бы жить более десяти лет. По циничным суждениям буржуазных экспертов мировой характер войн и использование в них новейшей техники резко повысили затраты на уничтожение каждой человеческой жизни. Вот что пишет американский вице-адмирал в отставке Генри Л. Экклс: «Юлий Цезарь расходовал около 75 центов на каждого убитого врага; в 1800 году Наполеон расходовал на ту же единицу около 3 тысяч долларов; в первую мировую войну мы расходовали около 21 тысячи долларов и во вторую мировую войну — около 200 тысяч долларов на каждого убитого солдата и офицера противника».

Но милитаризм — это не только прошлое. Милитаризм — это и настоящее: колоссальное обогащение военно-промышленных монополий и усиление их влияния на экономику, политику, науку и культуру буржуазных стран; невиданное развитие средств массового уничтожения; непрерывное ухудшение положения трудящихся масс, наступление капитала на их жизненный уровень и политические права.

Прямое порождение милитаризма — агрессивные военно-политические блоки, направленные против Советского Союза и других стран социалистического лагеря: НАТО, СЕНТО, СЕАТО и другие; их вооруженные силы являются сейчас одним из главных источников международной напряженности, серьезной угрозой миру и безопасности.

Сведения, приводимые в справочнике, раскрывают недвусмысленный характер этих военно-политических группировок и объединений, созданных ведущими импе-

риалистическими державами. Весьма красноречивы, например, даже преуменьшенные данные Лондонского института стратегических исследований, согласно которым в 1962 году в распоряжении участников агрессивных блоков находились 63 межконтинентальные ракеты, 186 ракет средней дальности (речь идет о ракетах с ядерными боеголовками), 600 тяжелых и 2200 средних бомбардировщиков, 22 атомные подводные лодки... Ознакомление со структурой, силами и средствами крупнейшего из этих разбойничьих альянсов — Североатлантического блока, со списком его нынешних заправил, в числе которых гитлеровские военные преступники, с перечнем и территориальным размещением военных баз и опорных пунктов НАТО, окружающих социалистические страны, — вызывает глубокую тревогу за судьбы мира.

Листая книгу, видишь, как военный бизнес проникает во все стороны жизни буржуазного мира.

Сухие, бесстрастные, объективные цифры превращаются в книге, даже без авторских комментариев, в беспощадное обвинение всей системы империализма, влекущей мир к бездонной пропасти военного столкновения. Они звучат как тревожный набат, поднимающий людей на борьбу за предотвращение термоядерной войны, за мирное существование.

Почти в пятьдесят раз по сравнению с 1939 годом увеличились военные расходы США. В 1963/64 бюджетном году правительство США намеревается ассигновать на гонку вооружений около 80 процентов всех расходов федерального бюджета! Вдумайтесь в такие цифры: «потенциал ядерной смерти» ныне уже исчисляется в 250 тысяч мегатонн! На долю каждого жителя нашей планеты уже припасено в среднем свыше восьмидесяти тонн взрывчатого вещества!

Когда читаешь такое, еще и еще раз вспоминаешь слова главы Советского правительства Н. С. Хрущева: «...В нынешних условиях вопрос стоит так — либо мирное сосуществование, либо мировая термоядерная война». Мы за мирное сосуществование, за то, чтобы в отношениях между государствами восторжествовал этот единственно правильный в данных условиях мудрый ленинский принцип. Мы за мирное разреше-

ние всех спорных проблем, за мирное соревнование между социализмом и капитализмом.

Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой — реальная мера, способствующая разрядке международной напряженности. Никто, разумеется, не считает, что подписание договора ликвидировало угрозу термоядерной войны, что оно сняло все противоречия, мешающие решить важнейшие международные проблемы и главнейшую из них — проблему полного и всеобщего разоружения. Это лишь первый шаг на пути к установлению прочного мира на нашей планете. Шаг важный, необходимый.

Достигнуть соглашения о разоружении — этого хотят народы всех стран. Такое соглашение избавит человечество от дамоклова меча ядерной войны, позволит решить многие неотложные нужды, откроет широкие перспективы национального развития перед новыми государствами Азии и Африки.

По подсчетам некоторых исследователей, говорится в книге, на средства, затраченные на войны и подготовку к ним во всем мире только в 1900—1953 гг. (свыше 4 триллионов долларов), можно было бы полвека бесплатно кормить хлебом все население земли, построить благоустроенные жилища для 500 миллионов семей, что составляет две трети населения земного шара.

А вот данные, которые относятся не к прошлому, а к настоящему времени: только на четвертую часть суммы годовых военных расходов Великобритании можно было бы построить 103 тысячи муниципальных домов, 635 полностью оборудованных начальных и средних школ на 600 учащихся каждая, 160 полностью оборудованных больниц на 200 мест и 40 больниц на 500 мест каждая и 18 университетов на 5000 студентов каждый. Разве не говорят эти цифры сами за себя?!

Поистине безграничны возможности, которые открылись бы перед человечеством, решившим проблему разоружения. Поэтому и дорог людям Московский договор, что он создает благоприятные условия для продвижения вперед к решению этой пробле-

мы, что он свидетельствует о появлении первых ростков международного доверия, вселяет в людей надежду, что шаг за шагом будут устраняться препятствия, мешающие прийти к соглашению по коренным международным проблемам.

Противников Московского договора можно пересчитать по пальцам. Это — американские «бешеные», боннские реваншисты, французские экстремисты... Но как ни печально, тут громко звучит голос тех, которым, казалось бы, вовсе не место в столь неприглядной компании. Это голос руководителей Китайской Народной Республики, пытающихся оклеветать единодушно одобренный народами мира внешнеполитический курс СССР и навязать другим государствам свою авантюристическую платформу по коренным вопросам войны и мира. Народам не нужна «более высокая цивилизация», построенная на руинах ценою гибели половины населения земного шара. Все здравомыслящие люди с негодованием отвергают концепции пекинских «мыслителей». Какими бы высокими целями и идеалами они ни прикрывались, средства и способы достижения этих целей неизбежно роднят их с человеконенавистниками из стана империалистов.

Книга «Милитаризм. Разоружение» вновь и вновь подтверждает правильность внешнеполитического курса Советского Союза и всех миролюбивых народов. Она напоминает, что угроза термоядерной войны еще не устранена и что надо долго и упорно бороться, чтобы над человечеством навсегда засияло солнце мира.

Не могу не сделать в заключение одного критического замечания. Книга очень долго находилась в производстве: с момента сдачи рукописи в набор и до выхода книги в свет прошло семь месяцев. И это при объеме труда в семь листов! Такая затяжка при издании политического справочника недопустима. За семь месяцев устарели кое-какие данные, приводимые в книге, произошли важные события, обнаружались новые факты, не нашедшие в ней отражения. Это тем более досадно, что опыт наших издательств — и в частности Госполитиздата — говорит, что мы можем быстро и хорошо выпускать нужные книги.

Ю. ЯХОНТОВ.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

А. М. ЛЕВИН. Умение убеждать. Госполитиздат. М. 1963. 96 стр. Цена 11 к.

Непоколебимая уверенность в правоте идеалов коммунизма порождает у миллионов советских людей неистощимую революционную энергию, массовый героизм в борьбе за победу нового общественного строя.

Что же такое убежденность, как развивать ее в людях, какова здесь роль пропагандиста, в чем секрет его влияния на массы? Эти вопросы рассматриваются в брошюре А. М. Левина «Умение убеждать».

Автор подробно, на характерных примерах раскрывает смысл и значение логики, ясности мысли и речи, правильности аргументации, обоснованности выводов. «Факты — это «хлеб» доказательства, — пишет он. — Особенно хорошо, если этот «хлеб» свежий, если факты непримелькавшиеся и в то же время не вызывают сомнений в их достоверности».

Коммунистическая пропаганда именно потому доходчива и влиятельна, что она правдива, доказательна и отвечает на самые животрепещущие вопросы современности. Она не терпит фальши и лицемерия, являющихся отличительными чертами буржуазной пропаганды. Только глубокая внутренняя убежденность оратора, его искренность могут оказать нужное влияние на умы и сердца слушателей.

Как отстаивать правильные мысли и положения в споре? Советы автора на этот счет будут полезны участникам товарищеских диспутов, которые нередко проводятся сейчас на заводах, в колхозах, вузах.

В лекции, докладе, как и в самой жизни, нет ничего убедительнее конкретного, положительного примера строительства новой жизни. «После перехода политической власти в руки пролетариата... сила примера впервые получает возможность оказать свое массовое действие», — писал В. И. Ленин. В брошюре показано, как действует эта чудесная сила. Поучительны рассуждения об использовании богатейших средств русского и других языков народов СССР. Автор предупреждает от различных логических и стилистических ошибок, которые подчас затрудняют понимание мысли оратора.

Июньский Пленум ЦК КПСС вновь подчеркнул, что в многообразной системе идео-

логической работы ничто не может заменить живого, от души идущего слова пропагандиста и агитатора. Думается, что брошюра А. М. Левина поможет многочисленному отряду наших активистов сделать свою речь более убедительной, доходчивой. Надо ли говорить, как это важно в благородном деле коммунистического воспитания трудящихся!

А. Калачников.

★

Ж. МАРРАН. Цитадель «красного пояса». Муниципалитет Иври-сюр-Сен. Перевод с французского. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 72 стр. Цена 13 к.

«Красный пояс» — это тридцать одно предместье Парижа, где во главе муниципалитетов стоят коммунисты. Стоят уже не первый год, избираемые всякий раз большинством населения. Цитаделью этого «пояса» считается Иври-сюр-Сен. С 1925 года мэром здесь неизменно избирается автор этой книжки Жорж Марран, рабочий-механик, один из старейших деятелей Коммунистической партии Франции. Вот он и рассказывает о работе муниципалитета, о том, чего удалось добиться коммунистам. А им удалось сделать немало.

Рассказывает Марран просто, даже несколько протокольно. Но до чего же интересно и важно то, о чем он ведет речь! Как строится муниципалитет, какую политическую программу коммунисты выдвигают, как заботятся о трудоустройстве, как помогают безработным, чего добились в области школьного образования, как заботятся о здоровье и отдыхе детей, о развитии спорта, жилищном строительстве, культуре. Нет буквально ни одной области жизни, где бы коммунисты не возглавили практической работы и не добились успеха, даже ныне — в условиях деголлеского режима. От скромного подарка ребятам к окончанию учебного года до прекрасно оборудованных школьных комплексов и лагерей для летнего отдыха. От заботы о транспортных удобствах избирателей до возведения жилых домов с дешевыми квартирами. Здесь ни один грош избирателей не пропадает даром, здесь все помыслы о людях труда. И люди эти убеждаются, что у ком-

мунистов слова не расходятся с делом. Поэтому так велик здесь авторитет коммунистов. Морис Торез, которого население Иври вот уже тридцать один год избирает своим депутатом в парламент, говорил: «Иври стал гордостью нашей партии, цитаделью демократии и мира. Достижения этого муниципалитета позволяют видеть, каких огромных успехов могли бы достигнуть трудящиеся Франции во главе с коммунистами, если бы они взяли в свои руки право распоряжаться собственной судьбой».

Л. Лерер.

★

В. Д. ПАТРУШЕВ. Интенсивность труда при социализме. Экономиздат. М. 1963. 240 стр. Цена 72 к.

Интенсивности, то есть напряженности, труда Маркс и Ленин уделяли большое внимание. Определяя задачи молодого социалистического государства, Владимир Ильич подчеркивал, что интенсивность — один из факторов производительности труда, а поэтому организация контроля за интенсивностью труда является злободневнейшей задачей советской власти.

И тем не менее интенсивности труда дважды «не повезло» в нашей экономической литературе. В двадцатые годы «левые коммунисты» пытались дискредитировать саму проблему криками о том, что повышение напряженности труда на наших предприятиях противоречит якобы интересам рабочего класса. В период культа И. В. Сталина термин «интенсивность труда» вообще не употреблялся.

Базируясь на марксистско-ленинском учении об общественном труде, используя исследования отечественных и зарубежных ученых не только в области экономики, но и физиологии, психологии, социологии и других наук, В. Д. Патрушев написал нужную книгу, рассчитанную на широкий круг читателей — экономистов, хозяйственников, студентов.

Автор рассказывает, как связаны между собой напряженность и производительность труда, каковы границы повышения интенсивности труда при социализме и пути обеспечения ее нормального уровня. В книге убедительно показано, что интенсификация труда в социалистическом обществе имеет новое социальное содержание и обращается на пользу самим трудящимся.

С некоторыми положениями Патрушева можно спорить. Многие будут уточнено и дополнено дальнейшими исследованиями, а кое-что, видимо, отброшено. Ну что же, автор и сам считает, что проблема интенсивности труда «нуждается в дальнейшей как теоретической, так и практической разработке».

А. Соловьев.

г. Кострома

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. Выпуск 12. К 100-летию со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 216 стр. Цена 95 к.

«Любите трудиться. Самое большое наслаждение и удовлетворение приносит человеку труд... Если вы встретите трудности, безвыходные, казалось бы, тупики, сопротивление старого, может быть, даже равнодушные и непонимание, вас всегда поддержит мысль: я делаю нужное дело». С такими словами обратился к советской молодежи в возрасте девяти лет крупнейший советский геолог, разносторонний и пылкий исследователь Сибири и Центральной Азии Владимир Афанасьевич Обручев.

Уже первые статьи сборника, выпущенного к столетию со дня рождения В. А. Обручева, убеждают читателя, что этот большой ученый и большой человек сам отличался поистине невероятной трудоспособностью и трудолюбием. Об этом свидетельствуют и впервые публикуемые в сборнике его воспоминания о втором московском периоде (1921—1929 гг.), и его ответы на вопросы анкеты Центрального института труда, а также воспоминания Е. В. Павловского, Б. А. Федоровича и Д. И. Щербакова.

Академик Д. В. Наливкин справедливо отметил, что по объему научной продукции один В. А. Обручев сопоставим с целым научно-исследовательским коллективом. Чтобы выполнить поставленные им самим огромные задачи, нужно было строго экономить время, неуклонно соблюдать режим труда. «Лишь изредка, — вспоминает Е. В. Павловский, — он разрешал себе немного отдохнуть от работы. Метаморфоза совершалась у вас на глазах. В голосе, обычно тихом и глуховатом, вдруг слышались чистые и сильные, глубокие баритональные ноты, речь блистала живостью и остроумием. Тонкое чувство юмора, глубокий ум, громадный личный жизненный опыт делали его блестящим и обаятельным собеседником».

Всю свою долгую жизнь В. А. Обручев стойко защищал выдвинутую им золотую теорию образования лесса. Много десятилетий прошло со времени поразительных путешествий В. А. Обручева по Центральной Азии, и вот наблюдения последних лет подтверждают правильность его основных положений. Этой проблеме, вызвавшей столь длительную дискуссию, посвящены статьи Д. В. Наливкина и Н. Н. Карлова. О том, что работы В. А. Обручева выдержали проверку временем, свидетельствуют и статьи других авторов сборника.

Украшает книгу впервые публикуемая статья В. А. Обручева «Успехи геологического изучения Сибири в течение последних 50 лет и некоторые очередные задачи ближайшего будущего».

В. Владимиров.

Ю. Н. СУШКОВ. Двигатели космических кораблей. Воениздат. М. 1962. 172 стр. Цена 27 к.

«Сорок лет я работал,— писал К. Э. Циолковский,— над реактивным двигателем и думал, что прогулка на Марс начнется лишь через много сотен лет. Но сроки меняются...» Действительно, выдающиеся достижения нашей науки и техники приближают срок осуществления великой мечты русского ученого. Мы законно гордимся тем, что советские летчики-космонавты Ю. А. Гагарин, Г. С. Титов, А. Г. Николаев и П. Р. Попович, В. Ф. Быковский и В. В. Терешкова проложили первые трассы в космосе. Но это лишь начало.

Каковы же пути в космос? Об этом и рассказывает в своей книге кандидат технических наук Ю. Н. Сушков. Популярно и вместе с тем научно излагает он основы космонавтики и теории реактивного движения. Автор не ограничился описанием реактивных двигателей на твердом и жидком топливе, а увлекательно рассказал о проектах сегодняшнего дня и далекого будущего. Читатель узнает о перспективах создания атомных, плазменных, термоядерных, ионных реактивных двигателей. Они сыграют свою роль при полетах к планетам солнечной системы. А звезды? Осуществимы ли межзвездные полеты? Ведь от ближайшей к нам звезды свет идет более четырех лет (это со скоростью почти триста тысяч километров в секунду!). Теперь представим себе звездолет, стартующий со скоростью чуть больше 16,7 километра в секунду. Сколько времени он будет лететь до ближайшей звезды? Ясно, что межзвездные полеты с такими скоростями абсурдны. Где же выход? И автор рассказывает о заманчивой идее создания фотонных ракетных двигателей, о проблемах межзвездных полетов с околосветовой скоростью, о «замедлении» времени.

Книга Ю. Н. Сушкова поможет узнать о многих необычных явлениях — о возможности получения «невесомого» вещества, об увлекательных попытках создания «антигравитационных» летательных аппаратов.

Н. Коньков,
инженер-полковник.

★

В. Д. БЛАВАТСКИЙ, Г. А. КОШЕЛЕНКО. Открытие затонувшего мира. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 108 стр. Цена 17 к.

Ненасытное море редко возвращает похищенные им сокровища. Тайны трюмов давно погибших кораблей, тайны целых городов, по тем или иным причинам оказавшихся на дне морском, раскрываются лишь случайно. Разве что после сильного шторма волны выбросят на берег или рыбаки зацепят своими сетями какой-нибудь обломок древнего мира.

Большие глубины обыкновенным ныряльщикам недоступны, водолазы в скафандрах

для этого дела тоже малополезны: слишком громоздко и тяжело весоно их снаряжение для изысканий, требующих подвижности и маневренности. Акваланг, аэрофото съемка, телевизор — вот что совершило полный переворот в подводной археологии. Нет, это не оговорка — именно в подводной археологии. Есть такая интереснейшая наука, призванная раскрывать тайны, которые веками, тысячелетиями хранила морская пучина.

Эта совсем молодая наука рождена современной техникой. Только теперь с помощью аэрофото съемки можно вести разведку на больших морских площадях; благодаря аквалангу удается свободно работать на значительной глубине, а телевизор дает возможность осуществлять научное руководство подводными раскопками.

Удивительны находки подводных археологов. Со дна Средиземного и Черного морей извлечены прекрасно сохранившиеся мраморные и бронзовые статуи, созданные за несколько веков до нашей эры, античные амфоры, украшения из драгоценных металлов и дерева, остатки древних построек.

Огромный интерес представляют два роскошно оборудованных римских корабля, найденные в озере Неми в Италии. Чтобы не повредить такую находку при подъеме, археологи прибегли к необычному способу: спустили воду из озера. Так, по прошествии многих веков римские суда оказались на суше. К сожалению, во вторую мировую войну они были уничтожены фашистской авиацией.

Одна из последних находок, взволновавших археологов,— большое корабельное кладбище у берегов Турции. Здесь покоится полтора десятка судов разных стран и эпох — греческие, римские, византийские, турецкие. Происхождение их удалось разгадать довольно легко. Корабль с острова Родоса, например, определили по найденным на нем характерным амфорам. О происхождении остальных свидетельствовали обломки оружия и разных судовых принадлежностей.

Ценный вклад в науку внесли и советские подводные археологи. Их морские раскопки на Тамани, где в древности находились города Фанагория и Тмутаракань, начались сравнительно недавно, но уже принесли богатые плоды.

Энтузиасты этого дела — старые и молодые ученые — с каждым годом расширяют исследования подводного царства. И, надо думать, вскоре они откроют еще много тайн древнего мира.

Любопытные сведения обо всем этом читатель может почерпнуть из книги В. Блаватского и Г. Кошеленко. Авторы — подводные археологи, материал им знаком, так сказать, «из первых рук», отчего рассказ их приобретает особенно живые интонации. И можно лишь пожалеть, что авторы ведут свой рассказ слишком бегло и кратко.

А. Таланов.

МИХАИЛ БУЛГАКОВ. Записки юного врача. Рассказы. Б-ка «Огонек» № 23. Издательство «Правда». М. 1963. 56 стр. Цена 7 к.

В глухое село приезжает работать молодой человек, коренной горожанин, совсем недавно расставшийся с университетской аудиторией, вздыхающий о Большом театре... Какой знакомый мотив, сколько читано-перчитано на эту тему повестей и рассказов! Правда, назвать что-нибудь без подготовки мы бы, пожалуй, затруднились: читали не раз что-то похожее, а где и когда — не припомнишь, в памяти распылившееся серое пятно. Такова обычная судьба произведений, на которых нет печати художественной личности. таланта.

Слово «талант» — по природе своей редкое и не равнозначное начальным способностям или ловко набитой руке — обесценивается от слишком частого употребления. Зато какая радость еще раз вспомнить, что это значит на самом деле — открыть тоненькую книжку и прочесть рассказы, написанные истинно талантливо, а значит, без ухищрений и потуг: экономно, точно, свободно, так что сразу вырезаются в воображении живые лица, подробности, картины, которые уже не спутаешь ни с чем другим.

Рассказы М. Булгакова — автора «Дней Турбиных» и «Молера», написанные четыре десятка лет назад и изданные теперь в библиотеке «Огонька», — во многом автобиографичны. Сам Булгаков незадолго перед революцией, окончив Киевский университет, работал земским врачом.

Писатель не позволяет себе и тени сентиментальности в обращении со своим героем, что так редко удается авторам, пишущим натуру «с себя». Он рассказывает о переживаниях, промахах, удачах и бедах молоденького доктора, принявшего клинику в глухом селе, с той доброй улыбкой, в которой вовсе нет снисходительной насмешки старшего и умудренного, но просто радостное ощущение обретенной силы, оставленных позади трудностей.

Неуверенность, стеснительность новичка, его желание казаться старше своих лет и не осрамиться перед фельдшером и акушерками, его робость перед хирургическим инструментом и панический страх первой операции, проведенной с дерзостью отчаяния и закончившейся неожиданно счастливо, — обо всем этом рассказано с необыкновенно теплой и живой человеческой интонацией. И нам весело следить, как вчерашний студент, угнетенный своей неопытностью и лихорадочно припоминающий, как выписать рецепт на «ипекакуану», превращается в земского врача, который должен все уметь и все мочь, в подвижника, готового, когда придется, в дождь или в метель, десятки верст трястись на лошадах к больному. Без сентиментальности умиленья и ораторских эффектов Булгаков заставляет оценить эту самоотверженность, верность своему долгу и призванию.

Читая эти рассказы, вы, должно быть, не раз громко рассмеетесь, а уж улыбаться будете то и дело, не оттого только, что смешно (там вовсе не все смешно), а оттого, как живо, талантливо, «похоже» это написано. Словом, перечитывать Булгакова — настоящее удовольствие.

Все это лишний раз наводит на мысль, что давно пора издать книгой потолще прозу Булгакова. тщательно отобрав ее и прокомментировав, подобно тому как были выпущены недавно в издательстве «Искусство» лучшие его пьесы.

В. Л.

★

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (Дореволюционный период). Хрестоматия. Составил Н. А. Трифонов. Учпедгиз. М. 1962. 599 стр. Цена 93 к.

Нельзя изучать литературу понаслышке. А применительно к литературе начала века отчасти так именно и было: говорили студентам, будущим учителям, о борьбе направлений, называли имена, цитировали отрывки. А «знание текста» — то, чего непременно требуют от учеников в школах? Знание текста оказывалось, да и оказывается порой, к сожалению, весьма ограниченным.

Составитель хрестоматии по русской литературе XX века Н. А. Трифонов задался целью дать полную картину борьбы направлений в литературе начала века. «Становление революционной пролетарской литературы», «Литература критического реализма», «От реализма к декадентству», «Декадентская литература», «На путях преодоления декадентства...» — вот основные разделы книги. Читатель — именно читатель, не только учитель или студент, — найдет в книге давно не публиковавшиеся стихи пролетарских поэтов Д. Бедного, А. Богданова, А. Гмырева, Самобытника и других. В соответствующем разделе напечатаны Бальмонт, Сологуб, Вл. Соловьев, Н. Гумилев, М. Кузмин и многие другие поэты, чьи стихи стали библиографической редкостью, но без которых представление об историко-литературной борьбе начала столетия окажется неполным.

Каждому из подразделов главы «Декадентская литература» (символисты, акмеисты, футуристы) предшествуют отрывки из литературных манифестов, дающие общее представление о программе данного направления. Подразделы о символистах и акмеистах, так же как некоторые другие главы, завершаются критическими статьями передовых современников: тут и отрывки из статей Горького, и статья Ворковского, и статья доктябрьской «Правды». В самом начале книги читатель найдет ленинскую статью «Партийная организация и партийная литература», работы Луначарского, Горького, Плеханова. Таким образом, и самым построением хрестоматии, и подбором материала составитель «ведет» читателя. Книга о многом информирует читателя, и

информация эта организована в нужном идеологическом направлении. Прочитавший хрестоматию получит не только определенную сумму знаний, но и определенную теоретическую концепцию. В известной мере такая хрестоматия может заменить учебник.

Правда, в этом есть и известная опасность. Стремление сказать нечто четкое и определенное самой компоновкой текстов может привести к схеме и произволу: живой литературный процесс трудно разграфить по линейке. И вот — чтобы читатель не дай бог чего не подумал! — Маяковский начисто исключается из футуристов. Нет нужды, что в манифестах его имя упоминается. Ранних стихов Маяковского нет. В разделе «На путях преодоления декадентства...» приводятся три его выступления, где поэт говорит о смерти футуризма. Составитель так же тщательно постарался уберечь от символистов Брюсова-поэта. Отрывок из брусовской статьи о символизме помещен в начале соответствующего раздела, зато стихов его там нет. Стихи (в том числе и чисто символистские) попали в раздел о преодолении декадентства. Там же и стихи Блока, который, как и Брюсов, если судить по хрестоматии, символистом одно время был, а символистских стихов никогда не писал. Стоит ли так неуклюже заботиться о репутации наших больших поэтов?

Хрестоматия Н. А. Трифонова — первый опыт такого рода за много лет. Естественно, что она не совершенна. Однако быстро, с которой разошлась хрестоматия, лишний раз доказывает, что книга такого типа нужна и полезна.

Ю. Айхенвальд.

★

В. ОСТРОВСКИЙ. Таноана. Детгиз. М. 1962. 136 стр. Цена 53 к.

Трудно определить жанр этой необыкновенно увлекательной книжки! Красочно оформленная Евг. Коганом, рисунками Н. Калиты и индонезийских художников, богатая фотодокументами, «Таноана» и начинается оригинально: «Слават паги! — с добрым утром! Слават мембача! — счастливого чтения!» — читает мы в кратком прологе, набранном белым шрифтом по темному фото еще до титула книги...

Сначала текст — как родничок. Петляет он между красочными фото, пробивается скупым комментарием: с картинок начинаем мы знакомство с Индонезией, «страной трех тысяч островов» (которых на самом деле, как мы узнаем в конце книги... десять тысяч восемьсот шестьдесят пять!).

Освоившись, получив необходимые познавательные ориентиры, мы углубляемся в рассказ об истории Индонезии. Быт, одежда, население, занятия, транспорт, описание обычаев и поверий, поэтические легенды, искусство старое и новое, азбука, пословицы и поговорки...

Теперь иллюстрации на полях книжных страниц — тончайший орнамент на бамбу-

ке, индонезийский словарь, батакский и яванский шрифты, древние барельефы, жертвенники, зарисовки утвари, жилья, узоры на коже...

Велика изобретательность автора «Таноаны». То он ведет иронический рассказ о древних поверьях, иллюстрируя его зарисовками божков и тотемов; то перебивает его краткими афоризмами разных племен, населяющих острова Индонезии; описание особых, характерных примет быта островов («С острова на остров») переходит в репортаж; репортаж о современном быте сменяют «записи в дневнике»; объявления индонезийских газет; «странички истории»; загадки; «песчинки»... Последнее — совсем короткие заметки, наблюдения.

Поэзия «Таноаны» — в глубоком знании предмета. Точный, свободный стиль изложения соответствует щедрости фактов, наблюдений. Это по существу энциклопедия жизни, культуры, истории Индонезии, написанная весело, умно, с большой чуткостью и тактом.

Остается сообщить некоторые данные об авторе и объяснить название книги. Валентин Островский — журналист, сотрудник иностранного отдела «Литературной газеты», проведший в Индонезии несколько месяцев. Он — человек в своем роде замечательный: знает шестнадцать языков, в том числе и разные диалекты индонезийского.

«Таноана» дословно означает «человек», а переводится — «душа».

Среди множества книг о чужеземных странах «Таноана» привлекла мое внимание и завоевала симпатию тем, что автор ее не насकोком и не априорно судит о жизни страны и народа, который раскрыл ему свою душу. Знание и еще раз знание того, о чем взялся писать, — вот что лежит в основе поэзии и понимания. Понять чужое — удел родкий, но тем более достойный и похвальный.

Владимир Огнев.

★

РЕДАКТОР И КНИГА. Сборник статей. Выпуск четвертый. Редакторы Э. Кузьмина и А. Мильчин. «Искусство». М. 1963. 334 стр. Цена 88 к.

Прошел год, и читатель получил еще один — четвертый сборник статей, посвященных проблемам редактуры. Очевидно, его возникновение, сама идея такого сборника не были случайными — целый ряд проблем современной редактуры, взаимоотношений автора с издательством и т. п. требуют тщательного рассмотрения, обсуждения и внимания общественности.

Сборник четвертый привлекает прежде всего своей целеустремленностью. По существу он весь посвящен одной — главной — проблеме, она очень четко сформулирована в статье Ю. Тимофеева: «Кем должен быть редактор — литератором или чиновником?» Как выясняется, на такой «детский» вопрос

не так уж просто ответить, и подобная проблема сегодня может еще стать предметом острой дискуссии. Во всяком случае, печальные и анекдотичные (тоже не слишком веселые) примеры, на которые опираются в своих статьях Ю. Тимофеев, Л. Чуковская, Ст. Рассадин, заставляют серьезно призадуматься.

В интересной статье В. Барласа внимательно рассматривается «сравнительно-тематический метод» анализа художественного произведения, опирающийся только на «общие соображения» и не учитывающий специфику искусства. Автор приводит пример совсем свежий: «Большая руда» Г. Владимова была отклонена рецензентом «Советского писателя» все по тем же «общим соображениям»...

Авторы статей сборника (особенно Л. Чуковская) внимательно рассматривают «процесс прохождения» рукописи в издательствах, анализируют причины, по которым подобные не слишком веселые «анекдоты» становятся возможными... Очевидно же, пишет Ф. Левин (в некоторых случаях полемизирующий со статьей Л. Чуковской), незрела необходимость заменить в издательствах всю эту сложившуюся в период культа личности «многоэтажную, громоздкую, родившуюся из недоверия и перестраховки систему проверок, перепроверок, стоп-сигналов и т. д., которая себя изжила».

Сборник порадует читателя великолепной публикацией «О редакторском искусстве Маршак» (публикация Вл. Глоцера). Здесь впервые напечатаны «Страницы дневника» Е. Шварца, а также интересные воспоминания других авторов. Работа С. Я. Маршак в Детгизе в эпоху возникновения «большой литературы для маленьких» — благородный пример служения литературе. Глубокое понимание художественной природы вещи, так свойственное Маршаку, — необходимое качество всякого редактора. И, разумеется, работник издательства, который этого лишен, становится чиновником, «призраком в двубортном пиджаке», который без всякого ущерба может быть заменен машинной. «Без ущерба для кого? Для литературы? Впрочем, какое значение для чиновника имеет литература!»

Ф. Светов.

★

ЖАН-ЛУИ БАРРО. Размышления о театре. Перевод с французского. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 303 стр. Цена 1 р. 18 к.

Немногим более года назад на гастроли в Москву приезжал парижский театр «Одеон» — и мы имели возможность увидеть его прекрасную работу. Теперь вышла книга руководителя этого театра Барро — и мы

можем познакомиться с теми принципами, которые лежат в основе этой работы.

Жан-Луи Барро — не теоретик и не историк. Он актер и режиссер, думающий и об истории театра, и о его роли в современном обществе. Статьи, составляющие эту книгу, тесно связаны с тем опытом, который накопила их автору его собственная сценическая жизнь. Название книги точно передает ее отличительную особенность. Это не трактат, не учебное пособие, не обстоятельное исследование. Это мысли вслух. Это откровенный и непринужденный разговор, в котором свободно соседствуют самые разнообразные темы. Нет такой проблемы, связанной с жизнью театра, мимо которой прошел бы Барро. Он говорит о природе и назначении театра, о взаимоотношениях, далеко не всегда простых и идиллических, тех, кто играет на сцене, и тех, кто сидит в зрительном зале, о «слагаемых» актерской игры и возможностях пантомимы, о сценических исканиях, о роли гибкого и продуманного репертуара, о драматургии Эсхила, Менандра, Шекспира, Расина, Мольера, Чехова, Клоделя, Жироду, об инсценировках романов Кафки, Камю, Фолкнера.

В книге Барро много спорного. Человек, видящий в театре влиятельное средство общественного воздействия (а таких в нашей стране подавляющее большинство), с сочувствием отнесется к девизу Барро: «О человеке. Через человека. Во имя человека». Но он вряд ли согласится с концепцией автора книги, считающего, что «Театр — это целительная прививка от болезни ужаса». Попытки охватить театральное искусство одной исчерпывающей формулой вряд ли могут увенчаться успехом. И не эти экскурсии в область теории делают значительной книгу Барро. Самое привлекательное в ней — это точный и тонкий разбор произведений драматургии, в которых автор ищет перекличку с проблемами нашего времени. Это явственно проступающий в книге облик самого Барро — человека мыслящего и честного, художника взыскательного, страстно влюбленного в свое искусство, верящего в его безграничные возможности в наш кинематографический век, когда это искусство многие склонны оплакивать, художника, гордо пишущего: «Я пришел к убеждению, что самая благородная, почетная, хотя и непомерно трудная, задача и очень редко достигаемая цель состоит в том, чтобы выстоять. Подразумевается: выстоять, не продаваясь».

В аннотации к книге сказано, что она «рассчитана на специалистов — театральных работников». Думается, что у нее более широкий адрес. Ее с интересом и пользой для себя прочитают все, кто любит театр, а к их числу относятся не только те, кто прямо причастен к рождению спектаклей.

Л. Левицкий.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Н. С. Хрущев. Создать устойчивую базу для получения высоких гарантированных урожаев. Речь на совещании работников сельского хозяйства Северного Кавказа в городе Краснодаре 26 сентября 1963 года. 48 стр. Цена 5 к.

П. Бабенко. И. Э. Якир (Очерк боевого пути). 79 стр. Цена 10 к.

Э. Бартошевич, Е. Борисоглебский. Они ждут конца мира. 127 стр. Цена 14 к.

Говорят погибшие герои. Предсмертные письма советских борцов против немецко-фашистских захватчиков (1941—1945 гг.). Второе дополненное и переработанное издание. 511 стр. Цена 54 к.

Группы содействия партгосконтролю. Сборник статей. 120 стр. Цена 12 к.

П. Демченко. Иракский Курдистан в огне. 63 стр. Цена 5 к.

Б. Кедров. Единство диалектики, логики и теории познания. 295 стр. Цена 57 к.

Под одним знаменем. Очерки о партизанах-интернационалистах. 368 стр. Цена 74 к.

Преступные цели — преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941—1944 гг.). 324 стр. Цена 45 к.

Советские конституции. Справочник. 349 стр. Цена 31 к.

Солдатская слава (Очерки о кавалерах ордена Славы). 527 стр. Цена 81 к.

Марк Твен. Письма с земли. 320 стр. Цена 68 к.

Г. Трукан. Ян Рудзутак. 96 стр. Цена 11 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Б. Балтер. До свидания, мальчики. Повесть. 320 стр. Цена 42 к.

А. Борцаговский. Стеклоплавильные бусы. Повесть. 248 стр. Цена 33 к.

Ш. Горшман. Третье поколение. Новеллы и рассказы. Перевод с еврейского. 212 стр. Цена 27 к.

И. Гофф. Телефон звонит по ночам. Роман. 240 стр. Цена 34 к.

Н. Коржавин. Годы. Стихи. 116 стр. Цена 13 к.

С. Кулибай. Думы в пути. Стихи, поэма. Перевод с башкирского. 104 стр. Цена 14 к.

И. Кэбирли. Его тень. Поэма. Перевод с азербайджанского. 48 стр. Цена 9 к.

О. Литовский. Глазами современника. Заметки прошлых лет. 348 стр. Цена 78 к.

Н. Лурье. Старше на одну ночь. Повесть и рассказы. Перевод с еврейского. 304 стр. Цена 56 к.

М. Матусовский. Как поживаешь, земля? Стихи и песни. 164 стр. Цена 21 к.

Ю. Пилар. В одном доме. Повести. 224 стр. Цена 32 к.

А. Письменный. Две тысячи метров над уровнем моря. Край земли. Повести. 346 стр. Цена 50 к.

А. Прокофьев. Стихи с дороги. 196 стр. Цена 31 к.

Смех — дело серьезное. Сатира и юмор. Сборник. 588 стр. Цена 1 р. 3 к.

В. Соколов. Просторы. Стихотворения. 136 стр. Цена 15 к.

В. Шимкус. Земля вас любит. Стихотворения. Перевод с литовского. 108 стр. Цена 11 к.

И. Эртюков. Говорит якут. Стихи. Перевод с якутского. 48 стр. Цена 6 к.

Г. Юшков. Сказание о Севере. Стихи. Перевод с языка коми. 68 стр. Цена 6 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

В. Азаров. Солнце и море. Стихи. 204 стр. Цена 44 к.

Вл. Бахметьев. Преступление Мартына. Роман. 380 стр. Цена 60 к.

Эрнст Вайс. Ведный расточитель. Роман. Перевод с немецкого. 408 стр. Цена 1 р. 23 к.

Ю. Кагарлицкий. Герберт Уэллс. Очерк жизни и творчества. 280 стр. Цена 68 к.

Ион Лука Караджале. Комедии. Юморески. Рассказы. Перевод с румынского. 391 стр. Цена 64 к.

Габриела Мистраль. Лирика. Перевод с испанского. 208 стр. Цена 41 к.

Поэты-лирики древней Эллады и Рима. 240 стр. Цена 36 к.

Руми. Притчи. Перевод с персидского. 96 стр. Цена 7 к.

Сто лучших стихотворений поэтов народов СССР. В русских переводах. 272 стр. Цена 57 к.

Август Шенол. Сокровище ювелира. Исторический роман. Перевод с сербохорватского. 292 стр. Цена 65 к.

Джордж Элиот. Мельница на Флоссе. Роман. Перевод с английского. 560 стр. Цена 92 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Вик. Васильев. Седьмая вуаль. Творческие портреты шахматистов. 224 стр. Цена 47 к.

М. Горький. Литературные портреты. 573 стр. Цена 1 р. 3 к.

И. Дубинский-Мухадзе. Орджоникидзе. 384 стр. Цена 76 к.

Я. Ивашкевич. Шонен. Перевод с польского. 304 стр. Цена 63 к.

Имена на поверке. Стихи воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны. 191 стр. Цена 51 к.

Камен Калчев. Сын рабочего класса (Г. М. Димитров). Перевод с болгарского. 255 стр. Цена 56 к.

Х. Пирсон. Диккенс. Перевод с английского. 512 стр. Цена 95 к.

Путешествие в страну элементов. Сборник. 368 стр. Цена 75 к.

Я. Рыкачев, Л. Тисов. Коллекция геолога Картье. Роман. 416 стр. Цена 75 к.

То Хоай. Три сказки. Перевод с вьетнамского. 138 стр. Цена 38 к.

В. Шуншин. Сельские жители. Рассказы. 192 стр. Цена 42 к.

Мечислав Яструн. Мицкевич. Перевод с польского. 608 стр. Цена 1 р. 12 к.

ДЕТГИЗ

- М. Ананд.** Лик рассвета. История индийского мальчика. Сокращенный перевод с английского. 336 стр. Цена 70 к.
- И. Кесеги.** Сердце не меняют... Роман. Перевод с венгерского. 240 стр. Цена 47 к.
- В. Ламакин.** Загадки Байкала. 160 стр. Цена 35 к.
- Л. Любимов.** Великая живопись Нидерландов. Очерк. 160 стр. Цена 69 к.
- В. Осонин.** Рассказы о русском пейзаже. 120 стр. Цена 63 к.
- А. Штейнгауз.** Девять цветов радуги. 296 стр. Цена 90 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

- Е. Абалаков.** На высочайших вершинах Советского Союза. 491 стр. Цена 1 р. 50 к.
- П. Г. Богатырев.** Словацкие эпические рассказы и лиро-эпические песни. 192 стр. Цена 60 к.
- И. Венгров.** Путь Александра Блока. 414 стр. Цена 1 р. 28 к.
- В. В. Виноградов.** Сюжет и стиль. Сравнительно-историческое исследование. 192 стр. Цена 68 к.
- Генетика — сельскому хозяйству.** 796 стр. Цена 5 р.
- Из истории советской архитектуры 1917—1925 гг.** 249 стр. Цена 2 р. 97 к.
- История Югославии.** В двух томах. Том I. 736 стр. Цена 3 р. 50 к.; Том II. 431 стр. Цена 2 р. 50 к.
- В. А. Истрин.** 1100 лет славянской азбуки. 179 стр. Цена 65 к.
- П. Н. Лебедев.** Собрание сочинений. 435 стр. Цена 2 р. 3 к.
- Литература и новый человек.** 432 стр. Цена 1 р. 74 к.
- Н. Маслин.** Роман Шолохова. 255 стр. Цена 86 к.
- Ф. Я. Нестерук.** Развитие гидроэнергетики СССР. 383 стр. Цена 1 р. 86 к.
- Объединение Италии.** 100 лет борьбы за независимость и демократию. Сборник статей. 395 стр. Цена 1 р. 72 к.
- М. Ф. Орлов.** Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. 373 стр. Цена 1 р. 69 к.
- Очерки истории римской литературной критики.** 310 стр. Цена 1 р.
- Проблемы изучения Герцена.** 533 стр. Цена 1 р. 59 к.
- Б. А. Рыбанов.** Древняя Русь. Сказания, былины и летописи. 362 стр. Цена 2 р. 20 к.
- Советское славяноведение.** Литература о зарубежных славянских странах на русском языке 1918—1960 гг. 402 стр. Цена 2 р. 13 к.
- Н. И. Яковлев.** Загадка Пёрл-Харбора. 146 стр. Цена 23 к.
- Л. М. Яновская.** Почему вы пишете смешно? Об И. Ильфе и Е. Петрове, их жизни и их юморе. 183 стр. Цена 29 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

- К. И. Бенеш.** Огненные слова. Роман. Перевод с чешского. 391 стр. Цена 1 р. 22 к.
- Макс Борн.** Физика в жизни моего поколения. Сборник статей. Переводы. 534 стр. Цена 1 р. 84 к.
- Рафаэль Умберто Гавириа.** Луна и винтовка. Роман. Перевод с испанского. 205 стр. Цена 50 к.
- Германин бессмертный сын.** Воспоминания об Эрнсте Тельмане. Перевод с немецкого. 464 стр. Цена 1 р. 10 к.

- Антал Гидаш.** Улица жасмина. Стихи. Перевод с венгерского. 211 стр. Цена 26 к.
- Рауль Руис Гонсалес.** Боливия — Прометей Анд. Перевод с испанского. 335 стр. Цена 82 к.
- Франческо Де Санктис.** История итальянской литературы. В 2-х томах. Перевод с итальянского. Том I. 535 стр. Цена 2 р. 2 к.
- Уильям Дюбуа.** Мансарт строит школу. Перевод с английского. 513 стр. Цена 1 р. 45 к.
- Анна Зегерс.** Карибские рассказы. Перевод с немецкого. 221 стр. Цена 59 к.
- Альберт Кан.** Дни с Улановой. Перевод с английского. 230 стр. Цена 3 р. 92 к.
- Фидель Кастро.** Речи и выступления. 1961—1963 гг. Перевод с испанского. 815 стр. Цена 1 р. 68 к.
- Эрих Кош.** Великий Маг. Роман и рассказы. Перевод с сербохорватского. 215 стр. Цена 55 к.
- Вэйне Линна.** Здесь под северной звездой... Роман. Перевод с финского. 486 стр. Цена 1 р. 48 к.
- Робер Мерль.** Смерть — мое ремесло. Роман. Перевод с французского. 253 стр. Цена 83 к.
- Доменико Реа.** Синьора выходит в Помпеи. Сборник рассказов. Перевод с итальянского. 191 стр. Цена 47 к.
- Адольф Рудницкий.** Чистое течение. Сборник. Перевод с польского. 382 стр. Цена 1 р. 15 к.
- З. Фирлингер.** На грани двух эпох. Перевод с чешского. 427 стр. Цена 1 р. 57 к.
- Н. Фурнаджиев.** Солнце над горами. Стихи. Перевод с болгарского. 112 стр. Цена 18 к.
- Веселин Ханчев.** Лирика. Перевод с болгарского. 64 стр. Цена 13 к.
- Иржи Штола.** Это было в Европе. Стихи. Перевод с чешского. 130 стр. Цена 25 к.

«ИСКУССТВО»

- Ш. Амиранашвили.** История грузинского искусства. 734 стр. Цена 5 р.
- Врубель.** Переписка. Воспоминания о художнике. 364 стр. Цена 1 р. 71 к.
- А. Гордин.** Пушкинский заповедник. 305 стр. Цена 1 р. 8 к.
- В. Гращенков.** Рисунок мастеров итальянского Возрождения. 428 стр. Цена 3 р. 50 к.
- Н. Демина.** «Троица» Андрея Рублева. 98 стр. Цена 1 р. 15 к.
- А. В. Куприн.** Альбом репродукций. Вступительная статья В. М. Полового. 32 стр. Цена 1 р. 30 к.
- Г. А. Пугаченкова.** Искусство Афганистана. 248 стр. Цена 1 р. 42 к.
- С. Разумовская.** Шегаль. 208 стр. Цена 1 р. 74 к.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЕ КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

- В. Гнеушев, А. Попутько.** Тайна Марухского ледника. Документальная повесть. 310 стр. Цена 74 к.
- Суню Имам-Алиевич Капаев.** В ауле Акшоқырак. Повесть в новеллах. Рассказы. 133 стр. Цена 17 к.

КОСТРОМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

- Е. Голубев.** Уале Алему находит друзей. Приключенческая повесть. 86 стр. Цена 13 к.
- А. Липатов.** Двенадцать зорь. Рассказы. 151 стр. Цена 25 к.



ОТ РЕДАКЦИИ

«Новый мир» в 1964 году

Подводя предварительные итоги 1963-го журнального года, редакция «Нового мира» отмечает, что в десяти книжках журнала, уже увидевших свет, опубликованы следующие произведения, ранее обещанные читателю: повесть Чингиза Айтматова «Материнское поле», рассказы В. Войновича «Хочу быть честным» и «Расстояние в полкилометра», повесть Н. Дубова «Мальчик у моря», повесть В. Липатова «Черный Яр», воспоминания К. Паустовского «Книга скитаний» и его путевой очерк «Третье свидание», рассказы А. Солженицына «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка» и «Для пользы дела», «Рассказы радиста» В. Тендрякова, пятая часть автобиографической книги И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», а также произведения Л. Волинского, Е. Герасимова, И. Исакова, Н. Мельникова.

Кроме того, по разделу прозы напечатаны не объявленные предварительно в проспекте повесть К. Воробьева «Убиты под Москвой», книга М. Галлая «Испытано в небе», книга Г. Троепольского «В камышах», рассказы В. Шукшина «Они с Катуня», повесть ирландского писателя У. Мэккина «Бог создал воскресенье», записки испанского писателя Х. Гойтисоло «Чанка», очерки итальянского писателя А. Малларди «Левантаццо», а также некоторые другие произведения отечественной и зарубежной литературы.

К сожалению, редакция не смогла в текущем году опубликовать вторую книгу романа «Костер» К. Фебина, продолжение «Дневных звезд» О. Берггольц, вторую книгу романа В. Фоменко «Память земли», так как авторы еще продолжают работу над этими произведениями. Однако мы надеемся познакомить с ними читателей в наступающем 1964 году.

По разделу поэзии в журнале были опубликованы: поэма А. Твардовского «Теркин на том свете», новые стихи М. Алигер, А. Ахматовой, П. Бровки, Е. Винокурова, Р. Гамзатова, Мустая Карима, М. Луконина, Н. Матвеевой, Д. Самойлова, М. Танка, В. Шефнера, С. Щипачева, А. Яшина. Со своими первыми стихами выступили Л. Киселев, Ю. Смирнов. Журнал познакомил также читателей с творчеством американского поэта Огдена Нэша, с циклом стихов современных французских поэтов, «Стихами из тюрьмы» Хироси Нуяма, поэмой Ю. Тувима «Цветы Польши».

По разделу литературной критики со статьями и рецензиями выступили в журнале наши постоянные сотрудники — Ю. Буртин, И. Виноградов, М. Кузнецов, Ю. Манн, И. Сац, И. Соловьева, В. Сурвилло, А. Турков, К. Чуковский и другие. С большими статьями дебютировали молодые критики — Л. Арутюнов, А. Чудаков, М. Чудакова.

По разделу публицистики и науки были опубликованы автобиографические высказывания В. И. Ленина, составленные Б. Яковлевым, статьи

и очерки на злободневные общественно-политические, экономические и научные темы Л. Безыменского, Н. Верховского, Е. Драбкиной, Е. Гнедина, О. Горчакова, Л. Гурунца, И. Забелина, Л. Иванова, С. Иванова, И. Осипова, А. Кондратова, проф. А. Чижевского, А. Шарова, А. Штейнгауза и другие материалы.

Любому толстому журналу, в том числе и нашему, трудно рассчитывать на то, что все его двенадцать годовых книжек будут встречены читателем с одинаковым интересом. Но мы всегда стремимся и будем стремиться избегать всякого рода подделок под литературу, поверхностной и иллюстративной беллетристики, считая основным достоинством произведения непосредственную правду жизни, глубину постижения ее писателем, идейную принципиальность.

Следует особо отметить значение публикации подлинных записок, дневников, воспоминаний и иных человеческих документов, представляющих порою куда больший интерес, чем заурядные повесть или роман. Мы хотим, в частности, обратить внимание читателей на опубликованные в этом году в «Новом мире» записки летчика-испытателя М. Галлая «Испытано в небе», «Севастопольские дневники» А. Ковтуна, записки Е. Кондратьева «На китобойце», «Студенческие тетради» М. Щеглова, статью В. Александрова «Фронтвые рукописи». На наш взгляд, такая «дельная проза» не только имеет познавательную ценность и подкупает читателя своей непосредственной правдивостью, но способна, как это не раз уже случилось в истории русской литературы, благотворно влиять на развитие самой художественной прозы, в известном смысле соперничая с ней в достоверности впечатлений жизни и правдивости их передачи. Что же касается таких образцов нового жанра, близкого документальной прозе, как очерковая книга Е. Дороша, работы Е. Драбкиной, опубликовавшей в этом году очерк «Удивительные люди» — о большевиках-подпольщиках, то их художественная значимость для нас очевидна.

В предстоящем 1964 году «Новый мир», как и прежде, будет знакомить читателей с новыми произведениями художественной и документальной прозы. Кроме уже упомянутых произведений **О. Берггольц**, **К. Федина**, **В. Фоменко**, мы предполагаем напечатать:

повесть **Г. Бакланова** «Июль 1941», рассказывающую о героизме советских солдат в самую трудную пору Великой Отечественной войны;

роман **А. Бека** «Мои знакомые» — о нескольких поколениях советских металлургов;

роман **Ю. Бондарева** «Не меч, но мир», события которого, относящиеся к 1952—1953 годам, касаются важных исторических перемен в жизни нашего народа;

повесть **Г. Владимова** «Три минуты молчания» — о рыбаках, ведущих промысел в Атлантике;

повесть **В. Войновича** «Жизнь солдата Ивана Чонкина» — о воинах Советской Армии;

воспоминания генерала армии **А. Горбатова**;

«Повесть о Ленине» **Е. Драбкиной**, написанную по личным воспоминаниям и историческим документам;

роман **В. Дудинцева** «Неизвестный солдат», посвященный жизни и труду ученых-биологов;

новые главы «Деревенского дневника» **Е. Дороша**;

повесть **С. Залыгина** «Перекос», действие которой происходит в Сибири в годы коллективизации;

воспоминания академика **И. Майского**;
беседы **С. Маршака** о литературном мастерстве;
продолжение путевых записок **А. Марьямова** «Идем на Восток»;
повесть **В. Овечкина** «Двадцатые годы», рассказывающую о становлении первых советских колхозов;
записки инженера-изыскателя **А. Побожьего** «Мертвая дорога»;
повесть **В. Рослякова** «Дети своих отцов», посвященную жизни молодежи, студентов и преподавателей одного института;

Окончание книги **И. Эренбурга** «Люди, годы, жизнь», а также новые произведения **Ч. Айтматова**, **В. Аксенова**, **Л. Волынского**, **И. Грековой**, **Н. Дубова**, **В. Каверина**, **Ю. Казакова**, **В. Липатова**, **В. Некрасова**, **А. Рыбакова**, **В. Пановой**, **К. Паустовского**, **И. Соколова-Микитова**, **А. Солженицына**, **В. Тендрякова**, **А. Яшина** и других.

Со стихами и переводами в журнале выступят поэты: **М. Алигер**, **А. Ахматова**, **П. Бровка**, **К. Ваншенкин**, **Е. Винокуров**, **Р. Гамзатов**, **Е. Евтушенко**, **А. Ерикеев**, **Л. Завальнюк**, **А. Жигулин**, **Ф. Искандер**, **Карло Каладзе**, **Мустай Карим**, **Кайсын Кулиев**, **А. Кешоков**, **Р. Казакова**, **С. Капутикян**, **Н. Коржавин**, **В. Корнилов**, **М. Квливидзе**, **А. Кулешов**, **М. Луконин**, **С. Маршак**, **Н. Матвеева**, **Э. Межелайтис**, **Ю. Мориц**, **А. Прокофьев**, **М. Рыльский**, **Д. Самойлов**, **Я. Смеляков**, **В. Сергеев**, **М. Танк**, **А. Твардовский**, **Я. Ухсай**, **В. Шефнер**, **С. Щипачев**, **Г. Эмин** и другие.

На июньском Пленуме ЦК КПСС и предшествовавших ему встречах руководителей партии и правительства с деятелями художественной интеллигенции была подчеркнута большая ответственность писателей, деятелей культуры перед народом и обществом, необходимость непримиримой борьбы с чуждыми влияниями в литературе и искусстве, невозможность мирного сосуществования в области идеологии. Вместе со всей советской литературой «Новый мир» видит свою основную задачу в воспитании человека новой, коммунистической нравственности. Выполнение этой задачи по плечу лишь литературе социалистического реализма — литературе смелого поиска, разведывающей новые слои действительности, возбуждающей в общественном сознании новые вопросы, поддерживающей передовые тенденции жизни и решительно борющейся с недостатками и злоупотреблениями.

Отдел критики и библиографии «Нового мира» будет отстаивать глубокую идейность, реализм, народность художественного творчества, отвергая как формалистическую изошренность, так и примитивную описательность. Мы хотим видеть нашу критику лишенной мелочных пристрастий, принципиальной, озабоченной существенными интересами литературы и жизни общества. Оттого мы считаем и будем считать своим долгом борьбу против иллюстративности, литературной беспринципности, серости, низкого культурного уровня. Только соединение органической близости интересам и нуждам народа с высокой духовной культурой может принести в наши дни признание художнику.

Отдел публицистики и науки в 1964 году предполагает широко публиковать очерки и статьи ученых и литераторов на политические, народнохозяйственные, научные и культурные темы. Среди политических статей важное место будет уделено полемике с апологетами современного империализма, актуальным вопросам международной жизни. Из статей на научные темы, предполагаемых к опубликованию в 1964 году, следует прежде всего отметить материалы, освещающие достижения в таких новейших областях науки и техники, как автоматика, кибернетика, радиоэлектроника.

Как и в предыдущие годы, в журнале сохраняются традиционные разделы:

Очерки наших дней
На зарубежные темы
Дневник писателя
В мире науки
В мире искусства
Трибуна читателя
Дневники, воспоминания

и другие.

Во всей своей деятельности редакция постоянно чувствует дружескую поддержку, взыскательный интерес читателей — друзей журнала, многочисленные письма которых приносит нам почта. Редакция журнала надеется в новом году оправдать те добрые надежды, которые возлагают на нас читатели.

ПОДПИСКА НА «НОВЫЙ МИР» ПРИНИМАЕТСЯ:

городскими и районными отделами «Союзпечати», конторами, отделениями и агентствами связи, почтальонами, а также уполномоченными по приему подписки на фабриках, заводах, в совхозах, колхозах, учебных заведениях и учреждениях.

	ПОДПИСНАЯ ЦЕНА		
	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.
В переплете	10 р. 80 к.	5 р. 40 к.	2 р. 70 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 6/IX 1963 г.	Объем 18 п. л.	Подписано к печати 21/X 1963 г.
А 07059.	Формат бумаги 70×108 ^{1/16} .	9 бум. л.— 24,66 печ. л.
	Зак. 1663.	Тираж 113.000

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636